



Ю. С. ПОСТНОВ

РУССКАЯ  
ЛИТЕРАТУРА  
СИБИРИ



первой  
половины  
XIX в.



АКАДЕМИЯ НАУК СССР ● СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ

Ю. С. ПОСТНОВ

РУССКАЯ  
ЛИТЕРАТУРА  
СИБИРИ

ПЕРВОЙ  
ПОЛОВИНЫ  
XIX В.

*Ответственный редактор  
кандидат филологических наук  
В. Г. Одинокоев*

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» ● СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
Н О В О С И Б И Р С К ● 1970



## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение . . . . .	3
Глава I. Литературная жизнь Сибири конца XVIII — начала XIX в. . . . .	35
Тобольские журналы 90-х годов. П. А. Словоцов. . . . .	35
Рукописная и краеведческая литература начала XIX в. . . . .	53
Глава II 20-е годы. Поэзия романтизма в Сибири. . . . .	80
«Енисейский альманах на 1828 г.» . . . . .	95
Сибирь в творчестве декабристов. . . . .	115
Ф. И. Бальдауф . . . . .	138
Глава III. Романтическая проза 30-х годов. . . . .	173
Николай Полевой и его повесть «Сохатый». . . . .	187
Сибирский исторический роман. И. Т. Калашников. . . . .	201
Романтические повести Н. С. Щукина. . . . .	237
Николай Бобылев. . . . .	255
Петр Ершов — сказочник, поэт, прозаик. . . . .	270
Глава IV. 40—50-е годы. От романтизма к реализму . . . . .	314
Евгений Милькеев . . . . .	326
Матвей Александров . . . . .	341
«Сибирские мелодии» А. И. Штукенберга. . . . .	355
Краеведы Забайкалья. М. А. Зензинов, А. А. Мордвинов, В. П. Паршин. . . . .	360
Дмитрий Давыдов. . . . .	381
Заключение. . . . .	393
Именной указатель . . . . .	399



## ВВЕДЕНИЕ



последнее время усилилось внимание исследователей к литературной жизни краев и областей страны. Сейчас вряд ли можно говорить о «традиционном пренебрежении» к литературе окраин, на которое в свое время обращал внимание А. М. Горький. Вклад обширных провинций России в общенациональную культуру теперь уже ни у кого не вызывает сомнений.

И тем не менее пока еще рано утверждать, что этот вклад в полной мере изучен. Показателен хотя бы тот факт, что в многотомном академическом издании «Истории русской литературы», как и в более позднем трехтомном, литературной жизни областей отведено самое незначительное место. По существу, в этих изданиях речь идет лишь о тех художниках, которые, выйдя из провинциальной среды, с переездом в Москву или Петербург приобретали общерусское значение. А многочисленные местные литераторы, не получившие широкого признания, хотя и работавшие с большой пользой для своего края и в конечном итоге для русской литературы в целом, в поле зрения исследователей не попали.

Нельзя сказать, что творчество этих писателей вообще не изучалось и не изучается сейчас. Напротив, библиография работ о них, публикуемых в основном областными издательствами, весьма обширна. Однако эти работы, как правило, носят

краеведческий характер (изучение культурной жизни края и места художника в ней) или выдержаны в жанре очерка-портрета,— литературный же процесс изучается крайне редко. Слабо прослеживается участие местных художников в развитии общерусской литературы. Как ни очевидно для всех, что литературная жизнь края или области — составная часть единой национальной литературы, при конкретном анализе часто берется за основу не общий процесс, а местные особенности. В наибольшей степени это относится к исследователям литературы Сибири, поскольку такого рода особенности здесь выражены определеннее, чем в других областях.

Сейчас назрела самая острая необходимость проследить развитие литературного процесса на всей территории страны. И если речь идет в данном случае о литературе Сибири, то следует показать, что развивалась она в русле тех же направлений, которые возникали и сменяли друг друга в литературе общерусской. В основе литературной жизни Сибири, как и других областей, лежали общие для страны социально-экономические факторы, ее содержание и характер определялись теми же этапами общественного развития, что и в центре, хотя это и не исключало черт местного своеобразия.

В настоящей работе делается попытка рассмотреть под этим углом зрения русскую литературу Сибири первой половины XIX в. Монография не претендует на всестороннее, полное освещение проблемы. Изучение сложной, многоплановой литературной жизни XIX в., складывавшейся к востоку от Урала, — задача коллективного исследования, которое должно стать делом ближайшего будущего.

\* \* \*

Основные литературные силы России XIX в. концентрировались в Москве и Петербурге. Однако довольно интенсивная деятельность литераторов развернулась в Казани, Воронеже, Саратове, Одессе, Харькове, Иркутске и других городах. При этом местные писатели, испытывая влияние литературной жизни столиц, в свою очередь, нередко сами влияли на нее, обогащали ее «областными мотивами». Иногда представители русской провинции становились художниками общероссийского значения и способствовали дальнейшему развитию отечественной культуры (Ломоносов, Гоголь, Чернышевский, Горький и др.).

Изучению вклада областей в развитие отечественной литературы во многом способствовали работы Н. К. Пиксанова

«Три эпохи» (1913 г.), «Два века русской литературы» (1928 г.), «Областные культурные гнезда» (1928 г.). Пиксанов собрал богатейший материал о культурной и литературной жизни русской провинции, проанализировал деятельность крупных «культурных гнезд».

Однако труды Пиксанова при многих своих достоинствах не были лишены ошибок. Мы не можем, в частности, согласиться с тем, что «для русской искусствоведческой науки существенно утвердить областной принцип мышления и исследования...»<sup>1</sup>. Н. К. Пиксанов стремился рассматривать русскую литературу как совокупность областных литератур. Такой взгляд вполне правомерен по отношению к древнерусской литературе, ко временам, когда существовали самостоятельные и независимые друг от друга области со своей культурой, литературой, искусством. Но с возвышением Московской Руси создается единая русская литература, в которой уже нет места областным литературам. И если мы говорим о литературе областей и краев, то считаем этот термин (предложенный в свое время Горьким) достаточно условным: мы имеем в виду лишь участки единой национальной литературы, выделяемые по территориальному признаку.

При этом важно отметить: как бы ни велика была роль областей в развитии русской литературы, мы не должны эту роль преувеличивать. Тем более, что в условиях российской действительности XVIII—XIX вв. провинциальные города значительно уступали в своем культурном развитии обеим столицам. И, конечно, их влияние на духовную жизнь Москвы и Петербурга не может сравниться по своей интенсивности с обратным воздействием.

Вслед за трудами Н. К. Пиксанова и одновременно с ними появились многочисленные конкретные исследования литературной жизни краев и областей — работы нижегородцев, воронежцев, рязанцев, саратовцев, псковичей, туляков, казанцев, исследования историко-литературной секции Восточно-Сибирского географического общества в Иркутске и многие другие.

Этот общий подъем советского краеведения в конце 20-х годов отражал назревшую потребность в изучении культурной жизни нашей Родины в целом. Местные писатели представляют для науки тем больший интерес, что они сумели дополнить творчество крупнейших русских художников, которые не уделяли достаточного внимания «провинциальной» тематике.

---

<sup>1</sup> Н. К. Пиксанов. Областные культурные гнезда. М., 1928, стр. 3—4.

«Урал, Сибирь, Волга и другие области остались вне поля зрения старой литературы»; «Поле наблюдений старых, великих мастеров слова, — писал А. М. Горький, — было странно ограничено, и жизнь огромной страны, богатейшей разнообразным человеческим материалом, не отразилась в книгах классиков с той полнотой, с которой могла бы отразиться»; «Литература дворян и разночинцев оставила вне своего внимания целые области, не тронула донское, уральское, кубанское казачество, совершенно не касалась «инородцев», нацменьшинств»<sup>2</sup>.

Традиционная недооценка культуры областей приводила к тому, что многочисленные культурные ценности страны оставались без внимания и нередко погибали. Это было особенно характерно для Сибири, о чем с горечью писал искусствовед Д. А. Болдырев-Казарин:

«...Именно перед Сибирью вопрос о сохранении памятников искусства и старины стоит во весь свой исполинский рост, ибо по обилию материала Сибирь поистине — золотое дно, а по количеству проделанной уже работы стоит, по-видимому, на самом последнем месте»<sup>3</sup>.

Выступая с заключительной речью на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, А. М. Горький говорил:

«Нам необходимо обратить внимание на литературу областей, особенно Восточной и Западной Сибири, вовлечь ее в круг нашего внимания, печатать в журналах центра, учитывать ее значение как организатора культуры»<sup>4</sup>.

Благодаря инициативе А. М. Горького с 1933 г. изучение литературы областей приобрело общегосударственный размах.

В связи с развитием краеведения делаются попытки разработать так называемый локальный (или краеведческий) метод изучения литературы. Сущность этого метода довольно отчетливо определил последователь Н. К. Пиксанова М. П. Сокольников в статье «Литературоведение на местах и учительство». «Первоочередная задача местного литературоведения, — писал он, — определение краеведных основ в творчестве писателя»<sup>5</sup>. Исследователь должен идти к источникам

<sup>2</sup> М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах, т. 25. М., ГИХЛ, 1953, стр. 250, 311.

<sup>3</sup> Д. А. Болдырев-Казарин. Неотложная задача. (К вопросу о защите, собрании и изучении памятников искусства и старины Сибири). «Красные зори», Иркутск, 1923, № 4, стр. 124.

<sup>4</sup> М. Горький. Указ. соч., т. 27, стр. 354.

<sup>5</sup> М. П. Сокольников. Литературоведение на местах и учительство. К проблеме локального (краеведческого) метода. «Родной язык и литература в трудовой школе», 1928, № 4—5, стр. 47.

первоначальных творческих впечатлений писателя, анализировать подробности его биографии, среду, в которой он вырос и которая повлияла на его творчество. Необходимо выяснить прототипы его героев и «этнографически-бытовой аксессуар». Краеведческое изучение позволит, с точки зрения Сокольников, многое уточнить в творчестве Горького, Гончарова, Никитина<sup>6</sup>.

Следующий момент — «учет значения творчества второстепенных писателей в истории литературы». «Вряд ли в наше время найдутся защитники литературоведения, построенного исключительно на истории генералов от литературы», — пишет М. Сокольников<sup>7</sup>.

В обоснование этой мысли, которая является, несомненно, одной из важнейших в концепции Н. Пиксанова, М. Азадовского и всех тех, кто горячо отстаивает значение областей в истории отечественной культуры, М. П. Сокольников ссылается на мнение А. Г. Горнфельда, изложенное в статье последнего об И. А. Кушечском<sup>8</sup>, а также на высказывания Г. Лансона<sup>9</sup>. Точка зрения последних, весьма оригинальная, хотя и не бесспорная, сводится к тому, что большие художники, опережая свое время, нередко оказываются слишком трудными для современников, которые еще не подготовлены к восприятию столь крупных и сложных явлений. И тогда на помощь приходит писатель меньшего масштаба, более доступный и понятный: «он может подготовить к более глубокому пониманию крупных произведений того же масштаба; его произведения обрамляют крупное творение, оттеняя его и ставя в надлежащее освещение»<sup>10</sup>.

А. Горнфельд, кроме того, считал, что второстепенные таланты имеют не только подчиненное, «служебное» значение, но представляют определенную ценность и сами по себе:

«Каждый из них делает вклад в образование литературного языка, каждый находит свои особенные сферы наблюдения и интересов, каждый дает материал для более широких обобщений, каждый отмечает те или иные стороны вещей, до него не отмеченные»<sup>11</sup>. Об этих писателях «не только грешно, но и опасно забывать».

<sup>6</sup> Там же, стр. 48.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> А. Г. Горнфельд. О русских писателях, т. 1. Пг., «Просвещение», 1912.

<sup>9</sup> Г. Лансон. Метод в истории литературы. М., 1911.

<sup>10</sup> Цит. по ст. М. Сокольников «Литературоведение на местах и учительство», стр. 49.

<sup>11</sup> Там же.

Если эти «скромные таланты» представляют ценность для общенациональной литературы, то тем более велико их значение для областей, с которыми многие из них были связаны на протяжении всей своей жизни. Поэтому все те, кто хочет знать свой край, должны не только изучать, но и популяризировать местных писателей, по достоинству оценивая их заслуги перед краем и отечеством.

Таков круг идей, выраженных в статье М. П. Сокольникова, и можно не сомневаться, что под этими положениями подписалось бы большинство сторонников «локального» метода в литературе.

Однако, как отмечали, кроме Сокольникова, и многие другие, «точное обоснование этого (локального) метода — дело будущего, дело коллективной мысли; сейчас же, на основании накопившегося литературоведческого опыта на местах, мы можем лишь наметить схематическое его очертание»<sup>12</sup>.

При всей справедливости конкретных рассуждений М. Сокольникова постановка вопроса об особом, локальном методе изучения литературы областей неправомерна. Она предполагает выдвижение на первый план не общих закономерностей в развитии страны и ее литературы, но местных особенностей, ее «краеведных основ». Локальный метод приводит к рассмотрению русской литературы как совокупности самостоятельных частей — «областных литератур», каждая из которых должна быть изучена в отдельности. Это наглядно подтверждает заявление сибирского литературоведа Б. Жеребцова о том, что, хотя «утверждать где бы то ни было существование особой, абсолютно независимой от внешних воздействий, литературной традиции нет никакой возможности, ...все же абстрагирование изучения местных литератур от изучения хода развития литературы общенациональной может дать многое для уяснения сложного состава последней»<sup>13</sup>.

Более того, как показывает осуществление этого принципа на практике, абстрагирование выливается в откровенное противопоставление «областной» и национальной литературы. Так, Б. Жеребцов пишет:

«...опираясь на примеры творчества поэтов-декабристов, мы можем сделать вывод, что для правильного отражения в литературе «местного колорита» нужна хотя бы относительная

---

<sup>12</sup> Там же, стр. 45.

<sup>13</sup> Б. Жеребцов. О сибирской литературной традиции. Наблюдения и заметки. «Сибирский литературно-краеведческий сборник», № 1. Иркутск, 1928, стр. 25.

независимость от воздействия чуждой (т. е. общерусской! — Ю. П.) литературной традиции»<sup>14</sup>.

И далее:

«Правильность этого положения подтверждается еще примером двух крупнейших писателей-сибиряков — Наумова и Оммулевского. Обоих их, конечно, нельзя упрекнуть в отсутствии любви к Сибири, но влияние чужих литературных образцов (!) помешало и этим писателям отразить полно и верно родной край в своем творчестве»<sup>15</sup>.

Эти ошибки в рассуждениях Б. Жеребцова — исследователя серьезного и добросовестного — следует отнести за счет неясности методологии, характерной для краеведческой науки тех лет, а также крайностей, в которые невольно впадали многие патриоты своего края, желавшие уравнивать в правах местную литературную жизнь с литературой центра. Они преувеличивали областную самобытность и бесполезно старались доказать недоказуемое.

Многие исследователи стремились найти в русской литературе достаточно самостоятельные областные литературы. Они изобретали различные определения их, и, естественно, эти определения оказывались не выдерживаемыми критики. Сам термин «областная литература» оказывался внутренне противоречивым, не дающим сколько-нибудь полного и точного объяснения такого явления, как литературная жизнь области или края.

Обратимся, например, к Пиксанову.

«Под областной литературой, — пишет он, — разумеют совокупность литературных явлений и организаций, объединенных территориально той или иной областью, краем, большим провинциальным городом и культивирующих черты местного своеобразия»<sup>16</sup>.

В этом определении ни единым словом не отражено, что литература области является частью литературы общенациональной, а указание на то, что представители «областной литературы» культивируют черты местного своеобразия, объективно заключает в себе противопоставление части целому. Кроме того, такое определение вызывает ряд вопросов. Как быть с писателями, которые, уехав навсегда из области и будучи, следовательно, «не объединенными территориально», продолжают сохранять тесную связь с ней по характеру и со-

<sup>14</sup> Там же, стр. 35.

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> Н. К. Пиксанов. Областные литературы и литературное областничество. «Литературная энциклопедия», т. 8, стб. 160.

держанию своего творчества,—например, И. Т. Калашников? Куда зачислять писателей, которые, оставаясь в пределах области, не культивируют черт местного своеобразия, — например, П. П. Ершов?

Несколько иначе определяет содержание термина «местная литература» М. П. Сокольников. «Под местной литературой, — пишет он, — нам кажется, ...следует понимать совокупность таких произведений, значение которых ограничивается определенными территориальными рамками»<sup>17</sup>.

М. П. Сокольников, следовательно, не требует территориального объединения писателей. Он вообще акцентирует внимание не на личности писателя, а на его произведениях. Главное для него—не происхождение автора, а то, что его произведения связаны с краем и имеют для этого края значение. В число представителей местной литературы, по Сокольникову, попадают и «те писатели-пришельцы, которые связываются с краем по влечению»<sup>18</sup>. В качестве примера он называет С. Максимова, В. Слепцова, К. Станюковича, Н. Некрасова, которые в 60-х годах «облюбовали» Владимирскую губернию, и др.

Нетрудно заметить, что определение Сокольникова противоречиво по своему существу. С одной стороны, он справедливо замечает, что литературную жизнь области или края нельзя себе представить без учета того, что было сделано художниками общерусского значения, связавшими себя с данной областью; иными словами, Сокольников понимает неотделимость местной литературной жизни от литературы страны в целом. А с другой стороны, он фактически изолирует литературу области от общенациональной, ограничивая ее значение узкими территориальными рамками.

Закономерно возникает вопрос: а что делать, например, с такими художниками, как Ершов, Омудевский, Кущевский, Наумов, значение которых выходит далеко за пределы Сибири? Исключать их из числа сибирских писателей? Или искусственно выделить из их творчества только то, что имеет чисто местное значение? Несостоятельность термина очевидна.

Иное определение краевой литературы дает А. М. Путинцев:

«Единственно правильным пониманием краевой художественной литературы будет то, что она есть совокупность художественных произведений слова, связанных своим содержа-

---

<sup>17</sup> М. П. Сокольников. Указ. соч., стр. 51.

<sup>18</sup> Там же, стр. 50.

нием и происхождением с местным краем, объединенным в литературном отношении своим краевым центром»<sup>19</sup>.

И далее:

«Краевыми писателями могут быть и не местные уроженцы, а пришедшие извне, но, вследствие более или менее длительного пребывания в крае, утвердившие связь с ним по своей литературной деятельности и принявшие участие в местном литературном движении»<sup>20</sup>.

Вместе с тем Путинцев возражает против зачисления в разряд местных писателей таких, «которые, хотя и были местными уроженцами или же проживали здесь некоторое время, все же участия в движении местной литературы не принимали»<sup>21</sup>. В отличие от М. Сокольников, он не отнес бы к местным писателям тех «пришельцев», которые «под непосредственным, свежим впечатлением иногда создают за короткий период своего пребывания в чужих местах целые романы и повести на местные темы»<sup>22</sup>.

Путинцев верно отмечает, что не все написанное о какой-либо области или крае является фактором местной литературной жизни. Писатели, связанные с краем кратковременным пребыванием, редко включают в местное литературное движение и обычно не оказывают на него влияние.

Верность отдельных наблюдений не избавляет, однако, Путинцева от некоторой неточности и односторонности его общей концепции.

При всей остроте споров по вопросам терминологии и методологии любопытно отметить, что многие исследователи все же достаточно свободно ориентируются в материале при изучении местной литературной жизни. Опираясь на свой практический опыт, они, в общем, верно оценивают те или иные явления. И, думается, именно этот опыт и нуждается теперь в обобщении.

На наш взгляд, литература области или края — это часть общенациональной литературы, представленная художниками, которые тесно связаны с общественной и культурной жизнью данной области и участвуют в местном литературном движении.

Естественно, что литература области создается прежде

---

<sup>19</sup> А. М. Путинцев. Краевая художественная литература. (Собрание, изучение, композиция). Воронеж, 1929, стр. 6.

<sup>20</sup> Там же.

<sup>21</sup> Там же, стр. 5.

<sup>22</sup> М. П. Сокольников. Указ. соч., стр. 50.

всего местными писателями. Поэтому их произведения и должны быть в первую очередь объектом исследования. Но вместе с тем местное происхождение во многих случаях не является обязательным. Вячеслав Шишков не был уроженцем Сибири, но, приехав сюда, он полюбил Сибирь как свою вторую родину и принял деятельное участие в литературной жизни края. Поэтому он с полным основанием может рассматриваться как представитель литературы Сибири. Огромное влияние на местную литературную жизнь оказал и В. Г. Короленко. «Невольный житель Сибири», попавший сюда как политический ссыльный, он увековечил быт и нравы сибирских народностей, а также природу Сибири в ряде замечательных рассказов. Ему принадлежит честь создания целой «школы сибирских писателей». Конечно, из этого вовсе не следует, что Короленко можно считать писателем-сибиряком: он был и остается классиком общерусской литературы, но его произведения о Сибири с полным основанием могут рассматриваться и как явления литературной жизни края.

Таким образом, понятие «литература Сибири» включает в себя и то, что создавалось местными писателями, и то, что можно назвать сибирской темой в русской литературе. Мы разделяем в этом отношении точку зрения М. К. Азадовского (см. его очерк «Литература сибирская», ССЭ, т. 3), но делаем существенную оговорку: мы не включаем в предмет исследования то, что было создано в результате неглубоких, непрочных связей с Сибирью.

Безусловно, это очень тонкий мотив, требующий индивидуального подхода к каждому писателю. Как, например, оценивать очерки А. П. Чехова о поездке на Сахалин? Для великого русского писателя Сибирь осталась кратковременной темой, но для литературной жизни края его очерки имели большое значение. Очевидно, здесь вообще невозможен абсолютно точный критерий (что лишний раз свидетельствует об условности самого термина «литература области или края»). Не могут вызывать двух мнений лишь произведения, созданные художниками, никогда не бывавшими в данной области, писавшими о ней понаслышке или на основе литературных источников (стихи и поэмы о Сибири К. Рылеева, Н. Некрасова и др.).

Положив в основу термина «литература области» территориальный признак, мы, однако, не считаем необходимым строго оговаривать место жительства художника. Иногда писатель может переселиться из родных для него мест в другую область, в Москву или Петербург, но сохранить при этом проч-

ную привязанность к «земле своего детства», продолжать писать о ней и своими произведениями, перепиской, сотрудничеством в областной печати так или иначе влиять на местную литературную жизнь. Думается, что его произведения, связанные тематически с родным для него краем, можно рассматривать одновременно и в истории общерусской литературы, и как явления местной литературной жизни. Здесь нет противоречия для тех, кто понимает, что «местная литература» — лишь часть общенациональной.

Этот момент особенно важен при анализе литературы Сибири первой половины XIX в. Мы не располагаем точными биографическими данными, чтобы со всей определенностью сказать, где жили некоторые из писателей-сибиряков в период, когда они создавали те или иные произведения. Отсутствие издательской базы в Сибири того времени вынуждало их издаваться в Казани, Москве, Петербурге, что еще более усложняет для нас вопрос о местопребывании автора. Больше того, нам известно, что некоторые из литераторов, такие, как Калашников, Бобылев, Милькеев и другие, переселились в Петербург, но и здесь они, по существу, оставались писателями, тесно связанными своим творчеством с Сибирью.

Вот почему мы не можем определить тему своего исследования как «русскую литературу в Сибири»: территориальный признак, являющийся основополагающим, не выдержан здесь до конца.

Дополнительным аспектом становится тематический принцип. Коль скоро речь идет о художниках, связанных с Сибирью, но живущих за ее пределами, этот принцип оказывается решающим (хотя иногда сибирская тематика отражается в произведениях таких художников не прямо, а опосредованно, как бы в преображенном виде, обогащенной новыми, более общими впечатлениями—как, например, в романе И. Кузнецкого «Николай Негорев»). С другой стороны, и творчество художников общероссийского значения, связавших себя с Сибирью, рассматривается в основном с точки зрения отражения в нем местной тематики (например, Сибирь как тема в творчестве писателей и поэтов декабристов).

Если же речь идет о «коренных» местных художниках, жизнь и творческая деятельность которых главным образом связана с их краем, то здесь тематический принцип не является всегда обязательным. Художник может писать и не на местные темы, как, например, Ершов, но его творчество следует, несомненно, рассматривать в целом, с учетом всего, что было им создано.

Сегуя на недостаточную изученность культурной и литературной жизни областей, М. К. Азадовский отмечал: «Особенно же мало исследована в этом отношении Сибирь»<sup>23</sup>. И хотя за 20 лет, прошедших с тех пор, появилось значительное число работ о литературе Сибири, тем не менее она во многом остается «белым пятном» на литературной карте России. Углубленному исследованию ее мешала нерешенность ряда общих теоретических вопросов. Задача осложнялась и тем, что литературная жизнь огромного края, составляющего две трети территории страны, имела целый ряд особенностей, отличавших ее от литературы других областей. Проблема «местного колорита» становилась здесь особенно сложной. И в преодолении этих дополнительных трудностей сибиреведы не могли опираться на чужой опыт, а традиции собственно сибирского литературоведения были не столь уж значительны.

Началом изучения литературы Сибири следует считать книгу немецкого литератора Генриха Кенига «Literärische Bilder aus Russland» (Штеттин, 1837), которая была переведена через четверть века, в 1862 г., под заглавием «Очерки русской литературы»<sup>24</sup>. Ценность этого труда заключалась не только в том, что он познакомил зарубежного читателя с замечательными достижениями русской литературы, но и в том, что впервые была освещена культурная жизнь сибирского края, до того представлявшегося на Западе страной безлюдья и варварства,

Надо отдать должное осведомленности Г. Кенига и его исследовательскому чутью<sup>25</sup>. Он сумел преодолеть традиционное пренебрежение к культуре окраин, характерное и для многих русских исследователей того времени, убедительно доказав, что Сибирь— это огромная страна с разнообразным климатом и природой, с населением, которое «заботится не об одной промышленности, но и о серьезном образовании ума. В русской книжной торговле это дело известное, что назидательные и исторические сочинения находят главный сбыт в

<sup>23</sup> М. К. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири. Иркутск, 1947, стр. 3.

<sup>24</sup> Перевод был выполнен в Иркутске преподавателем местных учебных заведений и членом Сибирского отдела географического общества Н. И. Поповым.

<sup>25</sup> Большое значение имело для него сотрудничество с писателем Н. А. Мельгуновым—глубоко образованным человеком, отличным знатоком русской литературы.

Сибирь, тогда как романы и разные легкие сочинения вовсе нейдут туда. Один путешественник даже в Восточной Сибири нашел у крестьянина петербургские журналы»<sup>26</sup>.

Г. Кениг писал о зарождении литературной жизни в Сибири, об издании первого сибирского журнала «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», о рукописной литературе, отмечал роль Н. Полевого в создании сибирской беллетристики, называл таких литераторов, как Панкратий Сумароков, Петров, Словцов и др. Он же впервые употребил термин «сибирская литература», под которой подразумевал литературу, создаваемую сибиряками как в самой Сибири, так и за ее пределами.

Однако почин Кенига в изучении литературы Сибири не скоро нашел последователей. Только в 60-х годах XIX в., когда в связи с подъемом общественной жизни началось движение сибирского областничества, проблемы, затронутые Кенигом, привлекли к себе самое пристальное внимание.

Вопрос о «сибирской литературе» областники решали во взаимосвязи с широкой программой развития Сибири, с которой они выступили в середине 60-х годов. Воспитанные на произведениях Белинского, Добролюбова, Чернышевского, испытавшие на себе влияние петрашевцев, а затем народников, «местные патриоты» Сибири рассматривали литературу как одно из средств воспитания высоких гражданских чувств. Они требовали от писателей служения интересам сибирского крестьянства, правдивого и честного изображения жизни, хотели видеть в литераторах людей, способных активизировать духовные интересы местной интеллигенции.

Поскольку Сибирь, по их мнению, имела особые нужды, во многом отличающиеся от общероссийских, то и литература, считали они, должна была освещать именно эти специфически сибирские проблемы. Отстаивая культуру независимую от общерусской, областники, разумеется, не проявляли обскурантизма и не отрицали великих достижений русской культуры. Но они были убеждены, что только полное сосредоточение внимания на местных интересах, только упорное, целенаправленное воспитание любви к своему краю может пресечь абсентеизм (отлив) сибирской интеллигенции, поможет преодолеть равнодушие последней к судьбам беднейших слоев населения Сибири, будет содействовать в конечном итоге процветанию края — пока еще самого отсталого в России.

---

<sup>26</sup> Г. Кёниг. Очерки русской литературы. СПб., 1862, стр. 218.

Называя Н. М. Ядринцева «областным писателем», Г. Н. Потанин так и писал:

«Под названием областной писатель мы разумеем такого, который свой труд и свою жизнь всецело посвятил своей области и защите ее интересов и вне этой сферы значения не имеет или почти не имеет»<sup>27</sup>.

Этот культурный сепаратизм, порожденный как будто бы вполне благородными побуждениями, был вместе с тем глубоко ошибочным по самой своей сути. Он приводил к искусственной духовной самоизоляции сибиряков, порождал непонимание насущных потребностей народа и государства в целом, толкал к совершенно искаженным, предвзятым суждениям о литературных явлениях, не укладывающихся в рамки областнической концепции.

Показательна в этом отношении наиболее крупная литературоведческая работа Г. Н. Потанина «Роман и рассказ в Сибири»<sup>28</sup>. Пронизанная глубокой заботой о судьбах сибирского крестьянства и местной интеллигенции, затрагивающая некоторые «проклятые вопросы» российской действительности, эта работа в то же время содержала превратные суждения о романах «Шаг за шагом» И. Омулевского и «Николай Негорев, или благополучный россиянин» И. Кушевского, суждения, основанные на стремлении противопоставить «сибирскую литературу» общерусской.

Г. Н. Потанин осудил названные романы за то, что «оба автора писали не для сибирской публики, а для русской вообще». По его глубокому убеждению, это «отразилось на их произведениях невыгодным образом»<sup>29</sup>. Омулевский, с точки зрения Потанина, показал в лице своего героя, Светлова, чело- века, чуждого интересам сибирского края. Кушевский же отнесся «неуважительно к местной жизни», так как «вытравил» из первой части романа, отражающей его сибирские впечатления, малейшие намеки на Сибирь и перенес действие романа в Россию. Критик считал это отступлением от реализма и пытался доказать, что талант мстит за это и изменяет Кушевскому.

---

<sup>27</sup> Г. Н. Потанин. О Н. М. Ядринцеве. (Реферат). [Б. г.] (ЦГАЛИ, ф. 381, оп. 1, ед. хр. 235 А, л. 3).

<sup>28</sup> Авесов (Потанин). Роман и рассказ в Сибири. Газ. «Сибирь», № 40, 44, 51 и 52, 3 и 31 октября, 19 декабря 1876 г. Подробный анализ этой работы см. в статье Ю. С. Постнова «Литература Сибири 70-х годов XIX в. в оценке Г. Н. Потанина» («Изв. Сиб. отд. АН СССР», серия обществ. наук, 1966, № 5, вып. 2, стр. 104—111).

<sup>29</sup> «Сибирь», № 44, 31 октября 1876 г., стр. 1.

Подытоживая оценку обоих романов, Г. Н. Потанин писал:

«Чтобы заметить местные интересы, нужно быть оригинальным и до известной степени свободным от могущественного давления общего потока русских умственных сил; нужно не увлекаться заманчивой славой писателя, читаемого повсюду; нужно обречь себя на скромную роль провинциального писателя. Мало того: нужно побороть убеждение, что, отдаваясь служению местному обществу, замыкаешься в узкий круг тривиальных идей»<sup>30</sup>.

Таким образом, Потанин сознательно проповедовал отказ от проблем, волнующих русское общество в целом, призывая, если можно так выразиться, к «краевому затворничеству». Как и Ядринцев, он расценивал переход от местной тематики к общерусской как «отступничество» от своей родины. Они долго не признавали Омuleвского прежде всего за то, что тот, с их точки зрения, был недостаточно предан Сибири. И когда писатель обратился к проблеме эмансипации женщины, решаемой на общерусском материале, Ядринцев написал Потанину:

«Роман Омuleвского не относится к области восточной беллетристики, а потому и не заслуживал бы упоминания (!), но упомянем, как о знакомом»<sup>31</sup>.

Г. Н. Потанин вообще был убежден в том, что переезд областного писателя в столицу самым отрицательным образом сказывается на его творчестве и вызывает «остановку в развитии таланта» и что только в том случае «талант будет крепнуть и становиться богаче силами, если он не будет порывать своих сношений с средой, в которой прошло его детство»<sup>32</sup>.

Именно отрывом от родного края Потанин объяснял упадок таланта такого областного писателя, как Решетников, который, «оставив свою область, делал над собой героические усилия, чтобы привлечь свой талант к чужой среде, нанимался рабочим на постройке дороги, проводил жизнь на одних нарах с рабочими и мужиками, но все напрасно»<sup>33</sup>.

И получается: чужая область — что чужая страна. Поэтому не приходится удивляться категорическому утверждению

---

<sup>30</sup> Там же, стр. 2.

<sup>31</sup> Н. Ядринцев. Письмо Потанину от 11.2.1873. «Сибирские записки», 1917, № 4—5, стр. 178.

<sup>32</sup> Авесов (Потанин). Роман и рассказ в Сибири. «Сибирь», № 51, 52, 19 декабря 1876 г., стр. 2.

<sup>33</sup> Там же.

областников, что сибирская литература может и должна создаваться только уроженцами Сибири.

Так, оценивая поэтическую деятельность Панкратия Сумарокова, отбывавшего ссылку в Сибири, Ядринцев писал:

«...Все его повести, переводы, произведения были искусственны и решительно не приноровлены к среде. Подобные попытки и претензии людей, закинутых в Сибирь, литераторствовать продолжались и впоследствии, но такие лица никогда не могли удовлетворить местным интересам: как люди посторонние Сибири, не понимающие условий ее жизни, не принимающие к сердцу ее нужд, часто предубежденные, они весьма редко были способны относиться симпатично к стране и с любовью отдаться делу ее развития»<sup>34</sup>.

Однако с годами жизнь заставила внести поправки в столь одностороннюю точку зрения. Позднее и Ядринцев и Потанин уже не отказывали «пришлым» художникам в способности правдиво и с глубоким пониманием изображать сибирскую природу и жизнь края. В статье «Владимир Галактионович Короленко» Потанин писал: «Ссылка, злая напасть на Сибирь, имела и благие для нее последствия. Великолепные рассказчики, занесенные ссылкой в эту глухую страну, создали в русской и польской литературе целый отдел беллетристики, посвященной описанию сибирского быта». О Короленко Потанин отзывался с восторгом:

«Кто из наших земляков не испытал удовольствия, видя черты родной страны, изображенными пером такого художника, вернее, такого поэта?»<sup>35</sup>.

Эти признания знаменательны: как бы ни старались представители областничества обособить литературу Сибири и защитить ее от «чуждых», т. е. общерусских, влияний, они не могли не понимать, что развитие местной литературной жизни неотделимо от общего литературного процесса.

В статье «Роман и рассказ в Сибири» Потанин говорил о том, что сибирская интеллигенция воспитывалась на произведениях Тургенева, Гончарова, Толстого, Островского, Писемского. Благодаря этому «мы знали жизнь в Петербурге, Москве, в помещичьих усадьбах, в губернских городах Европейской России лучше, чем в Иркутске или в сибирских де-

---

<sup>34</sup> Н. Ядринцев: Начало печати в Сибири. «Литературный сборник», изд. редакции «Восточного обозрения». СПб., 1885, стр. 367.

<sup>35</sup> Г. П-н (Потанин). Владимир Галактионович Короленко. Иллюстрированное приложение к газете «Сибирская жизнь», № 151, 13 июля 1903 г., стр. 1.

ревнях»<sup>36</sup>. Он отмечал, что Рудины, Инсаровы, Елены, Ольги заставляли с особенной остротой увидеть духовную отсталость местного сибирского общества, где «нет других интересов, кроме мизерных, чиновничьих».

По мнению Потанина, единственно достойным объектом вдохновения для художника могло быть крестьянство. Однако для того, чтобы жизнь крестьян стала объектом художественного творчества, требовалось соответствующее развитие общерусской литературы. Впервые с рассказами из крестьянского быта выступил И. С. Тургенев. Вслед за «Записками охотника» с подобными рассказами вошли в литературу писатели восточных областей Европейской России — Левитов, Железнов, Решетников, Стахеев. Затем этот процесс захватил и Сибирь. Появился Наумов. С этого момента, утверждает Потанин, и началась сибирская беллетристика.

С последней мыслью Потанина мы не можем согласиться. Подлинным началом беллетристики в Сибири (если под беллетристикой понимать романы, повести, рассказы и т. п.) следует считать литературу романтизма, представители которой не описывали, правда, крестьянского быта, как хотел того Потанин, но включали в орбиту своего внимания чиновничество, купечество, ссыльных, а также быт и нравы местных народностей.

Решительное отрицание областниками произведений литературы Сибири «донаумовского» периода объясняется целым рядом причин. П. М. Головачев в статье «Изящная литература и искусства на сибирской почве»<sup>37</sup> утверждал, что до 60-х годов XIX в. в Сибири не было «идейной беллетристики»<sup>38</sup>. По его словам, отдельные произведения исторического и бытового жанра, опубликованные в первой половине XIX в., носили описательный характер и ставили целью лишь познакомить публику с любопытными сторонами жизни. Зачатки «идейной литературы», по мнению критика, появились только в романах Кушчевского и Омуревского, но и эти произведения Головачев не принимал безоговорочно. Критик, по существу, требовал от литературы и от сибирской общественности следования основным принципам областни-

---

<sup>36</sup> А в е с о в (П о т а н и н). Роман и рассказ в Сибири. «Сибирь», № 44, 31 октября 1876 г., стр. 2.

<sup>37</sup> П. М. Г о л о в а ч е в. Изящная литература и искусства на сибирской почве. «Календарь Тобольской губернии на 1893 г.». Тобольск, 1892, стр. 116—122.

<sup>38</sup> Под «идейной беллетристикой» П. М. Головачев подразумевает литературу, выражающую идеи, близкие областничеству.

ческой программы и с этих позиций обвинял литературу недавнего прошлого в отсутствии идейности, а сибирское общество — в духовной летаргии. Несомненно, здесь проявлялся и полемический задор: в страстном протесте против затхлости сибирской провинции Головачев все свое внимание обращал на факты отрицательного характера и недооценивал положительные явления, которые знаменовали собой поступательное развитие сибирской общественности и которые, между прочим, подготовили зарождение самого областничества. В своих обличениях Головачев не останавливался и перед отрицанием изобразительного искусства Сибири, хотя оно уже выдвинуло гениального Сурикова. Критик считал, что и суриковские картины, когда дело касается Сибири, «проигрывают в идейности, становятся этнографическими (например, его «Взятие снежного городка»)»<sup>39</sup>. П. М. Головачев был настолько верен собственной логической схеме, что, говоря о картине «Покорение Сибири», над которой художник тогда работал, предсказывал ей неполный успех:

«Мы уверены, что г. Суриков напишет прекрасную этнографическую картину, где мы увидим инородцев разных племен в соответствующих костюмах, казаков с Волги, Дона и т. д. с типичными физиономиями, но это — и все: в сибирский исторический сюжет нельзя вложить глубокой идеи, тем более в живописи...»<sup>40</sup>.

Несмотря на эти ошибочные тенденции, Головачев верно оценивал сатирическое направление в литературе и живописи Сибири. «Известно, — писал он, — что сибиряки отличаются сатирическим направлением ума, и даже лучшие сибирские писатели начинали свою деятельность в юмористических листках — Наумов, Шукин, Шашков, Ядринцев, Кушевский»<sup>41</sup>.

Критик довольно смело объяснял причины этого:

«Это очень естественно: сибирская действительность представляла и представляет слишком много отрицательных явлений, которые не могут не бросаться в глаза всем и каждому»<sup>42</sup>.

Требование обличительного изображения действительности — наиболее сильная сторона статьи П. М. Головачева, как и вообще позиции областников в вопросах литературы. Отразить тяжкие последствия для Сибири уголовной ссылки,

<sup>39</sup> Там же, стр. 120.

<sup>40</sup> Там же, стр. 121.

<sup>41</sup> Там же.

<sup>42</sup> Там же.

правдиво описать сибирский крестьянский мир, осветить переселенческий вопрос, показать жестокую эксплуатацию «инородцев», изобразить «в ярком освещении, как устраивается и притом как медленно понижается, выдыхается умственно и нравственно интеллигент, попавший в какое-нибудь сибирское захолустье»<sup>43</sup>, — вот назначение идейной беллетристики Сибири, с точки зрения автора статьи.

К сожалению, Головачев не только не видит сколько-нибудь достойных писателей в прошлом, но и крайне пессимистически смотрит на появление их в ближайшем будущем — настолько отсталой, бескультурной представляется ему Сибирь.

Эту точку зрения разделяли многие областники, в частности Потанин и особенно Ядринцев. И если Потанин высоко оценивал наумовские рассказы, то Ядринцева не удовлетворял и Наумов. Характерно, что Потанин восхищался стихами Ядринцева, выражая уверенность в том, что последний сможет повести за собой сибирскую поэзию, между тем как Ядринцев иронизировал по собственному адресу (и был, несомненно, ближе к истине, чем его друг). В письме Потанину он шуточно замечал: «Что же Вы это делаете? Развиваете безвкусицу в соотечественниках. Проза Словцова и Шапова и поэзия Семилуженского!»<sup>44</sup>. О, страна татаро-самоедской словесности! О, несчастное отечество!.. О нашем художественном творчестве потомство скажет, что мы были хорошие люди, но плохие музыканты... В свое оправдание мы можем сказать, что мы должны были, как наши отцы, первые шлепать броднями по нерасчищенным дорогам таежной словесности, что патфайндерам трудно было проложить рельсовую дорогу в тайге и не замочить сапог...»<sup>45</sup>.

Годы внесли существенные поправки в литературный максимализм областников. По-новому, с учетом исторического опыта было осмыслено ими общественное и культурное развитие Сибири на протяжении прошедшего столетия. Идеологи областничества оценили и Омuleвского, и Сурикова. Они более пристально изучили первоначальные этапы борьбы за просвещение, культуру и научное познание края. В книге «Областническая тенденция в Сибири»<sup>46</sup> Потанин отдал должное двухтомному труду П. А. Словцова «Историческое обо-

<sup>43</sup> Там же, стр. 119.

<sup>44</sup> Семилуженский — один из псевдонимов Ядринцева.

<sup>45</sup> «Письма Ядринцева Н. М. к Г. Н. Потанину». Красноярск, 1918, стр. 152.

<sup>46</sup> Г. Н. Потанин. Областническая тенденция в Сибири. Томск, 1907.

зрение Сибири». При этом объективность Потанина была настолько велика, что он признал значение Словцова для Сибири, несмотря на отсутствие у того областнических тенденций:

«Хотя труд Словцова не отмечен ярким чувством сибирского патриотизма, чтение этой книги воспитывало все-таки в сибиряках интерес к своей родине»<sup>47</sup>.

Уже более беспристрастно разобрался Потанин также в поэтической и общественной деятельности П. П. Ершова, мечтавшего «возродить» сибирский край, но, конечно, потерпевшего поражение. Если раньше, в «Крымских письмах сибиряка»<sup>48</sup>, критик решительно во всем винил самого Ершова, говоря о его слабохарактерности, малоподвижности, даже лени, то теперь он объяснял бесплодность его «литературных мечтаний» прежде всего его одиночеством, отсутствием благоприятной общественной среды.

Областническая точка зрения на литературу Сибири подверглась острой критике в работах литературоведа Н. Насимовича-Чужака<sup>49</sup>, а затем в трудах М. Азадовского, Г. Кунгурова, Д. Болдырева-Казарина и др.

Для советских исследователей было очевидно, что литературная жизнь Сибири не могла рассматриваться как нечто самостоятельное, независимое от общерусской литературы, и тем более противостоящее ей.

«... Областных художников нужно расценивать не с точки зрения присутствия в их творчестве областных—сепаратистских настроений, а с точки зрения освобождения от них ради интересов более широкого охвата и предназначения. Не к сибирскому должен стремиться областной художник, а через сибирское на широкий простор общечеловеческой жизни»<sup>50</sup>.

Эта справедливая мысль, высказанная Д. Болдыревым-Казариным, не была, однако, подкреплена ходом дальнейших исследований исследователя, как не всегда эта концепция строго выдерживалась и некоторыми другими сибиреведами. Нередко, к сожалению, случалось, что, опровергая ошибки областников, критики невольно повторяли их.

---

<sup>47</sup> Там же, стр. 2.

<sup>48</sup> А в е с о в ( П о т а н и н ). Крымские письма сибиряка. «Сибирь», № 15, 11 апреля 1876, стр. 3—4.

<sup>49</sup> Н. Ч у ж а к. О сибирской и ино-сибирской интеллигенции. «Сибирский архив», 1913, № 15, стр. 270—275; «Сибирский мотив в поэзии». Чита, 1922; «Ссылка и областничество». В сб. «Сибирская ссылка». М., изд-во об-ва политкаторжан, 1927; и др.

<sup>50</sup> Д. А. Болдырев-Казарин. Sibirica в искусстве. «Красные зори» (Иркутск). 1923, № 5, стр. 110.

Так, Б. Жеребцов выдвигает следующее положение: «Чтобы установить место «сибирской» областной литературы в общей эволюции русской литературы, нужно отыскать, установить и описать сибирскую литературную традицию, т. е. изучить самую сибирскую литературу в ее внутреннем развитии»<sup>51</sup>.

Исследователь не отказывает пришельцам в умении описывать Сибирь, но, хочет он того или нет, получается, что эти писатели, обратившись к сибирской теме, должны были подчиняться местной традиции, следовать «законам внутреннего развития» литературы области. Больше того, согласно логике автора, они обязаны были отказаться об общерусских литературных традиций, так как эти традиции помешали бы им постигнуть и отразить сибирскую специфику.

С этим нельзя согласиться. На наш взгляд, сибирской литературной традиции, хотя бы и относительно независимой и развивающейся по своим внутренним законам, не существует вообще. Речь может идти лишь об особенностях общерусской литературной традиции в условиях Сибири. Нет сибирской литературы как таковой, а есть лишь литературная жизнь в Сибири, или, проще говоря, — литература Сибири.

Мы присоединяемся к решению этой проблемы М. К. Азадовским, который пишет на страницах Сибирской советской энциклопедии:

«Совершенно ясно, что всякие попытки обоснования сибирской литературы ссылками на физико-географическое или даже социально-экономическое своеобразие Сибири идеологически порочны в корне и неизбежно ведут в той или иной форме к областническим реминисценциям»<sup>52</sup>.

Это — критика ошибок. А вот и положительная программа:

«Таким образом, сибирская литература есть участок общерусской литературы, отображающей на краевом (местном, областном) материале ее общий путь развития и происходящие в ней процессы борьбы классов. Наблюдаемые же в ней специфические местные черты и особенности являются лишь результатом той конкретной обстановки и условий, в которых протекал на местах общий процесс классовой борьбы и кото-

---

<sup>51</sup> Б. Жеребцов. О сибирской литературной традиции. Наблюдения и заметки. «Сибирский литературно-краеведческий сборник», № 1. Иркутск, 1928, стр. 23.

<sup>52</sup> М. Азадовский. Литература сибирская. (Дореволюционный период). «Сибирская советская энциклопедия», т. 3, стб. 162.

рые определили ту или иную расстановку «социальных сил»<sup>53</sup>.

Эта четкая формулировка позволяет М. К. Азадовскому нарисовать в своей статье в общем верную картину развития литературы в Сибири (хотя связь ее с общерусским литературным процессом могла бы быть прослежена более глубоко). И, напротив, неверное представление Б. Жеребцова о собственно сибирской традиции заставляет его бесполезно нащупывать критерии таковой, вынуждает отрицать принадлежность к литературе Сибири чуть ли не всех произведений, созданных сибиряками в XIX в.

По мнению критика, по-настоящему литература в Сибири зародилась только после революции 1905 г.<sup>54</sup> В обоснование этого максималистского тезиса он пишет:

«...сибирская общественность стала настолько сильной и культурной, что оказалась в состоянии выделить из своей среды даровитых художников, которые пошли уже своим особым путем»<sup>55</sup>.

Вот смысл «абстрагирования» от общерусской литературы — сибирские художники, оказывается, должны идти особым путем!

Конечно, литература областей, развиваясь в русле литературы общенациональной, вносила в нее и черты местного своеобразия. Но, повторяем, это особенное не могло быть ни определяющим, ни самостоятельно развивающимся по своим «внутренним законам»!

\* \* \*

Определение специфических черт литературы области, того, что принято называть «местным колоритом», — проблема весьма сложная и пока еще далеко не решенная. В свое время Н. М. Ядринцев писал, что местный колорит в искусстве Сибири заключается в передаче особенностей данного края:

«По мере того, как будет пробуждаться жизнь сибирского общества, несомненно появятся художники, которые запечатлеют величественную природу девственной страны, оригинальный образ жизни, ее этнографические черты и ту своеобразную красоту, какую веет величественная тайга и горная природа Южной Сибири, не уступающая Швейцарии»<sup>56</sup>. Здесь

<sup>53</sup> Там же, стб. 163.

<sup>54</sup> Б. Жеребцов. О сибирской литературной традиции, стр. 37.

<sup>55</sup> Там же.

<sup>56</sup> Н. М. Ядринцев. Сибирь как колония. 1892, стр. 658.

же он отмечал, что к искусству Сибири относятся произведения с сибирскими сюжетами.

Г. Н. Потанин, уделяя большое внимание воздействию на духовную жизнь факторов географического характера, развивал мысль о том, что «особенности сибирского климата неизбежно должны отразиться на искусстве, если оно возникает на сибирской почве»<sup>57</sup>.

В этих рассуждениях есть определенный резон, но они, конечно, далеко не исчерпывали существа проблемы и недостаточно раскрывали социальную сторону вопроса. Именно на нее обратил внимание Н. Насимович-Чужак.

«Под коренным... сибирским мотивом в поэзии, — писал он, — мы разумеем отображение сибирских настроений, вызванных специфическими условиями правового и социального бытия, а также, конечно, образы сибирской природы и быта, поскольку последний приемлется поэтами. На языке художника это зовется: сибирские краски»<sup>58</sup>.

Н. Чужак придавал большое значение умению поэта «чувствовать все специфическое, все особенное (наряду с такой же способностью обобщения); собрание всего «особенного» в русской жизни и природе и составит величайшую сокровищницу — русскую поэзию»<sup>59</sup>. Однако в своем желании отстоять это «особенное» критик впадал в противоположную крайность, требуя от сибирских художников «своих собственных, не взятых на прокат у метрополии, а выношенных в собственной душе художественных образов»<sup>60</sup>.

Как замечал М. Азадовский, это уже не марксистский подход к проблеме.

Против обязательности местного сюжета, этнографических подробностей и наличия особенных, местных словечек возражал Д. Болдырев-Казарин.

«... Единственным требованием, которое мы предъявляем к сибирскому художнику, — писал он, — является нерушимая сплавленность его творческой личности с тем «sibirica», что носится в воздухе его страны, окружает его в повседневном быту, дышит на него из глубины веков истории его народа и течет в его жилах вместе с кровью предков. Только одно и единственное требование, все остальное — «от лукавого»<sup>61</sup>.

<sup>57</sup> Г. Н. Потанин. Нужды Сибири. «Сибирь, ее современное состояние и ее нужды». СПб., 1908, стр. 265.

<sup>58</sup> Н. Чужак. Сибирский мотив в поэзии. [Б. м., б. г.], стр. 61.

<sup>59</sup> Там же, стр. 5.

<sup>60</sup> Там же, стр. 6.

<sup>61</sup> Д. А. Болдырев-Казарин. Sibirica в искусстве, стр. 113.

Думается, однако, что стремление исследователя умалить значение местных сюжетов и предложить вместо них нечто «носящееся в воздухе» мало плодотворно. И сюжеты, и картины природы, и этнографические подробности, и особенности местной речи — все это по-своему передает местный колорит, как, впрочем, передает его и умелое, тонкое воспроизведение самой атмосферы края, которое, по-видимому, и имеет в виду Болдырев-Казарин. Здесь очень важно отметить также взаимодействие русских писателей-сибиряков с культурой и фольклором местных народностей. Но главное все же при решении этой проблемы — исходить из социальной сущности искусства, попытаться определить, как отразилось в нем **своеобразие общерусских социальных процессов в условиях Сибири.**

Будучи одной из отдаленных окраин России, Сибирь на протяжении многих десятилетий находилась на положении колонии русского царизма и долгое время не пользовалась даже тем минимумом политических прав, которые были предоставлены областям Европейской России. Правительство рассматривало Сибирь только как источник обогащения царской казны и выкачивало из нее все, что было возможно. Правящие круги России были глубоко равнодушны к нуждам Сибири, смотрели сквозь пальцы на совершенно неограниченные злоупотребления местных властей. Правда, Сибирь почти не знала помещичьего землевладения, но положение сибирского крестьянства в условиях феодальной России все равно было исключительно тяжелым. Дворянство, представленное в Сибири преимущественно как администрация, угнетало и обирало крестьян, лишало их человеческих прав. Сибирская деревня страдала от мироедов-кулаков, которые стали мощной силой еще в XVIII в. Чиновники, купцы, золотопромышленники наживались в Сибири любыми средствами, идя ради обогащения на преступления и убийства.

«Золотопромышленник — это сибирский помещик, хуже того — это рабовладелец в полном смысле слова; помещик ради собственного благосостояния иногда заботился о крестьянине, предупреждая хотя бы невыгодную для него смертность; золотопромышленник смотрит на рабочего, как на вещь, которая если и пропадет — ему безразлично»<sup>62</sup>.

Начиная с XVII в. Сибирь стала постоянным местом торговли и ссылки. Ежегодно шли сюда «по канату» тысячи лю-

<sup>62</sup> И. П. Белоконский. По тюрьмам и этапам. Орел, 1887, стр. 229.

дей — «несчастных», как называло ссыльных местное население. Уголовная ссылка во многих случаях самым отрицательным образом сказывалась на жизни края, на благополучии местного населения. Сибирь в глазах тех, кто жил в коренной России, становилась землей отверженных и вызывала страх.

Суровый климат, несовершенство средств связи, малочисленность населения в сочетании с экономической и политической отсталостью края — все это откладывало отпечаток на развитии культуры и литературы.

Однако было бы неверным изображать сибирскую действительность прошлого только в черных красках. Исследователи культуры и литературы Сибири М. К. Азадовский, Г. Ф. Кунгуров, Е. Д. Петряев неоднократно выступали против крайне мрачной оценки ее — оценки, имевшей многолетнюю традицию. «Одним из первых авторов, нарисовавших суровую и отталкивающую картину сибирских городов в конце XVIII в., был знаменитый ученый и путешественник Георг Гмелин, на суждения и оценки которого очень часто ссылались позднейшие историки»<sup>63</sup>.

Словцов, Щапов, Шашков, Андриевич, Ядринцев, Потанин, Головачев и другие сходились в отрицательной оценке жизни и культуры старой Сибири. С. Шашков писал, что Сибирь «была гораздо невежественнее тогдашней России»<sup>64</sup>. Считая умственную жизнь сибирских городов на рубеже XVIII—XIX вв. крайне примитивной, он заявлял: «По всей Сибири было всего каких-нибудь пять человек образованных и порядочных чиновников»<sup>65</sup>.

М. Азадовский давал довольно убедительное обоснование такой позиции некоторых иностранных путешественников и местных исследователей. Он считал, что мнения Гмелина и других иностранцев диктовались слишком поверхностным представлением о Сибири, и противопоставлял им совершенно иные высказывания ряда зарубежных ученых, достаточно долго живших в Сибири и глубоко изучивших ее, — Сиверса, Лаксмана, Кочрена, Ханстена и др.<sup>66</sup> Что касается суровых суждений сибирских историков и публицистов, то Азадовский объяснял это политическими причинами:

<sup>63</sup> М. К. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 7.

<sup>64</sup> С. Шашков. Очерки русских нравов в старинной Сибири. «Отечественные записки», 1867. октябрь, кн. 2, стр. 703.

<sup>65</sup> «Дело», 1879, № 1, стр. 81.

<sup>66</sup> М. К. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 10—12.

«Щапов боролся с эгоистическими стремлениями современному ему сибирского общества и стремился осмыслить их исторически; Шашков выступал против чрезмерного апологетизма Сибири и некритического отношения к ее прошлому, которое проявлялось у некоторых сибирских публицистов и писателей и в котором он видел один из тормозов прогресса»<sup>67</sup>.

Кроме того, сибирские областники, борясь за развитие культуры родного края, намеренно подчеркивали отрицательные факты, чтобы возбудить общественную мысль, помочь сибирской интеллигенции осознать ненормальность существующего положения.

М. К. Азадовский считал, что вопрос о сибирской культуре ставился вне сравнения с остальной российской провинцией. Между тем только так можно было объективно определить уровень культурного развития края. С фактами в руках Азадовский доказывал, что «во многих отношениях Сибирь стояла не ниже, но даже выше» других областей России<sup>68</sup>. В работе «Очерки литературы и культуры Сибири» он нарисовал широкую картину интенсивной культурной жизни края первой половины XIX в.

В книге приведены многочисленные сведения о вечерах, балах, концертах, любительских спектаклях, обсуждениях литературных новинок, — сведения, которые опровергают мнение об «ужасающей культурной отсталости» Сибири. В образованных кругах Иркутска и других городов наблюдается исключительно сильная страсть к чтению, создаются многочисленные библиотеки, среди купцов появляются собиратели книг, картин и гравюр. Жители сибирских городов выписывают столичные журналы и газеты, интересуются политикой и новостями, следят за всем, что происходит в мире. Грамотность распространяется не только среди купечества, чиновников, духовенства, но захватывает и «низшие слои» — крестьян и солдат. Отсутствие постоянной периодической печати (до 1857 г.), конечно, отрицательно сказывается на местной культурной жизни, но уже конец XVIII столетия отмечен изданием в Тобольске журнала «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (1789—1791 гг.) — единственного в то время провинциального журнала в России. В Тобольске же издаются еще два журнала: «Журнал исторический, выбранный из разных книг» (1790 г.) и «Библиотека ученая, экономическая,

<sup>67</sup> Там же, стр. 43.

<sup>68</sup> Там же, стр. 9.

нравоучительная, историческая и увеселительная» (1793—1794 гг.). В 1828 г. в Красноярске готовится к изданию, а затем выходит в свет в Москве «Енисейский альманах», высоко оценённый столичной печатью.

Огромную роль в развитии сибирской культуры сыграли политические ссыльные. Вокруг декабристов создавались кружки местной интеллигенции. Декабристы способствовали изучению края, быта и фольклора местных народностей, насаждали образование, приобщали сибиряков к музыкальной и театральной культуре. С появлением первых сибирских газет в них приняли участие ссыльные петрашевцы.

Таким образом, культура Сибири отражает как бы две стороны одного и того же процесса: она подвергается отрицательному воздействию феодально-крепостнического уклада России и в то же время укрепляется усилиями ряда передовых людей своей эпохи. Деятельность последних — не «огоньки в ночи», а широко расходящиеся волны культурного движения, за которым нельзя не видеть борьбы наиболее передовых представителей дворянства, а затем буржуазии и разночинной интеллигенции против социальных уродств царской России, за просвещение и прогресс.

Вместе с тем хотелось бы отметить один момент. Опровергая негативную позицию в отношении сибирской культуры, не следует все же впадать в противоположную крайность.

Полемизируя с Б. Жеребцовым, М. Азадовский писал: «Можно легко подобрать огромное количество фактов, свидетельствующих о безграмотности и невежественности сибирского чиновничества и сибирского учительства. Несомненно, в общей массе оно было таково, но оно было таково и в остальной дореформенной России, об этом достаточно красноречиво свидетельствуют Гоголь, Герцен, Салтыков-Щедрин и другие писатели. Но в отличие от многих других провинций уже в первые десятилетия XIX в. из среды сибирских учителей и мелкого сибирского чиновничества выделились поэты, краеведы, исследователи. Еще легче подобрать факты, свидетельствующие о невежестве, самодурстве, пьяном разгуле сибирского купечества..., но и в данном случае не в этих фактах специфика сибирского быта. Важнее то, что в Сибири уже очень давно из среды купечества выделились культурные деятели, меценаты, библиофилы, владельцы библиотек и собиратели картин»<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup> Там же, стр. 33—34.

Здесь М. Азадовский вступает в противоречие с самим собой. В предисловии к книге он отмечает, что в Сибири в силу отдаленности и оторванности края от центра был сильнее произвол администрации и бесправие широких масс населения<sup>70</sup>. Между тем в ходе изложения он как бы забывает об этом и утверждает, что отрицательные явления в Сибири были выражены несколько не ярче, чем в России. И получалось: хорошее в Сибири — специфично, а плохое — как всюду.

В действительности же в Сибири и уродства были страшнее, и страдания сильнее. И если уж говорить о сибирской специфике, то она — в кричащих контрастах, в сочетании чудовищного гнета и «порыва к свету», в совместимости как будто бы несовместимых явлений. Увлеченный полемикой, М. Азадовский несколько утрачивает объективность, отдает щедрую дань местному патриотизму и, по существу, очень мало говорит об отрицательных фактах в истории сибирской культуры.

Большим достоинством его книги является глубокий анализ особенностей общественной жизни Сибири, своеобразия ее социального состава. М. Азадовский отмечает, что если в остальной части страны дворянство было основным носителем культуры, то в Сибири эту функцию выполнял «торгово-промышленный и ремесленный класс». Причем дворяне, занимавшие административные посты и использовавшие их для самой хищнической наживы, наталкивались на «организованное сопротивление экономически мощного сибирского купечества». Эта борьба породила обширную рукописную литературу и отразилась в целом ряде произведений сибирских писателей и публицистов. Отсюда обличительные тенденции литературы, направленные против «сибирских сатрапов».

Дворянская культура Сибири была связана с узким кругом людей, окружавших того или иного администратора, и определялась его склонностями. Поэтому в Тобольске процветала музыка, в Красноярске — литература и т. д. Основная масса сведений о дворянской культуре относилась к западносибирским городам, между тем как сведения о буржуазной культуре были связаны с городами Восточной Сибири.

М. Азадовский остановился и на проблеме культурного своеобразия городов, особенно двух основных культурных центров — Тобольска и Иркутска, из которых первый олицетворял старую Сибирь, а второй — новую, буржуазную<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> Там же, стр. 3.

<sup>71</sup> Там же, стр. 45—52.

Несомненно, в условиях отдаленности сибирских городов друг от друга и их разобщенности, а также в результате их традиционной вражды на почве экономических противоречий своеобразие каждого из них представляло любопытное явление и обуславливало особые оттенки в местной литературной жизни.

Однако, принимая все это во внимание, мы тем не менее не находим возможным рассматривать литературу Сибири по культурным гнездам, дробя литературную жизнь края на более мелкие участки. Иначе мы положили бы в основу анализа частное, «индивидуальное», чем неизбежно умалили бы главное, определяющее — общерусский литературный процесс, борьбу и смену литературных направлений. Как ни отличались друг от друга писатели Тобольска и Иркутска, Красноярска и Нерчинска, они являлись представителями определенных литературных направлений и шли в ногу со своими единомышленниками в Европейской России.

Вот почему мы рассматриваем литературу Сибири первой половины XIX в. в соответствии с теми этапами развития, которые прошли русское общество и литература этих лет в целом.

Правда, это развитие протекало здесь более медленными темпами, чем по другую сторону Урала: сказывалась все-таки отдаленность края от основных культурных центров страны, отсутствие местной издательской базы, а также журналистики и критики. В Сибири почти не создавалось литературных группировок и борьба направлений не приобретала столь острого характера, как в Москве и Петербурге, не находила своего выражения в печатной полемике. В первой половине XIX в. здесь не выявляется по-настоящему больших художников, а те из литераторов-сибиряков, которые обнаруживают определенные дарования, не имеют возможности в полной мере развить их. Ни один из местных писателей и поэтов не становится профессиональным литератором и занимается творчеством лишь «в часы досуга».

Поэтому литература Сибири отстает в своем развитии от общерусской, с опозданием преодолевает устаревшие литературные традиции и с большим трудом усваивает новое.

В русской литературе первая четверть XIX в. — время кризиса классицизма и сентиментализма, на смену которым приходит романтизм. Вторая четверть XIX в. — период нарастающего кризиса романтизма и постепенного утверждения критического реализма, который окончательно торжествует в 40-е годы.

А что происходит в Сибири?

Классицизм здесь сохраняет в начале века достаточно прочные позиции. Параллельно с этим в конце XVIII — начале XIX в. создаются произведения в духе сентиментализма. Влияние этих двух направлений сказывается на рукописной литературе, которая является в Сибири этих лет преобладающей.

В русской литературе романтизм возникает к концу первого десятилетия XIX в. и расцветает в 10-х годах (Жуковский, ранний Пушкин, Батюшков). В Сибири же романтизм зарождается только в начале 20-х годов (первые произведения Ф. Бальдауфа).

Если в 30-е годы в русской литературе происходит утверждение критического реализма (Пушкин, Лермонтов), то в Сибири это — время расцвета романтической прозы.

Романтизм вообще оказался в условиях Сибири более устойчивым, чем в остальной части России. Он продолжал сохранять господствующее положение здесь и в 40-е годы (М. Александров, Е. Милькеев и др.), в то время как за пределами Сибири он уже был оттеснен на второй план критическим реализмом.

Причиной тому была не только провинциальная отсталость Сибири и замедленность развития ее литературы, но также и то, что Сибирь — этот край тюрем и ссылки, вековых страданий и почти неограниченного произвола властей, — нелегко было сделать объектом конкретно-реалистического и критического изображения: мучения жертв царизма слишком наглядно демонстрировали перед каждым литератором участь, которая могла ожидать его за откровенное и правдивое слово. Поэтому нередко местным писателям приходилось облачать свои суровые суждения о жизни в условно-романтические одежды.

В 40-х — первой половине 50-х годов в Сибири наблюдался спад литературной жизни. Но тем не менее и в эти годы творчество писателей-сибиряков развивалось в русле общерусского литературного процесса (реалистические тенденции в поэзии М. Александрова и Д. Давыдова, в краеведческих трудах В. Паршина, в рукописной журналистике). Именно через краеведение и рукописную литературу Сибирь шла к реализму. И в этом — специфика местной литературной жизни.

Своеобразие ее проявилось и в том, что влияние ссыльных нередко приводило к активизации литературных сил края, в то время как репрессии царского правительства обескровливали литературу центра: так было после подавления декабрь-

ского восстания, так случилось и в 80-е годы, в годы разгрома народнического движения.

Отдаленность Сибири, являясь ее бедой, иногда оказывалась, таким образом, и ее преимуществом.

Периодизация литературы Сибири первой половины XIX в. несколько отличается от общерусской. Мы выделяем первые два десятилетия как время классицизма и сентиментализма в местной литературе, как период развития рукописной традиции, подготавливающей появление печатной литературы.

Переломным моментом в общественной жизни Сибири становится реформа Сперанского (1819—1820 гг.), а если говорить о литературной жизни — создание в эти годы первых романтических произведений Бальдауфа. Огромным стимулом для развития литературы края становится декабристская ссылка. Поэзия в Сибири расцветает именно в 20-е годы. Это и дает нам основание рассматривать в рамках данного десятилетия творчество Бальдауфа и поэтов-декабристов (хотя они писали и в последующие годы).

30-е годы — время расцвета романтической прозы. С появлением в 1830 г. повести Н. Полевого «Сохатый» выступают на литературную арену И. Калашников, Н. Щукин, Н. Бобылев. Серьезное влияние Н. Полевого испытывает на себе и П. Ершов.

40-е — первая половина 50-х годов — период перехода от романтизма к реализму.

В 1856—1857 гг. Сибирь, как и вся Россия, переживает начало нового этапа в развитии общества и литературы — революционно-демократического. Но он уже выходит за пределы исследуемой здесь темы.

\* \* \*

Впервые в советском литературоведении литература Сибири первой половины XIX в. была кратко освещена М. К. Азадовским в «Сибирской советской энциклопедии» (т. 3, стб. 161—174). Позднее Азадовский вернулся к этому периоду и более детально рассмотрел «сибирскую беллетристику тридцатых годов», рукописные журналы, творчество М. Александрова и отчасти П. Ершова в упомянутой выше книге «Очерки литературы и культуры Сибири». О творчестве сибирских поэтов-романтиков, о декабристе А. Бестужеве-Марлинском, об авторе исторических романов И. Калашникове писала в ряде своих статей А. А. Богданова. К местной литературной жизни,

к рукописным изданиям и вопросам бытования русской классики в Сибири обратился известный сибирский писатель и литературовед Г. Ф. Кунгуров<sup>72</sup>. Крупный вклад в изучение культуры и литературы Забайкалья, особенно творчества Ф. Бальдауфа и группы нерчинских литераторов 30—40-х годов, внес Е. Д. Петряев<sup>73</sup>. Жизнь и творчество П. Ершова нашли своего серьезнейшего исследователя в лице В. Г. Уткова<sup>74</sup>.

Во всех названных работах освещалась роль ссыльных декабристов в общественной жизни Сибири, деятельность кружков местной интеллигенции, накопление книжных богатств, развитие читательских интересов, словом, литературная жизнь в тесной связи с культурой Сибири, как один из элементов ее. И, хотя история культуры огромного края требует дальнейшего изучения, автор данной работы сознательно переносит «центр тяжести» с вопросов культуры на освещение литературного процесса как такового, на анализ самих художественных произведений.

Многие из исследуемых произведений ныне забыты. Но в свое время они сыграли определенную роль в местном литературном движении и могут представить интерес для современного читателя. Некоторые из них и до настоящего времени остаются «в тени». Лишь кратко упомянуты в книге такие литераторы, как А. Таскин, С. Черепанов, А. Игумнов и др. Ждут своего освещения Н. Минин, А. Шидловский, поэты-тоболяки 30-х годов и др. Сложный и малоизвестный период в литературной жизни Сибири требует дальнейших разысканий и исследований.



---

<sup>72</sup> Г. Ф. Кунгуров. Пушкин и старая Сибирь. Иркутск, 1949; Он же. Сибирь и литература. Иркутск, 1965.

<sup>73</sup> Е. Д. Петряев. Исследователи и литераторы старого Забайкалья. Чита, 1954; Он же. Люди и судьбы. Чита, 1957; Он же. Нерчинск. Очерки культуры прошлого. Чита, 1959; Он же. Вперед!—огни. Иркутск, Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1968.

<sup>74</sup> В. Г. Утков. П. П. Ершов. (Биографический очерк). Новосибирск, 1950; Он же. Сказочник П. П. Ершов. Омск, 1950; Он же. Рожденный в недрах непогоды. Новосибирск, 1966; и др.



## ГЛАВА I.

### ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ СИБИРИ КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX в.

ТОБОЛЬСКИЕ ЖУРНАЛЫ 90-х ГОДОВ.  
П. А. СЛОВЦОВ



онец XVIII в. в истории русской литературы ознаменован кризисом классицизма—основного литературного направления этого столетия. В произведениях ряда писателей и поэтов все более отчетливо проявлялись новые тенденции, которые подготавливали почву для сентиментализма. Борьба и взаимодействие этих двух направлений и составляли содержание литературного процесса на рубеже XVIII—XIX вв.

Кризис классицизма был обусловлен глубокими социальными причинами. Крестьянская война 1773—1775 гг. пошатнула устой феодально-крепостнического государства. Хотя она была жестоко подавлена, последствия ее сказывались на общественной жизни России в течение многих лет. Волнения крестьян продолжались и в конце концов вылились в так называемую «вторую пугачевщину», охватившую 12 губерний (конец 1796—начало 1797 г.). Естественно, что это народное недовольство распространялось и на наиболее передовые круги дворянства, порождало у них иное, чем прежде, отношение к современной действительности, а это, в свою очередь, сказывалось на содержании и характере литературы. Строгие

ограничительные рамки классицизма в этих условиях становились тесными и противоречили духу времени. Личность стремилась вырваться из цепких пут феодальной государственности, старалась отстоять свою свободу и достоинство. Именно этой потребности в значительной степени отвечал сентиментализм.

На сознание лучших людей России не могла не повлиять и Великая французская революция XVIII в., которая ниспровергла феодально-абсолютистский строй и открыла собою новую эру в развитии человечества. Несмотря на самые суровые меры царского правительства против «вольнодумства» и расправу с Радищевым и Новиковым, идеи революционные и просветительские проникали в Россию и так или иначе воздействовали на развитие русской литературы.

Конечно, борьба и смена литературных направлений в этих условиях представляла собой процесс сложный и длительный. Он не только захватил последнее десятилетие XVIII в., но и распространился на начало следующего столетия, пока в ожесточенных литературных боях классицизм не был окончательно побежден романтизмом. Процесс этот осложнялся тем, что уже в XVIII в. складывались реалистические тенденции, которые подрывали изнутри не только классицизм и сентиментализм, но и романтизм, шедший им на смену.

Тенденции классицизма и сентиментализма проявились и в литературе Сибири. Правда, здесь они не нашли такого отчетливого выражения, как в центре, поскольку в Сибири на рубеже двух веков не раскрылось сколько-нибудь крупных литературных дарований и сама местная литературная жизнь была развита слабо. Провинциальная отсталость, характерная и для других областей России, помножалась в условиях Сибири на отдаленность от основных центров культуры, несовершенство средств связи, сознательное стремление правительства ограничивать развитие духовной жизни сибирской окраины. Со времен Петра I сибиряки не один раз пытались добиться разрешения на создание своей типографии, но бесполезно. И только во второй половине 80-х годов XVIII в. положение здесь несколько улучшилось.

15 января 1783 г. Екатерина II, стремившаяся играть перед мировой общественностью роль просвещенной государыни, издала указ «О вольных типографиях». Несмотря на то, что этот указ весь состоял из оговорок и ограничений, он способствовал развитию типографского дела, в том числе в Сибири. В 1785 г. была открыта типография при Иркутском губернском

правления<sup>1</sup>. Однако к литературной жизни города она не имела никакого отношения. Иное дело — типография тобольского купца Василия Корнильева, открывшаяся в 1789 г., которая дала значительный толчок развитию литературной деятельности в Тобольске. В ней печатались журнал «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (1789—1791 гг.), «Журнал исторический, выбранный из разных книг» (1790 г.) и «Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная, в пользу и удовольствие всякого звания читателей» (1793/94 г.). Кроме того в этой же типографии был издан целый ряд книг, в том числе переводная английская повесть «Училище любви», имевшая такой успех, что потребовалось повторное издание. Благодаря наличию в Тобольске достаточно благоприятных условий (к которым нужно отнести и покровительство просвещенного тобольского наместника А. В. Алябьева) именно этот город стал в 90-х годах XVIII в. наиболее крупным центром литературной жизни Сибири.

Журнал «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», несмотря на многие недостатки, представлял по тем временам явление незаурядное. Прежде всего это был единственный в данный период провинциальный журнал России. Ему предшествовал лишь ярославский журнал «Уединенный пошехонец» (1786/87 г.), но к этому времени «дедушка провинциальной печати» (по выражению Н. М. Ядринцева) уже прекратил свое существование. Главное значение «Иртыша» состояло в том, что он объединил вокруг себя большую группу литераторов, среди которых были не только тоболяки. Основными сотрудниками журнала считались учителя Тобольского главного народного училища — И. Воскресенский, И. Лафинов, И. Набережный, В. Прудковский. Именно при этом училище издавался журнал с целью «доставить учителям свойственное званию их упражнение». На учителях лежала обязанность редактировать все материалы.

Наиболее активным сотрудником журнала стал ссыльный дворянин поэт Панкратий Платонович Сумароков. Он не значился официальным редактором журнала, но, по существу, был таковым, являясь одновременно и наиболее печатающимся автором.

Среди других сотрудников журнала следует назвать тобольского прокурора И. И. Бахтина, солдата Н. Смирнова, ученика Тобольского главного народного училища И. Труни-

---

<sup>1</sup> «Иркутская летопись». П. И. Пежемский и В. А. Кротов, Иркутск, 1911, стр. 115.

на. Это — наиболее приметные дарования. В числе авторов были также сержант гвардии Бауэр, учитель Иркутского главного народного училища Бельшев, ученики Тобольского главного народного училища Евсеев, Иванов, знаток Бухары Апля Маметов, ученик Тобольской семинарии Мамин, ссыльный Михаил Алексеевич Пушкин, дальний родственник великого поэта, сестра П. П. Сумарокова — Наталья Платонова, добровольно поехавшая в ссылку вместе с братом, и др.

Известно, что с декабря 1790 г. по июнь 1791 г. в Тобольске останавливался Радищев на пути к месту своей ссылки — в Илимский острог. Он, без сомнения, познакомился с людьми, издававшими «Иртыш, превращающийся в Ипокрену»<sup>2</sup>, высоко оценив их деятельность, считая это «великим началом культурных преобразований далекого края»<sup>3</sup>.

Журнал издавался ежемесячно — с сентября 1789 по декабрь 1791 г. Однако в сентябре — декабре 1790 г. был перерыв, и в связи с этим вышло всего 24 книжки. (Любопытно, что после перерыва журнал возобновился именно при Радищеве). Тираж журнала составлял 300 экземпляров — по тем временам это была довольно внушительная цифра даже для столицы. Распространялся журнал по подписке, причем не только в пределах Сибири, но и в паместничествах Пермском, Вятском, Ярославском и др. Однако количество подписчиков не покрывало всего тиража и уменьшалось с каждым годом: в 1789 г. их было 186, а в 1790 г. — уже 106<sup>4</sup>. К концу 1791 г. издание журнала прекратилось, принеся большие убытки Тобольскому приказу общественного призрения, на средства которого он издавался.

Почему же издание «Иртыша» так быстро прекратилось? Думается, что основная причина заключалась в глубоком равнодушии к просвещению многих чиновников и купцов. Недаром А. В. Алябеву приходилось заставлять своих подчиненных подписываться на журнал. Непопулярность «Иртыша» объяснялась и недостаточной связью его с жизнью края.

Однако было бы несправедливым полностью отрицать ак-

---

<sup>2</sup> Н. Смирнов-Сокольский писал: «Пребывание Радищева в Тобольске в годы издания «Иртыша» дает повод предположить его участие в этом журнале. К сожалению, документального подтверждения этому обстоятельству не найдено, хотя оно и не было бы удивительным» (Н. Смирнов-Сокольский. Первенец провинциальной журналистики. «Литература и жизнь», 27 апреля 1958 г., стр. 3).

<sup>3</sup> См. Г. Кунгуров. Сибирь и литература, стр. 83.

<sup>4</sup> Б. Жеребцов: «Иртыш, превращающийся в Ипокрену». В кн. «Сибирский литературный календарь». Иркутск, 1940, стр. 8—9.

туальность этого журнала, считать его совершенно не имеющим отношения к сибирской действительности, как это утверждали сибирские историки Словцов, Шашков, Ядринцев и др.<sup>5</sup> Не преувеличивая достоинств журнала, принимая во внимание неразвитость русской провинциальной журналистики XVIII в. вообще, мы тем не менее должны отметить наличие в «Иртыше» и откликов на общественные и философские проблемы времени, и произведений, направленных против крепостничества, и отдельных мотивов, связанных непосредственно с Сибирью. Думается, что именно эта просветительская и достаточно вольнодумная направленность журнала сыграла не последнюю роль в его закрытии; в условиях обострения политической реакции в начале 90-х годов подобное направление умов оказывалось совершенно «не ко двору».

Не вдаваясь в сколько-нибудь подробный анализ журнала, который еще ждет своего исследования<sup>6</sup>, мы тем не менее считаем необходимым обратить внимание на поэтический раздел «Иртыша». Этот раздел может служить подтверждением того, что литература Сибири даже при первых, робких шагах своих развивалась в русле литературы общерусской.

Таково, например, стихотворение Ивана Трунина, одного из наиболее способных молодых поэтов, — «Иртышу, превращающемуся в Ипокрену» (октябрь 1789 г.). Вполне в духе ломоносовской одической поэзии Трунин славит просвещение, которое, по его мнению, теперь воцарится в «северном краю» благодаря «Иртышу»:

Ты чистым током орошаешь  
Тобольск — благополучный град  
И новым светом озаряешь  
Счастливейших российских чад.

Поэт сопровождает хвалу журналу небольшим нравоучением: изобличая пороки в своих притчах, поэты «Иртыша»

---

<sup>5</sup> Ядринцев писал, что «переводные статьи, как и оригинальные прозаические сочинения тобольских писателей, имели один и тот же общий недостаток — чрезмерную отвлеченность». (Н. М. Ядринцев. Сибирь как колония. СПб., 1892, стр. 665). То же мы находим в его статье «Начало печати в Сибири», опубликованной в «Литературном сборнике» газеты «Восточное обозрение» (СПб., 1885).

<sup>6</sup> О журнале «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» см. Г. Кунгуров. Сибирь и литература, стр. 58—85; М. Г. Альтшуллер. Литературная жизнь Тобольска 90-х годов XVIII в. В сб. «Освоение Сибири в эпоху феодализма (XVI—XIX вв.)», вып. 3. Новосибирск, «Наука», 1968, стр. 186—204; А. Дмитриев-Мамонов. Начало печати в Сибири. Изд. 3. СПб., 1906; и др.

дадут «людям ясно зреть», что

...лучше может путь устроить  
К своему блаженству тот,  
Кто добродетель почитает  
И сходно с нею поступает  
Тому отворен к счастью вход.

Ода заканчивается громким и торжественным обращением к Сибири, которая рисуется восторженному воображению поэта цветущей и преуспевающей благодаря «плодам науки», которые принесет ей первый сибирский журнал.

Конечно, стихотворение полно преувеличений и является, скорее, данью условностям жанра, чем действительно отражает веру молодого поэта в преобразующую силу журнала. Оно вполне выдержано в законах классицизма: написано высоким стилем, с обилием старославянизмов; в нем нет каких бы то ни было бытовых подробностей — поэт «не опускается» до них. Поэтому здесь было бы бесполезно искать конкретное отражение сибирской действительности: Сибирь воспринимается поэтом отвлеченно как «северный край», где невежество возбоится нового журнала и где суеверие устыдится «тьма» людей. Художественные достоинства оды невысоки, есть здесь крайне неуклюжие выражения. И все же на фоне серых, вымученных стихов И. Лафинова, В. Прудковского, М. Мамина и других произведения Трунина выделяются хотя бы относительной свободой поэтического слога.

После подавления пугачевского восстания сатира в русской литературе отчасти утратила свою остроту. Екатерина II насаждала «улыбательную» сатиру. Сотрудничая в прессе, императрица старалась своими литературными безделками подать писателям пример. В этих крайне неблагоприятных условиях на страницах «Иртыша» появились сатирические стихи И. И. Бахтина, которые, правда, были очень далеки от совершенства, но отличались смелостью и остротой<sup>7</sup>. Характерно, что эти стихи Бахтин посылал ранее в различные журналы, однако ни одно из стихотворений света не увидело. Вероятно, причиной тому была не только необработанность формы (в конце концов, многие журналы проявляли снисходительность к недостаткам слога, если только стихотворение отвечало требованиям официальной идеологии), скорее всего, издателей не устраивало содержание стихов. Безусловно, надо было иметь немало мужества, чтобы в эпоху жестокого

<sup>7</sup> См. об этом статью М. Г. Альтшуллера. В ней же содержится анализ творчества поэтов Н. Смирнова и П. Сумарокова, о которых пойдет речь дальше.

крепостного права решиться на обличение произвола помещиков, как это делал Бахтин, тем более, что он занимал высокий пост прокурора. Определенную смелость проявила и Тобольская управа благочиния, выполнявшая обязанности цензора и разрешившая эти стихи к печати. Мы не согласны с Б. Жеребцовым, который пытался преуменьшить значения данного факта. «Так как в старой Сибири, — писал он, — помещиков почти не было, то обличения человеколюбивого прокурора-стихотворца следует относить, скорее, к сибирским чиновникам-лихоимцам, искоренять злоупотребления которых прокурор был призван по самой своей должности, без помощи стихов»<sup>8</sup>. Но, во-первых, даже если бы это было так, все равно печатные выступления требовали от прокурора смелости. Во-вторых, почему стихи Бахтина нужно воспринимать только с областной точки зрения? Разве его стихи не относились к помещикам-крепостникам, жившим по другую сторону Урала?

Правда, сатиры свои автор нередко заканчивал уверением читателя в том, что изображенных им жестоких помещиков стало меньше и что крепостничество вовсе исчезнет с развитием просвещения. Он высказывал убеждение, что «законы Монархии благой» преобразят крепостников в гуманных людей. Однако, несмотря на это, сатиры Бахтина заставляли задуматься над бесправным положением крестьянства и приводили читателя совсем к иным выводам, чем хотел того автор.

Кроме сатир, Бахтин писал сказки (или басни) и эпиграммы, используя излюбленные жанры классицизма. В них поэт придерживался тех же обличительных тенденций, что и в сатирах. Здесь он обращался к «среднему» и даже «низкому» стилю, используя просторечные выражения для передачи характера крестьянской речи.

В сказке «Господин и крестьянка» Бахтин использовал довольно известный сюжет (который позднее по-своему обработал А. С. Пушкин). Крестьянка, унимая плачущего ребенка, говорит ему:

Не плачь, не плачь, дурак!  
Боярин вон идет: он съест тебя живого<sup>9</sup>.

Услышав это, возмущенный боярин отчитывает крестьянку, на что та отвечает ему:

Родной мой! Прости ты глупости моей,  
У нас издавна так, ребят как унимаем,

---

<sup>8</sup> Б. Жеребцов. Первый сатирический литературный журнал. «Сибирские огни», 1939, № 4, стр. 170—171.

<sup>9</sup> «Иртыш», сентябрь 1789 г.

То милостью твоей  
Иль волком их пужаем<sup>10</sup>.

Хотя Бахтин шел в русле классицизма, в его стихах отразился и общий для русской литературы 90-х годов XVIII в. кризис этого направления. Смещение стилей, свободное использование крестьянской речи, обращение к конкретным подробностям крепостного быта, не говоря уж об идейной направленности стихов, — все это выходило за пределы классицистской поэтики и, по существу, подрывало ее.

Еще далее отошел от классицизма Николай Смирнов. В противоположность «высокой» поэзии, обращавшейся к сюжетам героическим и масштабным, поэт отдавал предпочтение интимной лирике. Об этом свидетельствовали уже сами названия его стихов, опубликованных в «Иртыше»: «Оскорбленная любовь», «Покинутое дитя»<sup>11</sup>. Обращение его к миру личных переживаний не случайно: если классицизм умалял значение личности, требуя безусловного подчинения ее интересам монархического государства, то идущий ему на смену сентиментализм, напротив, отстаивал свободу личности и стремился прежде всего к раскрытию внутреннего мира человека. В этом направлении и развивалось творчество Николая Смирнова. Желание автора отстоять право на свободное изъяснение своих чувств было тем более острым, что судьба его самого сложилась глубоко драматически. По своему происхождению Смирнов был крепостным князей Голицыных, но в доме отца получил хорошее образование, овладел французским и итальянским языками, обнаружил поэтические наклонности. Отчаявшись получить свободу, он пытался бежать за границу, но неудачно и был отдан в «состоящие в Тобольске воинские команды солдатом»<sup>12</sup>. Позднее его положение стало еще более тяжелым: если в Тобольске он имел возможность общаться с кружком интеллигентных людей, любителей литературы, то теперь он попал в отдаленные крепости Восточной Сибири, где страдал в одиночестве. Нетрудно понять, почему в его творчестве преобладали пессимистические мотивы («Стихи на смерть» и др.).

Смирнов проявлял интерес к произведениям популярного в то время английского сентименталиста Юнга, сделав пере-

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> «Иртыш», декабрь 1791 г., стр. 27—33.

<sup>12</sup> К. В. Сивков. Автобиография крепостного интеллигента конца XVIII века. «Исторический архив», т. V. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1950, стр. 289.

вод одной из наиболее драматических глав его книги — «Плач, или ночные мысли»<sup>13</sup>. Вполне естественным был интерес поэта и к легендарному Оссиану, произведения которого служили одним из источников английского романтизма<sup>14</sup>.

Как видим, в творчестве сотрудников сибирского журнала отразилась основная тенденция русской литературы того времени — кризис классицизма. Наиболее отчетливо это проявилось в стихах Панкратия Платоновича Сумарокова (1765—1814).

Несмотря на то, что Ядринцев отказывал Сумарокову как «пришельцу» в способности отразить сибирскую действительность<sup>15</sup>, мы считаем, что Сумароков вполне может рассматриваться как представитель литературы Сибири прежде всего потому, что он принял активное участие в местной литературной жизни, а кроме того, он в какой-то степени отразил в стихах свои сибирские впечатления.

Начав блестящую карьеру в Петербурге в лейб-гвардии конном полку, Сумароков неожиданно оказался на скамье подсудимых, став жертвой собственной шалости. Будучи отличным рисовальщиком, он шутки ради изготовил фальшивую ассигнацию, которую его товарищ по полку выкрал и попытался сбыть. Их обвинили в изготовлении фальшивых денег, лишили всех прав состояния и сослали в Сибирь. В Тобольске Сумароков пробыл 15 лет (с 1787 по 1802 г.). Вокруг него образовался кружок любителей литературы. И скромный, начинающий поэт очень скоро стал публиковать в «Иртыше» одно стихотворение за другим — оды, сонеты, басни, сказки и пр. Конечно, он не обладал столь сильным талантом, как его родственник, известный русский поэт и драматург Александр Петрович Сумароков, и все же среди литераторов-тоболяков он стал наиболее заметной фигурой.

В ссылке Сумароков написал известное произведение — ирои-комическую поэму «Лишенный зрения Купидон»<sup>16</sup>. Исследователь тобольской печати XVIII в. А. Дмитриев-Мамо-

<sup>13</sup> «Смерть Нарциссы, дочери славного Юнга». «Иртыш», декабрь 1789 г.

<sup>14</sup> Перевод Н. Смирнова из Оссиана. См. там же, ч. 5, стр. 385.

<sup>15</sup> Ядринцев писал: «...как ссыльный, чуждый краю, он не понимал и не мог понять его нужд, потребностей и задач местной печати. Как и многим ссыльным, ему просто хотелось писать о чем-нибудь и удовлетворять свою фантазию, от этого все его повести, переводы, произведения были искусственны и решительно не приноровлены к среде» (Н. Ядринцев. Начало печати в Сибири. «Литературный сборник», изд. редакции «Восточного обозрения». СПб., 1885, стр. 366—367).

<sup>16</sup> «Лишенный зрения Купидон». «Иртыш», январь 1791 г. Позднее поэма не раз переиздавалась.

нов воспринял это юмористическое произведение с чересчур угрюмой серьезностью и усматривал в шуточных строках поэмы «простой подбор рифм, без всякого смысла»<sup>17</sup>. Однако читатели и критики рассудили иначе, и поэма была замечена не только в Сибири, но и за ее пределами. Конечно, произведение это далеко не безупречно: оно многословно, несмотря на то, что автор сам корит себя за это, местами тяжеловесно, недостаточно отшлифовано (в отличие от малых жанров, которыми пользовался Сумароков, — эпиграмм или эпитафий). Но в поэме есть действительно забавные моменты, есть неожиданные сопоставления, столь характерные для иронико-комического жанра, а главное, здесь проявляются черты местного колорита, уводящие поэму за пределы классицизма.

Сумароков обращается в поэме к античному сюжету и излагает его нарочито низким слогом, бесцеремонно обращаясь с богами и героями греческой мифологии, высмеивая их с помощью комических деталей. Несмотря на нападки критики, он упорно сохраняет вульгаризмы в тексте поэмы при переиздании ее, потому что в использовании их заключался его художественный прием. Ему хотелось, в частности, изобразить царя богов Зевса чем-то вроде грубого, самовластного помещика, который не стесняется своих мужиков и обращается с ними как крепостник:

О, лютая напасть!  
Отец богов, разинув пасть,  
Ревет быком и стонет,  
Богов с Олимпа гонит;  
Потом с отчаянья он на стену полез.  
Не столько в бурный ветер шумит дремучий лес,  
Как злился наш Зевес, кричал, стучал ногами,  
Сбираясь пересечь богов всех батогами<sup>18</sup>.

Последняя фраза, как и обращение Зевеса к провинившемуся: «Достоин ты ребром повешен быть на крюк», передает конкретные детали расправы господ с крепостными.

С той же целью автор использует бытовые, порой низменные подробности при описании жизни богов. Боги у него собираются на землю к одному из своих друзей — Омиру (Гомеру) — на «чашку чаю».

Известно, что он был им закадычный друг:  
Едал амброзию, тянул и нектар с ними;

<sup>17</sup> А. Дмитриев-Мамонов. Начало печати в Сибири. Изд. 3. СПб., 1906, стр. 26.

<sup>18</sup> «Иртыш», январь 1791 г.

Со спящих же богинь обмахивал он мух  
И часто забавлял их сказками своими<sup>19</sup>.

Когда ж боги возвращаются с пира, «на лицах их, от спирта красных, сверкают радости следы».

Так комедийное снижение образов богов перестает быть лишь шалостью, игрой воображения, простой данью жанру, но становится одним из средств отражения жизни в ее низменных проявлениях, во всей ее грубости и неприглядности.

Как правило, поэты классицизма избегали конкретных деталей, привязывающих их произведение к какой-либо определенной местности, редко допускали элементы автобиографичности, всячески затушевывая собственную личность. Иначе поступает Сумароков: в прологе к поэме он соотносит солнечную обитель олимпийских богов с морозной Сибирью и обращается к Фебу от своего имени:

О ты, что на Сибирь взираешь исподлобья,  
Скажи мне, светлый Феб, за что до нас ты лих?  
За то ль, что своего блестящего подобья  
Не видишь здесь ни в чем, как лишь почти в одних  
Прозрачных ледяных сосульках?  
...Но кто ж виновен в том, коль сам ты нас не греешь?  
Ты права не имеешь  
Коситься так на нас.  
Услышь же мой к тебе охрипший с стужи глас!<sup>20</sup>

Еще более конкретно и полно местный сибирский мотив выражен в сказке Сумарокова «Альнаскар», где поэт состязается с И. И. Дмитриевым в переводе с французского сказки Эмберта<sup>21</sup>. Во вступлении к сказке дается описание сибирского пейзажа, причем автор использует достаточно точные детали в изображении наступающей зимы:

На сивом Октябре верхом  
Борей угрюмый подъезжает;  
Сибирских жителей в тупы наряжает;  
Зефиров гонит голиком;  
Опустошая царство Флоры,  
На стеклах пишет он узоры.  
Мух в щели, птиц в кусты,  
Зверей же гонит в норы.  
С бровей на землю он стрясает  
Снежны горы;  
В руке его блестит та хладная коса,

<sup>19</sup> Там же.

<sup>20</sup> Там же.

<sup>21</sup> Сказка Сумарокова опубликована в «Журнале приятного, любопытного и забавного чтения» (М., 1802, стр. 14—24), а написана еще в Сибири.

Которой листьев он лишает древеса.  
Грозит покрыть Иртыш алмазною корою  
И пудрит мерзлую мукою  
Сосновы черные леса<sup>22</sup>.

М. Г. Альтшуллер справедливо усматривает сходство этого описания с началом оды Державина «Стихи на рождение в Севере порфиородного отрока» («с белыми Борей власами и с седою бородой, потрясая небесами, облака сжимал рукой...»). Сумароков учится у Державина конкретности описаний; однако, как замечает исследователь, могучее лирическое творческое начало, свойственное Державину, осталось для него чуждым<sup>23</sup>.

Перу Сумарокова принадлежал целый ряд басен, эпиграмм, эпитафий, лучшие из которых отличались четкостью замысла, краткостью, чувством юмора, бытовой конкретностью. Вот одна из них, написанная в игривом тоне, столь характерном для «галантного» XVIII века:

Ты хочешь знать, Дамис, за что твоя жена,  
Желает зла тебе, как будто лиходею,  
Хотя и ничего не делаешь ты с нею?  
Уж полно, не за толь и злится так она?<sup>24</sup>

Из эпитафий, написанных в насмешливом стиле, содержащих самые нелестные оценки людей, прототипы которых замаскированы античными именами, можно привести следующую:

Худого больше, чем добра, творит Клеон;  
Весь свет почти таков и это что за чудо!  
Но вот вещь редкая, что вечно делал он  
Худое хорошо, хорошее же худо<sup>25</sup>.

К наиболее слабым стихотворениям Сумарокова относятся верноподданические стихи, написанные выпренными и трескучими фразами, заставляющие в данном случае усомниться в искренности автора («Сонет Великой Государыне Екатерине II-й на всерадостнейший день вступления Ее императорского Величества на Всероссийский престол» и др.).

Итак, журнал «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» при многих недостатках все же отражал на своих страницах идей-

---

<sup>22</sup> Там же.

<sup>23</sup> М. Г. Альтшуллер. Литературная жизнь Тобольска 1790-х годов, стр. 200.

<sup>24</sup> «Иртыш», январь 1790 г.

<sup>25</sup> Там же.

ное и литературное движение тех лет. В год выхода первых номеров журнала во Франции произошла буржуазная революция. Она, как уже сказано, имела широкий отклик во всем мире, в том числе и в России. Ее влияние сказывалось на общественной и творческой деятельности передовых русских людей 90-х годов. Любопытно, что в год революции Радищев закончил свое знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву». В это же время в Петербурге стал выходить сатирический журнал Крылова «Почта духов». Элементы сатиры и свободомыслия, нашедшие отражение в «Иртыше», были откликами на изменение общественной атмосферы в России под воздействием революционных событий 1789 г. Если в «Иртыше» местная тематика не занимала такого значительного места, как в «Уединенном пошехонце» (где наиболее ценными были описания городов и уездов Ярославской губернии), то с точки зрения идейной направленности «Иртыш» был гораздо прогрессивнее своего ярославского предшественника.

Борьба литературных направлений конца XVIII в. в сибирских условиях, как видим, носила достаточно мирный характер. На страницах «Иртыша» сотрудничали и представители классицистской поэзии, и поэт сентиментализма Н. Смирнов. При этом сами поэты-классицисты не придерживались со всей строгостью канонов данного литературного направления. Правда, П. Сумароков в статьях «Краткое повествование о происхождении художеств» и «О драматическом стихотворстве» (опубликованных в журнале «Библиотека ученая...») с восторгом писал о поэтах русского классицизма Ломоносове, А. Сумарокове, Хераскове, называя Ломоносова «бессмертным», «Пиндаром нашего времени», а Сумарокова ставя в один ряд с величайшими трагическими поэтами — Корнелем, Расином, Вольтером, Шекспиром, Лессингом. Но в то же время в своем творчестве П. Сумароков, как мы могли убедиться, выходил отчасти за рамки классицизма. Более того, он восхищался Карамзиным, «творцом Аглаи, бедной Лизы...». Именно Карамзину он посвятил книгу своих стихов. Карамзин печатал его произведения на страницах своего альманаха «Аониды, или собрания новых стихотворений» (ч. 3, 1796—1799). По возвращении из ссылки в 1802 г. Сумароков близко сошелся с Карамзиным, даже взялся за издание его журнала «Вестник Европы», но в связи с болезнью вынужден был отказаться.

Показательна с точки зрения развития литературного процесса на рубеже двух веков и эволюция И. Трунина. В московском журнале «Новости русской литературы» за 1802 г. были опубликованы два его стихотворения, а также «Путешествие

по Сибири г-на Трунина. Письма, писанные к другу в Москве» (ч. III). Последнее произведение было создано уже в духе так называемых «чувствительных путешествий», рожденных сентиментализмом<sup>26</sup>. И. Трунин, таким образом, достаточно далеко ушел от своих первых творческих опытов, выдержанных в духе одической поэзии классицизма.

Но самое главное, что принес с собою «Иртыш» в литературу Сибири, была просветительская тенденция, более радикальная, нежели позиции тогдашнего либерального дворянства. Эта просветительская направленность журнала не осталась без последствий. Она проявилась в выпуске «Журнала исторического, выбранного из разных книг» (вышло два номера) и определила энциклопедический характер «Библиотеки ученой, экономической, нравоучительной, исторической и увеселительной» (издано 12 томов). При всей отвлеченности содержания многих материалов, опубликованных в «Библиотеке», здесь были и такие статьи, которые приобщали сибирского читателя к передовой западноевропейской культуре. Они «бросали вызов местничеству, церковносеминарской ограниченности, которая царил в Сибири»<sup>27</sup>.

\* \*

Известную лепту в литературную жизнь Тобольска 1790-х годов внес молодой Петр Андреевич Словцов, который прибыл в Тобольск после окончания в 1792 г. Александро-Невской духовной академии. Став преподавателем философии и красноречия Тобольской духовной семинарии, Словцов по положению своему выступал с проповедями в церкви. В этих проповедях он не ограничивался традиционным текстом, предписываемым церковными властями, и позволял себе смело судить о проблемах общественного характера<sup>28</sup>. Так, в проповеди от 21 апреля 1793 г. он ставил вопрос о том, кто имеет право «на стяжание имени Великий?» По его мнению, — лишь тот, кто «вдохновенный страстью... вырывает скиптр из рук насилия».

В суждениях Словцова чувствовалось влияние событий французской революции 1789—1793 гг., а также знакомство с идеями Радищева. Естественно, что вольнодумное содержание проповедей должно было снискать Словцову огромный ин-

---

<sup>26</sup> М. К. Азадовский. Литература сибирская, ССЭ, т. 3, стб. 164.

<sup>27</sup> Г. Кунгуров. Сибирь и литература, стр. 69.

<sup>28</sup> См. З. Н. Трусова. Общественно-политические идеи в проповедях П. А. Словцова. «Изв. Сиб. отд. АН СССР», серия обществ. наук, 1967, вып. 3, № 11, стр. 121—128.

терес со стороны слушателей: во время его выступлений церковь была переполнена. Вместе с тем это вызвало резкое осуждение со стороны духовного начальства. На конспекте проповеди, написанной по случаю дня рождения Екатерины II и просмотренной позднее, была сделана следующая резолюция: «Христианин! Не теряй на чтение сих поучений ни времени, ни труда. Кроме пустого мудрствования, кроме двусмыслия и явного противления учению веры, не найдешь здесь ничего»<sup>29</sup>.

Однако это не останавливало Словцова. Более того, выступая с церковной кафедры, он, видимо, отходил от конспекта, внося в проповедь резкие замечания в адрес властей, осуждая испорченные нравы.

В последней своей проповеди по случаю бракосочетания цесаревича Александра Словцов поднялся до больших философских и политических обобщений. Он говорил о социальной несправедливости, когда «не все граждане поставлены в одних и тех же законах», когда «в руках одной части захвачены преимущества, отличия и удовольствия, тогда как прочим оставлены труды, тяжесть законов или одни несчастья». Он осуждал монархов, угнетающих своих подданных, равнодушных к их страданиям, глухих к их просьбам. Более того, он смело утверждал, что могущество монархии мнимо, она сама истощает себя, «и можно утверждать, что самая величественная для нее эпоха всегда бывает роковой годиною...». Но главное, к чему, по существу, сводилась проповедь Словцова, заключалось в предсказании неизбежного взрыва недовольства там, где нет свободы и равенства: «Тишина народная есть молчание принужденное, продолжающееся дотолы, пока недовольствие, постепенно раздражая общественное терпение, наконец, не прорвет оное...».

Эта проповедь взволновала весь Тобольск. Местная администрация тотчас же произвела обыск в квартире Словцова и изъяла часть бумаг. В Петербург был послан донос. Через два месяца Словцова арестовали и отправили в Петербург. После продолжительных допросов, в которых принимал участие следователь по секретным делам Шешковский, Словцова заточили в Валаамов монастырь.

Имел ли Словцов единомышленников среди тобольской общественности, или он действовал в полном одиночестве, не рассчитывая ни на чью поддержку? Несомненно, почва для этих выступлений в какой-то мере была подготовлена. И в первую очередь издателями «Иртыша» и «Библиотеки».

---

<sup>29</sup> «Сибирский архив», Минусинск, 1914, № 5, стр. 205—206.

Наличие литературной традиции в городе было немаловажным фактором для Словцова еще и потому, что он сам в эти годы пробовал свои силы на поэтическом поприще. Более того, он опередил поэтов «Иртыша» в их обращении к сибирским мотивам и явился основоположником сибирской темы в местной поэзии.

До Петербурга Словцов учился в Тобольской семинарии. И как раз тогда произошло событие, послужившее поводом к первому выступлению молодого семинариста на поприще поэта. В 1782 г. было учреждено Тобольское наместничество, и юный Словцов посвятил этому знаменательному событию оду «К Сибири», которая была зачитана во время торжества.

Ода была написана в духе торжественной поэзии классицизма. Сибирь изображалась, как «царевна, сребренный венец носяща и пестрой насыпью камней блестяща». Громко восхваляя «дщерь Азии», Словцов, как и полагалось в этом случае, приукрашивал сибирскую действительность. Он изображал сибиряков набожными людьми, пребывающими в благоденствии и довольстве. По словам поэта, крестьянин «в тепле катается, как в масле сыр», и судье не ломает шапки.

По обычаю того времени, автор воздал хвалу и Екатерине, которая печется о своем народе и пребывает в трудах «в царском тереме».

Заканчивалась ода прославлением Ермака, образ которого впоследствии не раз будет волновать Словцова-историка. Для поэта Ермак — герой, «хоть сечь его считается разбоем»:

Ермак — отродье богатырских душ,  
Он палицей расчистил глушь!<sup>30</sup>

Несмотря на то, что ода выдержана в духе официальной идеологии, есть в ней такие строки, которые можно понимать двояко,— не так, как, по-видимому, поняли Словцова его слушатели. Поэт попытался противопоставить просвещенной Европе Сибирь, где люди, хоть и не столь образованны, но живут лучше:

Пускай Европа славится умами,  
Пускай гордится блеском самых тонких дум!  
Сибирь! Гордися кроткими сердцами!  
Что значит просвещенный ум?  
Подобен дерзновенну исполнну,

---

<sup>30</sup> З. Жуков. Иртыш, Иппокрена, Лета. «Омский альманах», 1939, кн. 1, стр. 129.

Он зыблет истину, как паутину,  
И, разорвав священный занавес,  
Бросает молнии против небес,  
Ей богу, жить там лучше, где повязкой  
Глаза завешенны, не видят вдаль,  
Где морокуют часослов с указкой,  
Не зная, кто таков Руссо, Рейналь<sup>31</sup>.

Возникает вопрос: неужели поэт осуждает просвещенный ум и прославляет людей, живущих с завязанными глазами? На первый взгляд, да. Но если вдуматься в эти строки, то становится заметным, что автор лишь внешне подстраивается под точку зрения сибирских правителей, гордящихся «здоровым» образом жизни сибиряков, а сам с такой выразительностью пишет о разуме-исполине, бросающем вызов небесам, и с такой иронией говорит о тех, которые «не видят в даль» и «морокуют часослов с указкой», что его позиция просветителя здесь невольно противостоит официальной точке зрения.

Позднее Словцов продолжал свои поэтические опыты и печатал стихи в журнале «Муза» (1796), издававшемся его товарищем по академии И. П. Мартыновым. Однако сибирская тема, о которой он заявил своей юношеской одой, не получила здесь продолжения.

Писал Словцов и в Валаамовом монастыре. Его изгнанническая лирика носит отпечаток уже иных веяний. В одном из стихотворных посланий, адресованном М. М. Сперанскому, сочетается приверженность поэта к классицистским традициям с мотивами сентиментализма:

Сию в стенах, где нет полдневого луча,  
Где тает вечная и тусклая свеча.

Я болен, весь опух и силы ослабели;  
Сказал бы более, но слезы одолели.<sup>32</sup>

Словцов пишет здесь о своих страданиях с той простотой и обостренной чувствительностью, которую внесли в русскую литературу Карамзин и его последователи. В петербургский период Словцов имел возможность приобщиться к литературной жизни столицы и усвоить то новое, что утверждали сентименталисты. Но дело было не в простом подражании, — сама человеческая судьба Словцова потребовала от него иных поэти-

<sup>31</sup> Там же.

<sup>32</sup> «Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века», т. I. Госполитиздат, 1952, стр. 404.

ческих средств, нежели те, которыми он прежде пользовался. Страдания поэта были непридуманнами — они стали для него жестокой реальностью:

Уже плачевну жизнь мою смерть облегчает,  
Уже мой труп душа стелюща оставляет...<sup>33</sup>

Это еще выражено тяжело, по старинке, «по-литературному». Но вслед за тем идут слова простые, искренние, сказанные иначе:

Сокрой его земля от плачущих друзей!  
Увы! Они не погребут моих костей,  
Не узрят, пепел мой лежать где будет,  
Забудет дружество, и свет меня забудет!..<sup>34</sup>

Под такими строками вполне мог подписаться карамзинист.

Словцов и в минуту страдания думает не только о собственной судьбе — его волнуют судьбы общественные. «Ангел мирный наяву», каковой ему когда-то представлялась Екатерина II, теперь уже не мог вдохновить его перо: слишком чудовищным оказалось преобразование ее в глазах молодого энтузиаста-проповедника. И с его пера «текут» совсем иные строки:

Я часто жалуясь, почто простой народ  
Забыл естественный и дикий жизни род?  
Почто он вымыслил гражданские законы  
И утвердил почто правительство и троны?  
Для счастья, говорят, для счастья только тех,  
Которы рвут с нас дань для балов и потех!<sup>35</sup>

Это — уже радищевские нотки, говорящие о том, что и в заточении Словцов оставался верен себе, тем идеям, которые он провозгласил с церковной кафедры и за которые был сослан.

По возвращении из ссылки (в 1797 г., уже после смерти Екатерины) Словцов в основном расстался с поэзией, посвятив себя публицистике, краеведению, истории. Но поэт в нем не угас. Справедливо писал о нем Н. М. Ядринцев:

«Первый сибиряк, у кого прорвалось первое теплое чувство к краю, кому стала понятна его судьба и рядом с этим у кого

<sup>33</sup> Там же.

<sup>34</sup> Там же.

<sup>35</sup> Там же.

блеснула художественная струя, был Петр Андреевич Словцов. Словцов не был сухим летописцем и историком Сибири. По его способу изложения видно, что это был человек с душой, патриот своей родины и до известной степени поэт, художник»<sup>36</sup>.

#### РУКОПИСНАЯ И КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XIX в.

К началу XIX в. литературная жизнь Тобольска почти заглохла: П. Сумароков и И. Бахтин уехали, Н. Смирнов, переведенный в Восточную Сибирь, умер в 1800 г., И. Трунин после окончания Тобольского училища был произведен в сержанты артиллерии и выбыл из Тобольска. Остальные стихотворцы «Иртыша», если и продолжали заниматься поэзией, то только ради собственного удовлетворения: печататься было нигде.

В связи с указом от 16 сентября 1796 г. вольные типографии были упразднены, и издательская деятельность В. Корнильева прекратилась. Кроме того, преемник губернатора А. В. Алябьева, оставившего Тобольск, меньше всего заботился о развитии здесь литературных дарований. Положение могло измениться, когда со вступлением на престол Александра I вольные типографии были вновь разрешены, и Корнильев опять вернулся к издательской деятельности (в 1804 г.). Однако на этот раз не оказалось людей, которые создали бы вокруг типографии активно действующую группу. Типография просуществовала всего три года и закрылась, не сыграв уже никакой роли в развитии местной литературы.

Центр литературной жизни Сибири на ряд лет переместился в Иркутск. И это естественно: Иркутск к началу нового столетия превратился в мощный торговый и культурный центр. Здесь была создана могущественная Российско-Американская компания (1799 г.), отсюда товары направлялись на восток и в Китай, доставлялись на ярмарки в Ирбит, Тобольск, Нижний Новгород. Иркутское купечество распространяло свое влияние на все сферы жизни, оказывая определенное воздействие и на литературу.

---

<sup>36</sup> Сибиряк (Н. М. Ядринцев). Судьба сибирской поэзии и старинные поэты Сибири. «Литературный сборник», изд. редакции «Восточного обозрения». СПб., 1885, стр. 411.

Характер и содержание литературы Сибири этих лет нельзя рассматривать в отрыве от тех настроений, которыми жило русское общество в начале царствования Александра I. Как известно, молодой император осуществил поначалу ряд либеральных преобразований, которые и пробудили в обществе немало светлых надежд и иллюзий. Ходили слухи о предполагавшихся крупных реформах, и это тем более подогревало общественный энтузиазм. Не случайно к числу поэтов, восхвалявших царя, присоединили свой голос Державин и Карамзин.

Однако и «дней Александровых прекрасное начало» (Пушкин) вовсе не было безоблачным, напротив, надежды оставались надеждами, реальность же далеко не соответствовала им. Крепостничество по-прежнему было жестоким, помещики не желали отказываться ни от каких привилегий, народ пребывал в рабстве.

Это сложное положение в стране определяло и характер русской литературы начала XIX в. С одной стороны, здесь продолжает существовать «высокий» классицизм, который является выразителем официальной идеологии и занимает крайне консервативные позиции в вопросах литературы и политики. С другой стороны, в формах классицистской поэзии развивается прогрессивная ветвь, которая продолжает линию Радищева и использует его творческий опыт. С одной стороны, сентиментализм с его камерностью и интимностью приходит в упадок, становится все более охранительным течением литературы. С другой стороны, карамзинская реформа литературного языка превращается в своего рода знамя для всего нового в русской литературе. Борьба за «новый» слог против поборников «старого» слога — шишковистов — перерастает в протест против литературной реакции и подготавливает почву для новых направлений — романтизма, а позднее и реализма. Учеником Карамзина называет себя В. А. Жуковский, положивший начало в 1800-х годах романтической поэзии.

Все эти явления так или иначе отражались в литературной жизни Сибири. Правда, в эти годы здесь не было профессиональных литераторов, отсутствовали какие-либо писательские группировки и не велась полемика вокруг наиболее острых вопросов, общественных и литературных. Более того, Сибирь была совершенно лишена издательской базы, журналов и газет, и потому литература на протяжении первой четверти XIX в. существовала в основном в рукописной форме, отчасти же сибиряки пользовались издательствами Европейской России. И все же, несмотря на наличие этих специфически сибир-

ских особенностей, литературная жизнь на востоке страны развивалась в русле общерусских тенденций.

Показателен в этом отношении один из рукописных сборников начала XIX в., составленный неизвестным нам иркутским гражданином и довольно тщательно проанализированный А. П. Шаповым<sup>37</sup>.

Прежде всего Шапов отмечает в этом сборнике речь, сочиненную учителем титулярным советником Степаном Бельшевым и произнесенную учеником Василием Калашниковым. Речь эта представляется Шапову характерственной «по тому общему восторженно-оптимистическому мировоззрению, какое тогда вообще господствовало в русской науке и литературе»<sup>38</sup>. В ней давалась краткая история мировой науки и географических открытий, а затем восхвалялись успехи современных наук, искусств и просвещения:

«Науки и художества достигли до такой степени совершенства, какого никогда не видел человеческий род. Естественная история от неприступных скал высочайших гор до преисподних моря все изведала, испытала, предала перу, планографии и резцу ваятеля. Механика произвела чудеса; химия, последуя природе, созидает и разрушает; философия, опровергнув пустые догадки, хочет ощутительных истин...»<sup>39</sup>.

Перечисляя достижения современного человечества, автор речи считает необходимым упомянуть и об успехах торговли, которая «влечет изобилие и богатство со всех частей света». Говоря о «просвещенных правителях держав», которые «утвердили повсюду академии, университеты, гимназии и разные училища, не щадя на то иждивения», С. Бельшев прославляет Александра I, называя его «вселюбезнейшим отцом народа», «скиптродержавным другом человеческого рода»<sup>40</sup>.

Эта речь — несомненно, характерное явление в литературной жизни Сибири: во многих рукописных сочинениях этих лет, как в прозе, так и в стихах, Александр I изображается, как покровитель просвещения и торговли, как заботливый «отец» своих подданных. Эта верноподданическая литература, главным образом поэзия, развивается в рамках классицизма, причем создается в основном эпигонами, лишенными сколько-нибудь заметного дарования. Напыщенная риторика, преувеличенная восторженность, торжественность и вместе с тем

<sup>37</sup> «Сочинения А. П. Шапова в трех томах», т. 3, СПб., 1908, стр. 643—717.

<sup>38</sup> Там же, стр. 679. В сборнике фамилия автора речи дана неверно — Бельгич.

<sup>39</sup> Там же, стр. 680.

<sup>40</sup> Там же, стр. 681.

корявость слога — отличительные черты этой «доморощенной» поэзии. Целый ряд образцов ее — произведения, созданные учителями и учащимися Иркутской духовной семинарии.

«Тут высказывалась и муза семинарская виршами Симеона Полоцкого, имея в то же время претензию греметь и арфой Державина. Тут и риторика витийствовала высокопарным слогом киевских проповедников»<sup>41</sup>.

Щапов знакомит нас со стихотворными «кантами», которые сочинялись в семинарии в особо торжественных случаях, например, при посещении ее сенатором. В каждом классе ученики приветствовали гостей громогласными и неуклюжими стихами («Мы чуем счастье наше и благосклонность лобжем в вас...» и т. п.). Венцом поэтического восторга была речь самого учителя, которую тот произносил при появлении гостей в классе пиитическом:

Огнепаримая фантазия!  
Не мах твоих волшебных крыл  
Часы навевал нам златые,  
Лице, ум, сердце озарил.  
.....  
Нет, се вход благословенный  
Достойных славы алтарей,  
Вход кроткий, тихий, возделенный  
Сих всепочтеннейших мужей!..<sup>42</sup>

Заканчивалась поэтическая речь восхвалением Сибири и местной музыки, которой пристало «шуметь, вещать в грядущи веки» о людях, достойных «имени богов»:

И ты, младенствующая муза,  
Расти под кровом отчих крыл,  
Ищи арф большего союза,  
Чтоб глас с Омиром твой парил,  
Парил, в сердцах бы отзывался  
Как эхо, гром с горы в горах,  
Рекой желаний проливался,  
Шумел, как Пиндар, во устах...<sup>43</sup>

«Бедные семинаристы добрых старых времен! — замечает Щапов. — Как кимвалы, они бряцали на пустозвонных арфах гиперболической музыки XVIII века с геликона иркутской бурсы... А знали ли, думали ли эти «высокопревосходительнейшие

<sup>41</sup> Там же, стр. 683.

<sup>42</sup> Там же, стр. 686.

<sup>43</sup> Там же, стр. 687.

господа сенаторы — достойные имени богов редкие человеки» — знали ли они, что все эти «Омиры и Пиндары» бурсы с голоду в то время принуждены были прекурьюезнейшим образом красть и скрывать в богословском классе свиней и кур иркутских граждан?..»<sup>44</sup>.

К хору местных поэтов, воздававших хвалы Александру I, присоединяло свой голос и купечество. У него было достаточно оснований выражать свою признательность царю: правительство с целью «распространения славы российской коммерции» всячески способствовало развитию торговли на востоке страны. Верноподданнические чувства состоятельных кругов сибирского общества выразил в своей оде на день коронации императора Александра титулярный советник Протопопов (1803 г.): «Уставы все твои мы мерим щедротой, государь, твоей» и т. д.

На основании данного рукописного сборника, как и некоторых других (в частности, сборника кяхтинских купцов Крюковых), Шапов пришел к выводу, что в иркутском городском обществе преобладали интересы торгово-промышленные, буржуазные и что именно они «составляли главную тему доморощенной местной поэзии».

«В высокаторжественных одах,— писал он,— воспевалось процветание кяхтинской торговли, прославлялись Иркутск и Кяхта, как средоточия «азиатского торга», восхвалялись «грузом полные корабли Северо-Американской компании» и отчасти изображались успехи земледелия в даурских странах, в Забайкалье»<sup>45</sup>.

В качестве примера Шапов приводит другое сочинение Протопопова — «Оду на коронавание их величеств» (1804 г.). В ней автор прославляет «сердца отважны, бодры, смелы», которые, не страшась лютой непогоды, устремляются в далекие страны:

И здесь градов пришельцы многих  
Чинят размен в расчетных строгах,  
Избыток сей и той страны  
Для пользы граждан и казны...

.....  
Уж грузом полны корабли  
Текут ко пристани российской,  
Европы торг и торг азиатской  
Иркутском, Кяхтою полны. <sup>46</sup>

Автор не забывает упомянуть и о богатых урожаях в Сибири:

<sup>44</sup> Там же, стр. 688.

<sup>45</sup> Там же, стр. 689.

<sup>46</sup> Там же, стр. 689—690.

Церера ныне пробудилась  
И с плугом на поля пустилась,  
Успехи зря в текущий год,  
Сторичный обещает плод...<sup>47</sup>

Даже из церковных проповедей иркутские граждане выбрали такие, где прославлялось купечество, не говоря уже о том, что в сборники переписывались уставы коммерческие, торгово-промышленные, высочайшие указы о привилегиях купеческих и т. д.

Характерно, что городская цивилизация оказывала все большее влияние на жителей деревни, и сельское население, во всяком случае, наиболее грамотные крестьяне приобщались к чтению, проникались уважением к умственному труду, к «изобретательству».

Это наглядно проявляется в диалоге между горожанином (Урбаном) и поселянином (Рустиком), который содержится в данном рукописном сборнике. Диалог выдержан в духе нравоучительной драматургии классицизма, где один персонаж выступает в качестве наставника, другой же пытается спорить с ним, но в конце концов признает справедливость суждений того, кто его превосходит опытом и знаниями. Даже имена, как и полагается по канону, отражают внутреннюю сущность персонажей.

Урбан. ...Помнишь ли, мы с тобой читали: печалься, грешник, спасайся, преступник, а добрый, трудолюбивый веселися.

Рустик. Да! У вас городских какие труды против деревенских?

Урбан. У всякого свой аршин на все, и ты не знаешь, что, сидя и мысля на одном месте, трудами можно больше изнуряться, нежели в полевой работе.

Рустик. Это мне мудрено...

Урбан. ...Приезжай ко мне, я тебе прочитаю и протолкую книжку, в которой написано, что пашня, конь, соха с прибором, ум, талант, изобретение — все отдает дань отечеству: потребны только искусство и работа...<sup>48</sup>

Было бы глубоким заблуждением представлять себе рукописные сборники начала XIX в. лишь как собрание панегирических стихов и громогласных проповедей. Хотя в них преобладает деловой и бодрый тон, характерный для преуспевающего купечества, однако и здесь встречаются отдельные произведения, принадлежащие авторам из демократической среды и свидетельствующие о том, что даже на самой заре александ-

<sup>47</sup> Там же, стр. 690.

<sup>48</sup> Там же, стр. 691—692.

ровской эпохи в литературе отражались острее социальные противоречия.

В сборнике приводится, по-видимому, распространенное среди сибиряков стихотворение «Солдатская жизнь, сочиненная в большом городе в каменных палатах почтенным человеком, которого всяк бьет, 1802 года мая 2-го». «Крайне безыскусственно,— замечает Шапов,— не поэтично, но в высшей степени верно, живо и фактично изображает оно прежнюю горемычную солдатскую жизнь»<sup>49</sup>. Вот строки из этой «оды»:

Я отечеству защита,  
А спина всегда избита,  
Я отечества ограда,  
В тысяча палках вся награда.

.....  
О солдат, ты, горемыка,  
Хуже лапотного лыка!  
Твоей жизни хуже нет,  
Про то знает и весь свет...<sup>50</sup>

Это стихотворение, сочиненное солдатом Измайловского полка Василием Марковым, не принадлежало к местной поэзии Сибири. Оно приведено нами потому, что в Сибири подобные произведения вызвали интерес,— они заносились в рукописные сборники, а затем, видимо, неоднократно переписывались. Читатели готовы были простить автору погрешности формы — их волновала откровенная исповедь солдата, судьба которого была знакомая сотням и тысячам сибирских крестьян, насильственно преодетых в солдатские шинели.

Тема солдатчины была затронута и в другом, на этот раз сибирском, произведении, которое заслуживает внимания не только как произведение литературы, но и как явление общественного порядка. Это — повесть «Ефим Тюменев, или редкий пример братской любви».

Шапов предполагает, что повесть написана в Тобольске в начале XIX в. События разворачиваются в Тобольской губернии, в Б...м уезде, в К...ной волости, в деревне Б...ве. По-видимому, начальные и конечные буквы этих названий даны не произвольно,— автор знал местность, о которой писал. Произведение имеет подзаголовок: «истинная повесть», это дает основание предполагать, что некоторые события ее имели место в действительности. И, наконец, художественные достоинства повести свидетельствуют о наличии в городе, где она создана, достаточно развитой литературной традиции.

<sup>49</sup> Там же, стр. 701.

<sup>50</sup> Там же, стр. 702.

Повесть эта, по словам Щапова, «написана в духе карамзинского сентиментализма, хотя и в высшей степени просто, безыскусственно, полна «чувствительного» излияния родственных чувств и сентиментальных размышлений»<sup>51</sup>.

Содержание повести не лишено определенного социального смысла. Во всяком случае, основной конфликт ее, несомненно, взят из реальной жизни: единственного кормильца бедной крестьянской семьи забирают в рекруты и тем самым обрекают семью на голод и нищенство. Причем автор обобщает этот факт, говоря, что подобная участь бедняка закономерна: «Кому неизвестно, что от начала мира и до наших дней всегда был слабый жертвою сильного и бедный попираем богатым... Итак, по сему обыкновенному порядку, все сильные и богатые мужики были обойдены, и велено представить по наряду безденежного Петра; как за него всем миром ни вступались, но беда обрушилась на голову доброго малого, не приемля никаких отговорок, схватили его, сковали и повезли в город...»<sup>52</sup>.

Автор, таким образом, не ограничивается осуждением местных властей (включая и вице-губернатора, который безжалостно забрил лоб Петру), но выступает против общественной несправедливости, существующей «от начала мира». Эта позиция была бы по-настоящему смелой, если бы в повести дурным «губернским начальникам» не противопоставлялись «добрые вельможи», а также сам «государь-рачитель о благоденствии своих подданных». Именно к Александру I обращается Ефим Тюменев, хлопоча о старшем брате, взятом в рекруты, и царь, вняв его просьбе, отпускает Петра домой.

Конечно, эта ситуация — личное обращение бедняка к царю — исключительна и маловероятна. Но, может быть, в этом повинен не столько автор, сколько сама эпоха с ее иллюзиями. И, кстати сказать, основное внимание автора сосредоточено на другом — на страданиях Ефима и всей семьи, когда они остаются без кормильца, а также на проявлениях братской любви, которая придает силы Ефиму и помогает ему, преодолевая огромное расстояние, явиться в Петербург и подать свое прошение.

Тема самоотверженной любви — главная в повести. Речь идет о чувстве, скрашивающем тяжелую жизнь бедняков, позволяющем им переносить многие испытания и, по воле автора, обеспечивающем им торжество над людьми несправедливыми и жестокими.

---

<sup>51</sup> Там же, стр. 698.

<sup>52</sup> Там же, стр. 698. 699.

Правда, эта тема подана в сентиментальном духе да еще усугублена тем, что Ефим — «карлик», как и его сестры. Подобная ситуация вообще может показаться исключительной, если не вспомнить о том, что в некоторых многодетных семьях бедняков врожденная неполноценность, а иногда и физическое уродство были естественным результатом тяжелейших условий жизни.

При всей сентиментальности, однако, братская любовь показана достаточно убедительно благодаря тому, что проявляется она во взаимной заботе, в готовности все сделать для другого. Так, о путешествии Ефима в Петербург говорится: «Он не помнил, как шел зимою и в одном холодном кафтанишке: ему так было тепло, — говорил он, — как бы в Петровки: немудрено, — добавляет автор, — кто горит жаром добродетели, для того все времена года равно теплы, для того самая угрюмая зима то же, что красное лето; души токмо холодные, низкие поступают по погоде и в пасмурный день боятся спасти другого»<sup>53</sup>.

Эта гуманистическая тенденция придает значительность избранному сюжету, именно благодаря ей слог автора обретает силу, и сквозь сентиментальные тирады пробивается живое чувство — сострадание к бесправным и угнетенным людям.

Автор повести склонен к нравоучениям. Он верит в силу просвещения, и в этом отношении его можно считать продолжателем традиций «Иртыша». Говоря о вечных страданиях бедных, о произволе богачей, он замечает:

«Как законы ни вооружались против зла сего, но тщетно: одно разве просвещение удобно искоренить его и то чрез многие веки, когда человек по собственному страданию судить будет о страдании ближнего»<sup>54</sup>.

Вместе с тем это произведение как бы предваряет те образцы рукописной литературы Сибири, которые создавались не с художественной целью, но как жалобы на притеснения местного начальства. У кого можно было искать защиты против сибирских сатрапов? Многие бедняки уповали на царя. И сама история Ефима Тюменева трактуется автором как суровое предупреждение тем, кто забыл о справедливости: «...Ведайте, что и карлы достигают престола, и ежели вы страшились доселе одних только вельможей, то отныне бойтесь не менее того и пигмеев»<sup>55</sup>.

<sup>53</sup> Там же, стр. 699.

<sup>54</sup> Там же, стр. 698—699.

<sup>55</sup> Там же, стр. 700.

Понятно, что автор этого произведения, «неизвестный тобольский Карамзин», не рассчитывал на публикацию; поэтому он и писал о жестоких противоречиях времени со всей откровенностью. Его демократические симпатии, его близость к описываемой среде несомненны. Он искал «редкий пример братской любви» там, где тот был единственно возможен, — в среде народной. Как замечал Шапов, «в сибирских деревнях иногда замечались редкие проявления единокровного братолюбия и семейной привязанности»<sup>56</sup>. Подвиг своего героя автор повести считал достойным увековечения: «Тебе, Тюменев, мой знаменитый и ростом и душою герой братской любви, простосердечный учитель добродетели, вместо лаврового венка, который скоро увянуть может, приношу я в дар чувство удивления и доброхотства, которое никогда не изменится»<sup>57</sup>.

Повесть «Ефим Тюменев» — незаурядное явление в рукописной литературе Сибири начала XIX в. Созданная в традициях сентиментализма, она отражает демократическую сторону этого направления. В то время как Карамзин уже отказался от художественного творчества и целиком сосредоточился на создании «Истории государства Российского» (с 1803 г.), а в произведениях его последователей сентиментализм утрачивал последние черты прогрессивности, неизвестный сибирский литератор — пусть с меньшей художественной силой — повторил то, что было сделано в свое время автором «Бедной Лизы»: провозгласил ценность человеческой личности, стоящей на самой последней ступеньке общественной лестницы.

\* \* \*

Характеризуя литературные вкусы сибирской читающей публики начала прошлого столетия, А. П. Шапов писал:

«Самостоятельная разумная критика общественных понятий и нравов в сибирском обществе, как и вообще во всем русском обществе, в начале XIX в., разумеется, еще и немислима была. Граждане иркутские тогда еще без разбору и с одинаковым вкусом читали и усвоили как оптимистические, так и кое-какие критические статьи разных сочинителей. Они увлекались всяким забавным балагурством, всякими шутивно-просмешивыми изречениями и потешными афоризмами, имевшими претензию на юмор или сарказм, всякими песнями и одами, отзывавшимися хотя бы то самыми слабыми сатирическими тенденциями»<sup>58</sup>.

<sup>56</sup> Там же, стр. 698.

<sup>57</sup> Там же, стр. 700.

<sup>58</sup> Там же.

Хотя в этой оценке была известная доля истины, полностью с ней согласиться нельзя. Прежде всего, Шапов был неправ в характеристике всего русского общества начала XIX в. Не следует забывать, что как раз в это время продолжало развиваться сатирическое направление русской литературы, выступали поэты-радищевцы, зарождались первые элементы критического реализма (творчество И. А. Крылова). Что касается сибирского общества, то и о нем нельзя судить как о чем-то однородном. И то, что по справедливости могло быть отнесено ко многим представителям купечества и чиновничества, совсем не характерно для наиболее образованной части этих сословий.

Н. С. Щукин в статье «О книжном чтении в Иркутске» пишет: «С 1800 по 1810 год славились собранием книг купцы Дудоровский, Старцев, Баженов, Савватеев, Апрельков...»<sup>59</sup>. Однако он перечислил не все книжные собрания, упустив, в частности, библиотеку А. Е. Полевого (отца Николая Полевого), образованнейшего человека своего времени, критически мыслящего, объединявшего вокруг себя передовых людей Иркутска. Он выписывал «Московские ведомости», «Вестник Европы», «Политический журнал», «Московский Меркурий». В библиотеке отца Николай Полевой имел возможность прочитать произведения Сумарокова, Ломоносова, Карамзина, Хераскова, Коцебу и др. Семейство Полевых — не единственный пример того, что наиболее прогрессивная часть иркутского купечества была на уровне передовой общественной мысли, литературы и журналистики начала XIX в.

Значительным толчком к общественному самосознанию купечества и развитию его культуры послужила жесточайшая борьба с администрацией, развернувшаяся в период правления генерал-губернатора Пестеля и губернатора Трескина (1806—1819 гг.). Борьба эта была отражением острых противоречий между развивающейся буржуазией и феодально-крепостническим строем, противоречий, характерных для всей России, но в условиях Сибири получивших специфическое выражение.

Генерал-губернатор Пестель, по существу, устранился от управления Сибирью: он жил в Петербурге и единственной заботой его было насадить повсюду «своих» людей, а также препятствовать поступлению в Петербург жалоб на его ставленников. По собственным словам Пестеля, он был «очень ласково принят государем», сказавшим ему: «Требую от вас, что-

<sup>59</sup> Н. С. Щукин. О книжном чтении в Иркутске. «Северная пчела», 1844, № 128.

бы ни с кем не имели бы дела насчет вашего управления в Сибири, кроме со мною, без всякого посредничества...»<sup>60</sup>. И Пестель использовал это в полной мере: многие годы ни одна из жалоб, направленных царю, не была доставлена по назначению.

Основным клеветом Пестеля был Трескин: «...поставленный в необходимость быть самостоятельным, облеченный к тому же широкими полномочиями, он мог и должен был развить в себе полицейские замашки того времени, и из него вышел невыносимый деспот»<sup>61</sup>. Произвол Трескина был настолько велик, что трудно было найти ему равный даже в условиях аракчеевской России. Опорой Трескину служили люди типа исправника Нижнеудинского уезда Лоскутова, о котором И. Т. Калашников писал:

«Окруженный всегда казаками, вроде опричников времен Ивана Грозного, Лоскутов возил с собой орудия казни: розги, палки и плети... Не было пощады ни полу, ни возрасту, ни состоянию здоровья. Старики и дети, девицы и беременные женщины, больные и хилые... все равно подвергались мучению... Многие умирали на месте; другие спустя день, два после мучения!»<sup>62</sup>

Борьба купечества с Трескиным была вызвана причинами экономического характера. Как справедливо замечает В. Ватин-Быстрянский, «тяжба шла за раздел общественного пирога»<sup>63</sup>. Но вместе с тем эта борьба приняла и социальную направленность: купечество стремилось отстаивать свои гражданские права. В одном лагере с ними выступали представители служилой интеллигенции — чиновники, учителя, мещане, духовенство и даже крестьяне. М. К. Азадовский писал: «Ни в коем случае нельзя отрицать в этой борьбе наличие идейных моментов, моментов общей борьбы с произволом и насилием власти. И с этой стороны борьба местной буржуазии с властью имела прогрессивное значение, содействуя развитию оппозиционных настроений в широких слоях общества»<sup>64</sup>.

Схватка с местной бюрократией способствовала сплочению сил сибирского купечества. В этот, если можно так выразить-

---

<sup>60</sup> В. А. Ватин. Восточная Сибирь в начале XIX в. «Сибирский архив», 1916, № 3—4, стр. 125.

<sup>61</sup> В. К. Андриевич. Сибирь в XIX столетии, ч. 2. СПб., 1889. стр. 304.

<sup>62</sup> И. Калашников. Записки иркутского жителя. «Русская старина», 1905, кн. 7, стр. 238.

<sup>63</sup> В. А. Ватин. Указ. соч., стр. 135.

<sup>64</sup> М. К. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 56.

ся, «героический» период сибирской буржуазии сформировались и закалились характеры лучших ее представителей, в их среде возникла еще более острая, чем прежде, потребность в культуре, в образовании, в своей «житейской философии».

В исследуемые годы особенно интенсивно развивается летописная традиция, которая уходит своими корнями в XVIII в. Первым иркутским летописцем, по свидетельству С. С. Шукина, был иркутский посадский Василий Сибиряков, потомок одного из первых русских колонистов, следовавших партиями за казачьими отрядами покорителей Сибири<sup>65</sup>. Летопись Василия Сибирякова создавалась, судя по всему, с середины XVIII в. Во всяком случае, летописцы Захар и Михаил Щегорины, начавшие записи в 70-х годах XVIII в. и окончившие в 1810 г., назвали свою летопись так: «Выписки о разных любопытностях Иркутска, списанные с книги Василия Сибирякова». Непосредственными продолжателями сибиряковской летописи стали сыновья Василия Михаил и Николай Сибиряковы. Они довели летопись отца до 1802—1803 гг. Оба стали жертвами произвола Трескина: один был выслан в Нерчинск, другой — в Жиганск. Вполне вероятно, как замечает С. С. Шукин, что они продолжали вести летопись вплоть до отъезда из Иркутска в других книгах и тетрадах, но они не сохранились.

«Я имел случай, — пишет С. С. Шукин, — читать обе летописи Сибиряковых. Они отличаются одна от другой тем, что в первой помещены все жалобы, посланные на генерал-губернатора Якобия, а во второй подробно описаны все вопиющие злоупотребления бывшего с властью гражданского губернатора бригадира Немцова»<sup>66</sup>.

Летописи существовали также в нескольких копиях с продолжениями<sup>67</sup>. Такова летопись иркутского купца Якова Донского, представляющая собой сокращенный вариант летописи Михаила Сибирякова. В свою очередь, списком с летописи Донского была «Иркутская летопись», напечатанная Петром Ильичем Пежемским<sup>68</sup>. «К сожалению, издатель не отличил вновь прибавленных им сведений от старинных»<sup>69</sup>.

<sup>65</sup> С. С. Шукин. Примечание к кн. Н. Щ(укина) «Материалы для сибирской библиографии». «Памятная книжка Иркутской губернии на 1865 г.», Иркутск, 1865, стр. 61.

<sup>66</sup> Там же.

<sup>67</sup> С. С. Шукин упоминает летописи, которые были у статского советника Корюкова, священника Троицкой церкви Карамзина, чиновника И. Я. Козлова и др.

<sup>68</sup> «„Иркутская летопись“ П. И. Пежемского». «Тр. ВСОРГО», № 5 А, Иркутск, 1911. Впервые опубликована в «Современнике», 1850, № 6—8.

<sup>69</sup> С. С. Шукин. Примечание к кн. Н. Щ(укина)„, стр. 62.

Безусловно, нельзя отождествлять летопись П. И. Пежемского с теми первоисточниками, которые он использовал, и все же на основании ее мы можем судить о том, что привлекало внимание первых иркутских летописцев, какие события они освещали подробно и какие авторские тенденции проступали сквозь оболочку спокойно-объективного повествования.

Прежде всего в летописи отражен огромный интерес к развитию торговли, и о каждом торговом караване, следующем через Кяхту в Китай или обратно, сообщалось как о важном событии, достойном внимания историка. А рядом с этим давалась характеристика воевод, затем вице-губернаторов и, наконец, губернаторов, правивших в Иркутске, причем, за редкими исключениями, они изображались как лихоимцы, взяточники, жестокие люди, что, конечно, соответствовало действительности. Особенное внимание уделялось таким проявлениям деспотизма, от которых больше других страдали представители купеческого сословия. Например, в записи за 1717 г. рассказывалось, как воевода Лаврентий Ракитин отправился из Иркутска за Байкал для встречи едущего из Китая с караванной казною купца Гусятникова и самовластно отобрал у него золото, серебро и разные дорогие китайские вещи, за что впоследствии был осужден в Петербурге и казнен<sup>70</sup>.

Подробно описываются в летописи бесчинства вице-губернатора Ивана Жолобова, издевательства и пытки, которым он подверг дворянина Ивана Литвинцева; говорится и о мести Жолобова иркутским купцам, не захотевшим подписать прошение об оставлении его в прежней должности<sup>71</sup>.

Но с особенным негодованием подана в летописи история следователя винокуренных дел П. Н. Крылова, наделавшего в Иркутске «неслыханные пакости и противузаконные поступки» и оставившего по себе «самую постыдную память».

Пежемский замечает: «Поступки и все действия Крылова в трехлетнее его пребывание в Иркутске мы передадим читателю так, как они описаны в «Иркутской летописи» очевидцами, не прибавляя ничего»<sup>72</sup>. Следовательно, в данном случае летопись Пежемского позволяет наиболее точно судить о характере и содержании ее первоисточников.

Дело Крылова особенно взволновало летописцев потому, что оно непосредственно касалось иркутского купечества. Крылов был послан в Иркутск обер-прокурором сената А. И.

---

<sup>70</sup> «„Иркутская летопись“ П. И. Пежемского», стр. 14.

<sup>71</sup> Там же, стр. 45—47.

<sup>72</sup> Там же, стр. 77.

Глебовым в связи с подозрением, что купцы утаивают от казны деньги, получаемые за счет винного откупа. Летопись целиком снимает вину с купцов и изображает дело так, что люди под пыткой наговаривали на себя и других. После многих истязаний, говорит летописец, «наконец, удалось Крылову довести купечество до безусловного сознания на все его требования. При этом случае потерпел более всех купец Иван Бичевин, который вскоре после претерпенного мучения умер»<sup>73</sup>.

Крылов арестовал многих купцов, опечатал их дома и лавки, продавал и расхищал их имущество, вымогал «добровольные приношения» и подверг иркутское купечество жестокому разгрому.

Любопытно, что только благодаря счастливой случайности удалось, наконец, найти управу на Крылова. Граждане Иркутска направили в Петербург жалобу с сержантом Конюховым. Но Крылов за несколько дней до этого послал своего курьера. Конюхов догнал его в Тобольске и уговорил остановиться на денек, отдохнуть и погулять. «Согласились, Конюхов употребил хитрость, спойл своего товарища так, что тот, как говорится, «свалился с ног» и уснул, потом взял лошадей и ускакал»<sup>74</sup>.

Так удалось опередить крыловского курьера. Но даже распоряжение об аресте следователя пришлось исполнять силой: потребовалось 25 казаков, чтобы разоружить караул и отобрать оружие у Крылова, готового стрелять в каждого, кто к нему подойдет.

Летописец так и не знает, что было с Крыловым впоследствии. Но некоторые иркутяне видели его «разгуливающим по петербургским улицам». Крылов отделался за свои преступления только лишением чинов.

«Иркутская летопись» представляла собой документ большого значения. В нем отразились многие события общероссийского характера: бироновщина, отмена Тайной канцелярии при Екатерине II, путешествия Ивана Беринга, научные экспедиции историков Миллера и Фишера, ботаника Гмелина, посольство графа Рагузинского в Китай, народные переписи и т. д. Летописцы рассказывали о бунтах на Камчатке и о жестокой расправе с восставшими. Они упоминали о неоднократных следствиях по поводу злоупотреблений, допускаемых при сборе податей с «инородцев».

---

<sup>73</sup> Там же, стр. 79.

<sup>74</sup> Там же, стр. 81.

Конечно, в летописи слишком большое место, на наш взгляд, занимают отчеты о церковных празднествах, о строительстве и ремонте храмов, о пожарах, наводнениях и землетрясениях, о покрытии льдом и вскрытии Ангары и т. п. В этом проявляется некоторая местная ограниченность летописцев, смещение масштабов в оценке в общем-то мелких и частных событий. Но вместе с тем это позволяет читателю нагляднее представить себе жизнь Иркутска в тех бытовых подробностях, в которых так или иначе отражается колорит времени.

При всей тенденциозности авторов, отстаивавших интересы купеческого сословия и не обмолвившихся ни единым критическим замечанием в адрес его представителей, летопись не является сословно-ограниченным документом. В том, как правдиво воссоздает она картину злоупотреблений почти всех местных правителей, проявляется обличительная тенденция, характерная для многих образцов рукописной литературы Сибири. Летописцы совершенно не рассчитывали на издание своих трудов, ими руководило лишь желание сохранить для потомков подлинные факты, запечатлеть возможно подробнее историю Иркутска. И в этом отношении их старания трудно переоценить. Не случайно же рукопись П. И. Пеземского была опубликована на страницах некрасовского «Современника».

Наряду с авторами и переписчиками летописей были известны в Иркутске и мемуаристы, которые не только исправно из года в год записывали историю своего рода, но и включали в повествование многие общественные события. Таковы записки коммерции советника «именитого» купца Петра Тимофеевича Баснина — «Мемориалы», как называл их он сам. По свидетельству его внука, П. П. Баснина, «Мемориалы» составляли несколько больших томов по 500—700 страниц каждый и охватывали период в 73 года — с 1778 по 1851<sup>75</sup>. Они не были опубликованы в полном объеме, и в свет вышли только записи, относящиеся к 1808—1809 гг.<sup>76</sup> В них П. Т. Баснин нарисовал довольно широкую картину тогдашней жизни, рассказал о жертвах произвола Трескина, о страданиях и муках этих людей. Особенно глубокое впечатление оставляет трагическая участь Александра Васильевича Игумнова, знатока китайского и монгольского языков.

---

<sup>75</sup> П. И. Б а с н и н. Из прошлого Сибири. Мученики и мучители, «Исторический вестник», 1902, № 11, стр. 532.

<sup>76</sup> Там же, стр. 532—574.

«Да, тяжело жить в нашей Сибири, нет в ней правды, нет радости, как нет и справедливости»,—эта горестная фраза Баснина звучит как обобщение всего пережитого и им самим и многими представителями иркутского общества этих лет<sup>77</sup>.

Рукописная публицистика, произведения которой имели хождение по всей России, стала в условиях Сибири почти единственной формой выражения общественного протеста. Широко распространялись в списках сатирические и юмористические стихи, карикатуры, анекдоты. Но особенно характерным для Сибири являлся «донос». Жалобы в Петербург — вот все, что могли противопоставить неограниченной власти сибирских сатрапов притесняемые ими люди. Жаловались купцы, чиновники, духовенство, крестьяне. Нередко эти «доносы» были написаны с такой страстностью и мастерством, что перерастали свое конкретное назначение, неоднократно переписывались и превращались в произведения рукописной литературы. Таким было «Обличение» Горновского — один из наиболее ярких памятников местной литературы начала прошлого века<sup>78</sup>.

Говоря о злоупотреблениях и вымогательстве чиновников, о все растущем голоде в северных местностях Сибири, об угрозе людоедства, Горновский не просто констатировал факты, но поднимался до высокого обличительного пафоса. Он писал с темпераментом публициста, с поэтической образностью подлинного художника:

«В том краю, куда редко проникает человеческий глаз, где шумит девственный вековой лес, где вершины гор покрыты вечным снегом и куда трудно проехать, томятся несчастные люди и от невзгоды суровой природы и еще больше от людской несправедливости и жестокосердия. Нет там ни правды, ни суда, а царит произвол лютейших правителей, ради своих преступных, лихоимных целей порабоощающих все население Якутского края...»<sup>79</sup>.

Стиль этого произведения свидетельствует об образованности, начитанности автора. Последнее подтверждают и люди, знавшие его. И. Т. Калашников в «Записках иркутского жителя» говорит о Горновском как о человеке «весьма умном и хорошо образованном». Одно время он был в Иркутске прокурором и, кроме того, пользовался известностью как хороший скрипач. Но «Иркутск редко имел случай слышать

<sup>77</sup> Там же, стр. 542.

<sup>78</sup> Опубликовано в отрывках в мемуарах П. Т. Баснина «Из прошлого Сибири» («Исторический вестник», 1902, №11).

<sup>79</sup> П. Б а с н и н. Указ. соч., стр. 569—570.

Горновского. Гонимый начальством, он лет двадцать жил в бедности, на своей скудной заимке, верстах в восьми от города. Страшась преследований, никто в городе не смел дать ему квартиру, кроме одного доктора Гриба. Зять Гриба служил в канцелярии губернатора, который, рассердившись на то, что Горновский иногда останавливается в доме его тестя, с гневом вскричал: „Я дом ваш раскатаю по бревнам”<sup>80</sup>.

Среди сатирических произведений, направленных против Трескина, следует отметить стихотворение неизвестного автора «Философ Вшивой горки, или мысль при сечении мясников»<sup>81</sup>. Название этой сатиры объяснялось расправой Трескина с купцами, стремившимися отстоять свою монополию в мясной торговле. Сатира не отличалась поэтическими достоинствами, автор ее явно был не в ладу со стихотворной формой. И все же в ней довольно ярко обрисовывалось деспотическое правление Трескина, его пренебрежение законностью, умение представить любое дело в выгодном для себя свете:

О ты, надменный стратодрах!  
Не знает деяний твоих великий монарх,  
Как ты в Иркутске куролешишь,  
Губишь ты всех, только не вешишь...  
...Купцы в рабочем доме содержимы  
Без всякие вины, не быв судимы.  
Деяния твои пристрастны,  
Законы все безгласны...<sup>82</sup>

Содержание сатиры не сводится лишь к защите интересов купеческого сословия. Здесь речь идет о страданиях самых различных слоев иркутского населения:

В частях секут и мучат без суда,  
Всяк тебе делай качели, сады и ируда,  
Гауптвахту перестрой, и каменья перевези,  
И все желанья исполняй, и денег не проси<sup>83</sup>.

Автор сатиры говорит и о супруге Трескина, которая берет взятки мехами и тканями, передавая затем все это губернатору:

И тут в нуждах своих покорнейше проси!  
Она о тебе в тот час доложит,  
Взятое пред тобой с улыбкою положит<sup>84</sup>.

<sup>80</sup> И. Т. Калашников. Записки иркутского жителя. «Русская старина», 1905, кн. 7, стр. 215.

<sup>81</sup> Стихотворение публикуется А. Щаповым в указ. соч., стр. 694—696. Отрывок напечатан в сб. «Старая сибирская сатирическая поэзия». Новосибирск, 1938, стр. 28—29.

<sup>82</sup> А. Щапов. Указ. соч., стр. 694.

<sup>83</sup> Там же.

<sup>84</sup> Там же.

Стихотворение выдержано в традициях сатирического направления русской поэзии XVIII в.: реалистические элементы, содержащиеся в нем, позволяют преодолеть классицистскую отвлеченность, и сатира приобретает конкретный социальный смысл. В соответствии с требованиями классицизма она содержит и нравоучение. Автор советует Трескину прочитать наказ «богоподобной Фелицы», которая говорила, что излишняя строгость вредна. Он призывает Трескина воздержаться от притеснения своих подданных, запретить жене брать взятки, передать имение умерших в Приказ, освободить «засаженных в тюрьму». Но в то же время автор выражает сомнение, что Трескин последует этим советам, и, как к последней надежде, обращается к богу:

Внуши царю, помазанну тобою,  
Что мы гонимы злой судьбою,  
Поставь начальника другого...<sup>85</sup>.

Это стихотворение — одно из многих, осуждающих трескинский произвол. Среди прочих В. И. Вагин называет сатиру ссыльного поляка Кисляновича, написанную в манере Кантемира<sup>86</sup>.

Но были, конечно, в эти годы и произведения, прямо противоположные по своему характеру, — создаваемые в среде приспешников губернатора. Эти «придворные» авторы не жалели хвалебных слов в адрес Трескина, изображая его мудрым и справедливым.

Как сообщает Г. Кунгуров<sup>87</sup>, в начале XIX в. в Иркутске ввели так называемые gratуляции (торжественные поздравления). Первая gratуляция состоялась в день именин Трескина 14 декабря 1814 г. Проводилась она со всей пышностью и парадностью, на какую только оказался способным иркутский «свет». «Мы увидели среди залы стоящего с Анной через плечо именинника Николая Ивановича Трескина, окруженного чиновниками, почетным купечеством и разных бурятских родов тайшами в собольих, крытых дорогами разноцветными парчами шубах. Когда произнесены были русская и латинская речи, тогда выступили три мальчика, милovidные, прилично одетые, и первый, побольше, спрашивает крошеч-

<sup>85</sup> Там же, стр. 696.

<sup>86</sup> В. И. Вагин. Исторические сведения о деятельности гр. М. М. Сперанского в Сибири, т. 1. СПб., 1872, стр. 607.

<sup>87</sup> Г. Кунгуров. Ранние культурные и литературные интересы в старой Сибири. «Уч. зап. Иркутского гос. пед. ин-та», вып. VII, 1941, стр. 96.

ного: «Ну видишь ли?» Крошечный: «Каво?» Побольше: «А пра каво твердил ты беспрестанно: «Ах, как бы мне его и где бы посмотреть?» Крошечный: «Так это он?». Самый старший: «Он бедных покровитель, он правды защититель и проч. и проч.»<sup>88</sup>.

Автор этого описания отмечает, что ректор гимназии долго готовил детей к произношению гратуляции и для устранения недостатка сибирского выговора написал слова мальчиков так, чтоб сохранить признаки московского произношения<sup>89</sup>.

Эта верноподданическая струя местной литературы сохранилась и позднее, когда Пестель и Трескин были, наконец, смещены: теперь поэты-любители состязались в составлении «хвалебных кантов» в честь нового правителя Восточной Сибири — генерал-губернатора М. М. Сперанского.

\* \* \*

Отечественная война 1812 г. явилась событием, определившим на много лет вперед характер общественной и культурной жизни страны, в том числе Сибири.

Народная война против Наполеона не только вызвала огромный патриотический подъем, но и пробудила свободолюбие в самых широких массах. Невольное сравнение между Европой и крепостнической Россией, которое делали русские воины, сражаясь за пределами своей родины, обостряло ненависть к крепостному праву, к самодержавию. «Не русские журналы пробудили к новой жизни русскую нацию — ее пробудили славные опасности 1812 года», — писал Н. Г. Чернышевский<sup>90</sup>.

Отечественная война нашла широчайший отклик в литературе тех лет. Победоносное русское оружие прославляли представители самых различных направлений. Не могли пройти мимо событий, волновавших всю Россию, и литераторы Сибири. Однако патриотизм сибиряков не получил достойного отражения средствами поэзии. Это объяснялось прежде всего неразвитостью местной литературной жизни начала 10-х годов, неподготовленностью сибирских литераторов к воплощению в творчестве общенациональных мотивов.

---

<sup>88</sup> «Иркутские епархиальные ведомости», 1878, № 41, стр. 463—464.

<sup>89</sup> Там же.

<sup>90</sup> Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. IV. М., 1948, стр. 765.

Одним из немногих поэтических произведений в Сибири, посвященных событиям Отечественной войны, была юношеская ода будущего беллетриста И. Т. Калашникова «Торжество России», написанная в подражание Державину. «В оде,— вспоминает сам автор,— по тогдашнему обыкновению, Наполеон представлен был в виде чудовища, от которого трепетал мир и дрожала ось земная; прославлялся Кутузов, Витгенштейн, Платов, Багратион, славилась русская армия и воздавалась достойная хвала императору Александру I-му»<sup>91</sup>.

Вот отрывок из оды:

Летит — и скипетром железным  
Повсюду сеет страх и смерть,  
Крылами рассекает бездны,  
На вечной оси движет твердь;  
Народы рабству покая  
И в пепел грады превращая,  
Колелет троны, силы власть.  
Разверзла челюсти геенна,  
Объята пламенем вселенна  
И всюду бедствие, напасть!<sup>92</sup>

Описывая победу над «чудовищем», автор в известном смысле опережал события: «Ода эта была сочинена, как помнится, в начале 1813 года; следовательно, когда Наполеон, хотя и потерпел поражение, однако же, был еще в силе, но так у всех была велика уверенность в его конечной гибели, что в оде уже пророчески предсказывается его падение и общее освобождение Европы»<sup>93</sup>.

Молодой поэт не случайно взял себе Державина за образец: стихи «певца Фелицы» пользовались в сибирском обществе исключительной популярностью, тем более, что незадолго до этого, в 1808 г., вышло в свет собрание сочинений Державина в четырех частях (пятая часть была издана в 1815 г.). Сибиряки не только переписывали и заучивали его стихи, но пытались и сами подражать ему. «Все старались наперерыв надуваться, как лягушка, желавшая поравняться с волком, подбирали слова самые высокопарные, гремели, кто во что горазд»<sup>94</sup>.

Впрочем, Калашников отмечал, что делалось это не из тщеславия, а из бескорыстной любви к искусству: «Чиновники-литераторы... писали сочинения прозой и стихами не

<sup>91</sup> И. Т. Калашников. Записки иркутского жителя. «Русская старина», 1905, кн. 8, стр. 386.

<sup>92</sup> Там же.

<sup>93</sup> Там же, стр. 387.

<sup>94</sup> Там же.

для печати, не для славы, а так, *con amor*, единственно для упражнения, для домашнего обихода...»<sup>95</sup>.

Когда Наполеон был изгнан из России, все с нетерпением ожидали, скоро ли запоет Державин. И его «Гимн лиро-эпический на изгнание галлов» был принят с восторгом. Но «вдруг посреди грома и шума державинских стихов раздался мелодический, нежный, чудный и не слыханный дотоле голос Певца во стане русских воинов»<sup>96</sup>. Сначала все были поражены и долго не могли расстаться с «громом Державина», но постепенно оценили «музыку Жуковского», «сладость его стихов»<sup>97</sup>.

Тем не менее должно было пройти еще, по крайней мере, 10 лет, чтобы романтическая поэзия овладела сознанием сибиряков, чтобы в местной литературе появились первые подражатели Жуковского и романтизм стал развиваться на сибирской почве.

Первые два десятилетия XIX в. были отмечены в литературной жизни Сибири не только созданием рукописных произведений, но и появлением ряда краеведческих трудов, печатавшихся в Петербурге и Казани. Эта краеведческая традиция — одна из наиболее характерных в истории литературы Сибири. Она зародилась здесь еще в XVII в. и особенно ярко развилась в XIX столетии. Ее влияние сказалось на произведениях всех литературных направлений, начиная с классицизма и кончая критическим реализмом.

В начале XIX в. краеведение отражало растущий интерес русской читающей публики к Сибири и удовлетворяло этой потребности<sup>98</sup>. Вместе с тем оно выражало стремление наиболее образованных людей к освоению огромного края, во многом остающегося неисследованным. Не случайно среди краеведов этих лет значительную часть составляли преподаватели иркутской гимназии и такие знатоки края, как губернский землемер А. И. Лосев, будущий писатель И. Т. Калашников (состоявший на службе в канцелярии Трескина), П. А. Словоцов.

После возвращения из ссылки П. А. Словоцов некоторое время служил в Петербурге и довольно успешно: ему про-

<sup>95</sup> Там же, стр. 385.

<sup>96</sup> Там же, стр. 387.

<sup>97</sup> Там же.

<sup>98</sup> Свидетельством интереса к Сибири было появление в русской литературе целого ряда произведений на сибирские темы. В основном, они были связаны с именем Ермака: поэма И. Дмитриева «Ермак» (1795 г.), сентиментальная повесть Буйницкого «Ермак, завоеватель Сибири» (1805 г.), трагедия П. Плавильщикова «Ермак, покоритель Сибири» (1806 г.), повесть И. Д. «Жизнь и деяния Ермака» (1807 г.) и др.

чили блестящую карьеру, но недоброжелатели оклеветали его, и он был выслан в Сибирь. Сначала Петр Андреевич жил в Екатеринбурге. Затем с 1814 г. он поселился в Иркутске, где занял должность «совестного судьи», а через некоторое время был назначен директором народных училищ Иркутской губернии. В эти годы и начинается особенно интенсивная деятельность его как краеведа. Он ездил с ревизией в Иркутскую губернию, в Забайкалье, в Якутию. Впечатления, накопленные им в тысячеверстных поездках, были воплощены в серии статей и заметок. Только за 1816 г. в «Казанских известиях» были опубликованы такие работы Словцова, как «Замечания о реке Ангаре» (№ 10), «Общий взгляд на Иркутскую губернию» (№ 11—12), «Изображение нашей торговли с Китаем» (№ 68—69), «О состоянии населения за Яблоновым хребтом» (№ 74), «О состоянии Нерчинского уезда» (№ 75—76), «Топографическое описание Дарасунских вод» (№ 82), «Об Якутской области» (№ 87—89) и др.

В этих статьях Словцов зарекомендовал себя как вдумчивый и беспристрастный исследователь, как человек честный и искренний в своих описаниях. Он не заботился о внешней занимательности и обращался к самым прозаическим сторонам жизни, но писал о том, что считал главным, — о насущных нуждах русского и «туземного» населения. При этом он не ограничивался поверхностным описанием того, что видел, но пытался глубоко осмыслить это, сопоставляя с другими фактами, привлекал статистический материал, а нередко рассматривал современность в аспекте историческом. Иногда в нем уже чувствовался будущий автор «Исторического обозрения Сибири».

Наиболее ценной стороной в деятельности сибирских краеведов было то, что они писали не понаслышке, не пользуясь сведениями «из вторых рук», но обобщая в своих статьях собственные впечатления. Калашников, рассказывавший о Тельминской суконной фабрике или описывавший Киренский уезд, Лосев, писавший статьи о целебных источниках, об иркутских землетрясениях, Ненашевский, изучавший простонародные сибирские слова, — все они писали «с натуры», открывая читателю все новые и новые стороны сибирской действительности.

Краеведческая литература приобрела такой размах, что в 1813 г. возникла идея специального издания под названием «Собрание известий, служащих к истории и географии Сибири». Правда, этот проект остался неосуществленным. Но с 1818 г. в Петербурге стал издаваться Г. Спасским журнал «Сибирский вестник». Под этим названием он выходил в свет до

1824 г., а затем издавался как «Азиатский вестник» (1825—1827 гг.). Журнал включал «избранные сочинения и переводы по части наук, искусств и словесности стран восточных, равно путешествия по сим странам и разные вообще новейшие сведения», а также многочисленные материалы по этнографии и археологии Сибири.

В этом журнале сотрудничал и Словцов. В 1821 г. он опубликовал большую статью «О забайкальских достопамятностях» (часть 15). Почти одновременно в «Казанском вестнике» (1821, ч. 2, № 5) была опубликована другая его статья на ту же тему.

Характеризуя произведения краеведческой литературы этих лет, М. К. Азадовский отмечал, что они нередко были сухи, академичны, но иногда в них звучал боевой и страстный тон: «Это — не только опыты изучения и познания края, но и пропаганда его, стремление заставить отрешиться от привычных воззрений на край или даже Сибирь в целом, заставить отказаться от взглядов на Сибирь, как „царство мрака и хлада“»<sup>99</sup>.

Пример тому — известный в свое время труд «Новейшие, любопытные и достоверные повествования о Восточной Сибири»<sup>100</sup>. В «Предисловии к благосклонным и любопытным читателям» автор заявляет, что многие описания Восточной Сибири, данные путешественниками или сочинителями, неточны и неудовлетворительны. Он опровергает мнение о Сибири как дикой пустыне, отмечает «богатства благодетельной природы», «благонравие и неиспорченность нравов сибиряков», утверждает, что молодым людям, совершающим путешествия в другие края, хорошо было бы для познания своего отечества проехать Сибирью до Кяхты, Нерчинска и Якутска, дабы убедиться, что среди иностранных государств нет равного России по своим природным богатствам.

---

<sup>99</sup> М. К. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 70.

<sup>100</sup> С. С. Шукин утверждает, что фактическим автором этого произведения, опубликованного под именем бывшего иркутского вице-губернатора Н. Семивского, был А. Лосев, «который имел довольно странную в наше время привычку дарить свои фолиантные манускрипты разным лицам в Иркутске, занимавшим видные места», и «Семивский выдал за свое чужое» («Памятная книжка Иркутской губернии на 1865 г.», стр. 56—57). Правда, Семивский внес в книгу свои стихотворные опыты, а также отрывки из «Послания с Невы на Ангару» (опубликовано в «Русском вестнике», 1812, кн. IX). Не исключено, что Семивский дополнил труд Лосева некоторыми данными, тем более, что по выезде из Сибири он прочитал, по собственным словам, «все, что мог только достать любопытного и также достоверного об Иркутске и Иркутской губернии».

В духе этого предисловия написана вся книга, хотя она и носит характер академического справочника. Автор не устает восхвалять Иркутск, называя его одним из лучших, богатейших городов России. Географическое положение города, его историческое прошлое, его церкви и школы, площади и улицы, заводы и фабрики, каменные и деревянные дома, даже его климат — все это обрисовано с похвалой, а часто — с восхищением. Когда же автор пишет о Байкале и Ангаре, то его краеведческий пафос звучит в полную силу: для автора Байкал — лучшее озеро в мире, Ангара — «величайшая река в Сибири».

В книге настойчиво подчеркиваются высокие достоинства сибирского населения: «Иркутские граждане учтивы, обходительны и гостеприимны... В домах своих живут очень опрятно и богатые для украшения комнат зеркала и другие лучшие мебели выписывают из Санкт-Петербурга, Москвы и с Макарьевской ярмарки... Иностранных языков старики и средних лет люди хотя и не знают, но зато старые и новые русские книги, также газеты и журналы, издаваемые в обеих столицах, выписывая, читают с любопытством, извлекая из всего того существенную для себя пользу...»<sup>101</sup>.

Чрезвычайно важным нам представляется одно авторское замечание, в котором мы находим отзвук борьбы, развернувшейся между администрацией и иркутской общественностью. Дело в том, что Пестель и Трескин постоянно обвиняли перед правительством местное население в склонности к ябедности. Поэтому правительство требовало от Пестеля пресечения этих «доносов», считая, что темное и озлобленное население Сибири клеветает на своих правителей. Как писал И. Калашников, «слово «донос» было страшным орудием тогдашнего Сибирского управления, как некогда ужасное выражение: слово и дело... что бы с тобой ни делали, как бы тебя ни притесняли, ни обижали, жаловаться не смей»<sup>102</sup>.

Н. Семивский выступил против несправедливых обвинений в адрес сибиряков: «Перед целым светом клятвенно утверждая, удостоверяю всех, что нет в Иркутске, как и во всей Иркутской губернии, из тамошних уроженцев ни кляузников, ни ябедников, как некоторые об них думают, говорят и пишут»<sup>103</sup>.

---

<sup>101</sup> Н. Семивский. Новейшие, любопытные и достоверные повествования о Восточной Сибири. СПб., 1817, стр. 35—36.

<sup>102</sup> И. Калашников. Записки иркутского жителя. «Русская старина», 1905, кн. 7, стр. 232.

<sup>103</sup> Н. Семивский. Указ. соч., стр. 37.

По-видимому, Семивский занял отрицательную позицию по отношению к трескинскому произволу и сам пострадал от клеветы. Во всяком случае, в стихотворном «Воззвании к бедным, малолетним сиротам, живущим в Иркутске», он говорит:

Вам, дети милые, вступающим во свет,  
Предстанет множество злодейств, напастей, бед,  
Соблазнов, призраков, мечтаний с суетою;  
Соединившись, коварство с клеветою,  
Подобно как меня, вас тайно уязвят...<sup>104</sup>.

Эти и другие стихи Семивского, опубликованные в данной книге, весьма наивны и несовершенны по форме. И все же они дают материал для некоторых замечаний о характере местной поэзии 10-х годов.

Прежде всего классицистская форма сочетается в них с сентиментальными мотивами. Это особенно характерно для вышеназванного «Воззвания». Оно написано как наставление детям, которым автор посвящает свой труд:

Для вас, малюточки, я труд сей назначаю!  
Вы бедны: да и я богатым быть не чаю.  
Но кто ж богат? Кто добр, другими кто любим,  
Кто Вышним Промыслом от всяких зол храним,  
Кто с утра до ночи и весел и не болен,  
Быв малым чем-нибудь на свете сем доволен.  
Кто ж Крезовых богатств алкает целый век,  
Тот, дети милые, прежалкий человек<sup>105</sup>.

Автор прославляет детей, которые, подобно птичкам, не сеют, не жнут и живут скромно, без прихотей, без жадности, он считает себя бедняком в сравнении с ними.

Эта проповедь кротости и воздержания, этот призыв отказаться от зависти «и искренне любить людей и самых злых», а также восхваление честной бедности — мотивы, навязанные сентиментализмом (не говоря уже о таких выражениях, как «малюточки», «дети милые» и пр.).

Вместе с тем, если согласиться с предположением Азадовского, что автором щедро цитируемого в книге «Послания с Невы на Ангару» является сам Семивский<sup>106</sup>, то следует отметить преклонение автора перед Державиным: именно в духе державинской поэзии написано это пространное стихотворение. Более того, автор обращается в своем «Послании» к «бессмертному певцу и Бога и Фелицы» с призывом воспеть Сибирь:

<sup>104</sup> Там же, стр. 6.

<sup>105</sup> Там же, стр. 3.

<sup>106</sup> М. К. Азадовский. Указ. соч., стр. 70.

О, если б в старости почтенной и маститой  
Соделать мог еще Ты подвиг знаменитый;  
И воскрылась орлом, в священном бивь жару,  
Возмог перелететь с Невы на Ангару;  
Какое б зрелище открылось пред Тобою,  
Достойно пето быть Твоею лишь трубою!<sup>107</sup>

Автор «Послания» описывает Сибирь в торжественных и величественных тонах, не случайно выбрав такое грандиозное явление природы, как образование Байкала в результате землетрясения: это позволяет ему создать картину, потрясающую воображение читателя:

Раздался страшный треск и грохот по горам,  
Где простирался дол, леса где были, там  
Низринулась земля, и пропасти открылись;  
Но пропасти сии отвсюду наводнились...<sup>108</sup>

Далее поэт восславляет Ангару, которая одна «из недр Байкала истекает», как «Дафна юная», бегущая в леса «от взоров Аполлона». Эти строки как бы предваряют следующую главу книги, посвященную Ангаре, где дается географическое описание ее берегов, рек, впадающих в нее, и знаменитых порогов.

Новым стимулом к развитию сибирского краеведения послужило разжалование Трескина в 1819 г.: воспрянувшая духом буржуазия стремилась познать и восславить Сибирь. Краеведение оказало воздействие на литературу романтизма и вместе с тем само подверглось значительному влиянию романтической поэтики. Но это уже тема следующей главы.



---

<sup>107</sup> Н. Семивский. Указ. соч., стр. 44.

<sup>108</sup> Там же, стр. 107.



## ГЛАВА II

### 20-е ГОДЫ. ПОЭЗИЯ РОМАНТИЗМА В СИБИРИ



По окончании Отечественной войны 1812 г. правительство Александра I повело борьбу со свободолобивыми стремлениями передовой русской общественности. Надежды на либеральные преобразования одна за другой были похоронены. Созданному в 1817 г. Министерству духовных дел и народного просвещения вменялось в обязанность пресекать всяческое вольномыслие и осуществлять строжайший контроль над всеми сферами духовной жизни народа, в том числе над литературой. Правой рукой Александра I стал всемогущий Аракчеев.

Естественно, что все это вызывало острое недовольство в передовых кругах русского общества. В конце 10 — начале 20-х годов возникают первые тайные общества. Широкою активностью проявляют прогрессивные журналы, особенно связанные с литераторами-декабристами. Вольнолюбивые идеи пронизывают деятельность новых литературных объединений — «Зеленой лампы» (1818—1820 гг.) и «Вольного общества любителей российской словесности» (1816—1825 гг.).

Этот подъем общественной активности переживает и Сибирь, хотя, конечно, значительно слабее, чем Центральная Россия, особенно до конца правления Трескина (1819 г.). В 1814 г. в Томске раскрывается заговор военнопленных поляков и местных ссыльных. В своем манифесте заговорщики про-

возглашали отмену крепостного права, равенство всех перед законом, выборность суда, свободу театральных постановок и собраний и пр.<sup>1</sup>. В 1818 г. здесь создается масонская ложа «Восточного Светила на востоке», связанная с петербургской ложей «Избранного Михаила», членами которой были Ф. Н. Глинка, братья М. К. и В. К. Кюхельбекеры, Н. А. Бестужев, Г. С. Батеньков, ставший одним из основателей томской ложи<sup>2</sup>.

Значительным стимулом в развитии общественной жизни Сибири послужила ревизия Сперанского (1819 г.), покончившая с «трескинианой», и Сибирская реформа (1822 г.), в разработку которой принял деятельное участие Г. С. Батеньков. Хотя реформа была умеренной, падение Трескина развязало руки сибирской буржуазии. Иркутские купцы начали бороться за неограниченное господство в торговле и скоро превратились в могущественную силу, влиявшую на экономическую и культурную жизнь края. Некоторые из купцов-миллионеров играли роль меценатов, покровительствовали литераторам, собирали богатые библиотеки и картины знаменитых мастеров. С освоением Верхнего Енисея стал быстро развиваться Красноярск. Активизируется культурная жизнь и в других городах. Иркутск 20-х годов перестает быть единственным центром культуры Сибири, каковым он являлся на протяжении первых двух десятилетий XIX в. Происходит, если можно так выразиться, «децентрализация» сибирской культуры. Однако и в 20-е годы Иркутск остается крупнейшим торговым центром на востоке страны, а «ту роль, которую играло в остальной России дворянство, создавшее пышную усадебную культуру, в Сибири стремилась выполнить крупная буржуазия, местное купечество»<sup>3</sup>.

Разгром декабрьского восстания 1825 г., парализовавший на ряд лет духовную жизнь Центральной России, в сибирских условиях имел несколько иные последствия. «Несмотря на отдаленность Сибири — этой страны ссылки, а может быть именно поэтому, в ней всегда резонанс больших революционных событий... держался дольше, чем в центре. Появление декабристов, разговоры о них, передача из уст в уста их идей волнуют сибирскую общественность вплоть до 1830-х годов», когда в Сибирь прибывают ссыльные поляки<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> «История Сибири», т. 2. Л., «Наука», 1968, стр. 455—456.

<sup>2</sup> А. Н. Пыпин. Русское масонство. Пг., 1916, стр. 468—472.

<sup>3</sup> М. К. Азадовский. Указ. соч., стр. 59.

<sup>4</sup> Макет второго тома «Истории Сибири», раздел III. Изд-во СО АН СССР, 1965, стр. 291.

Иными словами, в то время как в России общественная жизнь претерпевала кризис, в Сибири под влиянием декабристской ссылки наблюдалось известное оживление культурных, краеведческих, литературных интересов. Этому способствовали и те особенности местной жизни 20-х годов, о которых говорилось выше. Тем более, что репрессии против дворянских революционеров почти не коснулись купечества, для которого в условиях Сибири наступил воистину «золотой век».

Журналы этого времени публиковали ряд сообщений, свидетельствовавших о подъеме культурной жизни сибирских городов. В «Московском телеграфе» было напечатано письмо из Тобольска, в котором говорилось о концерте в пользу бедных: «Множество карет, саней, прекрасная наружная иллюминация, в зале блеск богатого освещения, многолюдное собрание, оркестр из трех певческих хоров и ста музыкантов»<sup>5</sup>. В «Отечественных записках» сообщалось о прекрасно организованном музее в Барнауле, при котором «имеется хорошая библиотека, в коей большая часть книг принадлежит к горным наукам»<sup>6</sup>. В «Новостях литературы» печатались письма из Омска офицера-литератора В. И. Карлгофа, который, в частности, писал: «Изрядная библиотека при Казачьем училище, столь много выбором книг делающая чести вкусу своим установителям, перенесла меня воображением в образованную столицу Севера, и я чуть было не забыл, что нахожусь посреди Сибири, в Азии, столь ужасной издали...»<sup>7</sup>.

В сибирских городах создавались кружки любителей словесности. Так, из более поздней корреспонденции, поступившей из Нерчинска, известно, что «здесь с 1820 г. основана библиотека, получают целые груды журналов, существуют обычаи собираться друг у друга для чтения и проч.»<sup>8</sup>.

В 1828 г. в Красноярске подготавливается к печати (и в том же году издается в Москве) «Енисейский альманах». Вокруг него объединяется группа местных литераторов, которым покровительствует енисейский губернатор А. П. Степанов, сам подвизающийся на поприще литератора. Здесь же рождается намерение издавать сатирический журнал «Минусинский раскрыватель» (инициатива принадлежит сыну

---

<sup>5</sup> «Московский телеграф», 1829, т. XIX.

<sup>6</sup> «Отечественные записки», 1827, ч. 30, стр. 113—126.

<sup>7</sup> «Новости литературы», 1825, кн. 14, стр. 4.

<sup>8</sup> М. Зензинов. Письмо к редактору из Нерчинска. «Иллюстрация», 1848, № 18.

губернатора, Н. А. Степанову, будущему художественному редактору сатирического журнала 60-х годов «Искра»). Сам губернатор собирается организовать научно-литературное общество «Беседы о Енисейском крае». Однако ни то, ни другое осуществить не удалось: на просьбу А. П. Степанова разрешить организацию общества Николай I ответил категорическим отказом.

Была предпринята попытка создать литературный орган и в Иркутске. Здесь в среде наиболее культурных представителей купечества возникла идея издания литературной газеты «Ангарский вестник». Уже одно это обстоятельство свидетельствовало о высоком уровне литературных интересов местного общества, что подтверждалось и свидетельством Н.С. Щукина: «Здесьние купцы имеют богатые библиотеки, выписывают все журналы, все вновь выходящие книги. Дочери и жены занимаются чтением, игрой на фортепьяно... В этой дикой и холодной стране удивляются стихам Пушкина и читают Гомера... Ты, может быть, скажешь, что это приезжие чиновники. Нет, тамошние старожилы, купцы и даже мещане»<sup>9</sup>.

Конечно, эту характеристику нельзя отнести ко всему купечеству. К этому же времени относятся свидетельства молодого литератора Матвея Александрова, который в своем автобиографическом очерке «Воздушный тарантас»<sup>10</sup> отмечал, что общая культура представителей купеческого сословия была невысокой, но некоторая часть купечества действительно отличалась замечательной образованностью, разносторонностью интересов, глубиной и тонкостью понимания искусства. С восхищением писал Александров о «почтенном старце» Дудоровском, который был обладателем большой библиотеки, свободно владел несколькими языками, хорошо разбирался и в вопросах правительственной политики, и в экономическом положении Сибири. В доме Дудоровского Александров встретился с двумя молодыми купцами — В. Н. Басниным и А. В. Шелеховым, которых хозяин дома охарактеризовал как «замечательных молодых людей», высокообразованных и интересующихся торговлей «как наукою». Александров побывал в гостях и у адмирала Ангарского флота, где собрался кружок интеллигентных людей, говоривших о политике и

<sup>9</sup> «Северная пчела», 1828, № 3.

<sup>10</sup> М. Александров. Воздушный тарантас, или воспоминания о поездках по Восточной Сибири. (Иркутск. Лето 1827 года). Сб. историко-статистических сведений о Сибири и сопредельных ей странах, т. 1. СПб., 1875—1876, стр. 1—44. Частично очерк помещен в сб. «Старая Сибирь в воспоминаниях современников». Иркутск, 1939, стр. 28—44.

литературе, критически отзывавшихся о невежестве и консервативности нравов иркутского купечества. В этом кружке с энтузиазмом было воспринято сатирическое стихотворение «Сибирь», написанное пятнадцатилетним гимназистом<sup>11</sup>:

У нас пока в Сибири два предмета:  
Мозольный труд и деловой расчет.  
Всем нужен хлеб да звонкая монета,  
Так любознание кому на ум придет? -  
Купец сидит, как филин, на прилавке,  
Его жена чаек с кумою пьет,  
Чиновный класс хлопочет о прибавке  
И прочного гнезда себе не вьет.  
Сегодня здесь, а завтра за Уралом,  
Кто нажился, тот едет генералом,  
Кто не сумел, тот с посохом идет...<sup>12</sup>

Конечно, критические тенденции в среде образованного купечества и чиновничества были достаточно умеренными. Так, Дудоровский считал, что «Трескин много сделал добра для Сибири» и что в его «грехах» «более виновны исполнители его начальственных распоряжений, его так называемые сотрудники, даже смутные обстоятельства того времени, нежели он сам»<sup>13</sup>. Но встречались в этой среде отдельные личности, которые высказывали смелые мысли, опасные по тем временам. На том же вечере у адмирала Александров познакомился с «якутским уроженцем, высланным из места родины за какие-то возмутительные мысли о действиях местной власти»<sup>14</sup>. «Это был человек лет 35, с бойким умом, с пылким характером, с верным взглядом на предметы, доступные его понятию. Он выражался с энергиею, в которой просвечивали искры душевной скорби; откровенно сказать, он был растревожен и даже озлоблен, но чувство это скрывал как сердеч-

---

<sup>11</sup> Б. Жеребцов в комментариях к очерку «Иркутск 1827 г.» высказывает предположение, что автором сатиры мог быть и сам Александров. Он пишет: «Стихотворение это, если оно не сочинено самим М. Александровым, представляет собой любопытный образец «рукописной» сатирической поэзии, широко распространенной в старой Сибири» («Старая Сибирь в воспоминаниях современников», стр. 174). Предположение Б. Жеребцова частично подтверждается тем, что позднее Александров включил это стихотворение в пьесу «Таежный карнавал», исправив некоторые строки (см. там же, стр. 96).

<sup>12</sup> М. Александров. Указ. соч., стр. 26—27.

<sup>13</sup> Там же, стр. 34.

<sup>14</sup> Есть предположение, что этим человеком был Афанасий Уваровский, русский уроженец Якутии, автор «Воспоминаний» — первого оригинального литературного произведения на якутском языке (см. Н. П. К а н а е в. Русско-якутские литературные связи. М., 1965, стр. 44—45).

ную тайну и только в легких, мимолетных сарказмах невольно обнаруживал свои шероховатые думы»<sup>15</sup>. Этот человек не смог сдержать своего негодования, когда хозяин шутя обвинил якутов в ябедничестве: «Знаю, что такое мнение о моих земляках — сделалось почти общим; но это мнение ложное, обидное и чрезвычайно вредное для целого края. Овцы кричат тогда, когда голодны; осы кусаются тогда, когда их раздражат. Ябеды! — восклицал якут, грустно улыбаясь. — Деспотизм никогда не жалуется на рабство, а рабов наказывают за то, что они дерзают вопиять на господ своих...»<sup>16</sup>.

«Якут» резко осудил и бюрократические порядки, воцарившиеся в служебных ведомствах. Он сказал, что «деловому человеку, тем более деловому чиновнику, некогда хлопотать об учености; а особенно в нынешнее время делопроизводство так увеличилось, что все канцелярии сделались похожими на какие-то письмодельные фабрики»<sup>17</sup>.

Впрочем, этот собеседник Александрова говорил далеко не все, что накипело у него на душе. Он понимал, что «в нынешнее время надобно говорить с большой осторожностью»<sup>18</sup>.

О том, что в Иркутске, как и всюду, преследовалась свободная мысль, свидетельствовал, в частности, факт закрытия книжной лавки. Причиной этого послужило то, что «частный пристав, просматривая книги, нашел в них одну запрещенную, на каком-то иностранном наречии».

В период пребывания в Иркутске Александров сблизился с кружком Дудоровского и, видимо, по поручению последнего разработал программу литературной газеты «Ангарский вестник».

Программа Александрова явилась первым литературно-публицистическим выражением областнических тенденций сибирской буржуазии<sup>19</sup>. В ней отстаивалось право Сибири распоряжаться собственными богатствами, выдвигалась мысль о самостоятельном назначении Сибири не только в русской, но и мировой истории. Сибирь сравнивалась с Америкой, и будущее ее рисовалось как процветание края, который «хочет собственными руками развить свой жизненный, умственный элемент, хочет обнародовать личные права свои на всеобщее уважение...». Одним из первых шагов на пути к этому краю-гому «самосознанию» Александров считал литературную газету

<sup>15</sup> М. Александров. Указ. соч., стр. 22—23.

<sup>16</sup> Там же, стр. 24.

<sup>17</sup> Там же, стр. 25.

<sup>18</sup> Там же, стр. 23.

<sup>19</sup> М. К. Азадовский. Указ. соч., стр. 144.

ту: «Друзья добра!.. — писал он. — Помогите ей (Сибири) произнести роковое слово: «Люблю!» Понимаете! она, наша колоссальная Сибирь, созрела для любви к мысли и глаголу и сама желает мыслить и говорить о себе»<sup>20</sup>.

Свои надежды на будущее Сибири Александров связывал прежде всего с купечеством: ему представлялось, что сибирская буржуазия пойдет по пути американской и выдвинет из своей среды новых Вашингтонов. Это было, конечно, заблуждением. Александрова волновали судьбы сибирского общества в целом, и, пока купечество рисовалось ему в идеальном плане, он воспевал его со всей горячностью молодого энтузиаста. Когда же он убедился в жестокости и своекорыстии большинства представителей этого сословия, то отошел от них и писал о купечестве уже резко критически<sup>21</sup>.

Идея «сибирства», призыв к всестороннему изучению края, исходившие из купеческой среды, захватывали и широкие круги сибирской интеллигенции, для которой это было одной из форм борьбы за общую культуру, за приобщение к культурным ценностям всей России<sup>22</sup>.

В свое время Рылеев назвал Сибирь «страной изгнания». Издалека она представлялась диким и невежественным краем. Такое мнение оправдывало самые страшные формы произвола и насилия: суровые и жестокие меры казались необходимыми в применении к населению, состоявшему «из бывших каторжных и беглых крепостных». Теперь же настало время доказать, что Сибирь не только не оправдывает этого господствующего представления о ней, но, наоборот, является одной из лучших жемчужин общерусской сокровищницы<sup>23</sup>.

Этой задаче посвятил значительную часть своей деятельности известный журналист и писатель Николай Алексеевич Полевой, уроженец Сибири, всю свою жизнь оставивший страстным патриотом родного края. На страницах издаваемого им журнала «Московский телеграф» (1825—1834 гг.) сибирская тематика занимала немаловажное место: Полевой стремился не только сообщать русскому читателю возможно большее число сведений о Сибири, но и разрушать неверные представления о ней.

Его интерес к Сибири был продиктован и тем, что, будучи выходцем из купеческого сословия, он отстаивал права рус-

<sup>20</sup> Цит. по кн. Н. М. Ядринцева «Сибирь как колония» (СПб., 1892, стр. 676).

<sup>21</sup> См. М. К. Азадовский. Указ. соч., стр. 144—148.

<sup>22</sup> Там же, стр. 71.

<sup>23</sup> Там же.

кой буржуазии, в том числе сибирской, усматривая в свободном капиталистическом развитии России залог ее грядущих успехов. На страницах журнала Николай и Ксенофонт Полевые резко выступали против дворянских привилегий, против крепостного права, против гегемонии дворянской «литературной аристократии» в культуре и искусстве<sup>24</sup>.

Наконец, внимание к сибирской теме в «Московском телеграфе» объяснялось и тем, что в русской литературе складывались новые жанры—романы исторический и этнографический, причем оба жанра, особенно последний, успешно «осваивались» представителями литературы Сибири 30-х годов<sup>25</sup>. Сибирская тема оказывалась привлекательной не только для сибирских романистов, так как она удовлетворяла потребности в экзотике, в картинах национального быта, в описаниях непривычной, волнующей воображение природы. Таким образом, Сибирь представляла для издателей «Московского телеграфа» и чисто литературный интерес.

«Сибирь, золотое дно для предков наших и для нас, — писал Николай Полевой, — может быть золотым дном и для наблюдательного путешественника. И там историк, географ, поэт найдут для себя много работы. Хотите ли наблюдать природу и человека? Они перед вами, от ледяных, мшистых тундр и песчаных степей до огнедышащих и снеговых гор, от первобытности остяка и чукчи до европеизма русского и восточного странного образования китайца, кочевой полудикости киргиза, мистического фанатизма ламайского...»<sup>26</sup>.

Поскольку книги о путешествиях по Сибири в 20-х годах были крайне редким явлением, Полевой готов был рассматривать как «подарок» для читателя даже такие, в которых он обнаруживал гораздо больше недостатков, чем достоинств (например, «Письма о Восточной Сибири» А. Мартоса. М., 1827). И тем понятнее был тот энтузиазм, с которым «Московский телеграф» встретил «Письма из Сибири» П. А. Словцова — произведение, представлявшее несомненную познавательную и художественную ценность.

Публикацию своих писем П. А. Словцов начал в «Азиатском вестнике» за 1825 г. Это были первые его корреспонденции сибирского периода, относившиеся к 1809—1810 гг. Далее письма печатались на страницах «Московского телеграфа» (1826—1831 гг.) и затем были изданы отдельной книгой<sup>27</sup>. В

<sup>24</sup> Там же, стр. 75.

<sup>25</sup> Там же, стр. 76.

<sup>26</sup> «Московский телеграф», 1833, ч. 52, № 13, стр. 82—83.

<sup>27</sup> П. А. С л о в ц о в. Письма из Сибири. М., 1828.

этих письмах отразились впечатления Словцова во время путешествия по Сибири, когда он ревизовал уезды Иркутской губернии и Забайкалья (1814 г.), а затем Киренский и Якутский округа (1815 г.). Много ездил Словцов и будучи визитатором училищ сибирских губерний (1821—1829 гг.). К этим годам относится описание его поездки из Иркутска в Тобольск (1826 г.).

«Письма из Сибири» — произведение, несомненно, опирающееся на определенные литературные традиции. Эпистолярный жанр — наследие сентиментализма. В русской литературе он был доведен до высокой степени совершенства Н. М. Карамзиным («Письма русского путешественника»). На письмах Словцова сказалось некоторое влияние так называемых «чувствительных путешествий»<sup>28</sup>. Оно проявилось, в частности, в характерной для этого жанра манере повествования, когда легко перемежается в рассказе большое и малое, когда внимание автора может останавливаться на какой-либо детали, объективно не всегда важной, когда личность художника, его ощущения, переживания, раздумья нередко отесняют на второй план описание внешнего мира и когда взволнованный, лирический тон господствует над повествованием. Впрочем, не следует преувеличивать степень влияния сентиментализма на Словцова: это все-таки не главное для него. Оставаясь в какой-то мере человеком предшествующего, XVIII в., Словцов в то же время прочно стоял на почве современной ему действительности и даже в чем-то опережал свое время. Довольно ярко это проявилось в самом стиле писем, где приверженность к «старому слогу» эпохи классицизма, обилие старославянизмов, тяжеловесность, «пышность» фразы сочетались с чувствительностью и пылкостью карамзинского толка и с трезвостью, деловитостью, сухостью ученого, исследователя, человека практического. Это обращало на себя внимание и многими из его современников не было понято<sup>29</sup>. Но, конечно, ведущей чертой Словцова, определяющей его своеобразную творческую индивидуальность, следует считать разносторонность его интересов, сочетание в нем просветителя,

<sup>28</sup> М. К. Азадовский. Литература сибирская. ССЭ, т. 3, стб. 164.

<sup>29</sup> Так, С. С. Щукин писал: «Язык, которым написана эта книга («Письма из Сибири»).—Ю. П.), казался странным даже в те времена. Кто не знал покойного Словцова, очень может подумать, что он и не умел лучше выражать своих мыслей, но я должен сказать, что он всегда хотел быть оригинальным в слого, употребляя древние русские выражения и сибиризмы и располагая их в странную конструкцию» (С. С. Щукин. Примечания к труду Н. Щ(укина) «Материалы для сибирской библиографии». «Памятная книжка Иркутской губернии на 1865 г.» Иркутск, 1865, стр. 57).

краеведа, историка. Если он был наследником XVIII в., то прежде всего потому, что это был «век Просвещения».

Несмотря на то, что Словцов энергично защищал в своих «Письмах» интересы сибирской буржуазии и даже посвящал свой труд «сынам знаменитого сибирского купечества как надежде сибирской промышленности», его позиция не была буржуазно ограниченной: он смотрел на мир глазами человека, глубоко сочувствующего народу.

Так, в Забайкалье он обращает внимание на тяжкую участь поселенцев, отмечая, что «на деревенских жителях обоего пола редко видел и рубахи». Люди здесь питаются с весны травами и кореньями, не имеют ни скота, ни огородов. При посещении Тельминской фабрики он размышляет о тяжелом ручном труде, который существовал здесь до Сперанского, пока по воле последнего не были введены машины. В диалоге «сибиряка» с «моряком» и «полковником» Словцов осуждает паразитизм помещиков-крепостников и высказывает тревогу по поводу того, что развивающаяся роскошь уродует нравы и неизбежно навлечет беду на государство.

О демократизме Словцова и вместе с тем о мастерстве его как художника свидетельствует письмо от 22 июля 1826 г., в котором рассказывается о встрече автора за Каинском, в дер. Каменево, с давним приятелем — крестьянином Федулом Кондратьевичем, столетним старцем: «...Старый приятель тотчас узнал меня, встал с бодрюю торопливостью, начал говорить и только мог вымолвить: да-ду, да-ду, кормилец. В продолжение часа, как я оставался в его доме, он много раз начинал отвечать на мои воспоминания, говорил по несколько минут, но все выходило не больше, как да-ду, с жалобным финалом — кормилец. Кто поймет этот разговор? Но, когда воображу выражение лица его, трогательную перемену в голосе, когда вспомню тусклые, но одушевленные глаза его, тусклые, но быстро смотрящие, как бы из вечности, — я и теперь вижу, как сетовал со мною утружденный странник при конце юдоли, как беседовал со мною дух бессмертный другого мира; я и теперь чувствую теплое смущение мыслей»<sup>30</sup>.

В каких бы местах ни бывал Словцов, он всегда обращал внимание на состояние земледелия, скотоводства, ремесла, торговли; особенно его занимает торговля, в которой он видит силу, способную преобразить край. Он мечтает о расширении ее, о включении в ее орбиту Америки, Азии, Океании,

---

<sup>30</sup> П. А. Словцов. Письма из Сибири. «Московский телеграф», 1826, ч. XI, № 17, стр. 18.

Мадагаскара, Балтики. Ему грезится «всеобщая для России машина торгового круговращения». Здесь, как и в программе Александрова, задолго до появления областников намечаются перспективы экономического и гражданского развития Сибири. Но Словцов не противопоставляет Сибирь России, он справедливо считает Сибирь неотделимой частью страны, что как раз и не устраивало в Словцове Потанина.

«Письма» Словцова — наметка к будущему «Историческому обозрению Сибири». В авторе все время чувствуется историк. Не случайно в Тобольске его внимание привлекают два «сосланных» колокола: Углицкий и Амстердамский; в местном соборе его восхищает дорогая церковная утварь; в арсенале он рассматривает два китайчатых знамени, будто бы развевавшихся при завоевании Искера, и «остатки Ермакова гардероба». Впрочем, в подлинность последних он не верит. Словцов вообще против всякой приблизительности, против смещения правды и легенды. Поэтому он критически относится к некоторым фактам, изложенным в «Описании Сибирского царства» Миллера. Вместе с тобольскими приятелями он отправляется на развалины Искера и, «поверяя Миллера и Фишера», шагами измеряет длину и ширину Кучумовой столицы.

Для Словцова история Сибири начинается с приходом Ермака, и он благословляет тот день, когда Кучумов курень «перестал, в высшем смысле, дымить толь обширную область, какова Сибирь». Восток его интересует лишь с точки зрения торговли с Россией. В этом, конечно, проявляется его определенная ограниченность и односторонность.

«Письма из Сибири» представляют большой интерес и как исповедь мудрого человека, который недоволен однообразием, затхлостью умственной жизни Иркутска и стремится путешествовать, чтобы вырваться из омута обывательского существования; который тонко чувствует прекрасное, верно судит об искусстве и нравах, не забывает написать о местной флоре, «умеющей таинственным перстом украшать и болотные места»; который здраво рассуждает о шаманском обряде угадывания будущего, усматривая в нем лишь «род шарлатанства», некий «изуродованный акт утраченной оперы». «О, поэзия, по разуму и вкусу народов маскирующаяся! — пишет он. — Я и под этими грубыми покровами узнаю твое чародейство, которым ты успокаиваешь или утешаешь или ободряешь бедных смертных, всегда и везде унылых без высшего озарения!»

И далее:

«Мудрено ли, скажите, мудрено ли было Чингис-хану поработать, поработать города и народы, когда среди ополченных станов его, может быть, тысячи подобных жриц, тысячи красивых волшебниц должны были пророчествовать завтрашние победы?...»<sup>31</sup>

Однако при всех своих достоинствах не «Письма из Сибири» и не краеведческие труды в целом определяли основную направленность литературы Сибири 20-х годов. В эти годы здесь господствовала романтическая поэзия.

Расцветом стихотворных жанров Сибирь, как и вся Россия, была обязана прежде всего Пушкину. Его поэзия служила вдохновляющим примером и образцом для многих поэтов Сибири, хотя как мы увидим далее, большинство из них не могло в полной мере понять глубинный смысл пушкинского творчества и вовсе не следовало за ним в его напряженных духовных исканиях. Уже в середине 20-х годов Пушкин вышел на дорогу реалистического творчества, в то время как его сибирские подражатели продолжали и в 30-е и даже в 40-е годы сохранять приверженность романтическим принципам.

Романтизм в Сибири, безусловно, нельзя понять в отрыве от общерусского, более того, от западноевропейского романтизма. Несмотря на значительные различия между романтиками России и Европы, их объединяла глубокая неудовлетворенность действительностью. Мечты просветителей XVIII в. об идеальном «царстве разума» не воплотились в жизнь. Эпоха, последовавшая за Первой французской буржуазной революцией, открыла дорогу своекорыстному и бессердечному предпринимательству. Наступило «царство чистогана», которое представляло собой «карикатуру на блестящие обещания просветителей» (Энгельс).

В этих условиях просветительский разум уже не считался могучим средством преобразования мира. Его возможности были поставлены под сомнение. Наступило разочарование в прежних надеждах, становилось очевидным, что жизнь каждодневно опрокидывает самые светлые чаяния «мыслящих» индивидуумов и что для художника остается единственная возможность — уйти от ненавистной действительности в природу, не тронутую цивилизацией, в экзотический мир «первобытных» народов, либо найти себе прибежище в далеком прошлом, в глубинах собственного «я».

Русский романтизм достиг высокой степени развития к

---

<sup>31</sup> П. А. Словцов. «Письма из Сибири», «Московский телеграф», 1828, № 7, стр. 277.

середине десятых годов в творчестве Жуковского. Это был «пассивный романтизм» (Горький), в котором настроения неудовлетворенности действительностью сочетались со стремлением уйти от современности в мир средневековья или фантастики, замкнуться в тесном кругу личных переживаний. Это направление отстаивало свое право на жизнь в борьбе с классицизмом и в известной степени отвечало настроениям русских читателей начала века. Так уж получалось, что «уход от внешнего мира, погружение в самого себя сталкивало писателя-романтика с реальной внутренней жизнью человека во всей ее сложности»<sup>32</sup>. Этот психологизм, способность выразить переживание со всеми его тончайшими оттенками, обогащение русской поэтической речи — основная заслуга Жуковского, Батюшкова и других представителей их «школы».

Однако в условиях общественного подъема второй половины 10—начала 20-х годов это направление вступало в противоречие с требованиями прогрессивных кругов русского общества. В обстановке все растущей оппозиционности передового дворянства возникает новое направление, которое А. М. Горький называл «активным романтизмом», Белинский — «новейшим романтизмом» в противоположность «романтизму средних веков». Это направление было представлено творчеством раннего Пушкина и поэзией декабристов. Оно одержало окончательную победу над классицизмом, выступая одновременно против «тишайшего» романтизма Жуковского с его мистицизмом и отказом от участия в общественной борьбе. Чуждые меланхолии и уныния, «активные» романтики отстаивали поэзию действительную, жизнеутверждающую, и нередко их вольнолюбивые стихи приобретали откровенно революционный характер.

В теоретических трудах романтиков глубокую разработку получила проблема народности. Поэты отказывались от абстрактной всеобщности, присущей «классикам», и требовали отображения в произведениях национальных и исторических особенностей героев и обстоятельств. Воспроизведение «местного колорита» стало одним из важнейших принципов романтической теории. Отсюда — пристрастие романтиков к этнографическим описаниям.

Для романтиков был характерен интерес к Крыму, Кавказу, к странам Востока, а также к Сибири. Этот интерес был

---

<sup>32</sup> «История русской литературы» (в трех томах), т. 2. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 12.

обусловлен желанием уйти от будничной, повседневной действительности в мир своеобразных обычаев, преданий, особенностей быта различных национальностей<sup>33</sup>.

Но «активные» романтики не довольствовались этим, они понимали народность в неразрывной связи с гражданственностью. Проявившийся у них интерес к Сибири был вызван не только экзотикой неизведанного края, но и героикой его освоения. Их привлекала возможность создавать на этом материале характеры сильных и цельных людей. Неудивительно поэтому, что Сибирь нашла своих певцов среди декабристов, из числа которых прежде всего следует назвать К. Ф. Рылеева, посвятившего сибирской тематике поэму «Войнаровский», думу «Смерть Ермака» и «Меньшиков в Березове».

В 20-х годах на страницах русских журналов и альманахов появились многочисленные романтические поэмы и стихи о Сибири<sup>34</sup>. Далеко не всегда в основе их лежал действительный интерес к этому краю — нередко это была лишь дань литературной моде<sup>35</sup>. Поэты могли брать за сибирскую тему, имея лишь весьма приблизительное представление о Сибири: в конце концов, само понятие «местный колорит» нетрудно было свести к набору нескольких признаков, которые очень скоро превращались в литературный штамп. Авторы этих произведений обычно вдохновлялись «южными поэмами» Пушкина. Они переносили место действия из Молдавии, Крыма и Кавказа в Сибирь, меняли имена и некоторые детали обстановки, но, как правило, сохраняли верность сюжетным коллизиям и системе образов, разработанным Пушкиным. В результате вслед за «Кавказским пленником» появились пленники уральские и киргизские, стремившиеся на простор степей или в горы, где они встречались с неискусшенными дочерьми природы — «киргизскими девами», «прекрасными бурятками», «тунгусками»<sup>36</sup>. Напрасно было бы искать в этих идеальных девах сходства с действительными представительницами сибирских народностей — все они в

---

<sup>33</sup> А. Богданова. Сибирские поэты-романтики начала XIX в. «Уч. зап. Новосибирского гос. пед. ин-та», вып. 4, 1947, стр. 107.

<sup>34</sup> «Киргизский пленник» Н. Муравьева (1828 г.), «Чика» Ф. Алексеева (1828 г.), «Сетование киргиз-кайсацкого пленника» Кудряшова (1829 г.), «Мирза, или бурятка на празднике» Я. Г. (1829 г.), «Сибирь. Думы», сборник стихотворений Е. Ковалевского (1832 г.), «Ссылный» П. Иноземцева (1833 г.) и др.

<sup>35</sup> М. К. Азадовский. Бурятия в русской лирике. «Жизнь Бурятии», 1925, № 1—2, стр. 11.

<sup>36</sup> М. К. Азадовский. Литература сибирская. ССЭ, т. 3, стб. 164.

большинстве своем были лишь бледными копиями пушкинской черкешенки.

Однако наиболее талантливые писатели не ограничивались поверхностным описанием жизни «окраинных» земель: они изучали ее, собирали и исследовали произведения фольклора, — в конце концов, именно к этому обязывало их творческое отношение к поэмам Пушкина. К числу таких поэтов можно с полным основанием отнести Федора Бальдауфа, который явился первым по времени представителем романтизма в Сибири.

В местной литературе романтизм утвердился с известным опозданием по сравнению с общерусской литературой: началом его следует, по-видимому, считать выход в свет повести Бальдауфа «Кавиту и Тунгильби» (1819 г.), а также его «Элегии» (1820 г.) и «Вечера на берегу Байкала» (1821 г.). Причем эти произведения были написаны им в Петербурге, куда он приехал учиться. Здесь Бальдауф испытал на себе влияние поэтов-декабристов и не случайно поэтому оказался в числе «активных» романтиков. Однако в дальнейшем в обстановке затхлой сибирской провинции творчество Бальдауфа претерпело известные изменения: недовольство действительностью, возмущение ею теперь сочетались в его стихах с унынием, бессильным страданием. Сложность, противоречивость творческого пути характерны и для многих других романтиков Сибири, в том числе для крупнейшего из них — П. П. Ершова.

Вместе с тем здесь выступали и до конца последовательные представители «активного» романтизма. К ним следует отнести ссыльных поэтов-декабристов, а также близкого им поэта-сибиряка М. Александрова. Были и «пассивные» романтики — И. Петров, Е. Милькеев и др. Однако эти направления не оформились организационно и не вели между собой печатной полемики.

Романтизм в Сибири носил во многом подражательный характер. И тем не менее сибиряки часто не принимали то, что было им чуждо: на сибирской почве не существовало «романтизма средних веков», переосмыслилась в соответствии с правдой жизни типичная сюжетная ситуация романтической поэмы («Авван и Гайро» Ф. Бальдауфа, 1834 г.). У некоторых поэтов Сибири ярко проявилось пристрастие к этнографическим описаниям, к фольклорным мотивам («Бурятская песня» А. Таскина, 1828 г., «К бурятке» Ф. Бальдауфа, 1828 г., «Татарская песня» И. Петрова, 1830 г.). В этих стихотворениях важно отметить не только правдивые черты на-

ционального быта, но главное — симпатию авторов к угнетенным народностям Сибири .

Среди произведений, отражающих быт и фольклор русского населения края, следует остановиться на «Песне сибирской казачки» В. И. Карлгофа (1826 г.). Автор ее служил в Сибирском корпусе в Омске (1825—1828 гг.) и здесь познакомился с фольклором сибирских казаков. «...Чувство иногда живет в сердцах их и изливается в счастливых выражениях, — писал он, — но этого иначе и быть не может: самая жизнь и служба линейного казака есть уже поэзия»<sup>37</sup>. Поэт описывает в стихах, как казак отправляется во внешний округ с поручением, как спешит обратно, «в родной редут, в свой дом простой, — там ждет его души подруга». И далее поэт приводит песню, которую поет красавица в ожидании мужа:

Ты не грей меня, красно солнышко,  
Ты не жги меня, как траву в степи,  
Я без милого в одиночестве  
Сохну в горести, вяну в младости.  
Что ты стелешься по степи, буря?  
Что наводит вдруг тоску на сердце?  
Ты в порыве бурь, мнишься, шепчешь мне:  
Не воротится радость-друг к тебе,  
Не ласкать ему жену верную,  
Не поить коня в Иртыше родном,  
Он закрыл глаза на чужой земле...<sup>38</sup>

Песня свидетельствует о близком знакомстве поэта с казачьим бытом, о его способности проникнуться духом фольклора, — это и дает основание выделить его среди других романтиков Сибири 20-х годов.

#### «ЕНИСЕЙСКИЙ АЛЬМАНАХ НА 1828 г.»

Немаловажный вклад в литературу Сибири 20-х годов внесли красноярские литераторы, издавшие «Енисейский альманах на 1828 г.». Подъему местной литературной жизни этих лет способствовало образование в 1822 г. Енисейской губернии и назначение на пост губернатора просвещенного и передового по своим взглядам человека — Александра Петровича Степанова (1781—1837 гг.). «Степанов страстно любил страну, ему вверенную, и сам заслужил в ней общее ува-

<sup>37</sup> В. Карлгоф. Второе письмо из Омска. «Новости литературы», 1826, кн. 16, стр. 71.

<sup>38</sup> Там же, стр. 73.

жение»<sup>39</sup>. «Я не ошибусь, — писал Словцов, — когда буду уверять вас, что всем благоустройством, так скоро обозначившимся, Красноярск обязан вкусу и деятельности своего гражданского губернатора, который к достойному происхождению государственной службы присоединяет перо прозаика и мастерство поэта»<sup>40</sup>.

Степанов принимал участие в разработке так называемых «Степных законов» под общим руководством Г. С. Батенькова. Целью этих законов была реорганизация управления «инородцами», улучшение их благосостояния. Степанов «вообще уделял исключительное внимание организации самоуправления и быта коренного населения края — боролся за максимальное его высвобождение из-под власти царских чиновников и полиции»<sup>41</sup>.

Степанов осуществлял и другого рода преобразования во вверенной ему губернии: он благоустроивал Красноярск, составил план его коренной реконструкции, открывал училища, основал городскую библиотеку, неоднократно ездил по губернии, посылая на места чиновников, действительно радевших за общественное благо.

Когда в Красноярске появились первые партии декабристов, Степанов встретил их с большой доброжелательностью и старался, насколько мог, облегчить участь ссыльных. За это он навлек на себя немилость начальства.

Еще до приезда в Красноярск Степанов немало времени посвящал занятиям литературой. Будучи в молодости участником суворовского похода в Италию, он попытался написать об этом поэму «Суворов». Однако его постигла неудача<sup>42</sup>. В трудах Московского общества любителей российской словесности было опубликовано его странное стихотворение «Поэзия и музыка», которое через ряд лет он напечатал вторично уже в «Енисейском альманахе». По-видимому, он сам придавал этому стихотворению определенное значение. Здесь отразились размышления автора о сущности двух искусств: поэзия и музыка спорят между собой, кто из них имеет большую власть над людьми. «Мои сыны по всей вселенной собирают в дань себе сердца», — заявляет музыка. На это поэзия отвечает:

---

<sup>39</sup> А. В. Дружинин. Александр Петрович Степанов, автор «Постоялого двора». Собрание сочинений, т. 7. СПб., 1865, стр. 728.

<sup>40</sup> П. А. Словцов. Письма из Сибири. «Московский телеграф», 1826, ч. XI, № 17, стр. 13.

<sup>41</sup> Макет второго тома «Истории Сибири»; стр. 285—286.

<sup>42</sup> А. В. Дружинин. Указ. соч., стр. 726.

Живи, о Музыка, для мира,  
Чтоб души нежить, восхищать!  
Моя гремит потомству лира.  
Она перун злодею шлет,  
И пальму — правоте стесненной;  
В струнах ее глагол живет,  
Глагол, Олимпом вдохновенный...<sup>43</sup>

Таким образом, Степанов утверждает здесь мысль о гражданственности поэзии, которая не стремится «смягчать сердца людей ожесточенных» и не ее дело «несчастливых в горе забавлять»: удел поэзии — служить будущему, бороться со злом.

При всей справедливости этой мысли стихотворение Степанова довольно слабо в поэтическом отношении: оно растянуто, нечетко, перенасыщено античными именами. Гораздо удачнее его песня «Я лечу под парусами», положенная на музыку Поповым и ставшая одной из популярнейших песен тех лет<sup>44</sup>.

Но основное, в чем проявил себя Степанов как один из авторов «Енисейского альманаха», были его очерки «Путешествия в Кяхту из Красноярска»<sup>45</sup> и «Взгляд на физическое положение Минусинского округа Енисейской губернии»<sup>46</sup>. В них чувствуется мастерство прозаика, которое позднее обеспечило успех двухтомному труду «Енисейская губерния» (1835 г.) и роману «Постоялый двор» (1835 г.). Правда, рецензент «Московского телеграфа» упрекал Степанова в том, что тот повторно напечатал очерк о Минусинском округе, который был ранее опубликован в «Дамском журнале», и, кроме того, Степанову ставилось в вину, что он поэмаствовал из «Писем о Восточной Сибири» А. Мартоса описание Тельминской фабрики, — «публика прихотлива: она не любит подобных взаимных пособий»<sup>47</sup>. Думается, рецензент не вполне прав: в конце концов, сходство с Мартосом в описании Тельминской фабрики можно найти и у Слоцова (в его «Письмах из Сибири»), а в более позднем «Белом месяце» Н. Бобылева (1840 г.) есть много совпадений с описанием Кяхты у Степанова. По-видимому, дело здесь не в прямых заимствованиях, а в общности предмета описания, в установившейся традиции.

<sup>43</sup> «Енисейский альманах на 1828 г.», стр. 16—17.

<sup>44</sup> К альманаху приложены ноты этой песни.

<sup>45</sup> «Енисейский альманах на 1828 г.», стр. 1—98.

<sup>46</sup> Там же, стр. 108—113.

<sup>47</sup> «Московский телеграф», 1828, ч. 19, кн. 3, стр. 432.

В творческой манере Степанова хотелось бы прежде всего отметить его умение рассказывать живо, образно, увлекательно, — этого умения, к сожалению, не достаёт Мартосу. Поэтому мы относимся к повторному опубликованию одного из очерков Степанова более терпимо, нежели к перепечатке очерка Мартоса «Чикой и Хилок», уже известного читателям по «Письмам из Восточной Сибири». Достоинством очерков Степанова следует считать и его стремление к точности описаний, научную достоверность излагаемых им фактов. Правда, иногда Степанов допускает ошибки, но, как правило, несущественные. Хотя Степанов остаётся поэтом в своих очерках, он не позволяет себе поэтический домысел там, где в нём говорит этнограф и краевед.

Несомненной заслугой «Енисейского альманаха» являлось опубликование монгольских пословиц, переведённых Игумновым: запись фольклора народов Азии представляла в те времена довольно редкое явление, и тем большую ценность она имела для этнографов.

Таким образом, если сравнивать прозаические сочинения в данном альманахе с тем, что когда-то публиковалось в «Иртыше, превращающемся в Ипокрену», то можно увидеть, что авторы «Енисейского альманаха» сделали значительный шаг вперёд в описании Сибири и тем самым снискали себе симпатии не только читателей-сибиряков, но и столичной публики.

Вместе с тем нельзя не отметить, что в этих краеведческих очерках обойдены наиболее острые проблемы времени. Мы напрасно пытались бы уловить в них настроения, которыми жило сибирское общество 20-х годов. Вероятно, в этом меньше всего повинны сами авторы: в условиях жестокой цензуры они не могли писать иначе.

Но то, что не удалось выразить прозаикам, сделали в какой-то мере стихотворцы «Енисейского альманаха»: при всей неравноценности их произведений они сумели приоткрыть внутренний мир людей своей эпохи.

Судя по всему, Степанов окружал себя единомышленниками, и потому в стихах нетрудно уловить общие для большинства авторов настроения. Иван Матвеевич Петров, составитель альманаха и наиболее одаренный из местных авторов, в своих печальных элегиях отразил боль и скорбь многих своих современников. Не склонный к активному протесту, идущий во многом по стопам Жуковского, он замыкался в мире личных переживаний, искал утешения в созерцании природы. Другой одаренный поэт «Енисейского альманаха» — Александр Кузьмич Кузмин, близкий к декабристам, жил в Минусинске

и сосредоточивал вокруг себя все культурные силы этого города. Не случайно в стихотворении «Странник» он создал образ человека, занесенного судьбою в Сибирь, грустящего: «в хижине смиренной у замерзшего окна». Поэт обращался к страннику со словами сочувствия и призывал его не судить о Сибири по суровой зимней поре, а подождать, когда наступит весна:

А дотоле, грустный странник,  
Отряси туман с лица:  
Здесь в Сибири и изгнанник  
Встретит добрые сердца<sup>48</sup>.

В этом стихотворении совершенно очевиден намек на декабристов. А в следующих строках прямо говорится о том, что в Енисейской губернии они найдут самое доброе отношение к себе:

Образ кроткого правленья  
Енисейские страны  
Средь стихий ожесточенья  
Носит вечный вид весны<sup>49</sup>.

Заканчивается стихотворение призывом веселиться и весельем преодолеть тоску. Такая концовка закономерна у Кузмина: поэты «Енисейского альманаха» развивают мотивы не только Жуковского, но и Батюшкова, не только лелеют свою печаль, но и, стремясь заглушить душевную боль, призывают к наслаждениям, славят дружбу, любовь и вино.

Эти эпикурейские мотивы нашли наивно откровенное выражение в стихотворении И. Амвросова «Своя пирушка трех отшельников»:

Резвый, пылкий, говорливый,  
Вечной юный, милый Вакх!  
Ниспустись в наш круг стыдливый  
В винограде и цветах...<sup>50</sup>

Но и у этого поэта мотив наслаждения омрачен глубоким страданием: «Своей пирушке» предшествует стихотворение, в котором рисуется образ одинокого певца, тоскующего по любимой<sup>51</sup>.

<sup>48</sup> «Енисейский альманах на 1828 г.», стр. 37.

<sup>49</sup> Там же.

<sup>50</sup> Там же, стр. 76.

<sup>51</sup> Там же, стр. 59—60.

Особенно многозначительно звучит эпикурейский мотив в стихотворении А. Кузмина «Блаженства». Поэт славит человека, который не ведает мирской суеты, совесть которого чиста и в сердце которого всегда есть место для страждущих:

Он за зеркалом каждый раз  
До двух часов не заседает;  
Не изрекает приговор  
И наказания осужденным,  
И пред кумиром позлащенным  
Не уклоняет правды взор.  
Но в полдень стол его накрыт,  
От щей несется пар кудрявый;  
Тут сирий, бедный не забыт...<sup>52</sup>

Стихотворение завершается «вакхической» темой, которая, по-видимому, навеяна ранней лирикой Пушкина. В последних строках выражена главная, неожиданно грустная мысль, заключающая в себе идею стихотворения:

Блажен, в руках кого фиал  
В честь дружества вином клубится,  
Кто круг друзей себе избрал,  
Чтоб с ними мудрости учиться  
За чашей полной, круговой.  
В беседе Вакха откровенной  
Гремит глас истины овященной  
И искренности глас прямой!  
Вино врачует тягость бед,  
Душевно скорбь, сердечну рану.  
Не ложно славный наш поэт<sup>53</sup>  
Сказал: не худо быть и пьяну.  
Не худо, други. За горой,  
Смотрите, солнышко садится:  
Кто знает, завтра что случится?  
Кто скажет: завтрашний день мой?<sup>54</sup>

Глубокий «подтекст» содержится и в стихах, посвященных природе. Поэты «Енисейского альманаха» окрашивают сибирский пейзаж в цветах своих собственных настроений, выбирают унылые мотивы осени или суровые картины сибирской зимы. Стихотворение С. Рассказова «Осень» звучит как тоска поэта по лучшему времени:

Исчезло все, что взор манило,  
Исчезло все, что сердцу льстило.  
Ударил срок — всему конец!<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Там же, стр. 7.

<sup>53</sup> И. И. Дмитриев. — *Прим. автора.*

<sup>54</sup> «Енисейский альманах на 1828 г.», стр. 48.

<sup>55</sup> Там же, стр. 55.

Конечно, образ зимы здесь символичен: с наступлением ее «исчезло время счастья».

Но уныние — не единственная нота в пейзажных стихах Рассказова. Как романтик он любит живописать бурю. Поэт поднимается на Хамар-Дабан, и здесь его застигает гроза с дождем и градом, с ослепительной молнией, от которой вспыхивают деревья: «И смерть за мной и надо мною!». Но вот буря уносит в долину, и она уже бушует где-то внизу, под ногами, а над головой вновь сияет солнце:

А там орел с скалы высокой,  
Отважный, гордый, быстроокий,  
Спокойно в пропасти глядит  
И бурей взор свой веселит...<sup>56</sup>

В стихах С. Рассказова проявляется стремление запечатлеть конкретные черты сибирской природы, несмотря на романтические каноны, довлеющие над ним. Так, в стихотворении «Осень» он пишет:

С дружиной лебедь величавой  
Пустился в теплую страну;  
Простая малиновка с дубравой,  
Летит на юг искать весну...<sup>57</sup>

Самым значительным произведением о Сибири, о ее природе, о жизни кочевого народа является стихотворение А. Кузмина «Минусинский край». Оно подкупает прежде всего тем, что автор пишет с натуры, — это, между прочим, подчеркивается повторением фраз: «Я видел мощный Енисей», «Я видел светлый Абакан», «Я видел юрты дикарей»... В отличие от многих романтиков, автор пристально наблюдает окружающую жизнь: все, что открывается его глазам, для него в данном случае важнее, нежели собственные переживания, и потому так конкретны его наблюдения, так верны детали — и в описании природы, и в этнографических зарисовках. Даже характерные для романтиков раздумья о смерти, о бренности всего земного мимолетны — умственный взор поэта устремляется к новым предметам, и живая жизнь, самая обычная и тем не менее прекрасная, вызывает в нем чувство восторга:

Я видел древний ряд могил;  
Им взор конца не находил...  
Для грусти там живая пища,  
К мечтам в былое тьма причин:  
Идешь в безмолвии один

<sup>56</sup> Там же, стр. 30—31.

<sup>57</sup> Там же, стр. 53.

Среди всемирного кладбища:  
Кругом высокая трава  
От солнца блекнет и желтеет,  
Все пусто, степь; вдали едва  
Приметить можно, как рябеет  
Озер соленых синева,  
За коими на небосклоне  
Наш останавливают взор  
Хребты Саянских диких гор  
Средь лета в снеговой короне<sup>58</sup>.

«Это — уже вполне реалистический пейзаж: у автора нет ни малейшего желания раскрасить природу в романтические тона, подчеркнуть в ней явления исключительные — поэт пишет о том, что видит, не более. Без всякой нарочитой экзотики описаны «простодушные татары», которые любят тем, как разморенные жарой табуны бросаются в реку, поднимая в небо перепуганную дичь. Очень верно указано об их юртах: «как сопки посреди степей, они курятся вечным дымом».

Позднее Кузмин написал вторую редакцию стихотворения, где усилил этнографические мотивы<sup>59</sup>. Если в первой редакции изображен лишь старый Башлык (певец), воспевавший «гласом диким, заунывным седую древность», то во второй запечатлено несколько обитателей татарской юрты, в том числе «прелестная Ульчи», причем быт описан без всяких прикрас:

Старик там курит свой айран,  
В глазах его горит веселье,  
И теплый пьет от нетерпенья.  
Лицо краснеет без румян.  
И вот он потчует старушку;  
Жена присела к огоньку,  
Взяла осиновую стружку,  
С которой вместо табаку  
Ножом опилков наскоблила,  
Наклала в трубку, закурила,  
И с удовольствием челом,  
С большими, красными глазами,  
Берет иссохшими руками  
У мужа чашечку с вином.  
В другом углу сидит в безделье  
Их дочь, прелестная Ульчи:  
В сорочке алой из канчи,  
На шее блещет ожерелье —  
Ряды мельчайших черных кос  
Скрывают свежие ланиты;

<sup>58</sup> Там же, стр. 50.

<sup>59</sup> Опубликовано как приложение к кн. И. Пестова «Записки об Енисейской губернии Восточной Сибири» (1831, стр. 289—297).

Где отыскать таких волос,  
Чтоб были густы, глянцевиты,  
Как волос мягкий и большой  
У сибирячки кочевой?..

«Минусинский край» — может быть, лучшее из стихотворений, написанных романтиками о быте одного из «малых» народов Сибири.

Минусинские степи не случайно вызывали у поэта раздумья о прошлом: по этим степям некогда прокатились орды завоевателей-монголов. И, думается, здесь следует искать истоки замысла трагедии, которую Кузмин решил написать на материале татаро-монгольского нашествия. В «Енисейском альманахе» опубликован только отрывок из его трагедии «Евпраксия, или пример супружеской верности». Была ли трагедия закончена целиком, мы не знаем.

Действие происходит в татарском военном стане, на границе удельного княжества Рязанского. Батый, хан татарский, гордо размышляет о том, что никто уже не может проповить с его силе. Но Темир, его любимец, докладывает, что русский князь Феодор не хочет преклонить колена перед Батыем. Грозный хан повелевает уничтожить его. Он хочет разорить Рязань, истребить всех ее жителей до единого. Но Темир с уверенностью отвечает ему: «не сбудется обет» — месть хана остановит красота русской княгини. И юноша так страстно описывает ее внешность, что Батый перебивает его:

Довольно! Речь твоя возгла мой пылкий дух.  
Еще рязанский князь покорностью к Батыю  
Возможет сохранить себя, Рязань, Россию!<sup>60</sup>

На этом трагедия обрывается.

Написанная сцена свидетельствует о том, что Кузмин владел мастерством драматурга: характеры героев. — Батыя, спесивого, жестокого, переменчивого в настроениях, и Темира, пылкого поклонника красоты, угадываются с первых же реплик. Диалог их полон действия и энергии. Конечно, оба персонажа говорят языком романтическим, и в их речи совершенно отсутствует национальный колорит. Даже фраза Батыя: «Пусть свет со трепетом взирает, как татарин умеет дерзостных ослушников карать» — скорее уместна в устах русского князя, чем татарского хана. И совсем уж русский строй ощущается в речи Темира. Последний с большой справедливостью судит и о храбрости русского князя, и о красоте его жены, —

<sup>60</sup> «Енисейский альманах на 1828 г.», стр. 27.

в его словах так и чувствуется авторская позиция: «Прелестный взгляд, краса рязанских жен и дев. Одна Россия лишь может произвести сокровища такие»<sup>61</sup>.

Когда же Темир рисует портрет княгини, в его речи используются типично романтические каноны красоты:

Не так блистателен свет солнца после бурь;  
Глаза, как ясная, небесная лазурь;  
Ланиты майских роз прелестней и живее;  
Уста ее зари восточныя алее;  
Грудь возвышенная, закрытая всегда;  
Чело ее печать невинности, стыда...<sup>62</sup>

Кузмин соблюдает правило, обязательное для трагедийного жанра: он пишет объективно, не снижая образа Батыя, не лишая героя чисто человеческих качеств и не превращая его в законченного злодея. Но он и тенденциозен: недаром же у него представитель вражеского лагеря воздает громкую хвалу русским людям!

Из поэтов «Енисейского альманаха» двое были связаны узами дружбы или знакомством с лучшими русскими поэтами того времени. Так, красноярский поэт И. Родюков, близкий в годы юности клицейскому кругу Пушкина, был другом поэта Илличевского, а енисейский поэт Иван Козлов был сотоварищем Рылеева по кадетскому корпусу<sup>63</sup>.

Родюков не оставил заметного следа в «Енисейском альманахе». Два его дружеских послания, одно из которых адресовано Степанову, отличались легким юмором, непринужденной манерой, отдельными черточками сибирского быта, но и только<sup>64</sup>. Зато стихотворение Козлова «Кольцо» было отмечено столичными критиками как одно из лучших в альманахе. Написанное в форме народной песни, с повторами, без рифм, оно отличалось простодушием и наивностью, как и сама героиня, от имени которой велся рассказ. Сюжет стихотворения предельно прост: «друг милый» просит девушку бередить ее кольцо, не дарить его никому: «На твоей руке лучше быть ему». И напрасно просят люди отдать им кольцо — девушка отвечает:

С этих пор оно  
Не мое кольцо.

<sup>61</sup> Там же, стр. 25.

<sup>62</sup> Там же, стр. 26.

<sup>63</sup> А. Гуревич. Первый сибирский альманах. Альманах «Енисей», Красноярск, 1951, кн. 8, стр. 159.

<sup>64</sup> «Енисейский альманах на 1828 г.», стр. 75, 78.

Так на что же вам,  
Люди добрые,  
Мое золото?  
С моим золотом  
Я любви своей  
Не могу отдать<sup>65</sup>.

Вот и все. Но дело не в сюжете, а в той поэтической мысли, которая ненавязчиво, подспудно живет в этой песне, а также в той задушевной, скромной интонации, которая рождается подлинным чувством. Это стихотворение тем более отраднo на страницах сибирского издания, что оно появилось за несколько лет до выхода на литературную арену Кольцова.

«Енисейский альманах», изданный к двухсотлетию Красноярска, стал, бесспорно, незаурядным явлением в местной литературной жизни 20-х годов. Именно так расценили его критики Москвы и Петербурга, несмотря на недостатки, естественные при первом издании, да еще в сибирских условиях. «Приветствуем «Енисейский альманах» как дорогого заезжего гостя, — писал «Московский телеграф», — и рады извинить все его недостатки, в уважение и дальней дороги, и того, что он первое литературное явление с берегов Енисея»<sup>66</sup>. «Сей Альманах, — вторил «Телеграфу» «Сын отечества», — самым рождением своим на берегах Енисея уже заслуживает особенное внимание; но, прочитав его, всякий не менее порадован будет и внутренним его достоинством»<sup>67</sup>. «Приятное явление в нашей словесности!.. — писал «Московский вестник». — ...Утешительно думать, что образованные сыны России по всем странам ее разносят дары просвещения! Приятно слышать, как на гордые песни муз столичных откликаются тихие звуки из отдаленных краев нашего любезного отечества!»<sup>68</sup>.

Столичная критика желала «Енисейскому альманаху» «не только верного успеха, но и соперников в добром намерении» и выражала надежду, что «охота к литературным занятиям скоро распространится в России повсеместно; где есть поклонники музам, там умы светлее и сердца чище...»<sup>69</sup>.

---

<sup>65</sup> Там же, стр. 74.

<sup>66</sup> «Московский телеграф», 1828, ч. 19, кн. 3, стр. 432.

<sup>67</sup> «Сын отечества», 1828, ч. 118, стр. 89.

<sup>68</sup> «Московский вестник», 1828, ч. 7, № 1/14, стр. 326.

<sup>69</sup> «Сын отечества», 1828, ч. 118, стр. 99.

Наиболее видный поэт «Енисейского альманаха» Иван Матвеевич Петров (около 1800 г.—1838 г.) стал организатором этого издания не случайно: не будучи профессиональным литератором, он в то же время и не был лишь поэтом-любителем, пописывающим стихи «в часы досуга». Свою поэтическую деятельность он рассматривал как призвание и отдал ей немало сил и времени. Стихи Петрова неоднократно печатались в столичных журналах и альманахах. Некоторые из них появились в свет еще до 1828 г. (так, «Картина из времен завоевания Сибири», опубликованная в «Енисейском альманахе», впервые увидела свет на страницах «Сына отечества» в 1827 г.<sup>70</sup>). Но подавляющее число его стихотворений относится к более позднему времени: выход в свет «Енисейского альманаха», положительные отзывы об этом издании, в том числе о некоторых стихах и прозе самого Петрова<sup>71</sup>, открыли ему дорогу в русские журналы конца 20—начала 30-х годов.

Петров был уроженцем Иркутска. Об этом свидетельствуют прежде всего его стихи «Память сердца» и «Моя родина», в которых он пишет об Иркутске, Байкале и Ангаре как о местах своего детства. Обстоятельства заставили его переехать в Красноярск, и здесь Петров постоянно тосковал по своему родному городу. Именно это настроение стало одним из ведущих мотивов его ранних стихов:

Когда б в желаниях благоволила мне  
Судьба, властительница мира, —  
Не изнывал бы я на чуждой стороне,  
И не звучала б томно лира<sup>72</sup>.

В 1833 г. Петров навсегда расстался с Сибирью, переехав в Харьков, где он получил место чиновника казенной палаты. В том же году он издал сборник стихотворений, куда вошли его лучшие произведения сибирского периода.

<sup>70</sup> «Сын отечества», 1827, ч. III, № 3, стр. 316—320.

<sup>71</sup> Стихотворения «Волшебная арфа» и «Радуга» были отмечены с похвалой в «Московском вестнике», 1828, ч. 7, № 1/14, стр. 331; «Волшебная арфа» и «Фантазия» названы среди лучших стихотворений рецензентом «Сына отечества», 1828, ч. 118, стр. 89—90. Там же говорится о прозаических этюдах Петрова «Память сердца» и «Юность»: в них, правда, «нет изобретательности и мыслей, но, по правильности слога, их можно прочесть с удовольствием; не худо, если б таким чистым языком писали и наши великороссийские словесники...» (стр. 90).

<sup>72</sup> «Моя родина». «Енисейский альманах на 1828 г.», стр. 68.

Дальнейшее его творчество, не связанное с Сибирью, представляет определенный интерес для исследователя. Петров издавал в Москве и Харькове альманах «Утренняя звезда» (1833 г.) и напечатал ряд повестей в «Телескопе» (1834—1836 гг.), которые были затем переизданы в Харькове под названием «Повести пустытника Залопанского» (1837 г.).

Стихи Петрова неравноценны. Трудно согласиться с мнением столичного рецензента, что «Волшебная арфа» и «К фантазии» — лучшее из того, что напечатано Петровым в «Енисейском альманахе». Мы не находим, что эти стихотворения «отличаются точностью выражений и удачными оборотами»<sup>73</sup>. На наш взгляд, стихи эти, написанные в духе сентиментально-романтических канонов, лишены и своеобразия мысли, и свежести формы. Так, поэт обращается к «прекрасной фантазии, душ чувствительных сопутнице» со словами: «Я к тебе взываю, чудная!» Он умоляет ее быть «юных дней моих подругою, хладной старости — усладою, в счастье — спутницей веселою, а в несчастье — отрадою!»<sup>74</sup>. Чтобы сочинить эти строки, вряд ли нужен особый талант.

В стихотворении «Волшебная арфа» изображается поэт-мечтатель, который лежит «на бархатном лоне цветущего луга» и вдыхает вечернюю прохладу «в тени ароматной черемух душистых». И «какое-то чувство, как чувство блаженства», вливается ему в душу, и уже носится над его головой «рой сновиденный»:

Вдруг что-то мелькнуло  
Как мысль, как виденье,  
И что-то слетело  
С выши, к изголовью  
Приникнув безмолвно.  
Очнулся я... В роще  
Знакою тенью  
Мелькал невидимка  
С волшебною арфой...<sup>75</sup>

И такими же вялыми, «близлежащими» словами поэт рассказывает о том, как «в таинственный трепет ее (душу) повергли небесные звуки» и т. д. и т. п.

Думается, что только приверженность упомянутого рецензента к мистически мечтательной лирике тех лет помешала ему разглядеть здесь бессильную подражательность поэта-

<sup>73</sup> «Сын отечества», 1828, ч. 118, стр. 89.

<sup>74</sup> «К фантазии». «Енисейский альманах на 1828 г.», стр. 18—19.

<sup>75</sup> «Волшебная арфа». (Фантазия), «Енисейский альманах на 1828 г.», стр. 42—43.

сибиряка, использование им ходульных поэтических образов и приемов.

Но не всегда Петров был столь скован литературным шаблоном. В ряде его ранних стихов при всей их подражательности проявляются и черты самобытности. Это заметно, в частности, там, где Петров берет за образец поэзию Жуковского. В статье А. А. Богдановой «Сибирские поэты-романтики начала XIX в.» дается убедительное сравнение текстов сентиментальной повести Жуковского «Марьяна Роцца» и баллады И. Петрова «Усад», а также стихотворений «Море» Жуковского и «Небо» И. Петрова<sup>76</sup>. Из этого сопоставления явствует, что сибирский поэт подражал Жуковскому умело и творчески, — настроения, которые он выражал в своих стихах, не были заимствованными, они лишь совпадали с тем, о чем «пел» Жуковский. «Скромному провинциальному чиновнику без широкого политического кругозора, видимо, была по душе та ветвь русского романтизма, которая уводила в сторону от политической борьбы в мир печали, мир созерцания красоты природы»<sup>77</sup>.

Обнаруживая в стихах Петрова отголоски и пушкинской лирики, А. А. Богданова обращает внимание на то, что поэт-сибиряка привлекают у Пушкина опять-таки не политические мотивы, но стихи о любви, страдании, желании забыться, чтоб не страдать. Так, на стихотворении «Ночь» сказалось влияние пушкинского «К Морфею» («Ночь! Приди и очаруй одр мой сном, тоску забвеньем...») <sup>78</sup>.

Несомненно влияние Пушкина и на стихотворение И. Петрова «Дева»:

Я видел деву. После бури  
Шумел, плескался Енисей,  
А радуга в полях лазури  
Вставала в красоте своей.  
Раскинув локоны золотые  
На алебастровом челе  
И перси обнажив живые,  
Сидела дева на скале.  
Над вдохновенною главою  
Из роз и лилий был венок,  
И звуки с лиры под рукою  
Свевал душистый ветерок...<sup>79</sup>

<sup>76</sup> А. А. Богданова. Сибирские поэты-романтики начала XIX в., стр. 117—118.

<sup>77</sup> Там же, стр. 119.

<sup>78</sup> «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“», 1831, № 21, стр. 166.

<sup>79</sup> «Енисейский альманах на 1828 г.», стр. 70.

Устанавливая сходство образной системы этого произведения и стихотворения Пушкина «Буря», Богданова вместе с тем отмечает, что у Пушкина больше экспрессии, образ девы дан на фоне бури, «когда бушуя в бурной мгле, играло море с берегами», между тем как у Петрова мы видим образ девы-примирительницы, сидящей с лирой в руке, когда уже «после бури шумел, плескался Енисей»<sup>80</sup>. Поэт использует в стихотворении некоторые сентиментально-романтические шаблоны, которые, конечно, были невозможны у Пушкина.

Петров попытался здесь обратиться к сибирской природе, но, кроме названия «Енисей» и упоминания о скалистых берегах его, у него нет никаких конкретных признаков местного колорита.

Отдельные мотивы «Кавказского пленника» — в частности, при описании стана казаков, раскинувшегося у реки на курганах чужой враждебной стороны, — угадываются в стихотворении Петрова «Картина из времен завоевания Сибири», хотя здесь уже хочется отметить окрепший поэтический слог Петрова, большую точность в отборе слов, способность захватить читателя экспрессией и образностью описаний:

Уж потемнело, луч зари  
Померк за дальнею горою,  
В утесах скрылись дикари,  
Умолк призывный голос к бою.  
Глядит задумчиво луна  
На дикий берег Енисея.  
Увы, пустынная страна,  
Пробил твой час: во мгле чернея,  
Как привиденья вдоль реки,  
Отаборились казаки.  
Одни тревожат дикарей  
Пронзительным ужасным свистом;  
Другие шумною толпой  
Стеснясь в кружок, в восторге диком  
Добычу делят меж собою  
И даль гремит победным кликом.  
Меж тем зеленое вино  
Струей шипучей в чары льется,  
Готовят в пищу толокно,  
И песнь удалых раздается.  
Они поют про Ермака:  
Его сибирские походы —  
Предмет любимый казака<sup>81</sup>.

В этом стихотворении Петров уже пытается запечатлеть суровый колорит природы Сибири, передать жестокость борь-

<sup>80</sup> А. А. Богданова. Сибирские поэты-романтики начала XIX в., стр. 120.

<sup>81</sup> «Енисейский альманах на 1828 г.», стр. 34—35.

бы, развернувшейся между дружиной Ермака и «дикарями», скрывающимися где-то между скалами Енисея. Этот местный, сибирский мотив будет звучать в стихах Петрова все уверенней, и все чаще будут встречаться у него конкретные наблюдения, которые позволят ему преодолеть отвлеченно романтическое изображение края.

Чаще всего в его стихах, написанных уже не в подражание великим образцам, но из потребности воспеть родную ему Сибирь, возникает образ Енисея. Иногда поэту еще не удается при описании избежать традиционных форм, например в элегии «Ночь на Енисее», но рядом с литературными трафаретами здесь появляются и вполне самостоятельные, незатертые фразы, звучит искреннее, непозирующее чувство:

Пустынен Красноярск в безмолвии ночном  
Над блещущей рекой, объятый тихим сном:  
Все, все — и вид полей и вид окрестных гор  
Объемлет грустного поэта пылкий взор...  
Часы бегут. Потом... Как бы небес привет,  
Алеет по берегам зари молодой рассвет,  
В тумане утреннем уже дымятся селы,  
И раннего пловца несетса клик веселый<sup>82</sup>.

Последняя строка не снимает грустной интонации всего стихотворения. Грусть — наиболее характерное для Петрова настроение; элегия — наиболее отвечающий его дарованию жанр. И вряд ли в этом сказалась лишь литературная мода: слишком уж искренняя неудовлетворенность поэта действительностью<sup>83</sup>.

Подобно другим романтикам, Петров обращается к теме быстротекущего времени, к мысли о смерти, торжествующей над человеческими делами и стремлениями, и нередко в его стихах звучит мотив неизбежного забвения, становящегося уделом не только отдельных людей, но и целых народов.

В стихотворениях «Дума на скалах Енисея», «К Енисею» и других поэт говорит о многих переменах, которые произошли на берегах этой великой реки, о людях, исчезнувших без сле-

---

<sup>82</sup> Там же, стр. 39—40.

<sup>83</sup> Вместе с тем нам представляется натяжкой утверждение литературоведа А. Гуревича, что в элегии «Ночь на Енисее» поэту хотелось сказать гораздо больше, чем позволяли цензурные условия: «Трудно было говорить в условиях жесточайшей цензуры о жизни города, о подлинном реальном городе при настоящем дневном свете (!), и поэт поджидает час, когда «месяц от холмов восстанет пламенея», чтобы в эти мгновения вдали от людей «мечтать на берегах картинных Енисея» (А. Гуревич. Первый сибирский альманах. «Енисей», 1951, кн. 8, стр. 159).

да, и о том, что только сам Енисей, «исполин страны угрюмой», неизменно несет свои «горделивые струи»:

Чьи здесь были пепелища?  
Чьих курганов ряд стоит?  
Чьи безмолвные кладбища  
Дикий беркут сторожит?  
Бури, веки и народы  
Изменили здесь свой вид;  
Но, не чуя непогоды,  
Ты все тот же, как гранит...<sup>84</sup>

Лучшим произведением И. Петрова является его «Татарская песня». Здесь поэт достигает наибольшей простоты и естественности тона. В стихотворении много бытовых подробностей, вызывающих чувство доверия к изображаемой поэтом картине. Петров очень удачно избирает форму стихотворения: оно звучит как лирический монолог певца, обращенный к его любимой Ульчи, которую выдают замуж за богатого. Поэтому переживание здесь как бы объективизируется, отделяется от самого поэта, но в то же время слова певца не выделены как прямая речь, их можно воспринимать и как выражение чувств самого автора. Именно это единство исповеди героя с откровением самого поэта и создает особый настрой стихотворения, вызывающий сочувственную реакцию у читателя.

Здесь звучит и определенный социальный мотив: певец должен расстаться с девушкой, потому что он беден, а человек, которому отец собирается отдать свою дочь в жены, богат:

У Салгира много злата  
И огромные стада,  
С ним счастлива и богата  
Будешь ты на все года<sup>85</sup>.

Слова певца тем более проникновенны, что он не жалуется, не возмущается, не расточает гневных тирад, но, напротив, как будто бы примиряется со своей судьбой и даже одобряет решение отца Ульчи:

Справедлив отец твой строгой,  
Дорога твоя весна;  
В юрте дымной и убогой  
Ты томиться не должна<sup>86</sup>.

Но это—лишь внешнее смирение. Это — бесполезная попытка отказать от самого себя, принести себя в жертву, а

<sup>84</sup> «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“», 1832, № 33, стр. 262.

<sup>85</sup> «Сын отечества», 1830, № 37, стр. 246.

<sup>86</sup> Там же.

между тем непосредственное чувство постоянно прорывается в словах, полных тоски и боли:

А меня забудь в молитве;  
Пусть один ночной порой  
Я погибну на ловитве,  
Устремясь за кабаргой<sup>87</sup>.

Простота поэтического рассказа сочетается с отказом автора от какой бы то ни было романтической идеализации и приукрашивания героев. Ульчи не говорит на протяжении монолога певца ни единого слова, но мы представляем ее себе — любящую, опечаленную, покорную воле отца. Портрет ее намеренно скуп — автор в этом отношении полемизирует с другими романтиками и, может быть, с самим собой — более ранним:

Хороша Ульчи младая  
Без нарядов дорогих,  
Как хунзуги<sup>88</sup> полевая  
На долинах Козан-дых<sup>89</sup>.

Что касается самого певца, то и он далек от шаблонно-романтического героя, умеющего говорить о любви «красиво» и не пренебрегающего эффектной позой. Певец у Петрова — живой человек, который переживает боль расставания, на словах благословляет судьбу, а сам хочет разбудить жалость Ульчи и не удерживается, просит девушку: «Поцелуй меня по-братски».

Элегический тон песни передается повторением в финале грустного пейзажа, с описания которого она начинается:

Тонет даль в седом тумане,  
Дремлет в сумраке река;  
Все безмолвно на кургане,  
Не слышать и ветерка<sup>90</sup>.

«Татарская песня» И. Петрова, несомненно, перекликается с песнями черкесской, татарской, цыганской, которые ввел в свои «южные поэмы» Пушкин. Но, в отличие от Пушкина, сибирский поэт перенасытил песню словами местного происхождения, и это, конечно, является одной из причин недостаточной известности ее, хотя она и создана одаренным художником.

<sup>87</sup> Там же.

<sup>88</sup> Хунзуги — цветок.

<sup>89</sup> «Сын отечества», 1830, № 37; стр. 246.

<sup>90</sup> Там же.

Своеобразным дарованием обладал поэт Иван Иванович Варлаков (около 1790 г.—1830 г.), поместивший на страницах «Енисейского альманаха» стихотворение «Счастливая жизнь» и эпиграмму. Ныне совершенно забытый, Варлаков в свое время был известен даже за пределами Сибири. Правда, известность ему принесли не столько опубликованные стихи, сколько рукописные сочинения, в которых «игра ума и насмешки не стесняются никакими приличиями»<sup>91</sup>. Таковы были его сатиры, послания, карикатуры. Многие из них отличались нескромностью содержания и не случайно снискали автору славу сибирского Баркова. Но вместе с тем об этих стихах поэт И. М. Петров говорил, что «...они показывают в авторе такие способности ума, которые при лучшем направлении могли бы доставить ему решительно прочную славу и счастье»<sup>92</sup>.

Варлаков происходил из духовенства и учился в Тобольской духовной семинарии. Позднее он здесь же с большим успехом преподавал историю и географию. «Но страсти пылкие, душа прямая, не связанная никакими приличиями, огонь речей, грубая правда, коими ознаменованы все его переживания, — все это требовало деятельности и занятий другого рода, более сообразных с его природными наклонностями. Посему, в 1817 г. оставив духовное звание, перешел он в гражданскую службу»<sup>93</sup>. В 1823 г., с открытием Енисейской губернии, он был принят в канцелярию губернского совета.

И. Петров подчеркивал критическую направленность многих стихов Варлакова: «Эпиграммы сыплют соль аттическую и поражают стрелой насмешки своего противника по русской пословице: не в бровь, а в глаз»<sup>94</sup>.

Такова, например, одна из эпиграмм Варлакова:

Крохін, искусник слова,  
Влез в ухо, говорят, у барина большого;  
Не знаю, как понять:  
Знать, слишком мал Крохін; большие уши, знать,  
У барина большого<sup>95</sup>.

Из неопубликованных вещей Варлакова Петров цитирует несколько отрывков, которые, по его мнению, свидетельствуют

<sup>91</sup> Корреспонденция И. М. Петрова в связи со смертью И. И. Варлакова («Сын отечества», 1830, ч. 21, стр. 117—121).

<sup>92</sup> Там же.

<sup>93</sup> Там же.

<sup>94</sup> Там же.

<sup>95</sup> Там же.

ют об умении автора «ловко подмечать странности, предрас- судки и смешные стороны общества». Так, в сатире «Объяв- ление» выведен шарлатан, который претендует на самые ши- рокие познания, но даже в хвастовстве своем обнаруживает безграмотность. Из его объявления следует, что он

...и физику толкует,  
И нюхает табак, и книги критикует,  
И делает стихи, и прозу говорит<sup>96</sup>.

В «Послании к И. И. К-ву» автор обращается к человеку, которого в шутку называет своим Меценатом, и убеждает куп- тить за это для него сукна на вицмундир:

Смотри — Гораций твой в фракчишке дыроватом!  
Быв неопрятнее и самых плебеян,  
Как к Августу придет? Как станет меж дворян?  
Иной презрительно взглянув на ветхость фрака,  
Невольно пьяницей повеличает Флакка,  
Хоть сам давно таков, тот мозгом изветшал,  
Зато кафтан его достоин всех похвал<sup>97</sup>.

Несмотря на шуточный тон послания, нельзя не уловить здесь серьезного мотива: поэт настолько беден, что не имеет возможности появиться в «свете». Впрочем, он горд: ему хо- рошо известно, что люди, презрительно глядящие на его ды- рявый фрак, сами зачастую достойны презрения.

Сознание своих преимуществ у человека бедного, но на- деленного умом — основная мысль басни «Нож и оселок»<sup>98</sup>. Поэт задается здесь вопросом: какую роль в окружающем мире играет тот, кто мыслит? И отвечает своей басней: он формирует умы других.

Однажды Нож — не знаю столовой,  
Не знаю половой,  
И острый, иль тупой,  
А знаю только лишь, что был железный —  
Оселку говорит: «О камень бесполезный!  
Ни резать, ни тесать,  
В печурке лишь лежать!  
Меж тем владелец наш тебя предпочитает  
Не только нам, ножам,  
Но самым бритвам господам,  
И даже уважает...  
За что ж?»

---

<sup>96</sup> Там же.

<sup>97</sup> Там же.

<sup>98</sup> «Вестник Европы», 1819, № 7, ч. 104, стр. 190—191.

«А вот за что, послушай, Нож! —  
Оселок возразил, — что к резанью способным  
Я делаю тебя, хотя не режу сам.

\* \* \*

Понятна, кажется, всем острым головам  
Баснь эта, чем они должны другим умам,  
Оселку оному подобным<sup>99</sup>.

Для Варлакова очевидно: подлинный ум или поэтический дар — редкость. Меж тем есть тьма людей, претендующих на то и другое. О них он и говорит в одной из своих эпиграмм:

Чему ж, друзья, дивиться тут,  
Что Бавий говорит и пишет вздор стихами? —  
Поэтов ведь таких не сеют, не орут:  
Родятся сами<sup>100</sup>.

В заключение своей корреспонденции о Варлакове И. Петров отмечает, что «несмотря на резкую, хотя и добродушную сатиру — отличительный характер сочинений покойного! — он не имел врагов и был любим всеми, знавшими его, за какое-то лафонтеновское простосердечие. Зная в совершенстве латинский язык, он в особенности любил изучать на досуге лучших поэтов и писателей на сем языке; их вековые творения возвышали душу его и услаждали воображение. Он был добр и, несмотря на бедность свою, благотворителен; но, оригинальный умом своим, как и поступками, вел жизнь почти циническую и скончался на 41 году возраста — к сожалению всех уважавших в нем истинное дарование»<sup>101</sup>.

## СИБИРЬ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЕКАБРИСТОВ

После разгрома восстания 1825 г. многие декабристы — поэты и писатели, оказавшись в Сибири, продолжали заниматься литературной деятельностью. Теперь в круг волнующих их тем входили новые мотивы, навеянные сибирской действительностью.

Вполне естественно, что на Сибирь декабристы смотрели глазами изгнанников, и поэтому отношение к ней было по преимуществу негативным. В данном случае они следовали за Рылеевым, который, правда, в Сибири не был, но воспринимал ее издали только как место каторги и ссылки. «Рылеев по-

<sup>99</sup> Там же.

<sup>100</sup> Там же, 1819, № 6, ч. 104, стр. 111.

<sup>101</sup> «Сын отечества», 1830, ч. 21, стр. 121.

ложил начало литературной традиции изображать Сибирь в нарочито сгущенных мрачных красках — как дикую и мрачную «страну изгнания»<sup>102</sup>. Вместе с тем, в отличие от Рылеева, ссыльные декабристы имели возможность увидеть Сибирь в разных аспектах. Они по достоинству оценили местную природу, описав ее в ярких, романтических тонах, и открыли для себя немало интересного в образе жизни и в культуре местного населения. Декабристы проявляли обостренное внимание к фольклору коренных сибирских народностей, записывали сказания и легенды, заимствовали из них сюжеты и образы.

Начало сибирской теме в поэзии декабристов положил К. Ф. Рылеев. Поскольку он писал о Сибири только на основании литературных источников и устных рассказов, его произведения не относятся к предмету нашего исследования. Но вместе с тем нельзя не сказать здесь о значении Рылеева для многих поэтов, писавших о Сибири, вплоть до Некрасова.

Прежде всего Рылеев создал первое в русской поэзии произведение о политическом ссыльном — поэму «Войнаровский» (1823 г.). Он сумел в рамках привычной романтической ситуации раскрыть гражданскую, общественную драму и в лице главного героя показал не разочарованного индивидуалиста, но страдальца за интересы своего народа. Его образ, по замыслу поэта, должен был возбуждать в читателях и действительно возбуждал «стремление к гражданской свободе».

Эта политическая, вольнолюбивая направленность поэмы Рылеева была поддержана и развита поэтами-декабристами, писавшими в тяжелых условиях сибирской ссылки. Страдания ссыльных, их размышления о судьбах народа и отечества, стремление к свободе — все это нашло отражение в лирической поэзии декабристов, а также в их романтических поэмах.

К. Ф. Рылеев выступил не только как романтик, но и как предшественник критического реализма. Он тщательно изучил многочисленные материалы о Сибири и, преодолевая условности романтизма, сумел довольно точно и достоверно описать местную природу и якутский быт. Причем он осмыслил сибирскую действительность с позиций критических как чуждую и враждебную его герою. Тем самым он побудил поэтов-декабристов, с одной стороны, добросовестно исследо-

---

<sup>102</sup> Б. Жеребцов. Сибирский литературный календарь. Иркутск, 1940, стр. 28.

вать край, а с другой—писать о нем как о части России — страны, где нет свободы, где душно и тяжело жить настоящему человеку.

Между прочим, Рылеев использовал в поэме сибирские диалектизмы и сопроводил свою поэму небольшим словарем. Это имело большое значение: подобный опыт был проделан впервые в русской литературе, что дало сибирским диалектным словам «право на вхождение, в качестве составной части, в словарь русского литературного языка»<sup>103</sup>.

Излишне говорить, что Рылеев не смог бы возбудить интереса к сибирской теме, если бы написал об этом не столь талантливо. Именно поэтическая сила его «Войнаровского» и думы «Смерть Ермака» (1822 г.) обеспечила этой теме все права литературного гражданства, а песня о Ермаке стала подлинно народной.

Значительную роль в поэтическом «освоении» Сибири сыграл А. А. Бестужев-Марлинский, известный поэт, романист и переводчик. Близкий по своему духу Рылееву, он вместе с тем по-своему отразил Сибирь, о которой мог судить по собственным впечатлениям. Оказавшись в якутской ссылке, Бестужев с огромным интересом стал изучать природу, экономику, этнографию края, записывал произведения якутского фольклора. Под влиянием последнего им была написана баллада «Саатырь» (1828 г.). Исследователь якутской литературы Н. П. Канаев пишет: «На фольклорную основу своей баллады автор указывает сам, хотя точно такого предания в имеющихся записях не зарегистрировано. Близок к «Саатыри» сюжет другой распространенной легенды, известной под названием «Лоокут и Ньюргусун»<sup>104</sup>. Однако полного совпадения здесь нет. В легенде, упомянутой Канаевым, ярко звучит тема неравного брака: богатые родители не хотят выдать свою дочь замуж за бедняка; между тем как в «Саатыри» нет и намека на это. Далее, Ньюргусун, действительно, умирает от горя, а Саатырь только притворяется умершей. И, наконец, в народной легенде финал счастливый: невеста оживает, как только жених откапывает ее, в балладе же любящая пара гибнет.

Но главное отличие состоит в том, что переработанная по этому якутская легенда приобретает все характерные черты романтической поэмы. Это сказывается прежде всего на со-

<sup>103</sup> Б. Жеребцов. О сибирской литературной традиции. «Сибирский литературно-краеведческий сборник». Иркутск, 1928, стр. 28.

<sup>104</sup> Н. Канаев. Русско-якутские литературные связи. М., 1965, стр. 14.

держании и характере основного конфликта: Саатырь не любит своего мужа — ее сердце отдано другому. Привыкшая к повиновению молодая женщина, наконец, решает нарушить вековые традиции и, договорившись со своим возлюбленным, инсценирует болезнь и смерть. Затем к ней на могилу является ее любимый — князь Буйдукан — и освобождает ее. Но «духи пустыни» окружают их, напуганный конь бросается под кровлю, — и рухнула кровля!

Вдали огласился раздавленных стон..  
Погибли. Но тень Саатыри  
Доныне пугает изменчивых жен  
По тундрам Восточной Сибири<sup>105</sup>.

Драматический характер этой баллады не случаен: тема жизни и смерти, как и тема гибели надежд, навеяна страданиями, которые пришлось пережить самому поэту и его товарищам по несчастью. В балладе преобладает мрачный колорит. Болезнь героини, «плачевные звуки» бубнов, похороны — все это навеивает тяжелое настроение. Очень наглядно описано погребение Саатыри:

И тихо разверстое лоно земли  
Сомкнулось над жертвою новой.  
И девы и жены, и старый и млад  
В улус потекли, озираясь назад<sup>106</sup>.

Но особенно впечатляют финальные строфы, несмотря на сказочность их содержания, — обращение Саатыри из гроба к своему возлюбленному, страстный порыв обоих к воле и счастью и гибель именно в эту минуту. Думается, что образ Саатыри, восставшей против ненавистного ей брака, стремившейся к свободе и любви, отвечал настроениям революционера-изгнанника и выражал его желание отстоять свое высокое человеческое достоинство.

Поэма написана в приподнято романтических тонах, и вряд ли ее можно рассматривать как вполне достоверную картину жизни якутов. Образ Саатыри и ее возлюбленного лишен национального своеобразия и идеализирован. В уста больной героини поэт вкладывает следующие слова, обращенные к ее родственникам:

---

<sup>105</sup> А. А. Бестужев-Марлинский. Саатырь. «Поэты-декабристы». М., 1967, стр. 303.

<sup>106</sup> Там же, стр. 301.

О други! Уйдет ли журавль от орла?  
От пух — быстроногие козы?  
Коль смертная тень мне на сердце легла,  
Прильют ли дыхания слезы?..<sup>107</sup>

В таком же возвышенном стиле выражает свои чувства и князь Буйдукан: «Подруга, пора! Жених дожидается милой! Воскресни для новых веселия дней, для жизни и счастья...»<sup>108</sup>.

В то же время в балладе ощущается довольно сильная этнографическая струя. Это проявляется не только в том, что поэма сопровождается, как и «Войнаровский», авторскими примечаниями, но и в самих описаниях быта якутов. Вполне достоверно, например, изображены поминки:

Вскипели котлы, задымилась кровь  
Коней, украшения стада,  
И брызжет кумыс от широких краев,  
Он — счастья и горя услада;  
И шумно кругом, упоенья кумир,  
Аях пробегает бездонный;  
Уж вянет заря. Поминательный пир  
Затих. У чувала склоненный  
Круг сонных гостей возлежит недвижим,  
Лишь в юрте, синее, волнуется дым.<sup>109</sup>

Есть у поэта и точные зарисовки природы, в которых используются «сибирские краски»: «Вот месяц над теменем сумрачных скал вспрынул кабаргой златорогой...» и т. п.

Баллада «Саатырь» — первая в русской литературе попытка обработать якутский фольклор. И в этом — ее основное значение.

Сибирь частично отразилась и в некоторых лирических стихотворениях Бестужева. Здесь поэт чаще всего обращается к мотивам сибирской природы. Причем пейзаж его интересует не сам по себе — через образы природы поэт выражает свое внутреннее состояние. Глядя на облако, гордо пролетающее над ним, поэт невольно думает о том, что налетит вихрь и облако дождем растает на степях «бесславно, бесполезно». И мрачным итогом завершается стихотворение:

Блести, лети на ветерке,  
Подобно нашей доле,—  
И я погибну вдалеке  
От родины и воли!<sup>110</sup>

<sup>107</sup> Там же, стр. 299.

<sup>108</sup> Там же, стр. 302.

<sup>109</sup> Там же, стр. 301.

<sup>110</sup> «К облаку», там же, стр. 316.

Весна всегда радует поэта: вместе с нею «оживает старина, сердце молодеет»:

Присмирелые мечты  
Рвут долой оковы,  
Словно юные цветы  
Рядятся в обновы,  
И любви златые сны,  
Осеняя вежды,  
Вновь и вновь озарены  
Радугой надежды. <sup>111</sup>

Мысли поэта не могут не обращаться к недавним событиям — к неудавшемуся восстанию, к жестокой расправе с декабристами. Конечно, ссыльный поэт не может в открытую писать о пережитой им трагедии, и потому декабрьские события облекаются им в условно романтическую форму. Так, в стихотворении «Сон» недавнее прошлое предстает перед ним как сновидение, полное драматизма. Сначала поэт вспоминает свою юность, внушавшую ему самые светлые надежды:

Зачем зарницею без гула  
Исчезла ты, любви пора,  
И птичкой юность упорхнула  
В невозвратимое «вчера»? <sup>112</sup>

Поэту снится, как он скачет верхом на коне — «неукротимом коне судьбы», «и брызжут пламенем подковы, гремя о плиты и гробы».

Над головой расшибся гром,  
И конь и всадник, прынув с края,  
Кусты и глыбы обрывая,  
В пучину ринулись кольцом. <sup>113</sup>

Здесь в каждой строке намек. В словах «вихрь кончины мне обуял и взор и ум», по-видимому, следует видеть упоминание о том времени, когда поэт и его товарищи ожидали в темнице кровавой казни.

Вторая половина стихотворения непосредственно навеяна Сибирью, и, по существу, это — иносказательное изображение ссылки:

Очнулся я от страшной грезы,  
Но все душа тоски полна,

---

<sup>111</sup> «Оживление», там же, стр. 315.

<sup>112</sup> «Сон», там же, стр. 310.

<sup>113</sup> Там же.

И мнилось, гнут меня железы  
К веслу убогого челна.  
Вдаль отуманенным потоком,  
Меж сокрушающихся льдин,  
Заботно озираясь оком,  
Плыву я грустен и один<sup>114</sup>.

Поэт далеко не всегда предается печали, и все же мотив страдания и тоски изгнанника у него выражен наиболее сильно. Таково стихотворение «Шебутуй (Водопад Станового хребта)». Это произведение нельзя рассматривать как «пейзажное»: образ водопада лишен каких-либо конкретных, сибирских примет. Поэт романтически изобразил поток, который мчится, преодолевая все преграды, и скачет «с гор на горы, как на ловитве юный лев». Водопад вызывает у поэта размышление о своей собственной судьбе, и это — главное в стихотворении:

Тебе подобно, гордый, шумный,  
От высоты родимых скал,  
Влекомый страстию безумной,  
Я в бездну гибели упал!  
Зачем же моего паденья,  
Как твоего паденья дым,  
Дуга небесного прощенья  
Не озарит лучом своим!<sup>115</sup>

Но основной вклад Бестужева в литературу о Сибири — его очерки о быте и нравах местных народов: «Отрывки из рассказов о Сибири», «Сибирские нравы. Исых», «Письмо к доктору Эрману». В отличие от романтических стихов, в этих очерках ярко проявляются реалистические тенденции. Очерки основаны на личных впечатлениях автора, что подкреплено тщательным изучением различных материалов о Якутии. При этом они проникнуты глубоким уважением к местным народностям и сочувствием к их тяжелой, безрадостной судьбе. Не случайно очерки высоко оценил В. Г. Белинский: «Во всех сих статьях виден необыкновенно умный, блестяще образованный человек и талантливый писатель, и почти все они отличаются, в противоположность повестям, языком простым, живым и прекрасным без изысканности»<sup>116</sup>.

Очерки Бестужева лишены какого-либо связного сюжета, они описательны, но мастерство автора порою столь велико,

<sup>114</sup> Там же, стр. 311.

<sup>115</sup> «Шебутуй», там же, стр. 314.

<sup>116</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IV. М., Изд-во АН СССР, 1953—1959, стр. 53.

что и сейчас они могут захватить читательское воображение, а во времена Бестужева это было открытием, новой страницей в отечественной литературе. Многие читатели 30-х годов получили реальное представление о Сибири именно из очерков Бестужева, поскольку автор был одним из самых читаемых писателей России.

Бестужев открывает читателю различные стороны жизни северных народов. Он описывает своеобразные обрядовые действия, связанные с празднованием исыха—жертвоприношения духам, обильное пиршество, пляски, песни, состязания в ловкости и силе («Сибирские нравы. Исых»). Он рисует и подавляющие душу картины безлюдной замерзшей страны, которую пересекают иногда медленно идущие караваны («Отрывки из рассказов о Сибири»). Автор с содроганием говорит о безысходной бедности, царящей повсеместно, возмущается хищничеством купцов, которые спаивают местных охотников и окончательно разоряют их. Нельзя читать равнодушно эпизод гибели от голода семьи одного тунгуса, который не вернулся с охоты домой: «Жена его оледенела над грудным младенцем, который лежал у ней на коленях и умер, не находя молока в истощенной груди. Старшая дочь лежала ногами на погасшем очаге, желая, конечно, погреться на угольях, которых не могла раздуть от слабости. Мальчик лет двенадцати закоченел, грызя ремень обуви. Судорожная тоска видна была на всех лицах и во всех членах, особенно в поднятых к небу глазах матери... Ветром навеяло в трубу много инея, и мертвецы сверкали им»<sup>117</sup>.

Говоря об экономической и культурной отсталости Якутии, о жалких селениях, разбросанных на больших расстояниях друг от друга, автор вместе с тем полон уверенности в том, что у Сибири великое будущее — ведь ее природные богатства поистине неисчерпаемы.

Бестужев с этнографической точностью описывает охоту, рыбную ловлю, скотоводство, средства передвижения, празднества, развлечения и т. д. И эта же верность натуре отличает его пейзажные зарисовки. Вот одна деталь в описании каравана, идущего через тундру: «Все безмолвны. Воздух мрачен и густ; караван идет сквозь осязаемые туманы — и они медленно, сонно, будто нехотя, задвигают следом прорванную и долго видимую в воздухе стезю»<sup>118</sup>. Восторженно пишет Бе-

---

<sup>117</sup> А. Марлинский. Полное собрание сочинений, ч. 1. СПб., 1838, стр. 220—221.

<sup>118</sup> Там же, стр. 195.

стужев о великой реке Лене. Вместе с тем он не только описатель, но часто проявляет себя как наблюдатель-психолог. Он прекрасно понимает, например, привязанность сибирского охотника к своему суровому краю — сибиряк задохнется, если перенести его в теплый климат, в благоустроенный город: «ему постынет жизнь без надежды и страха, и скоро приестся жирный кусок, не купленный опасностью».

Очерки Бестужева во многом дополняет его переписка с родными. Он пишет здесь о прошлом и настоящем Якутии, о якутской ярмарке, купцах, ценах на товары. Он восхищается купцами, которые, не страшась сорокаградусных морозов, совершают поездки из Якутии на Колыму и обратно, и готов видеть в них силу, способную преобразить край, но в то же время не может не видеть «тупости» многих из них, осуждает неумение и нежелание их служить общим интересам.

Бестужевской балладе «Саатырь» близка по своему содержанию и духу баллада «Нуча», принадлежащая перу ссыльного поэта-декабриста Н. А. Чижова. На этом произведении также сказались влияние якутского фольклора, хотя, как замечает Н. П. Канаев, и здесь сюжет баллады прямой аналогии в якутском фольклоре не имеет<sup>119</sup>. В балладе, выдержанной в мрачных драматических тонах, поэт иносказательно передал свои чувства, навеянные расправой царизма с декабристами. В этом он тоже близок Бестужеву.

Герой баллады, молодой русский охотник<sup>120</sup>, не захотел принести жертву лесным духам, и они, обратившись в кабаргу, заманили юношу в пропасть. Гордое пренебрежение к тем, кто считается властелином тайги, нежелание следовать общепринятым обычаям и поклоняться силе — вот что особенно привлекательно в Нуче, который не случайно изображается «бесстрашным», «как горный орел». Важно и то, что он друг якутов, такой же простой человек, как и они сами. Поэтому замысел поэмы оказывается более серьезным и обобщенным, нежели простое отражение веры якутов в мстительность духов, — поэт хотел сказать о трагической участи декабристов, а фольклорные мотивы послужили удобной для данного случая оболочкой.

В другой балладе — «Воздушная дева», представлявшей собой поэтическую обработку якутской легенды<sup>121</sup>, Чижев вы-

<sup>119</sup> Н. Канаев. Указ. соч., стр. 29.

<sup>120</sup> Нуча — по-якутски русский.

<sup>121</sup> См. об этом «Очерки по изучению Якутского края», вып. 2. Иркутск, 1928, стр. 126.

разил чувство одиночества и тоски по родной земле: Свои переживания он вложил в уста героини, простой якутской девушки, которая некогда полюбила небожителя, легкомысленного и лицемерного, и была брошена им «между небом и землей». Она смотрит с высоты небес на родную юрту, слышит лай домашних псов, видит веселые пляски и игры на праздниках, но все это недостижимо для нее: «А я одна, всегда одна. Беспечные, они поют, меня же ветры вдаль несут».

Этими двумя балладами не исчерпываются сибирские мотивы в творчестве Чижова. Известно, что в связи с опубликованием «Нучи» в «Московском телеграфе» (1832, № 8) Третье отделение стало расследовать, кто передал это стихотворение в журнал, и у Чижова была изъята тетрадь стихов, написанных в Олекминске. Большинство из них — небольшие лирические стихи, эпиграммы. Для нас в данном случае наибольший интерес представляют «Сибирские цветы». Стихотворение показательно в том отношении, что поэт здесь вопреки традиционному взгляду на Сибирь, характерному для Рылеева, восторженно описывает образцы сибирской флоры: «роскошный анемон», фиалку — «эмблему скромной красоты», «колокольчики простые», «гордую лилию», «багровую сарану — Камчатки сумрачный убор» и т. д. Чувствуется, что поэт, смирившись со своей участью, полюбил вторую родину и находил отраду в скромной жизни на лоне якутской природы:

В глуши лесов уединенной  
Устрою домик я и сад, —  
И будет мой приют смиренный  
Милей мне каменных палат <sup>122</sup>.

Это настроение, кстати сказать, характерно и для «Воздушной девы» — героине ее родная Якутия кажется прекрасной. Здесь уже поэт преодолевает отчужденное, а то и враждебное отношение изгнанников к Сибири.

Кроме стихотворений, вошедших в упомянутую тетрадь, Чижовым были написаны и другие произведения в стихах и прозе. Это известно из списка, составленного самим Чижовым и переданного вместе с тетрадью Бенкендорфу <sup>123</sup>. Там, в частности, называются прозаические вещи: «Письма с берегов Лены», «Прогулка по Лене», в которых, как и в других, по видимому, отразились сибирские впечатления декабриста. К сожалению, все это утеряно.

<sup>122</sup> См. Б. Бухштаб. Неизданные стихи Н. А. Чижова. «Омский альманах», 1947, кн. 6, стр. 168.

<sup>123</sup> См. об этом там же, стр. 169—170.

После пребывания в Олекминске и Александровском Заводе Чижов был переведен в Тобольск. Здесь он довольно близко сошелся с Ершовым, который помогал Чижову в публикации произведений. Вместе с Ершовым они написали стихотворную сцену с куплетами «Черепослов», которую Ершов позволил использовать В. Жемчужникову, одному из создателей Козьмы Пруткова.

Если говорить в целом о поэзии декабристов периода сибирской ссылки, то она, как и до 1825 г., развивалась в русле революционного романтизма. Хотя в отдельных стихах А. Бестужева-Марлинского, В. Кюхельбекера, А. Одоевского звучали настроения уныния, а порой и отчаяния, тем не менее декабристы даже в самых тяжелых условиях сохраняли силу духа, жажду деятельности.

В. К. Кюхельбекер, живший в особенно тяжелых условиях (см. «Дневник поселенца»), воспринимал Сибирь по преимуществу сквозь призму страдальца-изгнанника. У него не было поэтических зарисовок сибирской природы: Сибирь представлялась ему необъятной тюрьмой и только. Сидя «на диком берегу Онона», он склонялся «жадным слухом на рев и грохот вод, на ветра свист и шум», но не потому, что ему нравилось наблюдать стремительный поток воды, —

Жерты сердца своего, страдальцев и поэтов,  
Я вызывал из дальних их могил.  
Угрюмый сын степей, хранительниц Китая,  
Роптал утесами стесняемый Онон,  
Волнами тусклыми у ног моих сверкая,  
И мнилось, повторял ИХ передсмертный стон.  
И, словно факел ИХ унылых похорон,  
Горела на небе луна немая<sup>124</sup>.

Настроения и думы поэта в ссылке почти не отличаются от тех, какие посещали его прежде, в годы тюремного заключения. Так, в стихотворении «Клен» (1832) поэт обращался к могучему дереву, которое чудом выросло перед стенами его тюрьмы, и говорил с ним «о милой сердцу стороне», о своей скорбной участи, которую предвидели «всходящие до неба братья» клена:

Не ты ль последний в мраке заточенья  
Мой друг в угрюмой сей стране?<sup>125</sup>.

В сознании ссылкеного поэта навсегда запечатлелось 19 октября — день, когда был основан Царскосельский лицей, и

<sup>124</sup> «Три тени». В кн. «Поэты-декабристы». М., 1967, стр. 244.

<sup>125</sup> «Клен», там же, стр. 233.

всякий раз в эту священную для него годовщину он обращался мысленно к друзьям, — Сибирь тогда представлялась ему громадным пространством, которое разлучило его с нами: «Европы страх — седой Урал, и Енисей, и степи, и Байкал теперь меж нами» («19 октября 1836 г.»). Поэта все время гнетет сознание, что он окружен людьми, которые никогда не поймут его страданий и которые, в конце концов, погубят его:

Но я увяз в ничтожных, мелких муках,  
Но я в заботах грязных утонул.  
Нет, не страшусь убийственных объятий  
Огромного несчастья. Рок! души!  
Ты выжмешь жизнь, не выдавишь души —  
Но погибать от кумушек, от сватей,  
От лепета соседей и друзей!  
Не говорите мне: «Ты Промефей!»  
Тот был к скале заоблачной прикован,—  
Его терзал не глухой воробей,  
А мощный коршун<sup>126</sup>.

Здесь невольно хочется вспомнить стихотворение «Поэты», которое было программным для раннего Кюхельбекера. И там и тут Кюхельбекер поднимает проблему поэта — «пророка истин возвышенных» — и «злодеев и глупцов», которые ненавидят и травят его. Но если раньше для Кюхельбекера эти враги поэзии и свободы ассоциировались, как и для Пушкина, с великосветской «чернью», то теперь он, можно сказать, по-грибоедовски ополчается против обывателей, которые губят все живое и способны воробьиными клювами заклевать титана. В этом нельзя не увидеть обличения сибирского мещанства. Но вместе с тем смысл стихотворения более глубок: поэт скорбит о том, что ему не суждено было совершить подвиг Прометея, его силы гибнут понапрасну, и это тем больнее ему сознавать, что он стал жертвой «глупого воробья». Здесь, вероятно, содержится намек на общего гонителя декабристов — русского царя.

Тема поэта и «толпы», разрешаемая молодым Кюхельбекером несколько абстрактно, обретает теперь конкретный социальный смысл. «Участь русских поэтов» состоит в том, что «их бросают в черную тюрьму, морят морозом безнадежной ссылкой».

Ссылка жестоко подавляет душевные силы поэта. Склонный к гражданской «ораторской» поэзии, всегда ненавидевший бескрылую элериическую поэзию, он пишет нередко стихи, пронизанные болью и тоской. И если он дает в этих сти-

<sup>126</sup> «Они моих страданий не поймут», там же, стр. 241.

хак отдельные, мимолетные штрихи сибирского пейзажа, то они служат лишь для выражения его безотрадных чувств:

Что скажу я при исходе года?  
Слава богу, что и он прошел!  
Был он для изгнанника тяжел,  
Мрачный, как сибирская природа<sup>127</sup>.

Или:

Работы сельские приходят уж к концу,  
Везде роскошные, золотые скирды хлеба;  
Уж стал туманен свод померкнувшего неба,  
И пал туман и на чело певцу...<sup>128</sup>

При всем трагизме этих стихов Кюхельбекер оставался верен идеалам юности, которые в свое время позволили Пушкину считать его родным братом «по музе, по судьбам» («Элегия», «Тень Рылеева» и др.). С какой неизменной любовью он писал об умерших и погибших друзьях своей молодости — Рылееве, Пушкине, Грибоедове, Дельвиге, Баратынском! Его привязанность к друзьям — выражение святой верности прошлому, неугасающего юношеского энтузиазма. В своих стихах, порой тяжеловесных, «шершавых», несущих на себе отпечаток «витийства», столь характерного для Державина, Кюхельбекер смело и последовательно выражал свои гражданские чувства и, подобно Рылееву, провидел будущее, когда воцарится «на Руси святой свобода, счастье и покой».

Ему уже становилось понятным, что путь в будущее должен быть иным, чем тот, который грезился раньше декабристам. Он старался понять причины поражения декабризма и с этой целью обращался к русской истории, к народной поэзии, стремился быть ближе к народу и в условиях ссылки осуществлял свое давнее намерение изучать «все истинно русское». Он критически переоценивал прошлое в своей драме «Ижорский» (1829—1833, 1840—1841).

С годами в его стихах все больше проявляются черты реалиста, все сильнее сказывается на нем влияние народной словесности, все отчетливее проявляются поэтические традиции, восходящие уже не к Державину, а к Крылову и Грибоедову. О нем можно было бы сказать то же, что он говорил о древнегреческом поэте Архилохе: «герой» может быть побежден, но нельзя победить «певца».

<sup>127</sup> «При исходе 1841 года», там же, стр. 246.

<sup>128</sup> «Работы сельские приходят уж к концу...», там же, стр. 248.

Те же настроения печали и надежды, безысходной тоски и готовности к действию выразил в своей изгнаннической лирике А. И. Одоевский. В отличие от Кюхельбекера он писал «легким» пером, его стихи так и ложились на музыку — не случайно некоторые из них стали любимыми песнями декабристов. В них не было такого душевного надрыва, такой болезненной мечтательности, как у Кюхельбекера, — скорее здесь преобладал тон элегический. Не отличались стихи Одоевского и возвышенной патетикой — даже свой знаменитый ответ на послание Пушкина в Сибирь поэт написал без претензий на ораторский стиль, можно сказать, — с пушкинской простотой и сдержанностью. Поэтому так органично вошла в стихотворение чуть измененная фраза из послания Пушкина: «Наш скорбный труд не пропадет». Это произведение, пронизанное верой в то, что дело декабристов не пропало даром и что настанет время, когда свобода грянет на царей и радостно вздохнут народы, показательно для Одоевского: в самые трудные минуты жизни поэт находил в себе силы не только преодолеть отчаяние, но и вдохновлять, поддерживать других.

Одоевский вырос в Сибири в большого, своеобразного поэта. «Именно Одоевский подхватил лиру, выпавшую из рук Рылеева, и мужественно пронес ее через все годы декабристской каторги и ссылки»<sup>129</sup>.

В своем отношении к Сибири Одоевский в полной мере следовал за Рылеевым. Он воспринимал Сибирь из окна темницы. В стихотворении «М. Н. Волконской» он писал:

Был край, слезам и скорби посвященный,  
Восточный край, где розовых зарей  
Луч радости, на небе том рожденный,  
Не услаждал страдальческих очей;  
Где душен был и воздух вечно ясный,  
И узникам кров светлый докучал.  
И весь обзор, обширный и прекрасный,  
Мучительно на волю вызывал<sup>130</sup>.

Единственной отрадой для узников, утверждает поэт, стали их героические подруги, которые им «с улыбкой утешенья любовь и мир душевный принесли».

Мысль о замечательных русских женщинах, добровольно согласившихся разделить участь своих мужей, глубоко волновала всех декабристов, и эти общие чувства выразил поэт

<sup>129</sup> В. Б а з а н о в. Очерки декабристской литературы. М.—Л., 1961, стр. 350.

<sup>130</sup> В кн. «Поэты-декабристы». М., 1967, стр. 269.

в своем прекрасном романсе «По дороге столбовой». Здесь Одоевский запечатлел подвиг одной из декабристок — невесты Ивашева, приехавшей к нему в Сибирь, чтобы здесь обвенчаться и остаться с ним навсегда. Романс написан в народной песенной манере. В нем нет конкретных примет Сибири — поэт создает традиционный образ степной дали, куда «свет-душа стремится взорами», мчащейся тройки и «легкой метелицы», вьющейся из-под копыт:

По дороге столбовой  
Колокольчик заливаётся,  
Что не парень удалой  
Белым снегом опускается?  
Нет, то ласточкой летит  
По дороге красна девица.  
Мчатся кони... От копыт  
Вьётся легкая метелица.  
Кроясь в пухе соболей,  
Вся душою вдаль уносится;  
Из задумчивых очей  
Капля слез за каплей просится:  
Грустно ей... Родная мать  
Тужит тугою сердечною;  
Больно душу оторвать  
От души разлукой вечною <sup>131</sup>.

В романсе преобладает элегический тон: «Сердцу горе суждено! Сердце надвое не делится — разрывается оно». Поэт понимает, что судьба девушки будет суровой: «Ждет и там ее печаль за железными затворами». И все же Одоевский не изменяет себе — своему оптимизму, присущему ему несмотря ни на что. И этот оптимизм в данном случае основывается на мужественном решении героини, на ее убежденности в том, что она все-таки будет счастлива со своим другом:

— С другом любо и в тюрьме! —  
В думе молвит красна девица. —  
Свет он мне в могильной тьме...  
Встань, неси меня, метелица,  
Занеси в его тюрьму.  
Пусть, как птичка домовитая,  
Прилечу я и к нему  
Притаюсь, людьми забытая <sup>132</sup>.

В последних строках заключен тонкий мотив: несмотря на решимость, девушке не может не быть грустно.

Романс «По дороге столбовой» — свидетельство самого пристального внимания Одоевского к народной поэзии и поэ-

<sup>131</sup> «По дороге столбовой», там же, стр. 283.

<sup>132</sup> Там же, стр. 284.

тике. Фольклорное влияние чувствуется здесь и в системе образов, и в поэтической манере, и в стиле. Используя народное выражение «красна девица», поэт отделяет образ от прототипа, делая его обобщенным, близким и дорогим каждому. Сравнение с ласточкой, с птичкой домовитой, тоже народное по своей сути, передает чувство нежности и участия, которое испытывает поэт к своей героине и которое легко заражает читателя. Рядом с постоянными эпитетами («парень удалой», «красна девица», «родная мать», «могильная тьма» и т. д.) поэт использует и слова, выдержанные в духе народной поэзии, передающие эмоциональное состояние автора, его собственное, неповторимое восприятие мира: «Из задумчивых очей капля слез за каплей просится», «Родная мать тужит тугою сердечною» и т. д.

Как и Кюхельбекер, Одоевский почувствовал себя в годы сибирской ссылки ближе к народной жизни. Он тоже мучительно размышлял о проблеме героя и народа в связи с поражением восстания 1825 г. (поэма «Василько», 1829—1830 гг.), обращался к историческому прошлому, ко временам древнерусской вольности и ее гибели. Раздумье поэта о России, о готовности принять ради нее любые муки и даже смерть находит отражение в его «Стихах на переход наш из Читы в Петровский завод».

Это стихотворение было написано под влиянием общего подъема, пережитого декабристами, когда они вышли из стен читинского острога и многие дни во время похода могли любоваться природой Забайкалья, дышать вольным воздухом степей. В стихотворении содержатся отдельные штрихи сибирской природы, схваченные наблюдательным художником. Здесь и кочевья, которые чернеют среди пылающих огней, и стреноженные дикие кони, и деревья, которые шепчут над юртами, и звезды светлые, как видения, и равнины угрюмые, которые спят и которых поэт призывает проснуться:

Пробудитесь! Песни вольные  
Оглашают вас.  
Славим нашу Русь, в неволе поем  
Вольность святую,  
Весело ляжем живые  
В могилу за святую Русь<sup>133</sup>.

Но, разумеется, поэзия Одоевского не была лишена противоречий, вполне естественных в условиях суровой ссылки.

---

<sup>133</sup> «Стихи на переход наш из Читы в Петровский завод», там же, стр. 278.

Среди его стихов встречаются и такие, где мрачное состояние духа берет верх, где поэт проявляет даже склонность к компромиссам. Тогда и тема Сибири окрашивается в его стихах в тона безысходности.

В связи с приездом цесаревича Александра Одоевский написал стихотворение «На приезд наследника в Сибирь», чем он надеялся повлиять на смягчение приговора. Он описал Сибирь как край, где веками слышится «плач изгнания»: «Не край, а мир Ермак завоевал, но той страны страшатся и названья».

Завершением сибирской темы у Одоевского, по-видимому, следует считать популярное стихотворение «Куда несетесь вы, крылатые станицы?», где он размышляет о своем будущем. Вслед за облаками он устремляется мысленно на юг и как бы провидит свою судьбу:

Пора отдать себя и смерти и забвенью!  
Не тем ли, после бурь, нам будет смерть красна,  
Что нас не севера угрюмая сосна,  
А южный кипарис своей покроет тенью?  
И что не мерзлый ров, не снеговой увал  
Нас мирно подарят последним новосельем,  
Но кровью жаркою обрызганный чакал  
Гостей бездомных прах разбросит по ущельям<sup>134</sup>.

Говоря о сибирских мотивах в лирике декабристов, нельзя не упомянуть стихотворение В. Ф. Раевского «Дума». В какой-то мере оно перекликается с бестужевским «Шебутуем»: поэт обращается к водопаду Икаугуну и под шум его, глухой, однообразный, размышляет о своей безрадостной участи. В этом стихотворении поистине «толпа дум» волнует поэта. Его удивляет, зачем Икаугун сменял

Свои прелестные долины  
На дикий лес, громады скал,  
На эти мрачные теснины?  
Зачем оставил дом, детей,  
Привет их, ласковые взоры  
И непритворный смех друзей?  
Зачем принес свой ропот в горы?<sup>135</sup>

Икаугун заставляет поэта вспомнить о безотрадности собственной жизни, которую он должен влачить здесь, вдали от всего, что прежде любил и что теперь утратил навсегда. Оценка многих лет изгнания у Раевского более значительна,

<sup>134</sup> «Куда несетесь вы, крылатые станицы?», там же, стр. 228.

<sup>135</sup> «Дума», там же, стр. 58.

чем у Бестужева: в конце концов, Бестужев пробыл в Сибири всего полтора года, «Дума» же написана в 1840 г., когда за плечами у автора осталось 15 лет сибирской ссылки, да еще три года тюрьмы до 1825 г. (он был арестован за революционную агитацию среди солдат в 1822 г.):

Прошли темничной жизни годы,  
И эти каменные своды  
Во тьме две тысячи ночей  
Легли свинцом в груди моей.  
Текут вперед изгнанья годы,  
Все те же солнце и луна,  
Такая ж осень и весна,  
Все тот же гул от непогоды.  
И та же книга прошлых лет,  
В ней только прибыли страницы,  
В умах все тот же мрак и свет,  
Но в драме жизни—жизни нет,  
Предмет один, другие лица...<sup>136</sup>

Рылеевская традиция проявилась в сатирической поэзии и прозе декабристов. Едкие письма, басни, сатирические статьи распространялись в списках не только между ссыльными, но и среди местного населения («Брага», «Шахматы» П. Бобринцева-Пушкина, статьи А. Тютчева и др.). Поэт В. Давыдов в сатирическом стихотворении «Николосор» уподоблял Николая I жестокому вавилонскому тирану Навуходоносору, стремясь хотя бы словом «истребить царскую фамилию». Не нужно было обладать очень большой проницательностью, чтобы догадаться, в кого были нацелены следующие строки:

Он добродетель страх любил  
И строил ей везде казармы,  
И где б ее ни находил,  
Тотчас производил в жандармы.  
При нем случилось возмущенье,  
Но он явился на коне,  
Провозглашая всепрощенье,  
И слово он свое сдержал...  
Как сохранилось нам в преданьи,  
Лет сорок оряду все прощал,  
Пока все умерли в изгнаньи<sup>137</sup>.

Но не было более смелых и непримиримых выступлений против самодержавия, чем пламенные памфлеты М. С. Лунина — «Письма из Сибири» и его статьи.

<sup>136</sup> Там же, стр. 60.

<sup>137</sup> См. М. Азадовский. Эпиграммы декабриста В. Л. Давыдова. «Изв. об-ва археологии, истории и этнографии при Казанском ун-те», XXXIV, вып. III—IV, 1929, стр. 186—188.

Лунин был глубоко убежден в том, что идеи, которые привели декабристов на каторгу и в ссылку, не утратили своего значения и должны широко пропагандироваться. В письмах сестре С. С. Уваровой он резко критиковал не только отдельных лиц, но и николаевские порядки в целом. По распоряжению Третьего отделения в 1838 г. ему была запрещена переписка на год. Но это не остановило Лунина. В письме Бенкендорфу от 25—27 сентября 1839 г. он просил отменить это запрещение, обещая не допускать «неуместной искренности»<sup>138</sup>, но уже вскоре отправил письмо сестре, в котором дал развернутую картину рабства в России. Он в частности писал:

...«Мы утратили нравственную силу, отличающую человека и составляющую гражданина. Мы не боимся смерти на поле битвы, но не смеем сказать слова в Государственном Совете за справедливость и человечество. Оттого мы лишены светильника рассудительной оппозиции, которая, освещая стези Правительства, способствовала бы исполнению его благотворных намерений»<sup>139</sup>.

В статье «Взгляд на русское тайное общество с 1816 до 1826 года» он одобрял действия этого общества и утверждал, что оно «руководилось мудростью» и было по сердцу народу. Более того, подобно Одоевскому, он свято верил в новое поколение, которое продолжит дело декабристов: «Власть, на все дерзавшая, всего страшится... Желания нового поколения стремятся к сибирским пустыням, где славные изгнанники светят во мраке, которым стараются их затмить. Их жизнь в заточении постепенно свидетельствует об истине их начал... У них отняли все: звание, имущество, здоровье, отечество, свободу; но не могли отнять у них любовь народную... На время могут затмить ум Русских, но никогда их народное чувство»<sup>140</sup>.

В письмах М. С. Лунина нашли отражение некоторые стороны сибирской действительности. Правда, круг его наблюдений был ограничен: Лунин не имел возможности покинуть место своего поселения, жизнь его проходила без каких-либо перемен, и поэтому он рассказывал лишь о тех явлениях, которые имели непосредственное отношение к его существованию в ссылке. Но и в этих тесных рамках Лунин находил пищу для размышлений, и здесь он оставался верен себе. Почти в каждом письме, в каждой строке о Сибири зву-

<sup>138</sup> «Декабрист М. С. Лунин. Сочинения и письма». Пг., 1923, стр. 46.

<sup>139</sup> Там же, стр. 48—49.

<sup>140</sup> Там же, стр. 66.

чал голос гражданина, озабоченного судьбами своей родины, своего народа.

Глубокое впечатление произвела на Лунина встреча с узником, осужденным на смерть: его гнали пешком из Иркутска в Александровский Завод, где и должна была совершиться казнь. Лунин пришел к нему в острог. «Осужденный сидел в заднем каземате, на земле, с кандалами на ногах, прикрытый лишь грязной и изношенной рубахой. У него даже не было соломы для изголовья. Он голодал и обрадовался при виде завтрака, который я принес. Но ему мешали есть и слушать мои слова утешения»<sup>141</sup>.

Этот эпизод вновь вернул Лунина к размышлению о жестокости обращения в Сибири с заключенными, о том, что «роды казни, в употреблении у нас за высшие преступления, отзываются варварством времен прошедших»<sup>142</sup>.

В письме от 30 июля 1838 г. Лунин упоминает о своих домочадцах, в том числе о старике Василиче, бывшем крепостном, который «был проигран в бильбокет, променян на борзую и, наконец, продан с молотка со скотом и разной утварью на ярмарке в Нижнем. Последний барин, в минуту худого расположения, без суда и справок сослал его в Сибирь»<sup>143</sup>.

Лунин готов усмотреть в судьбе этого человека нечто общее со своей собственной участью и отмечает, что они прекрасно понимают друг друга: «В два года, как судьба соединила нас в сибирских пустынях, ничто не нарушало еще взаимного согласия»<sup>144</sup>.

Описания окружающей действительности в письмах Лунина скупы. Он рассказывает сестре, как устроился на поселении, как обрабатывает землю, жалуется на суровость сибирской зимы: «Скоро исполнится четвертый год моего изгнания. Начинаю чувствовать влияние сибирских пустынь: отсутствие образованности и враждебное действие климата»<sup>145</sup>.

Больше всего угнетает этого мужественного и деятельного человека однообразие его жизни, то, что ему некуда приложить свои недюжинные силы. «К полноте бытия моего,— пишет он, — недостает ощущений опасности. Я так часто встречал смерть на охоте, в поединках, в сражениях, в борьбах политических, что опасность стала привычкой, необхо-

<sup>141</sup> Письмо от 1 мая 1838 г., там же, стр. 36.

<sup>142</sup> Там же, стр. 37.

<sup>143</sup> Письмо от 30 июля 1838 г., там же, стр. 41.

<sup>144</sup> Там же.

<sup>145</sup> Письмо от 21 ноября—3 декабря 1839 г., там же, стр. 54.

димостью для развития моих способностей. Здесь нет опасности. В челноке переплываю Ангару; но волны ее спокойны. В лесах встречаю разбойников; они просят подаяния...»<sup>146</sup>

О своих товарищах по несчастью Лунин пишет немного; он готов отвечать за себя, но не желает навлекать какую-либо беду на других. Рассказывая о М. Н. Волконской, он не называет ее по имени. Вместе с тем он не может удержаться от того, чтобы не выразить своего восхищения ею — ее добротой по отношению к бедным, чуткостью в обращении с детьми, ее прекрасным голосом.

С большим сочувствием Лунин относится к ссыльным полякам. Он с готовностью оправдывает их и во всем винит власть, «которая причинила или не умела предупредить» революцию. Судьба этих несчастных служит Лунину основанием для далеко идущего вывода: «Сомнение невольно закрадывается в умы, когда власть предостерегается против слабости и принуждена поддерживать свои начала суровыми мерами»<sup>147</sup>.

Подверженный религиозным настроениям, Лунин пытается возлюбить не только друзей, но и врагов. Однако это слишком противоречит его натуре борца, и невольной горечью отмечены те строки, где он сравнивает людей со своим верным другом — псом Варкой, отдавая явное предпочтение последнему.

Более подробные сведения о Сибири мы находим в письмах И. И. Пущина (см. И. И. Пущин. «Записки о Пушкине. Письма». ГИХЛ, 1956). Человек исключительной доброты, Пущин проявлял постоянную заботу о своих ссыльных товарищах и их семьях, выступал ходатаем за всех обращавшихся к нему с просьбой о помощи. Он был своего рода центром, куда стекались корреспонденции со всей Сибири и откуда разлетались во все концы многочисленные письма, написанные неутомимой рукой этого замечательного человека (до нашего времени их сохранилось около семисот.). Эти письма — ценнейший материал для изучения жизни и быта декабристов в условиях сибирской каторги и ссылки. Таково, например, описание тюрьмы Петровского Завода (письмо А. И. Пущиной от 29 ноября 1830 г.) или трогательное письмо о всеобщей любимице декабристов Александре Григорьевне Муравьевой, рано скончавшейся в Сибири (письмо Н. Долгоруковой

<sup>146</sup> Там же, стр. 55.

<sup>147</sup> Письмо от 5—17 ноября 1838 г., там же, стр. 52.

от 26 декабря 1854 г.). В письмах Пущина содержатся сведения об Иркутске и Туринске, о Ялуторовске и Тобольске, о Восточной и Западной Сибири, о климате и растительности, о ценах на продукты и состоянии сельского хозяйства. Пущин критически судит сибирских чиновников: «народ все пустой, и большею частью с пушком на рыльце; это обстоятельство мешает и им быть с нами, зная, что мы явно против этого общего обычая» (письмо Е. А. Энгельгардту от 26 февраля <12 июля> 1845 г.). Поборник просвещения, он осуждает постановку образования в Сибири и «премудрое министерство просвещения», которое «не тем занимается этих парней, чем бы следовало: им преподают курс уездного училища, который долбится и потом без всякой пользы забывается, между тем, как редкий мальчик умеет хорошо читать и писать при выходе из училища» (письмо Е. А. Энгельгардту от 24 июня 1845 г.).

Пущин размышляет о современном состоянии Сибири и ее будущем. Он видит определенные преимущества ее перед остальной Россией в том, что здесь нет крепостного права. По его мнению, это «такое благо, которое имеет необыкновенно полезное влияние на край и без сомнения подвинет его вперед от России» (письмо Е. А. Энгельгардту от 5 марта 1845 г.). Это письмо — одно из свидетельств глубокой уверенности декабриста в лучшем будущем сибирской окраины. Но это была не просто платоническая вера: Пущин и другие декабристы сделали все, что было в их силах, чтобы помочь приближению этого будущего.

Произведения сыльных декабристов по своему значению выходят далеко за пределы Сибири. Это — явление общерусской культуры. Вместе с тем относительная распространенность их среди передовой сибирской интеллигенции (в частности, «Писем из Сибири» Лунина), их влияние на развитие местной литературы дают основание рассматривать творчество декабристов в неразрывной связи с литературной жизнью Сибири. Без них невозможно представить себе сложный литературный процесс 20—50-х годов XIX в. на востоке России.

В научной литературе широко освещена культурно-просветительская деятельность декабристов, их роль в развитии школьного образования и в применении передовых методов обучения детей. Разносторонне изучены их краеведческие интересы, а также заслуги в исследовании фольклора сибирских народностей.

В свою очередь, и Сибирь оказала благотворное влияние на невольных жителей ее. В условиях ссылки декабристы

имели возможность близко соприкоснуться с жизнью русского народа, о которой они имели весьма смутное представление в период, предшествующий восстанию 1825 г. Они увидели и тех, кто стоял на самых низших ступенях общественной лестницы — представителей народностей Сибири, бедствующих и бесправных. Оказавшись на положении «отверженных», разделив судьбу многих каторжников, они убедились, что «большая часть преступлений была вынуждена порочным устройством нашего общества» (М. Бестужев). И, взглянув на российскую действительность из глубин нерчинских рудников, декабристы сумели постигнуть страшные, непримиримые противоречия современности, смогли осмыслить прошлое, настоящее и будущее России с точки зрения угнетенных.

Исторический опыт, почерпнутый декабристами из поражения восстания и многих лет пребывания в Сибири, заставил лучших из них пересмотреть принципы дворянской революционности, преодолеть свои сословные предрассудки и осознать, что «сила государства составляется из народа» и что именно народ в конечном итоге определяет исход борьбы с социальной несправедливостью.

В Сибири декабристы осуществили многие свои творческие планы, продолжая оставаться верными высокому назначению поэзии — служить делу свободы. При этом их политическая эволюция не могла не сказаться на характере и содержании литературного творчества. Преодолевая античную тематику, высвобождаясь от отвлеченно-романтических образов, они шли к реализму, творили под огромным влиянием народной поэзии, быта и нравов народностей, населяющих Сибирь.

Прожив большую часть жизни в Сибири, декабристы сумели сохранить «гордое терпение», в то время как многие из их родных и знакомых погибли нравственно в условиях николаевского деспотизма. Страдания, перенесенные на каторге, трагическая участь ссыльных закалили декабристов, сплотили их, сделали их героями, коваными из стали.

Труды декабристов — такие, как историко-этнографический очерк о Бурятии Николая Бестужева «Гусиное озеро» (замечательный, помимо всего, сведениями о бурятском фольклоре, а также образцами этого фольклора в записях и переводах автора), очерк о Минусинске А. П. Беляева, автора «Воспоминаний декабриста о пережитом и переживаемом» и другие представляют важные звенья в научном сибиреведении. Острая критика сибирской каторги содержится в воспо-

минаниях Михаила Бестужева «Мои тюрьмы». Высшая администрация Сибири сурово осуждена в работе В. И. Штейнгеля «Сибирские сатрапы». Злоупотребления властей, допущенные при освоении Амура, нашли своего судью в лице Д. И. Завалишина, автора многочисленных корреспонденций в газете «Амур». Приметы сибирской действительности можно найти в записках М. Н. Волконской, Н. И. Лорера, А. М. Муравьева и др.

Имеются многочисленные факты влияния декабристов на зарождающуюся сибирскую журналистику — сначала на рукописные газеты и журналы, затем на «Губернские ведомости» и первую частную газету «Амур». Известно, что декабристы предоставляли в общее пользование свои богатейшие книжные собрания, устраивали любительские спектакли и концерты, участвовали в деятельности кружков местной интеллигенции, непосредственно влияя на формирование мировоззрения многих сибиряков.

Воздействие декабристской поэзии и прозы сказалось на творчестве таких сибирских литераторов, как Н. Бобылев, М. Александров, Д. Давыдов, И. Федоров-Омулевский, Н. Ядринцев, И. Худяков и др. Среди учеников декабристов были художник и писатель М. Знаменский, известные врачи и общественные деятели Н. Белоголовый и С. Боткин, брат последнего автор «Писем об Испании» В. Боткин и др.

Декабристы способствовали формированию в сибирской литературе очерковой прозы, научно-краеведческой поэзии, гражданской публицистики. Они активизировали интерес местных писателей к быту, нравам, фольклору сибирских народностей. Впервые они реалистически отразили сибирский пейзаж и познакомили русскую читающую публику с местным колоритом Сибири. Декабристы укрепляли веру сибиряков в светлое будущее Сибири, в ее экономическое и культурное развитие.

**Ф. И. БАЛЬДАУФ**

Федор Иванович Бальдауф (1800—1839 гг.) — наиболее характерный представитель поэзии романтизма в Сибири. Как и многие другие поэты-сибиряки, он испытал на себе влияние Пушкина и его «южных поэм». Но вместе с тем в некоторых его стихах и особенно в поэме «Авван и Гайро» угадывается вполне самобытное дарование. Лучшие произведения Бальда-

уфа связаны с сибирской действительностью и могут рассматриваться как начало «сибирского мотива в поэзии».

Конечно, и до Бальдауфа были поэты, которые, как мы видели, затрагивали сибирскую тему и в какой-то мере стремились передать краски местной природы и быта. Однако чаще всего авторам не удавалось запечатлеть Сибирь в конкретных художественных очертаниях. Редко вырывались поэты из жестких рамок литературного штампа. Романтическая условность, приблизительность в изображении «страны» характерны и для ряда стихотворений Бальдауфа. Но в отдельных произведениях он сумел преодолеть подражательность и заговорил о Сибири с уверенностью даровитого, своеобразного художника.

По мнению известного сибирского историка и журналиста В. И. Вагина, «общая история русской литературы не будет знать Бальдауфа, но, — добавляет он, — сибирякам нельзя не знать его. За Бальдауфом и за приятелем его Таскиным есть несомненная заслуга. Они едва ли не первые из сибиряков стали в своих произведениях обращаться к своей родине, они не стыдились имени сибиряков и не боялись, как их более известный современник Ершов, описывать сибирскую жизнь и сибирскую природу. И нужно сказать, что именно те из их стихотворений, которые посвящались родине («Нерчинские беглецы» и «Ночь» Таскина, «К бурятке», «Самуйе» и некоторые места в «Авван и Гайро» Бальдауфа), более или менее дышат истинной поэзией. Они не придуманы, не сочинены, а вылились прямо из сердца»<sup>148</sup>.

Значение Бальдауфа для местного литературного движения попытался определить и Н. Ф. Насимович-Чужак<sup>149</sup>. Он выделил Бальдауфа из числа поэтов-романтиков Сибири, считая, что в отличие от других Бальдауф скорее поэт, чем стихотворец<sup>150</sup>. И, несмотря на подражание поэта Пушкину и Марлинскому, исследователь готов был увидеть в Бальдауфе отца сибирской поэзии.

Для нас очевидно, что влияние Пушкина на Бальдауфа было иным, чем, например, на Петрова: Бальдауф воспринял от великого поэта не только романтические образы и сюжет-

---

<sup>148</sup> В. (В. И. Вагин). Федор Иванович Бальдауф (Критико-биографический очерк). «Сибирь», № 35, 31 августа 1886 г.

<sup>149</sup> Н. Чужак. От Бальдауфа до наших дней. «Сибирский мотив в поэзии». Чита, 1921, стр. 61—62.

<sup>150</sup> Там же, стр. 62. В данном случае Н. Чужак опровергал, по-видимому, мнение Ф. В. Волховского (Ивана Брута), выраженное во вступительной статье к сб. «Отголоски Сибири». Томск, 1889, стр. 1.

ные кодлизии, но открыл для себя в Пушкине самое главное— святое недовольство действительностью. Не потому ли к стихам Бальдауфа проявляли определенный интерес Н. Г. Чернышевский и М. И. Михайлов?<sup>151</sup>

Творчество Бальдауфа не получило при его жизни широкого признания. Правда, многие стихи его, а также поэма «Авван и Гайро» пользовались успехом, распространялись в списках, выучивались наизусть. Но, кроме ранних произведений, опубликованных в основном на страницах петербургского журнала «Благонамеренный», поэту так и не удалось увидеть в печати ни одного из своих сочинений. После смерти Бальдауфа его стихи и поэма не раз помещались в сибирских рукописных журналах 40—60-х годов, однако напечатаны они были только в 70-х годах в сборнике «Воспоминания бывших питомцев Горного института».<sup>152</sup> В дальнейшем его произведения появлялись в сибирских изданиях, но многое из написанного Бальдауфом затерялось, так и не увидев света,— судьба, к сожалению, типичная для сибирского литератора прошлого!

До революции творчество Бальдауфа почти не изучалось. Первые биографические сведения о поэте изложил в своем письме директору Горного института академику Н. И. Кокшарову друг и сослуживец Бальдауфа А. Н. Таскин<sup>153</sup>. Эти материалы, не всегда точные<sup>154</sup>, долгое время служили единственным источником для изучения жизненного пути поэта. Несколько страниц посвятил Бальдауфу Н. М. Ядринцев в статье «Судьба сибирской поэзии и старинные поэты Сибири»<sup>155</sup>. Написал о нем очерк В. И. Вагин. Появлялись небольшие статьи в «Забайкальской нови»<sup>156</sup>, в «Утре Сибири»<sup>157</sup>. Но это почти и все.

Более пристальное внимание к Бальдауфу проявили советские исследователи, особенно в послевоенные годы. Их заинтересовала драматическая участь поэта, не признанного при жизни и, по существу, забытого после смерти, поэта дарови-

---

<sup>151</sup> См. об этом в кн. Е. Д. Петряева «Исследователи и литераторы старого Забайкалья» (Чита, 1954, стр. 142).

<sup>152</sup> «Воспоминания бывших питомцев Горного института». СПб., 1873.

<sup>153</sup> Там же, стр. 1—84.

<sup>154</sup> Е. Д. Петряев отмечает, в частности, неточную дату смерти (1842 г.), приведенную Таскиным (см. указ. соч., стр. 141).

<sup>155</sup> Сибиряк (Н. М. Ядринцев). Судьба сибирской поэзии и старинные поэты Сибири. «Литературный сборник», изд. редакции «Восточного обозрения». СПб., 1885, стр. 407—424.

<sup>156</sup> «Забайкальская новь», Чита, 18 декабря 1909 г.

<sup>157</sup> «Утро Сибири», Чита, № 46, 22 декабря 1909 г.

того и прогрессивного. Вслед за Н. Ф. Насимовичем-Чужаком к поэзии Бальдауфа обратился М. К. Азадовский и в статье «Бурятия в русской лирике»<sup>158</sup> впервые подверг довольно обстоятельному анализу поэму «Авван и Гайро», а также несколько стихотворений. Позднее в очерке «Литература сибирская»<sup>159</sup> и в книге «Очерки литературы и культуры Сибири»<sup>160</sup> исследователь кратко охарактеризовал творческую деятельность Бальдауфа и постарался определить место, которое занимал нерчинский поэт в ряду современников. В конце 30-х годов солидную статью посвятил Бальдауфу известный сибирский драматург и исследователь культуры П. Г. Маляревский<sup>161</sup>. Определенное место в «Сибирском литературном календаре» отвел поэту Б. И. Жеребцов<sup>162</sup>. Обстоятельно проанализировала его произведения (и что особенно ценно — раннюю лирику) А. А. Богданова<sup>163</sup>. Наконец, с большим и серьезным исследованием жизненного и творческого пути Бальдауфа выступил Е. Д. Петряев<sup>164</sup>.

В настоящее время мы уже не можем присоединиться к утверждению Маляревского, что сведения о жизни Бальдауфа крайне скудны: обнаружено немало фактов биографии поэта, которые позволяют нам судить с достаточной определенностью и о временах учения Бальдауфа в Петербурге в Горном кадетском корпусе, и о сибирском периоде его жизни.

\* \* \*

Федор Иванович Бальдауф родился в 1800 г. на Благодатском руднике Нерчинского горного округа<sup>165</sup>. Его отец был горным инженером. Первоначальное образование будущий по-

<sup>158</sup> М. К. Азадовский. Бурятия в русской лирике. «Жизнь Бурятии», 1925, № 1—2, стр. 12—16.

<sup>159</sup> М. К. Азадовский. Литература сибирская. (Дореволюционный период). ССЭ, т. 3, стб. 165.

<sup>160</sup> М. К. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири. Иркутск, 1947.

<sup>161</sup> П. Г. Маляревский. Ф. И. Бальдауф. Альманах «Новая Сибирь», 1938, № 1, стр. 148—161.

<sup>162</sup> Б. Жеребцов. Сибирский литературный календарь. Иркутск, 1940, стр. 45—47.

<sup>163</sup> А. А. Богданова. Сибирские поэты-романтики начала XIX в., стр. 131—141.

<sup>164</sup> Е. Д. Петряев. Указ. соч., стр. 117—145.

<sup>165</sup> Е. Д. Петряев. Указ. соч., стр. 117. У Маляревского сказано, что Бальдауф родился в Нерчинском горном заводе (см. П. Г. Маляревский. Указ. соч., стр. 148).

эт получил дома, а затем в 1813 г. вместе со старшим братом Александром был отправлен в Петербург, где оба поступили в Горный кадетский корпус.

Учиться приходилось в условиях суровой дисциплины и строжайшего распорядка дня. За малейшую провинность или нерадение наказывали розгами. «От офицера до директора— все имели право сечь кадет, — вспоминает воспитанник корпуса Ардолион Иванов. — ...Оставляли без завтрака, без обеда или ужина, лишали последнего блюда, ставили во время обеда к стене, ставили в угол, на колени и даже на голые; надевали серую куртку и дурацкий колпак и выставляли в таком виде на общее посмеяние в столовой зале. Не увольняли на праздники домой. Нередко случалось, что за шум в классе, во время отсутствия учителя, запирали всех без исключения в том классе на всю ночь»<sup>166</sup>. Кроме того, существовал карцер и позорный стол для тех, кто провинился, в столовой. Среди преподавателей было немало людей ограниченных, невежественных и жестоких.

Но вместе с тем пребывание в корпусе имело для Бальдауфа и свои светлые стороны. В числе воспитателей и педагогов встречались личности незаурядные, оставившие заметный след в сознании своих воспитанников. Математику у них великолепно преподавал К. А. Шелейховский, зоологию и ботанику — Я. Г. Зембицкий. Среди дежурных офицеров был А. И. Ганнибал, родственник Пушкина, всеобщий любимец кадетов. В корпусе уделялось большое внимание танцам, музыке, пению, сценическому искусству. «Дежурный офицер Федот Федотович Шубин... заведывал корпусным театром и сам участвовал в представлениях вместе с кадетами, так же как и другой офицер Илья Васильевич Копылов, который впоследствии по любви к драматическому искусству поступил на сцену Императорского московского театра под именем Орлова и вскоре приобрел на этом поприще любовь публики и громкую известность»<sup>167</sup>.

Театральные представления устраивались в корпусе несколько раз в год. Не случайно из среды воспитанников Горного корпуса вышли такие известные русские артисты, как Каратыгин и Самойлов.

Но особенно велико было пристрастие кадетов к чтению. По словам А. Иванова, они «тогда перечитали великое множество нежных, чувствительных, вздорных и страшных рома-

<sup>166</sup> «Воспоминания бывших питомцев Горного института», стр. 138.

<sup>167</sup> Там же, стр. 121.

нов и повестей...»<sup>168</sup>. Чтение, естественно, побуждало многих к сочинительству, тем более, что начальство корпуса поощряло литературные опыты. На выпускных экзаменах нередко бывали Н. М. Карамзин, И. А. Крылов, В. А. Жуковский, и молодые поэты в их присутствии читали свои стихи. Федор Бальдауф считался корпусным поэтом (правда, с его стихами выступали другие, так как он страдал с детства хромотой).

Пробовал свои силы в поэзии и старший брат Бальдауфа, Александр. Стихи его «были по преимуществу burlesques. Он описывал, например, не без таланта сибирскую вечерку и вообще, так сказать, шалил в стихах»<sup>169</sup>. Александр издавал рукописный журнал «Пилигрим», в котором помещал свои опыты и Федор.

Большую роль в развитии поэтических наклонностей Бальдауфа сыграл преподаватель русской словесности Андрей Афанасьевич Никитин, «превосходный в свое время наставник»<sup>170</sup>. Поскольку он сам был довольно известным литератором, одним из учредителей «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» и секретарем «Вольного общества любителей российской словесности», кадетам удавалось бывать на заседаниях этих обществ и приобщаться к важнейшим вопросам общественной жизни и литературы тех лет. На одном из заседаний осенью 1818 г. Бальдауф видел Пушкина, а затем познакомился с А. А. Бестужевым, В. К. Кюхельбекером и Ф. Н. Глинкой — будущими декабристами. Здесь молодой поэт услышал немало вольнолюбивых стихотворений, в том числе сатиру Рылеева «К временщику». Думается, что именно здесь следует искать корни тех симпатий, которые питал Бальдауф к представителям декабристского движения. Для нас очевидно также, что этому общению с передовыми людьми Бальдауф обязан и прогрессивно-романтической направленностью своего творчества. Не случайно в журнале «Соревнователь просвещения», являвшемся главной трибуной литературных сил декабристов, Бальдауф опубликовал свою первую повесть «Кавиту и Тунгильби», а затем стихотворение «Певец»<sup>171</sup>.

Долгое время повесть «Кавиту и Тунгильби» ошибочно приписывалась Ф. Булгарину<sup>172</sup>, и только Е. Д. Петряев уста-

<sup>168</sup> Там же, стр. 146.

<sup>169</sup> Там же, стр. 5.

<sup>170</sup> Там же, стр. 122.

<sup>171</sup> «Соревнователь просвещения», 1819, ч. 6, № 5, стр. 189—198; № 6, стр. 314—315.

<sup>172</sup> См., например, ССЭ, т. 3, стб. 164.

новил, что инициалы, которыми она подписана (Ф. Б...), принадлежат Бальдауфу<sup>173</sup>.

Вопреки отрицательному мнению об этой повести, которая расценивалась как произведение сентиментальное и далекое от реальной действительности<sup>114</sup>, Е. Д. Петряев увидел в нем немало достоинств. Исследователь отмечал, что, хотя сюжетом повести была традиционная история неудачной любви, автор пытался найти новые пути в трактовке этой темы. Поэт изображал по впечатлениям детства малознакомую читателям сибирскую среду и необычных для литературы героев — тунгусов Даурии. Сюжет поэмы не лишен социального оттенка: бедняк Кавиту любит богатую тунгуску Тунгильби и любим ею, но соперник по стрельбе из лука, брат Тунгильби, убивает Кавиту. Тунгильби оплакивает своего возлюбленного на его могиле. Он похоронен в известной только забайкальцам долине Моргуцех, у «струй Урулюнгуя» (притока р. Аргуни)<sup>175</sup>.

Это произведение еще не является значительным ни по своему объему, ни по масштабам авторского замысла, как и другая «повесть» того же периода — «Горный дух»<sup>176</sup>. Поэт пробует свои силы в крупных жанрах, но его дарование еще не созрело для создания таковых. Возможно поэтому он пишет лишь отрывок из поэмы «Дунай»; в отрывке остается и сатирическая комедия «Хитрый жених».

В ранние годы Бальдауф раскрывается прежде всего как поэт-лирик. Он публикует более десяти стихотворений и несколько эпиграмм. Все эти произведения выдержаны в романтическом духе, овеяны в большинстве своем настроениями меланхолии. Судя по всему, замечает А. А. Богданова, поэт подражает в своих стихотворениях «Конал» и «Песнь Уллина над гробом Конала»<sup>177</sup> легендарному шотландскому барду Оссиану: «суровая северная природа, сильные и цельные в своей страсти натуры, трагическая развязка их любви, меланхолический, грустный тон—вот что характеризует стихи Бальдауфа»<sup>178</sup>.

<sup>173</sup> Е. Д. Петряев. Указ. соч., стр. 120.

<sup>174</sup> В ССЭ, например, сказано: «Конечно, ни о каком-либо сибирском колорите или отображении страны здесь нет и речи: тунгусы—просто отвлеченное именованье, за которым не скрывалось никаких реальных предствлений».

<sup>175</sup> Е. Д. Петряев. Указ. соч., стр. 120.

<sup>176</sup> «Благонамеренный», 1821, июль, № XIII, стр. 18—32.

<sup>177</sup> Там же, 1820, ч. 9, № 4, стр. 265—269; ч. 12, № 20, стр. 107—109.

<sup>178</sup> А. А. Богданова. Сибирские поэты-романтики начала XIX в., стр. 134.

Но как ни подражательны нижеследующие строки из «Песни Уллина над гробом Конала», суровый колорит стихотворения, по-видимому, навеян не только литературными образцами, но и воспоминаниями о родном Забайкалье:

Спустились на горы и глухо ревут  
Свирепые бури в ущелиях дальних,  
И мутные воды лениво текут.  
Там древо на холме стоит одиноко,  
Где спит непробудно могучий Конал,  
И ветер, подъявля прах серый высоко,  
Иссохшими листьями гроб обметал...<sup>179</sup>

В этом стихотворении, конечно, торжествует романтическая отвлеченность и условность. Конкретные же очертания Сибири появляются в стихах Бальдауфа, когда он обращается к непосредственному описанию Забайкалья. Таковы его «Элегия» и «Вечер на берегу Байкала»<sup>180</sup>.

«Элегия» пронизана грустным воспоминанием поэта о родине. Это чувство подчеркивается описанием унылого осеннего пейзажа. Но стихотворение — не просто исповедь души. Это — и рассказ о далекой Сибири, о том удивительном, что можно увидеть в этом крае. Поэт описывает камлание шамана — «колдуна» и прорицателя, танцующего вокруг костра в мрачном, дремучем лесу:

Но вот колдун опять предстал,  
И ужас на челе суровом;  
Он в страхе иступленья новом,  
Как лист от бури, задрожал;  
Уста чуть издавали звуки,  
К востоку простирая руки,  
Духов незримых он сзывал...<sup>181</sup>

Хотя шаман изображен с романтическим преувеличением, поэту нельзя отказать в точности описания. Здесь можно говорить о появлении той этнографической струи, которая получит наиболее полное выражение в лучших стихах Бальдауфа и в поэме «Авван и Гайро».

Элегия «Вечер на берегу Байкала» — наиболее значительное из стихотворений петербургского периода. Она написана уверенной рукой поэта, осознавшего уже некоторые наиболее важные мотивы своего творчества. Сильнее всего здесь звучит тема сибирской природы, — тема, неотделимая от настроений тоски поэта по родине, от желания жить и умереть в Сибири:

<sup>179</sup> «Благонамеренный», 1820, ч. 12, № 20, стр. 107—109.

<sup>180</sup> Там же, ч. 13, № 3, стр. 130—134; 1821, ч. 15, № 16, стр. 205—209.

<sup>181</sup> Там же, 1820, ч. 13, № 3, стр. 132—133.

Но если вдалеке от кровных и друзей  
Я кончу век—реви, угрюмая пучина!  
Пусть будет дно твое могилою моей:  
Мне усладительней на родине кончина!<sup>182</sup>

Эти заключительные строки элегии дерекликаются с началом стихотворения и как бы обрамляют его единым настроением:

Я не забыл мечты,  
Которые душа моя питала,  
Средь грозных ужасов и дикой красоты  
На берегах угрюмого Байкала;  
Я живо помню их — оне  
Везде унылого певца сопровождают  
И в отдаленной стороне  
Минуты скорби окрыляют<sup>183</sup>.

Описывая Байкал и его окрестности, поэт стремится запечатлеть то, что запало в его сознание еще с младенческих лет и что теперь ему и больно и отрадно припоминать:

Был вечер—и кругом по дремлющим скалам  
Ночные тени расстилались;  
И небо и берега и одинокий храм  
В пучине зыбкой колебались;  
Порой на сумраке темнеющих небес,  
В туманах кросясь, лоявится ветрило...  
Я думал: рано ты, волшебный сон, исчез  
И рано, сердце, ты заныло!<sup>184</sup>

О чем бы ни размышлял поэт — о своей ли «угрюмой судьбе», о том ли, что «невозвратно потерял младенчества невидимые годы», — мысль его постоянно обращается к Байкалу, на берегах которого он когда-то был счастлив и где, как ему кажется, он мог бы вновь обрести душевный покой.

Но содержание элегии не сводится к лирическому раздумью о самом себе. Как поэт-романтик Бальдауф склонен к размышлению о непрочности земного бытия, о всесиили времени, которое беспощадно не только к отдельным людям, но и к целым народам. Эта общая для романтиков мысль конкретизируется в стихотворении: поэт размышляет о «гибельной судьбе сибирских ханов», уделом которых стало забвение:

---

<sup>182</sup> Там же, 1821, ч. 15, № 16, стр. 208—209.

<sup>183</sup> Там же, стр. 205.

<sup>184</sup> Там же, стр. 205—206.

Где исчезавшие с веками племена?  
Дела их смыла кровь с листов бытописанья.  
Нам сохранились одни их имена  
В рассказах темного преданья.  
Здесь над мопилами народов и царей  
Красноречивей глас забвенья:  
Где тучные поля стенали от коней,  
Там все уделом запустенья!<sup>185</sup>

Следует отметить, что этот мотив у Бальдауфа неожиданно приобретает социальный смысл: от раздумий о вечности, равнодушной к судьбам некогда шумных и воинственных народов, поэт обращается к современности, к сильным мира сего, которые могут почерпнуть для себя поучительный урок на примере обманутого тщеславия многих и многих властителей прошлого:

Смотрите, сильные! Здесь под землей лежит  
В развалинах обитель властелина;  
Об латы витязя со скрежежом звучит  
Убогий плуг поселянина!.  
Что вы оставите от славы и побед?  
Горсть праха под холмом пустыни одичалой!  
И никогда не вспомянет свет  
Покинутых молвой усталой..<sup>186</sup>

Прав Е. Д. Петряев, говоря, что «элегия отчетливо обнаруживала влияние на автора мотивов гражданской поэзии, столь характерных вообще для творчества литераторов-декабристов»<sup>187</sup>.

Уже в элегии «Вечер на берегу Байкала» можно проследить влияние Пушкина: оно сказалось и на общем настроении стихотворения, и на его форме. Некоторые строки перекликались с элегией Пушкина «Погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман...». Есть здесь даже прямые реминисценции: «Шумы, шуми, послушное ветрило» — у Пушкина, «Шумы, шуми, Байкал» — у Бальдауфа, «угрюмый океан» — «угрюмая пучина» и т. д.<sup>188</sup>

При всей элегичности большинства ранних стихотворений Бальдауфа его поэтическая муза не была лишена энергии, страстности, а иногда и гражданских мотивов. В отрывке из поэмы «Дунай» поэт откликнулся на борьбу греков против

<sup>185</sup> Там же. стр. 207.

<sup>186</sup> Там же.

<sup>187</sup> Е. Д. Петряев. Указ. соч.; стр. 122.

<sup>188</sup> А. А. Богданова. Сибирские поэты-романтики начала XIX в., стр. 136.

турецкого господства, и не случайно, конечно, именно этот отрывок читался А. А. Бестужевым на одном из заседаний «Вольного общества любителей российской словесности» в присутствии К. Рылеева, Ф. Глинки и др.<sup>189</sup> А. Бестужеву поэт посвятил свое стихотворение «Конал» — в данном случае это важно как выражение симпатии Бальдауфа к будущему декабристу. К нему же поэт обращался в одном из стихотворений<sup>190</sup> со словами признательности за ту поддержку, которую Бестужев оказывал ему, когда на Бальдауфа обрушилось несчастье: осенью 1819 г. от руки каторжника погиб в Забайкалье его отец.

Духовная близость молодого Бальдауфа и его петербургских друзей проявилась и в послании поэта, написанном незадолго до отъезда из Петербурга:

Я воспою героев чести,  
Достойных славы россиян,  
И ужасы восточных стран  
В кровавой, неизбежной мести,  
Я возведу о прошлых днях,  
Когда на диких племенах  
Впервые цепи зазвучали  
И дети вольности в слезах  
Свои оковы лобызали!..<sup>191</sup>

Таковы были творческие намерения Бальдауфа, навеянные, по-видимому, теми вольнолюбивыми стихами, которые часто звучали в кругу передовых петербургских поэтов-романтиков.

По окончании корпуса в 1823 г. братья Бальдауфы должны были покинуть Петербург и отправиться по месту службы — в Нерчинский горный округ.

С тяжелым чувством покидал поэт столицу: он уже понимал, что его жизнь неотделима от литературы, между тем в Сибири его ожидала суровая служба. Бальдауф вполне реально мог представить себе, на что он был обречен: отсутствие литературной среды, невозможность печататься. Но действительность оказалась мрачнее всех его предположений.

В Нерчинском Заводе Бальдауфа определили преподавателем горного училища. И хотя эти обязанности он выполнял

---

<sup>189</sup> Отрывок этот читался также вместе с «Бахчисарайским фонтаном» Пушкина на заседании Общества любителей словесности, наук и художеств уже после отъезда Бальдауфа из Петербурга в феврале 1824 г.

<sup>190</sup> См. «Благонамеренный», 1820, № IV, стр. 265—269.

<sup>191</sup> «Благонамеренный», 1823, ч. 23, № 117, стр. 335—337.

с большой добросовестностью, начальник Нерчинских Заводов Буришев и другие представители местной администрации относились к Бальдауфу крайне недоброжелательно. Начальство возмущала независимость суждений Бальдауфа, его нежелание искать благосклонности со стороны сильных мира сего. В результате его не только не поощряли по службе, но всячески теснили. Обвиненный в дурном влиянии на юношество, он был определен секретарем в военно-судную комиссию.

Неприятности по службе, незначительный заработок, смерть брата Александра, а затем двух сестер от чахотки действовали крайне удручающе на впечатлительного и незащищенного от житейских ударов поэта. К этому следует добавить обвинение Бальдауфа в близких отношениях со ссыльными декабристами, в результате чего он был выслан из Нерчинского Завода и назначен горным надзирателем при отдаленной Шилкинской дистанции. Там скончалась его мать.

По возвращении через два года в Нерчинский Завод Бальдауф снова занялся преподавательской работой, но одновременно должен был выполнять обременительные обязанности секретаря при горном совете. Нужда по-прежнему преследовала его. Начальство следило за каждым его шагом. Друзей было немного, да и тех он постепенно растерял. Одиночество становилось для него не только привычным, но уже и необходимым: люди, окружавшие его, не шли в своих интересах дальше выпивки и преферанса и меньше всего могли составить для него общество, в котором он так нуждался. Со временем изменился и его характер. Бальдауф сделался замкнутым, упрямым, нелюдимым, пристрастился к вину.

В письме к Е. Г. Чебаевскому, инспектору Нерчинско-Заводского горного училища, он откровенно говорил об этих переменах, происшедших в нем, и о причинах, которыми это было вызвано:

«Если б вы знали, сколько печалей, сколько несправедливостей перенес я в жизни! Первые начали следить меня в тихом убежище Корпуса..., они погнались за мною и на мою родину; они изменили мой характер, от природы веселый... Несправедливость!.. кто не испытал ее?.. Я почти привык к ней: мне теперь кажутся только смешными те люди, которые ее делают. Однако ж бывали минуты, в которые чувство несправедливости глубоко проникало в мое сердце — и эти минуты для меня губительны: тут страждет поведение...»<sup>192</sup>.

---

<sup>192</sup> «Воспоминания бывших питомцев Горного института», стр. 77.

Письмо заканчивалось словами: «Горе человеку, у которого стараются видеть только одну худую сторону!»<sup>193</sup>.

С большим трудом Бальдауф удалось добиться разрешения на поездку в Петербург: в качестве офицера он должен был сопровождать заводской караван с серебром.

«Ни лютые морозы, ни скромная одежда, ни мизерный запас денег не удержали Бальдауфа от поездки. Возвращаться он, видимо, не собирался, т. к. все свои книги и рукописи подарил ближайшим заводским знакомым и соседям (Н. В. Скрыпину, И. Е. Сизых, А. Белокопытову, А. Бопре и др.)»<sup>194</sup>.

Но попасть в Петербург ему так и не пришлось: по пути, в Екатеринбурге, он скончался.

Бальдауф ушел из жизни, не достигнув 40 лет. Он был еще полон творческих сил и, как знать, может быть с прибытием в Петербург, с возвращением в благоприятную творческую среду он смог бы воспрянуть духом и в полной мере развернуться как поэт. Но этого не случилось. Сибирская действительность оказалась губительной для него, творческие усилия поэта не нашли достойного отзвука, его талант так и не знал расцвета.

Но это не значит, что Бальдауф был полностью сломлен. В упомянутом письме к Чебаевскому он говорит о себе: «Я решителен, но, признаюсь, не во всех отношениях... Однако ж, что-либо твердо предпринятое я никогда не оставлю, пока совершенно не удостоверюсь в невозможности достигнуть цели...»<sup>195</sup>. Эта решительность и настойчивость позволили Бальдауфу противостоять воздействию неблагоприятной среды и достигнуть определенных успехов на поприще поэта.

Прежде всего, Бальдауф сумел найти для себя близких людей в Нерчинском Заводе — особенно в первые годы пребывания здесь. Он сошелся с Н. Ф. Фришем, членом торного совета А. И. Кулибиным, преподавателем горного училища А. Н. Таскиным<sup>196</sup>. Все они почти одновременно окончили Горный корпус, и воспоминания о нем, а также занятия поэзией их объединяли. В 1832—1833 гг. Бальдауф сблизился с купцом Афанасием Белокопытовым, который лично знал многих декабристов, так как своей дом в Чите он сдавал их женам под жилье. Близкими поэту людьми стали братья Кандин-

<sup>193</sup> Там же, стр. 78.

<sup>194</sup> Е. Д. Петряев. Указ. соч., стр. 140.

<sup>195</sup> «Воспоминания бывших питомцев Горного института», стр. 77.

<sup>196</sup> Впоследствии Таскин сделал блестящую карьеру по службе, став генералом и управляющим заводом.

ские — Николай, Хрисанф и Христофор, дом которых представлял собой центр культурной жизни Черчинского Завода. В этом доме бывали даже политические ссыльные — поляки, состоявшие негласно воспитателями детей у Кандинских<sup>197</sup>.

Именно в этом доме Бальдауф познакомился с ссыльным поляком доктором А. Бопре, ставшим одним из доброжелательных и строгих ценителей поэзии Бальдауфа. А незадолго до отъезда из Сибири поэт сошелся с хирургом М. А. Дохтуровым, который, кстати, содействовал его поездке в Петербург<sup>198</sup>.

Таков был круг друзей поэта, который, однако, со временем распался: одни уехали, с другими (Кандинскими) пришлось расстаться из соображений принципиальных (эти люди по очень высоким ценам торговали хлебом в неурожайный год). И тем не менее друзья во многом содействовали творческой активности Бальдауфа. Они снабжали поэта свежими журналами и новинками литературы. Они не раз слушали и обсуждали его стихи на вечерах в доме Кандинских и, несомненно, своим поклонением поддерживали в Бальдауфе угасавшую с годами веру в свои силы.

Вполне закономерно, что в творчестве Бальдауфа сибирского периода значительное место занимает жанр «дружеских посланий». Эти стихотворения отличаются доверительным тоном, откровенностью, простотой, иногда необработанностью стиха: поэт явно не рассчитывает на иных читателей, кроме тех, к кому обращается, и потому не всегда заботится о совершенстве формы. По той же причине в посланиях нередко упоминаются подробности, понятные лишь самому корреспонденту.

Некоторые из посланий написаны в шутовском тоне, в них встречается и дружеская насмешка, и издевка в свой собственный адрес. Так, одно из ранних посланий Александру Ивановичу Кулибину (относящееся еще ко временам пребывания в корпусе) начинается с упрека в том, что друг, поглощенный любовью к невесте, забыл о вдохновенье и забросил свою поэтическую лиру. Бальдауф ставит ему в пример самого себя, — у него «любовь была началом первых песнопений». А в следующих строках поэт подшучивает и над собой, и над своим другом Фришем, рассказывая о местных делах поэтических, которые весьма не блестящи («окудеет наш Парнас»).

Это послание — одно из немногих у Бальдауфа, где преобладает бодрая интонация. Еще был жив его брат («Доволь-

<sup>197</sup> Е. Д. Петряев. Указ. соч., стр. 131.

<sup>198</sup> Там же, стр. 132, 140.

но, кончу, брат добавит, что я за рифмой упустил»); отболело сердце первой несчастной любовью; Бальдауф воспринял душой, и в его сознании созревали новые поэтические замыслы:

Но что ж скажу я о себе?  
Благодарение судьбе,  
Все злое в бездне потонуло;  
Свежее мысль, душа полней,  
Давно, давно забыл о ней —  
И сердце будто отдохнуло!  
В часы докучливых забот,  
Всегда желаемой отлучки,  
Мне дева-муза строит ручки,  
Шутя про витязя поет,  
Который все громит и давит,  
Венчая славою свой род,  
Меня ж, быть может, обесславит...<sup>199</sup>

Однако жизнь не оправдывала его надежд, замыслы оказывались неосуществленными, и тема оскудевания местного Парнаса, теперь уже сибирского, стала в его посланиях вполне серьезной. Упрекая Кулибина в том, что тот слишком мало времени и сил отдавал «вдохновению», поэт, по существу, имел в виду и самого себя:

Ты изменил, любимец Аполлона,  
Восторгам пламенным бессмертных Пиерид,  
Но и вдали от рощей Геликона  
В тебе огонь поэзии горит!  
Заброшена задумчивая лира,  
На ней лежит маркшейдерский прибор.  
Но часто твой ученый взор  
Стремится в мрак мечтательного мира...  
Так не совсем еще ты охладел к стихам!  
Хоть ты молчишь, но ты поэт душою —  
И верен ты пленительным мечтам  
И на горе и под горою!<sup>200</sup>

Бальдауф был не только «поэт душою» — вопреки обстоятельствам, он продолжал писать, следил за литературными новинками, обращался к друзьям с просьбой присылать ему книги и свежие журналы (в письме Кулибину: «Нельзя ль теперь мне одолжить листов Пчелы или Телеграфа?..»). Очень важно при этом отметить, что особенную симпатию он питал к «Московскому телеграфу» Н. Полевого — самому передовому журналу тех лет. Поэт ценил в нем правдивость, смелость, научность. «Телеграф» представлял в его глазах разительный

<sup>199</sup> «Воспоминания бывших питомцев Горного института», стр. 26.

<sup>200</sup> «Новая Сибирь», 1938, № 1, стр. 150.

контраст тому «полупросвещенью», глупости, самомнению невежд, которые царили в окружающей его жизни:

Журнал порядочный, конечно,  
Дай бог, чтоб издавался вечно —  
Затем, что он и смел, и прав..  
Как жаль, что мы не платим штраф  
За враки, глупое суждение,  
За наше полупросвещенье,  
За гордость и упругий нрав!<sup>201</sup>

Сарказм, звучащий в этом стихотворении, характерен для некоторых произведений Бальдауфа. Еще в Горном корпусе он, как уже упоминалось, писал эпиграммы. В Сибири он этого жанра не оставил. Здесь, например, была написана басня «Воробей и мышь», в которой высмеивались люди, привыкшие пользоваться чужим трудом<sup>202</sup>.

Но Бальдауфу была присуща не только жесткая ирония — он охотно пользовался и средствами юмора. А. Таскин в своих воспоминаниях рассказывает о том, как по просьбе Н. Х. Кандинского Бальдауф тут же на страницах, вырванных из гробсбуха, написал «Изъяснение в любви Кандинского»:

Итог сердечного блаженства,  
Амбар Макарьевских сластей,  
Аршин любви и совершенства,  
О, ярмарка души моей!  
Напрасно в лавке, на базаре  
Хочу рассеять грусть мою,  
Напрасно пряники жую, —  
Во всяком зрю тебя товаре..<sup>203</sup>

«Многие помнят, конечно, — замечает Таскин, — что в конце двадцатых годов ходило по рукам чемало стихотворений в этом роде. Я помню, что было изъяснение в любви портного, приказного, моряка и проч. Вот почему и Бальдауфу вздумалось удовлетворить просьбу Кандинского шуткою в такой форме»<sup>204</sup>.

Конечно, наивный юмор этого стихотворения — не лучшее, что вышло из-под пера Бальдауфа, но нередко шутка и ирония приобретают у него довольно сложный характер.

Дело в том, что Бальдауф был очень щепетилен: крайне нуждаясь в дружеской поддержке, он в то же время боялся быть навязчивым и старался даже перед близкими людьми

<sup>201</sup> «Воспоминания бывших питомцев Горного института», стр. 28.

<sup>202</sup> Там же, стр. 82—83.

<sup>203</sup> Там же, стр. 67.

<sup>204</sup> Там же, стр. 68.

скрывать свои истинные настроения с помощью легкой шутки. Это ему не всегда удавалось. И случалось так, что послание, начатое в бодрых тонах, неожиданно завершалось грустной интонацией:

Благодарю покорно вас  
За Вальтера. Скажу без лести,  
Вы много делаете чести,  
Не отказавши мне ни раз,  
Мне очень весело и мило,  
Что ваше сердце не забыло  
Анахорета-рифмача.  
Он, жизнь скудельную влача,  
Еще порой цветет душою,  
Любовью ближних и друзей  
И в благодарности своей  
Дарит их чистой слезою<sup>205</sup>.

А иногда бывают у поэта такие минуты, когда он уже не может шутить, и тогда боль сквозит в каждой строке:

Благодарю за Пуритан!  
Меня вы много одолжили —  
И сердцу сладостный обман  
Хотя на время оживили...  
Да наградит за то вас Бог!  
Борясь с судьбой, я изнемог,  
Но вы меня не позабыли.

(А. И. Кулибину) <sup>206</sup>

Иначе обстоит дело, когда поэт обращается к лицам, от которых он так или иначе зависит по службе. В условиях сибирской провинции власть имущие могли беспрепятственно распоряжаться судьбой своих подчиненных. И как ни был горд поэт, как ни чурался какого бы то ни было искательства, ему приходилось считаться с обстоятельствами и, по крайней мере, писать благодарственные письма тем, кто ему покровительствовал. Таковы его послания Е. Г. Чебаевскому.

В них поэт, если и позволяет легкую, чуть приметную шутку, то только в собственной адрес (о судьбе своей он говорит: «Ах! Строгая старушка эта так зла на рифмача-поэта, что рада бы соннать со света!»).

В остальном же поэт строго почтителен, серьезен, дипломатичен («Вы добродушны — это знаю и потому не начинаю просить о матушке своей...»). Любопытно, что даже в самом важном для Бальдауфа письме — прошении на имя директора Горного департамента генерала Е. П. Ковалевского, он говорит о себе в шутливом тоне:

<sup>205</sup> Там же, стр. 27.

<sup>206</sup> Там же.

Вот пятнадцать лет служу  
Я в одном и том же чине,  
Но об этом не тужу.  
Этот чин, признаться, ныне  
Дорог мне ужасно стал,  
Как старинный друг-приятель,  
Как поэзии журнал,  
Как знакомый мне писатель,  
Как наивный мадригал...<sup>207</sup>

И вновь ему не удается удержаться на этой интонации: чем дальше он рассказывает о себе, тем все больше звучит голос настоящего страдания:

Мой талант ничтожен, знаю,  
Но я чувством тем сгораю,  
И люблю всегда твердить:  
Как приятно славой жить,  
Славой чистой, славой громкой!  
Но в Даурии, с котомкой,  
Трудно славу уловить!  
Что певцу нагие горы?  
Что ущелья диких скал?  
Он Даурию узнал —  
И слеза туманит взоры...  
Я внемлю далекий шум.  
Слышу шумны восклицанья —  
И в тоске глубоких дум  
Не могу танть страданья...  
Я печален и угрюм!<sup>208</sup>

Несомненно, в этой смене интонаций нет никакой преднамеренности: поэт пишет, подчиняясь непосредственному чувству, но это-то и придает его стихам убедительность и силу, и, когда искренняя боль и ирония сливаются воедино в финальных строках, поэт достигает цели — его слова по-настоящему волнуют:

Славой, счастьем дорожа,  
Я молю о снисхожденьи,  
О моем перемещеньи,  
В Департамент — в сторожа<sup>209</sup>.

Стихи Бальдауфа неравноценны по своим достоинствам. Среди них мы встречаем не только такие, где ирония и шутка охраняют поэта от романтических преувеличений, но и стихи откровенно сентиментальные, в которых за традиционными поэтическими оборотами трудно уловить искреннее переживание

<sup>207</sup> Там же, стр. 31.

<sup>208</sup> Там же, стр. 31—32.

<sup>209</sup> Там же, стр. 32.

автора. И только знакомство с биографией поэта убеждает в том, что он в данном случае так же искренен, как и в своих дружеских посланиях.

Судя по отдельным намекам в стихах Бальдауфа, первые годы его пребывания в Сибири были омрачены какой-то неудачной любовью, возможно пережитой еще в Петербурге. Отсюда — особенно острое ощущение одиночества, тоска по любви, мечты об идеальной подруге, которая платила бы ему взаимностью. Эти настроения нашли отражение в стихотворении «Где она?», написанном в стиле типичной альбомной лирики тех лет, кстати, стихотворение имеет подзаголовок «В альбом Н. Х. К(андинско)й». Поэт говорит здесь о том, что его всюду преследует «неотступное, прелестное виденье»:

Кто ж ты, безвестная? Твой образ неземной  
Мне видится в тревожном сновиденье...  
Везде я слышу голос твой:  
Ты мне все песни напеваешь,  
Ты мне любовь в них обещаешь;  
Но где же ты сама, друг вечно милый мой?..<sup>210</sup>

Эти романтические грезы, эти «сновидения наяву», хотя и мучительные для поэта, все же доставляют ему некоторое утешение. Недаром, по свидетельству А. Таскина, Бальдауф сам любил, «как нежное дитище, и читал нам с особенным удовольствием» стихотворение «Идеал подруги»:

О, если бы мог я фантазии силой  
Подругу себе сотворить,  
И образ прелестный, таинственно-милый  
На радость душе оживить!  
Из черных бы туч  
Глубокой полночи  
Я свил ее кудри и ясный бы луч  
Пожигил у солнца в небесные очи.  
Две б свежие розы сорвал,  
Они бы в ланитах ее пламенели,  
Уста б сладострастья улыбкою млели,  
И Лель бы на полной груди пировал!  
Но где ж бы одежду нашел я прекрасной?  
Соткал бы я утренний сизый туман,  
Сорвал бы я радугу с тверди ненастной  
И ей опоясал бы девственный стан!  
И в грудь ее полную, белую, нежную  
Участье к печали б вдохнул,  
Покинул, забыл бы любовь безнадежную —  
И сладко б на этой груди я уснул!<sup>211</sup>

<sup>210</sup> Там же, стр. 206.

<sup>211</sup> Там же, стр. 33—34.

«Ужели это не поэзия?» — восклицает А. Таскин. — Готов я спросить у всякого, как один поляк спросил меня, по прочтении со мною стихотворения Мицкевича «Витязь пустыни»<sup>212</sup>.

К сожалению, восторг друга Бальдауфа мы не можем разделить. Повторяем, только зная драматическую судьбу поэта, мы можем поверить, что здесь он не просто отдает дань литературной моде, но верен себе, своему действительному чувству. Жаль, что в этом выражении своей мечты он не смог преодолеть тривиальности, которая, судя по всему, была незаметна многим его современникам.

Вместе с тем эта мечта о подруге не всегда была у Бальдауфа лишь плодом воображения. В Нерчинском Заводе он полюбил дочь крупного местного чиновника Фриша — Калерию. Однако и на этот раз его постигло несчастье — родители предпочли для девушки более выгодную партию<sup>213</sup>. Это послужило источником новых страданий для поэта, которые он излил в лирических посланиях «К...».

Некоторые из этих стихотворений малоудачны: в них преобладают поэтические штампы, часто используемые в то время при выражении любовного чувства («К локону»<sup>214</sup> или «Тебя ль забуду я в глуши уединенья?»<sup>215</sup> и др.). В последнем стихотворении заставляют почувствовать индивидуальные особенности переживания лишь заключительные строки:

Я в отдаленьи.., но пустыню  
Я всю тобою населил;  
Я кликать, звать свою богиню  
Пустыни эхо научил!<sup>216</sup>

Любовь Бальдауфа нашла более или менее достойное выражение лишь там, где он отказался от откровенно сентиментальных излияний и обратился к испытанному жанру дружеского послания:

Я здесь один!.. кругом меня покой!..  
Добасу-Нор смирил на время волны...  
Я здесь один, тяжелой думы полный,  
Лечу к тебе, мой милый друг, душой!..  
Смотри: вон там, где солнце догорает,  
Где алая заря по облакам  
Цветами дивными играет, —  
Я там, мой милый друг, я там!<sup>217</sup>

<sup>212</sup> Там же, стр. 34.

<sup>213</sup> См. Е. Д. Петряев. Указ. соч., стр. 127.

<sup>214</sup> «Воспоминания бывших питомцев Горного института», стр. 219—220.

<sup>215</sup> Там же, стр. 222—223.

<sup>216</sup> Там же, стр. 223.

<sup>217</sup> Там же, стр. 221.

Эта форма дружеского послания использована и в страстном заклинании поэта, обращенном к возлюбленной, — быть верной их любви:

Мой милый друг, мой друг бесценный!  
Моих надежд не обмани!  
Своей любви, мне столь священной,  
Не измени, не измени!..<sup>218</sup>

Призывы поэта, однако, остались втуне: обстоятельства были гораздо сильнее любви молодых людей. И потому такой безысходной тоской веет от следующих строк:

Пройдут года и вновь опять,  
Быть может, взор твой милый встретит  
Давно забытую тетрадь  
И эти строки в ней заметит.  
Между других и эта в ней  
Случайно встретится страница,  
Тогда давно увядших дней  
Воскреснет снова вереница.  
И юность светлую свою  
Тогда ты вспомнишь с грустью тайной  
И с нею, может быть, случайно  
Любовь погибшую мою<sup>219</sup>.

Автобиографический элемент присутствует в стихах Бальдауфа и там, где он прямо не говорит о своих страданиях. Так, уезжая из Петербурга, прощаясь со всем тем, что он успел полюбить за годы своего отрочества и юности, поэт написал в альбом одного из петербургских друзей, А. Н. Очкина, балладу «Казак». Используя в ней форму народной песни, Бальдауф выразил, по существу, собственные чувства — горестные чувства прощания:

Казак стоит —  
Туманен взор;  
Казак молчит,  
И темный бор  
Над ним шумит;  
Знать, друга ждет.  
Синеет даль;  
Он к сердцу жмет  
Литую сталь,  
«Ты, дубровушка зеленая,  
Ты зачем так расшумелась?  
Ветры злые, ветры буйные!  
Не бросайте листья желтые

---

<sup>218</sup> Там же, стр. 223. Первая строка—реминисценция из Пушкина.

<sup>219</sup> Запись П. А. Черных. (Бумаги И. В. Багашева, № 43).

На тропу уединенную,  
Чтоб красавица в густом лесу  
Не замешкалась блуждаючи», —  
Пел казак, поэт, рыдаючи...<sup>220</sup>

В еще большей степени личный мотив звучит в балладе «Кузнец», написанной в Сибири после смерти брата (об этом говорят строчки: «Ах, помню плакал я порою о милом брате...»). Печальная участь поэта нашла отражение в раздумьях кузнеца о своей жизни:

Ты юность игривую в чуждой семье  
Провел, сиротой изнывая...  
В наследство остались тебе от родни  
Нужда, утомленье и голод,  
Да долгие, полные горести дни,  
Работа и тягостный молот...<sup>221</sup>

Как замечает А. Таскин, «...не упомяни страдалец-кузнец в перечислении того, что ему досталось в наследство от родни, о молоте, он близко определил бы наследство поэта»<sup>222</sup>.

Но дело не только в отдельных деталях. Сама ситуация, изображенная в балладе, — несчастная любовь кузнеца — навеяна, по-видимому, личной драмой автора. Подтверждение этому находим опять-таки у Таскина и других современников поэта. «Некоторые из сослуживцев Федора Ивановича, — пишет Таскин, — и в том числе покойный тесть мой А. Злобин, горячо любивший его и принимавший в нем живое участие, был того мнения, что в душу кузнеца вложены поэтом собственные его безотрадные чувствования...»<sup>223</sup>.

Но смысл стихотворения, конечно, шире, нежели отражение личных переживаний: то, что перечувствовал сам Бальдауф, здесь объективировано и передано в типично романтическом плане.

К веселому кузнецу, беспечно расппевающему песню о том, что «не отравит любовный яд» его «младые леты», приходит незнакомая красавица и просит сковать для нее железную колодезную цепь, пообещав прийти за ней две ночи спустя. Эта встреча становится роковой для кузнеца: «его оковала любовь».

Два дня и две ночи ждет кузнец, когда придет за цепью прекрасная девушка, и сердце его сжимается от тоски, от предчувствия, что первая их встреча была последней. На вто-

<sup>220</sup> Цит. по Е. Д. Петряеву. Указ. соч., стр. 124—125.

<sup>221</sup> «Воспоминания бывших питомцев Горного института», стр. 114.

<sup>222</sup> Там же, стр. 16—17.

<sup>223</sup> Там же, стр. 16.

рую ночь ему снится «коварный сон», что «дверь, заскрипев, отворилась, и милая дева под алой фатой вошла, кузнецу поклонилась...». Проснувшись, кузнец видит: «все тихо и пусто кругом...».

Уж пеплом подернулись угли в горне,  
Железная цепь—все висит на стене.

Проходит время —

И с гор сбежал глубокий снег,  
Прошел зимы жестокий холод,  
Но в кузнице не скрипнет мех,  
Не брякнет в наковальне молот!  
Все пусто, дико, горн упал,  
К нему тропинка зарастает,  
И ветер кровлю разметал,  
И мех скрипучий истлевает...  
Вблизи развалин, без креста,  
Видна высокая могила;  
Безвестной девы красота  
Младого кузнеца сгубила!  
И часто видели вечернею порой —  
Туда девица приходила  
И одинокая медлительной стопой  
По роще сумрачной бродила...<sup>224</sup>

Традиционно романтическая концовка стихотворения (смерть героя, скорбящая дева на его могиле) вполне отвечает мрачному колориту всей баллады. В ней нагнетаются настроения тревоги и печали, владеющие душой поэта, сама природа как бы полна недобрых предзнаменований: «Печально, мрачно все кругом», «Сверкает под инеем сумрачный лес», «Задумчивый месяц на небе ночном угрюмая туча закрыла» и т. п.

Безнадежная тоска кузнеца передана с помощью вариаций одной и той же фразы, которая звучит как рефрен:

Чуть угли сверкают в остылом горне;  
Железная цепь висит на стене...

Стиль баллады отличается некоторой небрежностью, но зато написана она с большой непосредственностью и волнением. Постоянно меняющийся размер отражает напряженное внутреннее состояние поэта.

Тревожная тема одиночества и неудачной любви, ощущение непрочности человеческого счастья и самой жизни выражены и в неоконченном стихотворении «Сват», которое навеяно, несомненно, романтическими балладами Жуковского<sup>225</sup>.

<sup>224</sup> Там же, стр. 15—16.

<sup>225</sup> Там же, стр. 215—217.

К числу лучших стихотворений Бальдауфа следует отнести те, которые построены на сибирских впечатлениях и в которых отразился интерес поэта к жизни и быту местных народностей. Бальдауф внимательно изучал обычаи и фольклор бурят и тунгусов, проявлял интерес к их историческому прошлому, обследовал памятники старины. Его склонность к этнографии особенно сильно проявилась во время служебных командировок на Борзинское соляное озеро в 1828 и в 1834 гг.

Здесь он написал стихотворение «К бурятке», где вместо условного портрета экзотической красавицы изобразил вполне достоверную бурятскую девушку, но описал ее с восхищением, со страстностью романтика:

Люблю я странный твой наряд,  
Твои неловкие движенья,  
Люблю я твой нескромный взгляд  
И чуждой речи выраженья.  
Я помню вечер: вокруг огня  
Твои родные все сидели,  
И ты смотрела на меня,  
Как я, больной, склонясь к постели  
В припадке тягостном страдал.  
Заснули все, но я не спал...  
Мечты сменялися мечтами;  
Твои я вздохи узнавал  
И беспокойными очами  
Тебя во мгле густой искал.  
Я помню утро: закипал  
Душистый чай в котле широком,  
А ты в молчании глубоком,  
Склонясь к узорчатым коврам,  
Своим молилася богам.  
Не обо мне ли одиноком?..  
Быть может, топкою тропюю  
И я до счастья добреду;  
Тогда, растроганный мечтою,  
Про Борзю песню заведу.  
В ней имя Бальджи будет всюду —  
И я до гроба не забуду  
Твое прощальное: мэнду!<sup>226</sup>

В этом стихотворении есть целый ряд точных штрихов, которые могли быть подмечены лишь наблюдательным глазом художника. В нем «отразились и непосредственные личные переживания, и факты личной биографии — и это спасло от рабского следования установленным шаблонам»<sup>227</sup>.

<sup>226</sup> «Нерчинско-Заводской наблюдатель», 1866, № XI.

<sup>227</sup> М. К. Аз а д о в с к и й. Бурятия в русской лирике. «Жизнь Бурятии», 1925, № 1—2, стр. 13.

Для Бальдауфа любовь к бурятской или тунгусской девушке—не просто модный экзотический мотив, да и сама героиня — отнюдь не идеальный образ, созданный воображением поэта-романтика: у нее «странный наряд», «неловкие движения», «нескромный взгляд». И если в этом образе есть элемент идеализации, то только потому, что сам поэт искренне увлечен буряткой. Любопытно, что в другом его стихотворении, «К Самуёе», можно услышать такие же лирические интонации, как и в его посланиях «К...»:

Я не молю тебя, мой друг,  
Ни о любви, ни о вниманье...  
Пускай всегда лишь нежит слух,  
Как листьев розы трепетанье, —  
Твое «мэнду», мой милый друг!<sup>228</sup>

Эти стихотворения можно рассматривать как первые наброски, как беглые эскизы к большому полотну, каковым стала поэма «Авван и Гайро» (1834 г.).

В этом наиболее значительном произведении Бальдауфа получила логическое развитие тема любви русского и тунгуски, и вместе с тем здесь наиболее полно отразились все основные идейно-художественные тенденции творчества забайкальского поэта. Именно в этой поэме проявилось со всей отчетливостью, что Бальдауф следовал по стопам раннего Пушкина, хотя он поднялся над простой подражательностью, воплотив в своем произведении непосредственные впечатления от жизни, обычаев и нравов кочевого народа. Здесь поэт-романтик неотделим от наблюдательного этнографа, а типичная романтическая ситуация включает в себе реальный опыт автора, его серьезное раздумье над современной действительностью и ее противоречиями.

Сюжет поэмы перекликается не только с пушкинскими «Цыганами» и «Кавказским пленником», но и рядом других романтических поэм, в которых варьируется одна и та же сюжетная коллизия — любовь разочарованного городского юноши и прелестной «дикарки», дочери степей. Сходство с поэмами Пушкина проявляется и в общем замысле произведения, и в отдельных эпизодах, и даже в некоторых строках.

М. К. Азадовский внимательно прослеживает эти моменты подражания у Бальдауфа. Он считает, что разрыв Аввана с Гайро на почве религиозных различий навеян «Бахчисарайским фонтаном»<sup>229</sup>. Бальдауф, по мнению исследователя, вто-

<sup>228</sup> «Воспоминания бывших питомцев Горного института», стр. 224.

<sup>229</sup> М. К. Азадовский. Бурятия в русской лирике, стр. 16.

рит великому поэту, когда вослед его гимну вольной жизни цыган прославляет жизнь тунгусов:

В самом невежестве своем,  
Природы дети, вы счастливы,  
Вы не хитры, не прихотливы..

Отзвук монолога старика-цыгана, дающего отповедь Алеко, слышится в словах Гайро, обращенных к Аввану:

Пускай мы глупы, суеверны,  
Пускай природа нам дала  
Рассудка чистого немного..  
Вы, своего любимцы бога,  
Творите ль добрые дела?

Речи пушкинской черкешенки угадываются в последних скорбных словах тунгуски:

Любовь течет в моей крови,  
А память о тебе, неверный,  
В моей душе нелицемерной  
Глубоко врезалась навек..  
Нет, ты не добрый человек!  
Покинь меня... беги скорее!

Как требовал определенный канон, в поэме имеется «тунгусская песнь». А в вводном эпизоде, где рассказывается о посещении Авваном шамана, много общего со сценой пребывания у Финна пушкинского Руслана<sup>230</sup>.

Сходство с Пушкиным простирается и дальше. В поэме как и в «Цыганах», есть старик-отец девушки, есть и соперник, принадлежащий к той же среде, что и возлюбленная героя. В уста Дыввея, приветствующего Аввана, вложены слова, напоминающие обращение старого цыгана к Алеко, а в словах Гайро, обращенных к Аввану: «В стране твоей родной прелестны молодые девы» — нетрудно уловить сходство с подобными словами Земфиры<sup>231</sup>.

Бальдауф остался верен многим канонам и условностям романтизма. Уже само начало знакомства Аввана с Гайро вполне выдержано в духе романтической поэзии: Гайро останавливается на полном скаку взбесившегося коня, чуть не погубившего Аввана. Спасенный от смерти, Авван тут же влюбляется в свою спасительницу.

За этим следует эпизод, который также естествен для пера

<sup>230</sup> Там же, стр. 15.

<sup>231</sup> А. А. Богданова. Сибирские поэты-романтики начала XIX в., стр. 138—139.

романтика: в первую же ночь, проведенную в юрте Дыввея и Гайро, Аввану снится вещий сон — он видит деву, стоящую на берегу, со страхом и тоскою глядящую в воду, а «в воде пылает крест золотой»:

— Авван, Авван! — она сказала  
И ослабевшею рукой  
На крест священный показала.  
— Авван, Авван! Не бог ли твой,  
Тебе на радость, мне на муку,  
Здесь предвещает нам разлуку?<sup>232</sup>

Сон, как и полагается, оказывается пророческим: нежелание Гайро принять христианство становится причиной ее разрыва с Авваном.

Сами отношения молодых людей весьма далеки от того, какими они могли быть в действительности: влюбленные выражают свои чувства в пылких монологах, причем речь тунгуски столь же романтична, что и речь Аввана.

Вот слова юноши:

Ах, нет! Люби, люби, мой друг!  
Люби меня еще сильнее,  
Люби роскошнее, нежнее,  
Чаруй любовью взор и слух!<sup>233</sup>

А вот как говорит Гайро:

Проснись, Авван! Проснись, друг милый!  
Ах, оживи мой дух унылый!  
Дай мне свободнее вздохнуть!  
Дай в очи томные взглянуть,  
Дай твой услышать голос нежный!<sup>234</sup>

Следуя духу и стилю романтической поэмы, Бальдауф изображает любовь Аввана и Гайро с помощью общепринятых тогда поэтических приемов:

Авван в роскошном упоенье  
Младую деву обнимал,  
В уста и очи целовал  
И в пылкой страсти, в утомленье  
То обмирал, то воскресал!<sup>235</sup>

---

<sup>232</sup> «Авван и Гайро». В сб. «Воспоминания бывших питомцев Горного института», стр. 42.

<sup>233</sup> Там же, стр. 52.

<sup>234</sup> Там же, стр. 59.

<sup>235</sup> Там же, стр. 55.

Романтические трафареты часто встречаются и в самом стиле поэмы: «К Гайро любовью пламенея», «Он трепетал и пламенел», «И слезы хлынули рекою из томных юноши очей», «Но чудной думой омрачен», «Молчанье чудное храня» и т. п.

И тем не менее было бы неверным утверждать, что это произведение не выделяется никакими достоинствами среди других подражательных романтических поэм. Напротив, оно отмечено и чертами своеобразной индивидуальности автора. Оно, на наш взгляд, достойно венчает его творчество.

Прежде всего поводом для написания поэмы послужил, по словам А. Таскина, действительный факт — «интрига с тунгуской молодого человека, который был откомандирован в его (Бальдауфа) распоряжение». Этим молодым человеком был шихтмейстер Иван Петрович Корнилов<sup>236</sup>, также в прошлом закончивший Горный кадетский корпус, что заставляет предполагать доверительные отношения между ним и Бальдауфом.

История эта привлекла внимание Бальдауфа, по-видимому, не только потому, что в ней поэт увидел сюжет, достойный пера романтика, но и потому, что подобные отношения русского юноши и девушки-«туземки» были довольно распространенным явлением в то время. И, как уже сказано, Бальдауф сам отдал дань увлечению «туземной» девушкой. История, рассказанная Корниловым, давала возможность поэту выразить свои симпатии к одному из малых народов Забайкалья, познакомить читателя с жизнью этого народа. А вместе с тем в этой истории Бальдауфа должен был привлечь всегда волновавший его мотив несчастной любви.

Поэма названа «тунгусской повестью». Однако, как замечает М. К. Азадовский, о строгой этнографичности здесь вряд ли можно говорить: в поэме «впечатления тунгусские и бурятские слились в одну общую картину... Возможно даже утверждать, что картины бурятского быта гораздо ближе и более знакомы автору, чем жизнь тунгусов. Так, несомненно из бурятской жизни — сцена укрюченья лошадей...»<sup>237</sup>.

Азадовский указывает на черты быта или выражения в поэме, одинаково присущие как тунгусам, так и бурятам. Он приводит и замечание А. Таскина о том, что в одном из списков стихотворение Бальдауфа было озаглавлено: «К бурятке», а в другом — «К тунгуске»<sup>238</sup>. По мнению Азадовского, «эта путаница возможна; местные тунгусы обурятились»<sup>239</sup>.

<sup>236</sup> Имя Авван—то же, что Иван.

<sup>237</sup> М. К. Азадовский. Указ. соч., стр. 15.

<sup>238</sup> А. Таскин считает, что первое название вернее.

<sup>239</sup> М. К. Азадовский. Указ. соч., стр. 14.

Любопытно — в подтверждение этой мысли, — что в самой поэме есть прямые реминисценции из стихотворения «К бурятке»:

«К бурятке»

Мечты сменялися мечтами;  
Твои я вздохи узнавал  
И беспокойными глазами  
Тебя во мгле густой искал...  
...А ты в молчании глубоко,  
Склонясь к узорчатым коврам,  
Своим молилася богам.

«Авван и Гайро»

Авван, тревожимый мечтами,  
Тунгуски вздохи узнавал  
И беспокойными глазами  
Ее во мгле ночной искал...  
...Склонясь к узорчатым коврам,  
Своим безжизненным богам  
Гайро прелестная молилась.

Таким образом, «несомненно, что те местные впечатления, которые легли в основу этой поэмы, навеяны общими наблюдениями автора над бытом туземных племен Забайкалья»<sup>240</sup>.

Именно эти непосредственные впечатления и позволили автору дать несколько точных и тонких зарисовок жизни кочевого народа. Все эти детали: узорчатые ковры, «безжизненные» деревянные идолы, котел, поставленный на таган, жарко горящий аргал (сухой коровий помет), душистый чай, закипающий в котле, и многое другое — дают реальное представление о быте тунгусов, заставляют поверить в достоверность происходящих в этой обстановке событий.

Рисуя портрет Гайро, поэт не может избежать романтических восторгов, но в то же время старается отметить этнографические детали, находит чисто сибирские краски:

Тунгуски черные волосы  
Кругом повиты аргуланом<sup>241</sup>,  
Он, разукрашенный моржаном<sup>242</sup>,  
На стройном девственном челе  
Горит, как радуга во мгле.  
В ее устах не дышат розы,  
Но дикий, огненный ургуй<sup>243</sup>  
Манит любовь и поцелуй<sup>244</sup>.

Несомненно, одной из самых сильных сцен в поэме является описание укрючения лошадей; здесь уже чувствуется зрелый мастер — настолько правдиво и темпераментно изображена погоня Гайро за диким рысаком:

<sup>240</sup> Там же, стр. 15.

<sup>241</sup> Аргулан—головная повязка девушек.

<sup>242</sup> Моржан—кораллы.

<sup>243</sup> Ургуй—цветок ветреница, по-сибирски—пострел.

<sup>244</sup> «Авван и Гайро», там же, стр. 39.

Табун колеблется, как волны,  
Он ржет, и пышет, и шумит,  
Гайро за рысаком летит..  
Совсем повиснув над седлом,  
Она играет урюком,  
Нога проворная без стремя,  
Конь, на себе не чуя бремя,  
Летит, как птица, как стрела,  
Летит, чем дальше, тем быстрее.  
Гайро настигла, догнала,  
Уж петля верная на шее...<sup>245</sup>

Непосредственность впечатлений, наблюдательность художника позволяют Бальдауфу отказаться от романтической приблизительности и в описании природы. Он изображает и «сумеречные степи», и «табун игривых кобылиц», гуляющий на скатах холмов, и горделиво выступающего верблюда, и стаю журавлей, которая «ходит» по степи:

Спокойный ветер лег над степью,  
Холмы окрестные молчат,  
Борзя чуть плещет, длинной цепью  
Над нею лебеди летят..  
...Под Бухую  
Стоят наметы тунгусов.  
К далекой цепи облаков,  
Густой над ними полосой,  
Восходит темно-сизый дым...<sup>246</sup>

«...Не боясь преувеличений, — пишет Азадовский, — мы склонны причислить эти отрывки к лучшим страницам небогатой сибирской лирики»<sup>247</sup>.

Однако, если Азадовский считает, что этими описаниями исчерпываются достижения Бальдауфа, то мы находим в поэме и некоторые другие немаловажные достоинства. Прежде всего они проявляются в характеристике основных героев произведения.

П. Маляревский в статье о Бальдауфе<sup>248</sup> обращает внимание на то, что Авван не вполне соответствует типу романтического героя. Для поэмы романтической характерно, что герой ее — сильная личность, человек, порвавший со своей средой, презирующий общество, мрачный и разочарованный. Герою Бальдауфа эти качества присущи в самой незначитель-

<sup>245</sup> Там же, стр. 43—44.

<sup>246</sup> Там же, стр. 34—35.

<sup>247</sup> М. К. Азадовский. Указ. соч., стр. 16.

<sup>248</sup> П. Маляревский. Ф. И. Бальдауф. Альманах «Новая Сибирь», Иркутск, 1938, № 1, стр. 148—161.

ной степени. Правда, автор отмечает, что Авван печален и мрачен, что только любовь к Гайро принесла ему отраду. А в одном месте Авван даже дерзко заявляет:

Так, все препятствия разрушу,  
Что мне до света и людей?

«Но обо всем этом автор говорит мельком, он не показывает, под влиянием каких причин складывается нравственный облик героя... Поэт не ставит Аввана в положение человека, порвавшего с обществом. Его не «преследует закон», как пушкинского Алеко, это не «кавказский пленник», изведавший людей и свет, познавший цену неверной жизни»<sup>249</sup>.

Эти упреки Бальдауфу не лишены справедливости: у него, действительно, отсутствует социальная мотивировка поведения героя. Но можно ли расценивать только как недостаток то, что Бальдауф не пошел целиком за великими образцами, не повторил в судьбе своего героя драму пушкинских персонажей? Думается, что он и не обязан был это делать. И вряд ли следует осуждать поэта за то, что его герой «не порывает с обществом», «не уходит от городской жизни», что «он только наездами бывает в улусе, где живет поразившая его воображение девушка»<sup>250</sup>. По логике исследователя получается, что Авван должен был уйти от цивилизации и поселиться среди тунгусов. Конечно, это было бы вполне в духе Алеко, но противоречило бы реальной действительности, которая не давала Бальдауфу таких примеров.

П. Маляревский упрекает поэта и в том, что его Авван угрожает своему сопернику Шакдuru тюрьмой: здесь «от романтического героя ничего не остается. В самом деле, что же это за герой, собирающийся искать защиты против соперника у полицейских чинов. Что бы мы сказали об Алеко, если бы после измены Земфиры он побежал бы к исправнику жаловаться на безнравственного цыгана?»<sup>251</sup>

Между тем, на наш взгляд, достоинство поэта как раз и состоит в том, что он попытался воплотить в лице Аввана черты реального человека, отталкиваясь от его действительного прототипа и не заставляя героя поступать в духе романтических традиций. Возможно, что этот характер недостаточно «прописан» и поэту не удастся до конца преодолеть влияние сложившихся канонов, но, во всяком случае, он пытался это сделать.

<sup>249</sup> Там же, стр. 157.

<sup>250</sup> Там же, стр. 158.

<sup>251</sup> Там же, стр. 160.

Думается, известное отступление от традиции заключается и в трактовке религиозного противоречия, разрушающего отношения молодых людей. Не следует игнорировать конкретно-исторические условия того времени. В эпоху Бальдауфа неоднократно заключались браки между русскими и представителями местных народностей. Но эти браки были невозможны без обращения последних в христианство, так что Авван, требуя от Гайро, чтобы она крестилась, поступает как человек своего времени и своей среды. О гражданском браке в то время не могло быть и речи. Не нужно забывать, что в вопросах веры упорство проявляет не только Авван, но и Гайро, которая говорит:

С тобой, Авван, я рада всюду,  
Забуду все, забуду честь,  
Но, друг, бурханов не забуду!<sup>252</sup>

Очевидно, что Бальдауф хотел подчеркнуть неразрешимость конфликта, вытекающего из противоположности верований, и объективно показал, что религия — источник глубоких страданий для людей. Поэт вложил в уста Гайро слова страстного протеста против «русского бога», который принес ей горе: «Твой бог, Авван, конечно, злой».

Но и вера в бурхана, утверждает автор, не менее противоестественна. Когда Авван просит девушку хотя бы пообещать, что она не отдаст руки другому, Гайро восклицает:

Авван, ты человек опасный!  
Отца не слушать?.. Нет! Ужасный  
Послал бы жребий наш бурхан  
За это мне...—Склонясь в колени,  
Гайро заплакала опять<sup>253</sup>.

Вполне закономерно, что одним из первых противников поэмы стал священник Суханов — преподаватель закона божьего в горном училище. В письме епархиальному начальству Суханов указывал, что сочинение Бальдауфа осмеивает стойкую приверженность к православию и поэтому достойно духовного осуждения как «перобесие»<sup>254</sup>.

Конечно, разрыв Аввана и Гайро не в одинаковой степени обрекает их на страдания: Авван со временем «другую пленился девою молодою», и, хотя он не нашел в этом счастья, все же судьба его не столь печальна, как участь Гайро, кото-

<sup>252</sup> «Авван и Гайро», там же, стр. 53.

<sup>253</sup> Там же, стр. 56—57.

<sup>254</sup> Е. Д. Петряев. Указ. соч., стр. 136.

рая должна была стать женой ненавистного ей Шакдура. Поэтому и сочувствие самого автора не в равной мере распределено между героями: его симпатии прежде всего на стороне Гайро. Правда, поэт далек от того, чтобы безоговорочно осудить Аввана. Он наделяет героя искренностью чувства, чистотой намерений («Нет, он любил без вождельня...»). Поэт заставляет его глубоко страдать. И все же объективно Авван повинен перед Гайро: он уступил своей страсти, заведомо зная, что их отношения лишены будущего. И не без основания Гайро говорит ему:

Ты мастер сердце соблазнять!  
Ко мне ты ездил для веселья,  
Гайро любил ты от безделья!..  
Мне суждено одной страдать...<sup>255</sup>

Гайро изображена в поэме как личность более привлекательная, нежели Авван. В ее словах, несмотря на наличие романтической приподнятости, меньше риторики, больше простоты и непосредственности. В ее поведении нет ни малейшего кокетства: «Без хитрой ласки, без речей Гайро на юношу смотрела...».

Она действует, целиком подчиняясь голосу сердца. Ее оскорбляет попытка Аввана задобрить ее подарками. Но она тут же прощает его — настолько сильно говорит в ней чувство любви.

Вместе с тем Бальдауф сознательно подчеркивает ее высокое духовное развитие:

Она по-русски чисто, ясно,  
Как Ломоносов, говорит..

Или:

Дева сумрачной степи  
Красноречивей Дюпати...

В этом есть, конечно, доля нарочитости. Но поэт делает это из желания показать все преимущества простой тунгуски перед русским юношей. И это опять-таки не дань романтической моде, но выражение глубокой симпатии и уважения поэта к коренным народам Сибири.

Поэма «Авван и Гайро» — произведение, в котором художественное мастерство Бальдауфа довольно высоко. Прежде всего стиль ее, особенно в первой половине, отличается изве-

<sup>255</sup> «Авван и Гайро», там же стр. 54—55.

стой, простотой, свободой и легкостью (недаром же А. Таскин восстановил текст почти целиком по памяти, когда предложил напечатать поэму в «Воспоминаниях бывших питомцев Горного института»). И если уж Бальдауф подражает Пушкину, то в первую очередь там, где подражать всего труднее,—в непринужденной манере повествования.

Поэт владеет способностью увлекательного рассказа. Он сразу вводит читателя в действие — короткая зарисовка спокойного вечера сменяется сценой, полной экспрессии:

Но кто там берегом положим  
На сивопегом рысаке,  
Весь отражаясь в реке,  
Летит стрелой...<sup>256</sup>

Поэт проявляет склонность к психологизму. Ему удается убедительно передать внезапный переход чувств Аввана — от пережитого страха за свою жизнь к неожиданно вспыхнувшей любви. Автор вскрывает борьбу мотивов в душе юноши, когда тот выходит из душевной юрты и размышляет, остаться ему или уехать, и голос девушки, зовущей его, сразу разрешает все сомнения...

К сожалению, в дальнейшем, когда поэт заставляет героев изливаться друг другу в своих чувствах, психологическая достоверность разрушается — романтический канон одерживает верх над правдой жизни.

Заканчивается поэма горестным раздумьем автора над судьбой героя и своей собственной. Этот финал лишний раз подтверждает, что мотив страдания — отличительная черта поэзии Бальдауфа. И дело здесь не только в личных разочарованиях его, но и в том, что он принимал близко к сердцу страдания многих своих современников. Это заставило поэта с такой чуткостью отнестись к драме простой тунгуски Гайро. Это пробудило в нем стремление откликнуться на тяжкие муки «несчастливых» — ссыльных. Как пишет А. Таскин, поэт сообщил ему о своем новом замысле — показать тяжелую жизнь рабочих в рудниках: «Я сумел бы изобразить наши подземелья, внутренность рудников, этот полусвет у забоев и смесь синевы с бледностью на лицах рудокопов перед огнем бленды и мрак вдаль от забоев, и звон цепей на ногах ссыльных, работающих у насосов»<sup>257</sup>. Однако этот замысел остался неосуществленным: помешала внезапная смерть.

Совершенно очевидно, что поэту было тесно в рамках ро-

<sup>256</sup> Там же, стр. 34.

<sup>257</sup> «Воспоминания бывших питомцев Горного института», стр. 28.

мантизма. Его «Авван и Гайро» несет на себе отпечаток новых, реалистических веяний в литературе. Это, пожалуй, особенно отчетливо проявилось в его последнем произведении — поэме «Шаманка» (1838 г.)<sup>258</sup>, где поэт не только точно передал особенности забайкальского пейзажа и быта тунгусов, но и отразил резкие социальные различия в их среде, со всей страстью выступил против социальной несправедливости, царящей повсюду:

О, бедность, горькая, лихая!  
Скажи, где слез ты не лила?  
Скажи, кого ты довела  
До счастья, до земного рая?..  
О, бедность, бедность! Мать страдавший!  
Скажи, как создан белый свет —  
Ты излила нам столько бед;  
Скажи мне, сколько дарований  
Ты погубила в цвете лет?..<sup>259</sup>

Судьба Бальдауфа — наглядная иллюстрация этой мысли. Прав А. Таскин, говоря: «...побалуй его счастье, не закупорь его судьба в глушь, да не в Саратов, а в Нерчинские заводы, за семь тысяч верст от столицы, не только дюжинное, но замечательное, много обещавшее дарование его, конечно, развилось бы, окрепло, и имя Бальдауфа не замерло бы без отголоска в нашей родине...»<sup>260</sup>.



<sup>258</sup> Опубликована в «Нерчинско-Заводском наблюдателе», 1866, № 9. В более полном виде — в газетах «Окраина», № 23, 1892 г. и «Забайкальская новь», Чита, № 787, 1910 г.

<sup>259</sup> Подробнее об этой поэме см. Е. Д. Петряев. Указ. соч., стр. 137—139.

<sup>260</sup> «Воспоминания бывших питомцев Горного института», стр. 6.



### ГЛАВА III

## РОМАНТИЧЕСКАЯ ПРОЗА 30-х ГОДОВ



то время как в литературной жизни Сибири безраздельно господствовал романтизм, в общерусской литературе уже зарождалось новое, реалистическое направление. Выход в свет первой главы «Евгения Онегина» (февраль 1825 г.) возвестил начало критического реализма. Правда, романтики не приняли новаторства Пушкина и упорно держались своих принципов на протяжении не только 20-х, но и 30-х годов. Однако реалистическое направление все более укреплялось, упорно преодолевая сопротивление своих идейных и литературных противников. Начатое Пушкиным было подхвачено Лермонтовым и Гоголем, и вслед за расцветом поэзии стала развиваться в 30-е годы реалистическая проза.

Читающая публика далеко не сразу приняла произведения критического реализма. В русском обществе 30-х годов были еще сильны романтические вкусы, и не случайно, конечно, в это время пользовались огромным успехом повести А. Бестужева-Марлинского. И все же романтизм доживал свой век. Наиболее передовая часть читателей отдавала свои симпатии новому направлению, более соответствующему требованиям времени. В условиях все растущего народного возмущения (восстания в Польше, «холерные» и дру-

тие бунты в России) обличительная направленность литературы становилась одним из средств выражения общественного недовольства.

Сибирь, принявшая в себя новую волну политических ссыльных (польских и русских повстанцев), переживала те же политические волнения, что и вся Россия. Правда, «государственные преступники», находясь в ссылке, не имели возможности в полной мере проявлять свои оппозиционные настроения. Постоянный надзор за ними мешал установлению тесных контактов с местной интеллигенцией, позволял поддерживать отношения с ней чаще всего на общекультурнической основе. Преследования со стороны властей исключали возможность создания кружков, подобных кружкам Н. В. Станкевича, А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Здесь по-прежнему отсутствовала периодическая печать, и Сибирь далеко не сразу поняла преимущества, которые были связаны с переходом в 30-е годы от альманахов к журналам. С известным опозданием были восприняты сибиряками и первые критические выступления В. Г. Белинского.

Местные литераторы 30-х годов не смогли еще вступить на путь критического реализма: литература Сибири этих лет оставалась целиком романтической. Это не значит, конечно, что в ней не произошло никаких изменений. Напротив, как и во всей русской литературе, здесь на смену романтической поэме пришли повесть и роман, в том числе роман исторический (И. Т. Калашников) — жанр исключительно популярный у читающей публики того времени. Причем эта эволюция наблюдалась и в творчестве тех русских писателей, которые обращались к «модной» сибирской теме, описывая Сибирь «издалека», на основе литературных источников<sup>1</sup>.

Но дело было, конечно, не только в замене поэзии прозой. Происходило дальнейшее углубление интереса к Сибири. Внешняя экзотика сменялась более достоверным и точным изображением края. Этнографическая направленность местной литературы становилась чуть ли не господствующей. Краеведение, еще недостаточно окрепшее в 20-х годах, теперь быстро развивалось и — что особенно важно — тесно смыкалось с художественной литературой. Так, исторический роман Калашникова исследователи справедливо называли и краеведческим.

---

<sup>1</sup> Например, роман неизвестного автора «Княжна Меньшикова» (1833 г.), повесть И. Глухарева «Иноки, или вторичное покорение Сибири» (1834 г.), роман П. Свищова «Ермак, или покорение Сибири» (1834 г.); и др.

Эта тенденция в условиях Сибири объяснялась прежде всего усилением капиталистического уклада. Здесь начиналось бурное развитие золотых приисков. Сюда устремлялись капиталы. Сибирь действительно становилась в глазах русской буржуазии «золотым дном». И из этого стремления овладеть ее богатствами, естественно, рождалась потребность в изучении края. Вместе с тем на рост краеведения и этнографии не могла не повлиять общая тенденция русской литературы от романтизма к реализму. Пусть пример великих реаллистов еще не был полностью осмыслен рядовыми литераторами и краеведами Сибири — важно, что реализмом была чревата эпоха. Острота социальных конфликтов, жестокость николаевского режима неизбежно разрушали романтические иллюзии, отрезвляли самые горячие головы, заставляли пристальнее всматриваться в окружающую жизнь, полную противоречий, побуждали писать правду—суровую правду.

Но, конечно, не следует преувеличивать критические тенденции в литературе Сибири 30-х годов: известная отсталость ее, провинциальная ограниченность тематики, неспособность писателей подняться до решения больших проблем общенационального характера — явления, которые нельзя не принимать во внимание. Тем более, что в литературе и краеведении дает себя знать «местный патриотизм» — стремление прославить свой край, воспеть не только его природные богатства, но и «добрые нравы» его жителей, оздоравливающее влияние их на ссыльных. Даже сибирский климат нередко становится предметом поэтических восторгов: авторы стремятся рассеять неверные представления о неизменно суровой Сибири, сложившиеся у непосвященных. Отсюда — взволнованная, лирическая интонация, которая проникает и в сухие, академические труды.

Работы краеведов выходят в 30-х годах почти ежегодно. В 1830 г. издаются «Отрывки о Сибири» Геденштрама; в 1831 г. — «Записки об Енисейской губернии Восточной Сибири» И. Пестова; в 1833 г. — «Поездка к Ледовитому морю» Фр. Белявского и «Поездка в Якутск» Н. Щукина (книга была переиздана в дополненном и исправленном виде в 1844г.); в 1834 г. — «Прогулки вокруг Тобольска в 1830 г.» П. Словоцова; в 1835 г. — «Енисейская губерния» А. Степанова», в 1837 г. — «Записки и замечания о Сибири» Е. Авдеевой-Полевой и т. д.

Высокую оценку Н. Полевого получили замечательные краеведческие работы «Поездка к Ледовитому морю» Фр. Бе-

лявского и «Поездка в Якутск» Н. Щукина, особенно первая<sup>2</sup>.

Белявский, член врачебной управы в Тобольске, ездил на север, в Обдорск и далее, чтобы собрать сведения об эпидемии, распространившейся между тамошними жителями, в особенности среди остяков. В своей книге автор описал многоверстный путь, проделанный на собаках и оленях, причем от Березова он ехал 600 верст в тесном ящике, установленном на нартах и наглухо запертом снаружи. Нарты трясло, путник часто ударялся головой о стенки и напрасно кричал остяку, чтобы тот остановился, — возница не слышал его и непрерывно погонял оленей. Особенно трудной оказалась та часть пути, где их застал буран: спутника автора, слугу, вытащили из ящика без сознания.

Белявский с большой этнографической точностью описывает все, что наблюдает на Крайнем Севере: жилища и строения остяков, внешний вид этих людей, их физические качества и умственные способности, язык, нравы, одежду, образ жизни, занятия, развлечения, их родоначальников, судопроизводство, религию. Он отмечает, что «остяки очень услужливы и были бы гостеприимны, если бы крайняя бедность не подавляла в них сей свойственной им добродетели»<sup>3</sup>. Бедность, — утверждает автор, — главный бич в жизни этого северного народа. А другой бич — невежество. Отсюда — повальное пьянство, к которому родители приучают детей с самого раннего возраста, дикие предрассудки, слепая вера в шаманство, жестокое обращение с женщинами, равнодушие к детям. «Матери, находясь беспрестанно в работе, всюду таскают их с собою в корзинах — по сырости и холоду — отчего дети редко переживают первый год своей жизни»<sup>4</sup>.

Теми же причинами вызваны и многочисленные болезни, от которых остяки по невежеству своему не хотят лечиться. Здесь свирепствуют лихорадка, цынга, ревматизм, простуда, и «к довершению гибели злополучного сего народа завезена к нему в 1816 и 1817 годах сифилитическая зараза, которая с такою ужасною скоростью распространялась между остяками, что нет почти ни одного человека, который бы не был заражен ею»<sup>5</sup>.

Автор представил начальству рапорт обо всем, что он увидел, и изложил свое мнение о необходимых мерах по борьбе

<sup>2</sup> «Московский телеграф», 1833, ч. 52, № 13, стр. 76—106; № 14, стр. 216—252.

<sup>3</sup> Ф. р. Б е л я в с к и й. Поездка к Ледовитому морю. М., 1833, стр. 74.

<sup>4</sup> Там же, стр. 122.

<sup>5</sup> Там же, стр. 133—134.

с эпидемией. Но главная его заслуга состояла в том, что он познакомил читающую Россию с действительным положением «инородцев», обитателей сибирского Севера, которые были обречены на вымирание. Тем самым он возбудил общественное мнение, хотя в условиях николаевского режима, конечно, никаких эффективных мер для спасения остяков не могло быть принято.

Надо отдать должное Белявскому и как художнику. Очень живо и трогательно он описывает, например, оленей, этих незаменимых друзей человека на Севере, доставляющих ему все необходимое — «жилище, пищу, услугу — при том почти без всякого с его стороны о том попечения». Книга Белявского — не бесстрастный научный труд, но увлекательный дневник путешествия, написанный наблюдательным человеком, умеющим заразить читателя своим активным восприятием жизни.

С большим воодушевлением, в котором нельзя не уловить и некоторого влияния романтизма, пишет свои «Прогулки вокруг Тобольска в 1830 г.» П. А. Словцов. Правда, автор записок уже стар, здоровье изменяет ему, силы его в тяжелой жизненной борьбе подорваны. Но он упорно трудится, объединяет вокруг себя местных краеведов<sup>6</sup>, ведет переписку со многими общественными и культурными деятелями Сибири и создает фундаментальный труд «Историческое обозрение Сибири» (1838—1844)<sup>7</sup>, который по праву можно считать итогом всей его жизни.

Современники не смогли полностью оценить значение «Прогулок вокруг Тобольска». С. С. Шукин писал о них: «Словцов уже в глубокой старости вздумал заняться тобольской флорой, впрочем, весьма бедной. Он собирал растения, высушивал их и посылал при письмах одному своему приятелю в Иркутск. В письмах этих описываются окрестности Тобольска в разных отношениях — вот все содержание этой книжки»<sup>8</sup>.

В действительности значение «Прогулок», конечно, не ограничивается описанием окрестностей Тобольска, хотя и эти «микроскопические подробности» нельзя недооценивать: подробностями, утверждает Словцов, не могли заняться академические экспедиции, поэтому они должны стать предметом изучения местного краеведения.

<sup>6</sup> «В статьях ученых мне помогали молодые знающие сибиряки, прежние мои сослуживцы по части учебной» (П. А. Словцов. Прогулки вокруг Тобольска в 1830 г. М., 1834, стр. IV).

<sup>7</sup> Второй том «Исторического обозрения Сибири» вышел после смерти автора, скончавшегося в 1843 г.

<sup>8</sup> С. С. Шукин. Указ. соч.: «Памятная книжка Иркутской губернии на 1865 г.». Иркутск, 1865, стр. 60.

Словцов размышляет о судьбах «коренных» народностей Сибири: его волнует тяжкая участь этих людей, пребывающих в беспросветной нужде. «Смирные и кроткие эти обитатели ельников всегда мне представляются какими-то сиротами на чужбине»<sup>9</sup>.

Видя бедственное положение сибирского крестьянства, Словцов пытается разработать систему мер, которые могли бы обеспечить крестьянам достаток. Он считает необходимым передать им общинную землю в частное пользование, перевести значительную часть крестьян в ремесленное сословие, чтобы они совмещали хлебопашество с ремеслом. Ему представляется это надежной основой для развития Сибири.

Конечно, предложения Словцова были по тем временам утопичными. Но, как справедливо замечает один из исследователей, идеи Словцова «выражали глубокую тревогу и настоящую, волнующую заботу о Сибири, как полноправной части России»<sup>10</sup>.

Фактом большого литературного значения явился для Сибири двухтомный труд «Енисейская губерния» (1835 г.) А. П. Степанова. Этот труд родился из тех отчетов, которые Степанов посылал в Петербург после своих поездок по Енисейской губернии. Они были замечательными во многих отношениях. Прежде всего их отличала, как и путевые очерки Степанова, живость и занимательность изложения, а также обилие новых фактов. «В своих статистических отчетах,— писал А. В. Дружинин,— Александр Петрович, если можно так выразиться, был поэтом настолько же, насколько он им не был в «Суворове» и мелких своих стихотворениях. Его картины природы живы и верны, его подробности о нравах населения изложены превосходно, его служебные замечания высказаны с изяществом, нисколько не исключаящим дела и необходимых фактов»<sup>11</sup>.

Все, что писал Степанов, было одушевлено его искренней любовью к краю, без которой вряд ли могли произвести впечатление любые «красоты слога». Эта любовь помножилась на его глубокую увлеченность естественными науками, археологией, народной стариной и народными преданиями.

Наконец, очень важным достоинством Степанова была его смелость, с которой он писал об отрицательных сторонах в жизни губернии: «Степанов, по своей беспредельной честности,

<sup>9</sup> П. А. Словцов. Указ. соч., стр. 34—35.

<sup>10</sup> В. Г. Мирзоев. П. А. Словцов. Кемерово, 1964, стр. 22.

<sup>11</sup> А. В. Дружинин. Александр Петрович Степанов, автор «Постоялого двора». Собрание сочинений, т. 7. СПб., 1865, стр. 728.

не мог говорить хладнокровно о злоупотреблениях со стороны лиц, глядевших на обязанности службы не его глазами»<sup>12</sup>.

«Все вышесказанные особенности,— заключает Дружинин,— соединяясь в одно целое, придавали жизнь даже официальному слогу нового губернатора. Стоит только прочитать одну главу «Описания Енисейской губернии», чтобы совершенно убедиться в справедливости слов наших»<sup>13</sup>.

Сибирское краеведение 30-х годов сделало значительный шаг вперед в изучении жизни и быта не только малых народов Сибири, но и русского населения края. Наиболее значительный труд, посвященный описанию городского быта — купеческого и мещанского, был создан Екатериной Алексеевной Авдеевой-Полевой. Это — «Записки и замечания о Сибири» (1837 г.), в которых дана широкая панорама жизни Иркутска начала XIX в.

Приехав в Сибирь еще в раннем детстве, Е. Полевая прожила здесь около 30 лет. Она унаследовала от отца страсть к чтению и способствовала умственному развитию своего младшего брата Николая, будущего писателя и журналиста. Выйдя замуж за состоятельного купца Авдеева, она неоднократно совершала с ним поездки по Сибири<sup>14</sup>. За эти годы Е. Авдеева великолепно изучила жизнь и быт городского населения Сибири, в особенности представителей купеческого сословия. Но писать она начала позднее, уже расставшись с Сибирью, под влиянием братьев, которые стали к тому времени известными литераторами.

Выпуская в свет свой первый труд, Е. Авдеева считала необходимым подчеркнуть, что ее книга не претендует на всестороннее освещение края: «Чтобы описать всю Сибирь,... надо посвятить на это жизнь свою. Я буду, напротив, говорить только о том, что видела, и не с тем, чтобы попасть в число писательниц. Мне приятно вспомнить о той стране, где прошли лета моей молодости»<sup>15</sup>.

Не претендуя на многое, Авдеева-Полевая тем не менее создала произведение, подкупающее великолепным знанием предмета, простотой, искренностью и каким-то особенным добродушием описаний. Справедливо говорил в предисловии к книге ее брат Ксенофонт Полевой: «Холодный ум, светский взгляд, малейшая изысканность и, если можно сказать, манер-

---

<sup>12</sup> А. В. Дружинин. Указ. соч., стр. 728.

<sup>13</sup> Там же, стр. 729.

<sup>14</sup> Об одной из них Авдеева-Полевая рассказала в очерке «Поездка в Кяхту» (см. «Записки и замечания о Сибири». М., 1837, стр. 82—94).

<sup>15</sup> Е. А. Авдеева-Полевая. Указ. соч., стр. 7.

ность испортили бы тут все... Не система, а простодушие, сила чувства и прелесть предмета составляет достоинство этого сочинения»<sup>16</sup>.

Конечно, обращение писателя ко временам своей юности часто бывает сопряжено с некоторой идеализацией прошлого—этим страдает большинство записок автобиографического характера. Не лишены этого недостатка и записки Авдеевой. Здесь сказывается и односторонность ее суждения о купечестве, образ жизни которого она невольно отождествляет с жизнью своего собственного семейства, а также его непосредственного окружения, между тем как семья Полевых и их друзья составляли лучшую и далеко не многочисленную часть этого сословия. Поэтому есть в книге и доля преувеличения деловой честности купцов: у автора они все без исключения люди добропорядочные, отличающиеся патриархальной чистотой нравов.

Но вместе с тем Авдеевой нельзя отказать в объективности целого ряда наблюдений и характеристик: так, она готова признать, что образованность жителей Иркутска в начале XIX в. была невысокой. «При всей охоте перенимать хорошее и учиться всему изящному,— писала она,— там нет учителей и учительниц танцевания, музыки и пения; нет театров, концертов; даже нет ни одного пансиона или училища для девиц; учатся как кто может, некоторые дома, другие у священников...»<sup>17</sup>.

Лучшие страницы книги — это описание свадебных обрядов, святочных гаданий и ворожбы, празднования масленицы, развлечений на пасху, а также старинного быта, будней и праздников зажиточных семейств.

Характеризуя сибирские нравы, Авдеева всегда отмечает, с одной стороны, их общерусские черты, а с другой — проявление в них местных особенностей. Например, о святочных забавах сказано: «Все это принесено из России; заезжие русские жители сохранили свои обычаи, поверья, обряды, и они поддерживались в самобытной простоте, так что многих коренных русских обычаев нельзя встретить нигде, кроме Сибири и особенно Иркутска»<sup>18</sup>. В то же время, говоря о сибирских свадебных обрядах, писательница обращает внимание на то, что отличает их от общерусских: «...никогда не делали: смотров, как ведется во многих местах России. Почли бы за обиду, если б кто предложил такую невежливость. Иногда делалось

<sup>16</sup> К. П. (олевой). Предисловие издателя к указ. соч., стр. 5.

<sup>17</sup> А. Е. Авдеева-Полевая. Указ. соч., стр. 54.

<sup>18</sup> Там же, стр. 67.

это, но инкогнито; т. е. приглашали невесту куда-нибудь к знакомым в гости, где был жених; однако родители и невеста не знали этого»<sup>19</sup>.

Удивительна наблюдательность и осведомленность писательницы в самых различных сторонах жизни и быта иркутян! Здесь сказывается и ее личный жизненный опыт: судя по всему, она не только сопровождала мужа в его поездках, но и участвовала в его торговых делах. Поэтому она со знанием дела сообщает цены на муку, масло, крупы, на воз сена, на сажень дров однополенных... В книге дается подробный перечень имеющихся в Сибири зерновых, овощей, ягод, цветов, полезных трав, пород деревьев, кустарников, грибов, зверей, птиц, рыб и т. д.

Автор часто останавливает свое внимание на таких деталях местного быта, которые сразу дают почувствовать его особый колорит, своеобразие жизни в этом крае: «простой народ в Иркутске» весной лакомится сосновым соком, выжимками из кедровых орехов, любит жевать серу; в Иркутске продают молоко кругами и кусками; в купеческих домах сортируют белку и вяжут в бунты; многие иркутские женщины пекут сухари для Якутска, Охотска и Камчатки... Авдеева не один раз подчеркивает, что «во всей Сибири живут очень чисто. Полы в домах некрашенные, исключая немногие дома, но их так часто моют, что они кажутся даже палевыми»<sup>20</sup>. А в очерке «Поездка в Кяхту» она говорит, что жители Забайкалья моют не только полы, но и стены и потолок, «и можно сказать, что у них такая чистота, какую найдешь разве в Голландии»<sup>21</sup>.

Книга Авдеевой — одна из тех, которые трудно цитировать: нужно прочитать ее целиком, чтобы охватить все богатство заключенного в ней материала, чтобы почувствовать всю прелесть лучших сторон старого быта, навсегда ушедшего в прошлое.

Достоверность, этнографическая точность, преобладание личных наблюдений над сведениями, почерпнутыми из книг, — характерные черты сибирского краеведения 30-х годов. Реалистическая конкретность этих трудов особенно бросается в глаза, если сравнить их, например, с такой книгой, как «Путевые записки» (1834 г.) Вадима (Пассека), в первой главе которой есть страницы, посвященные Сибири. Автор этой книги, сын радищевца, оказался вместе со своими родителями в сибирской ссылке, и детские годы его прошли в Тобольске. Но,

<sup>19</sup> Там же, стр. 37—38.

<sup>20</sup> Там же, стр. 11.

<sup>21</sup> Там же, стр. 85.

несмотря на непосредственное соприкосновение с Сибирью, Пассек не смог дать сколько-нибудь конкретных описаний этого края: он изображал Сибирь в духе романтических канонов, при этом писал о ней выпяченным слогом типичного романтика, наследника сентиментализма: «Я был младенцем — и предо мной раскрылась дивная книга, полная невыразимого величия, полная гармонических звуков... Эта книга — Природа». И далее: «Как часто, ребенком, я приходил на высокий берег Иртыша — и подо мной катились его кристальные воды; они, кажется, безмятежно покоились на лоне опрокинувшегося неба, — лишь только игравшая рыба порою бросалась из прохладной глубины в раскаленный, безграничный океан воздуха, — и поверхность реки дрожала, и расходилась широкими кругами, и снова засыпала...»<sup>22</sup>.

Что же запомнилось Пассеку из этих времен его детства? Обгорелый дом сибирского воеводы, в котором стоял огромный барабан, обтянутый медью. «Нам рассказывали, что он сбирал своим страшным голосом дружину Ермака и за недостатком пороха заменял вестовую пушку...»<sup>23</sup>

«Ермак был первым героем моих мечтаний! О нем знает в Тобольске каждый ребенок... Как теперь вижу деревянное изваянье Ермака... Этот Ермак стоял в саду, на месте, где были некогда развалины какого-то театра»<sup>24</sup>

«Я помню широкие реки и озера и темные леса Сибири; слышу неумолкаемый крик и свист птиц, которые и ночь и день, длинными вереницами, летят отпраздновать северную весну»<sup>25</sup>.

Как видим из этих двух-трех отрывков (а этим исчерпываются описания Сибири), никаких точно зафиксированных подробностей сибирского быта и природы не сохранилось в памяти автора — только романтические размышления о временах покорения края да самые общие контуры местного пейзажа. И даже отъезд из Сибири завершается эпизодом, выдержанным в духе романтических повестей: на Пассеков чуть не напали разбойники. «...Мы взяли за оружие... курки взведены... сабли наголо — и месяц заиграл на их клинках...»<sup>26</sup>

30-е годы — время дальнейшего развития в литературе Сибири рукописной традиции. Правда, в эти годы большинство писателей-сибиряков уже публикует свои произведения в

---

<sup>22</sup> Путевые записки» Вадима \* (Пассека). М., 1834, стр. 3, 5.

<sup>23</sup> Там же, стр. 6.

<sup>24</sup> Там же, стр. 9.

<sup>25</sup> Там же, стр. 8.

<sup>26</sup> Там же, стр. 9.

Москве и Петербурге, причем не только в журналах, но и отдельными изданиями. Поэтому основная художественная продукция этих лет бытует уже не в рукописной форме, как это имело место на протяжении первых двух десятилетий XIX в., а становится фактом печатной литературы. Однако далеко не все литераторы, живущие в Сибири, имеют возможность печататься в столицах, тем более те из них, которые в своих стихах или заметках выходят за рамки дозволенного цензурой. Они по-прежнему используют рукописные журналы и газеты.

Большое влияние на рукописные издания 30-х годов оказали декабристы. Они подавали пример местным литераторам в использовании рукописной формы для пропагандистских целей, сотрудничали с авторами-сибиряками.

В 1829—1836 гг. в Кяхте издается журнал «Кяхтинский литературный цветник». Параллельно с ним выпускается газета «Кяхтинская стрекоза» (1829—1833 гг.). Инициаторами и редакторами этих изданий являются штаб-лекарь местной таможни А. И. Орлов и инспектор монголо-русской школы известный краевед и литератор В. П. Паршин.

По поводу журнала имеется свидетельство современника, И. П. Кириллова, побывавшего в Кяхте в 1834 г.: «Выбор статей в журнале сем, по мнению знатоков-литераторов, совершенно оправдывает приличное наименование его. Главная цель сих изданий будет состоять в изображении местности кяхтинской в литературном, статистическом, топографическом и этнографическом отношениях»<sup>27</sup>.

Известно, что в «Кяхтинском литературном цветнике» впервые была опубликована поэма Ф. Бальдауфа «Авван и Гайро». Здесь же увидели свет и заметки врача-декабриста Ф. Б. Вольфа о минеральных источниках Забайкалья<sup>28</sup>.

Более подробные данные имеются о газете «Стрекоза». Виньетку для газеты — стрекозу — рисовал ученик Орлова М. И. Пашковский, а Орлов писал свои юмористические заметки на большом листе отличной бумаги и издание его было здесь в ходу<sup>29</sup>. «Стрекоза» распространялась в 60 экземплярах и носила, по-видимому, не столько юмористический, сколько сатирический характер. Во всяком случае, Д. И. Завалишин называет «Стрекозу» «первой попыткой обсуждать явления си-

---

<sup>27</sup> И. Кириллов. Поездка в Кяхту в 1834 г. «Прозанческие сочинения учеников Иркутской гимназии». СПб., 1836, стр. 286—288.

<sup>28</sup> Е. Д. Петряев. Первые газеты и журналы в Забайкалье. «Исследователи и литераторы старого Забайкалья». Чита, 1954, стр. 163.

<sup>29</sup> Там же.

бирской жизни»<sup>30</sup>. О прогрессивной направленности газеты говорит тот факт, что самое непосредственное участие в ней принимали декабристы. Орлов как врач нередко бывал у них в тюрьме Петровского Завода и близко сошелся со многими «государственными преступниками». Они знали о его литературных занятиях, относились к этому одобрительно и активно поддёрживали его газету. О последнем обстоятельстве есть упоминание в записях слов М. А. Бестужева, сделанных М. И. Семевским<sup>31</sup>.

С декабристами была связана и рукописная газета, издававшаяся в Тунке литератором С. И. Черепановым. В своих «Отрывках из воспоминаний» он сам писал о том, что посылал эту газету «в Иркутск — столицу Сибири и в Урик, столицу декабристов, к кн. М. Н. Волконской...»<sup>32</sup>. Черепанов познакомился с декабристами еще в Петровском Заводе, «затем имя его встречается среди лиц, замешанных в дело Лунина, как одного из читателей его политических статей. Так как газетка Черепанова носила сатирический характер, то можно предполагать, что и она выполняла какую-то общественную миссию, хотя бы и в очень скромных размерах»<sup>33</sup>.

В конце 20 — начале 30-х годов в Иркутске выходил рукописный журнал «Домашний собеседник». Его издателем был преподаватель иркутской гимназии Н. И. Виноградский (печатавшийся в столичных и казанских изданиях под псевдонимом Заангарский сибиряк). В этом журнале, кроме стихов, повестей и статей самого Виноградского, помещались произведения его товарищей по гимназии. В. И. Вагин в своих воспоминаниях «Сороковые годы в Иркутске» писал о содержании этого журнала: «Из стихотворений, сколько я помню, были хороши: «Генисаретское озеро» самого Виноградского, «Северный ветер» и «На новый год» Шидловского; в прозе ничего выдающегося не было»<sup>34</sup>. В целом Вагин невысоко оценивает журнал Виноградского как «бесцветный и несерьезный сборник более или менее ребяческих упражнений»<sup>35</sup>. Но, как справедливо замечает Азадковский, Вагин судил о нем с позиций 80-х годов, под углом требований своего времени<sup>36</sup>. Между тем он сам же

<sup>30</sup> См. М. К. Азадковский. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 109.

<sup>31</sup> «Воспоминания Бестужевых», М., 1931, стр. 365.

<sup>32</sup> Цит. по М. К. Азадковскому. Указ. соч., стр. 109.

<sup>33</sup> Там же, стр. 110.

<sup>34</sup> В. И. Вагин. Сороковые годы в Иркутске. «Литературный сборник», изд. редакции «Восточного обозрения», СПб., 1885, стр. 262.

<sup>35</sup> В. И. Вагин. Указ. соч., стр. 262.

<sup>36</sup> М. К. Азадковский. Указ. соч., стр. 109.

отмечал, что «общество интересовалось газеткой и она читалась очень усердно»<sup>37</sup>. По-видимому, это объяснялось не только тем, что иркутское образованное общество не имело других местных изданий, но также и тем, что в «Домашнем собеседнике» так или иначе отражались общественные настроения и литературные интересы времени. Как замечал сын писателя, В. Н. Виноградский, журнал «служит примером, как приятно могли проводить время, с каким увлечением следили за развивающейся литературой пушкинского периода»<sup>38</sup>.

В числе рукописных изданий 30-х годов Е. Д. Петряев называет также журнал иркутских гимназистов «Вечера досуга» (1838 г.) и журнал «Метляк», издававшийся в Верхнеудинске тем же А. И. Орловым и ставший своеобразным продолжением «Стрекозы» (1839—1840 гг.)<sup>39</sup>.

К сожалению, тексты рукописных изданий 30-х годов не сохранились, и о них можно судить лишь по косвенным свидетельствам. И все же нельзя не увидеть в них одно из средств выражения общественных настроений, один из каналов, по которому осуществлялась связь общественности с декабристами.

Наиболее крупным вкладом писателей-сибиряков в общерусскую литературу 30-х годов явилась романтическая проза, пришедшая на смену романтической поэзии предшествующего десятилетия. Именно 30-е годы стали временем зарождения сибирской беллетристики. Основоположителем ее по праву можно считать Николая Алексеевича Полевого, автора первой сибирской повести «Сохатый» (1830 г.)<sup>40</sup>. Полевой сумел этим произведением привлечь внимание русского читателя к Сибири и своим личным примером убедил многих литераторов в том, что сибирская действительность может служить богатным материалом для художника-романиста.

Почин Н. Полевого был подхвачен и развит целой плеядой писателей Сибири. Среди них наиболее заметными были И. Калашников, Н. Щукин, Н. Бобылев. Под влиянием Полевого родился сборник «Прозаические сочинения учеников иркутской гимназии» (СПб., 1836), составленный преподавателем

<sup>37</sup> В. И. Вагин. Указ. соч., стр. 262.

<sup>38</sup> «Записки В. Н. Виноградского». «Русская старина», 1916, т. 167, № 10, стр. 441.

<sup>39</sup> Е. Д. Петряев. Рукописные журналы в старой Сибири. «Вопросы фольклора». Томск, 1965, стр. 151.

<sup>40</sup> Н. Полевой. Сохатый. (Сибирское предание). «Денница». Альманах на 1830 г., изданный М. Максимовичем, М., 1830, стр. 172—249.

<sup>41</sup> См. об этом в кн. Г. Кунгурова «Сибирь и литература» (Иркутск, 1965, стр. 85—94).

русского языка И. Поликсеньевым<sup>41</sup>. Откровенно подражал Полевому (хотя и безуспешно) И. Савинов, написавший коротенькую повесть «Сохатый»<sup>42</sup>. Следы влияния Полевого можно обнаружить и в творчестве самого известного из сибирских поэтов первой половины XIX в. — П. П. Ершова. Прав был Щукин, сказавший в предисловии к своей повести «Ангарские пороги», что «Сохатый» Н. А. Полевого «был знаменем литературного восстания сибиряков»<sup>43</sup>.

Азадовский, комментируя эту мысль, утверждал, что Щукин «имел в виду прежде всего стремление автора сломать старые штампы, развеять прежние представления о Сибири и показать ее в новых очертаниях — показать ее в светлых и радостных тонах и раскрыть в быту ее обитателей подлинные и высокие человеческие переживания»<sup>44</sup>.

В самом деле, произведения писателей-сибиряков были полемически заострены против неверных представлений о Сибири. Вслед за Полевым сибирские художники восторженно описывали красоты местной природы, особенно охотно останавливаясь на картинах весеннего и летнего пейзажа. Они любовно изображали черты сибирского быта, русского и «инородческого», идя в этом отношении значительно дальше Полевого. Романы И. Калашникова «Дочь купца Жолобова» (1831 г.), «Камчадалка» (1832 г.), повесть «Изгнанники» (1834 г.), а также замечательные романтико-этнографические произведения Н. Бобылева «Чингисов столб» (1838 г.), «Джарго аега» (1839 г.), «Белый месяц» (1840 г.), «Сибирские скиццы» (1841 г.) содержали многочисленные сведения по географии, этнографии и общественной жизни Сибири. Даже те из критиков, которые не признавали за Калашниковым достоинств романиста, с уважением отзывались о его правдивых и увлекательных описаниях сибирской природы и быта местных народностей.

Последователи Н. Полевого ставили в центре своих произведений представителей купечества или служилой интеллигенции. Причем, как правило, конфликт в этих повестях и романах приобретал суровый, драматический характер, сопровождался жестокими страданиями, а порой и гибелью главных героев. Вместе с тем писатели прославляли лучших представителей сибирского купечества — отважных путешественников, открывавших новые земли и морские пути.

---

<sup>42</sup> Ив. С(а в и н о)в. Сохатый. «Северное сияние». Альманах на 1831 г. М., 1831, стр. 113—131.

<sup>43</sup> Н. Щ у к и н. Ангарские пороги. СПб., 1835, стр. 1.

<sup>44</sup> М. К. А з а д о в с к и й. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 86.

Несколько слов во вступительной главе «Сохатого» о сибирской ссылке воплотилось в серьезно разработанную тему ссылки у последователей Полевого. При этом писатели-сибиряки описывали не уголовных ссыльных, а тех, кто пострадал за свои убеждения или за поступки, совершенные под влиянием «страсти». Судьба этих «несчастных» вызывала у авторов глубокое сочувствие и наводила читателей на раздумье о том, что среди ссыльных было немало достойных людей, гонимых несправедливыми правителями. Эта мысль звучала особенно актуально в годы, когда Сибирь была местом ссылки лучших людей своего времени — декабристов.

Правда, большинство из авторов этих произведений не обладало крупным дарованием, придерживалось в своем творчестве многих романтических штампов. Даже сама повесть «Сохатый» была далеко не совершенной. Писатели-сибиряки этих лет не отличались широтой кругозора и не могли преодолеть влияния провинциальной среды, ограничивавшей их представления о мире. Но тем не менее они внесли определенную лепту в развитие местной литературной жизни и обогатили русскую литературу мотивами сибирской действительности. Они сумели в известной степени отразить, как преломлялись в условиях Сибири общерусские социальные противоречия.

«Впервые в русской литературе Сибирь получала более или менее подлинные конкретные очертания, и уже после них был нелепым возврат к прежним общим и отвлеченным художественным трактовкам страны. Историческое значение этого первого выступления сибиряков в литературе тогда же было учтено современниками; и именно в связи с этим периодом и этими произведениями был употреблен впервые термин «сибирская литература...»<sup>45</sup>.

#### НИКОЛАЙ ПОЛЕВОЙ И ЕГО ПОВЕСТЬ «СОХАТЫЙ»

Среди представителей русского романтизма одно из почетных мест занимает Николай Алексеевич Полевой (1796—1846 гг.). Его исторические романы и драмы имели при жизни писателя значительный успех, и слава их померкла только с выходом на литературную арену Гоголя. Но значение Н. Полевого в истории русской литературы не ограничивалось только его художественными произведениями. Оно определялось в первую очередь его деятельностью журналиста и критика, редак-

<sup>45</sup> М. К. Азадовский. Литература сибирская. ССЭ, т. 3, стб. 172.

тора передового для своего времени журнала «Московский телеграф» (1825—1834) гг.). В. Г. Белинский, достаточно высоко оценивая литературные дарования Н. Полевого, усматривал его основное призвание именно в области журналистики. Он считал «Московский телеграф» «явлением необыкновенным во всех отношениях», резко выделявшимся на фоне безжизненной журналистики конца 20 — начала 30-х годов. Этот журнал, по словам Белинского, «с первой же книжки изумляет всех живостию, свежестию, новостию, разнообразием, вкусом, хорошим языком, наконец, верностию в каждой строке однажды принятому и резко выразившемуся направлению»<sup>46</sup>.

Основным достоинством «Московского телеграфа» В. Г. Белинский считал его прогрессивность:

«Первая мысль, которую тотчас же начал он (Полевой) развивать с энергиею и талантом, которая постоянно одушевляла его, была мысль о необходимости умственного движения, о необходимости следовать за успехами времени, улучшаться, идти вперед, избегать неподвижности и застоя, как главной причины гибели просвещения, образования, литературы. Эта мысль, теперь общее место даже для всякого невежды и глупца, тогда была новостью, которую почти все приняли за опасную ересь. Надо было развивать ее, повторять, твердить о ней, чтобы провести ее в общество, сделать ходячею истиною. И это совершил Полевой!»<sup>47</sup>.

Историки русской литературы довольно полно осветили творческую деятельность Н. Полевого. Однако они, по существу, обошли такой важный аспект этой деятельности, как связь Полевого с Сибирью и его роль в развитии местной беллетристики. В солидной монографии Н. К. Козмина «Очерки из истории русского романтизма», посвященной Н. А. Полевому, содержится лишь короткое упоминание о сибирской тематике в журнале «Московский телеграф»<sup>48</sup>, а сибирская повесть Н. Полевого «Сохатый» названа только в библиографическом списке его произведений<sup>49</sup>. Думается, что это было следствием односторонности дореволюционного литературоведения, как правило, проходившего мимо таких явлений, как связь литературы центра с литературной жизнью обширной русской провинции.

---

<sup>46</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 687.

<sup>47</sup> Там же.

<sup>48</sup> Н. К. Козмин. Очерки из истории русского романтизма. Н. А. Полевой как выразитель литературных направлений современной ему эпохи. СПб., 1903, стр. 53—54.

<sup>49</sup> Там же, стр. 548.

Между тем еще в 30-е годы прошлого века немецкий литературовед Генрих Кениг в своей книге «Literarische Bilder aus Russland» (1837), отметил большое значение Полевого в развитии литературы Сибири:

«В одной из своих первых повестей он впервые в русской литературе изобразил природу Сибири и жизнь ее обитателей. Повесть эта, хотя и не может быть названа прекрасною, имела однакож столько силы, что способна была вызвать за собой целую сибирскую литературу. Куперы и Ирвинги являлись дюжинами»<sup>50</sup>.

Однако то, что бросилось в глаза иностранному исследователю (впрочем, решающую роль, по-видимому, в этом сыграл его соавтор Н. А. Мегульников, большой знаток русской литературы), осталось без внимания вплоть до советского времени. В конце 1920-х годов и позднее мысль, высказанную Г. Кенигом, поддержал и развил М. К. Азадовский<sup>51</sup>. Однако этот крупный исследователь литературы Сибири не был, собственно, поддержан другими литературоведами. В книге «Николай Полевой. Материалы по истории литературы и журналистики в тридцатых годах» (Л., 1934) редактор и автор вступительной статьи В. Орлов совершенно обошел сибирскую тему в творчестве Н. Полевого. И даже в работе В. Е. Евгеньева-Максимова и В. Г. Березиной «Николай Алексеевич Полевой», изданной в Иркутске (1947 г.), не освещена роль Полевого как автора «Сохатого». Исследователи ограничились лишь тем, что процитировали отрывок из романтического предисловия автора к этому произведению. Впрочем, они довольно подробно осветили сибирский период жизни Полевого, родившегося в Иркутске, проследив тем самым истоки его литературных и научных интересов.

Вкратце остановимся на этом периоде и мы.

С Сибирью были связаны детство и ранняя юность Н. Полевого. Отец его, курский купец, провел ряд лет в Сибири, состоя на службе в Российско-Американской торговой компании. Несмотря на то, что ко времени рождения будущего писателя он уже не был богат «и жил весьма скромно», «гостей всегда бывало у нас много, — писал впоследствии Н. Полевой, — весь город знал, любил и уважал его, с ним приходили совето-

---

<sup>50</sup> Г. Кёниг. Очерки русской литературы. СПб., 1862, стр. 217.

<sup>51</sup> М. К. Азадовский. Сибирская литература. К истории постановки вопроса. «Сибирский литературно-краеведческий сборник», № 1. 1928, стр. 1—17; Он же. Литература сибирская. ССЭ, т. 3 стб. 170—172; Он же. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 5—7, 72—78, 83—86.

ваться, к нему шли мириться. Губернатор приезжал к нему запросто и требовал, чтобы он оставался в своем халате. Все, что только являлось в Иркутске замечательного, каждый путешественник посещал отца моего»<sup>52</sup>.

Николай Полевой в автобиографии, а также его брат Ксенофонт в «Записках о жизни и сочинениях Н. А. Полевого» с восхищением отзывались о своем отце. Ксенофонт говорил о нем как о человеке необыкновенном, редком по возвышенности души и силе ума. «Он провел всю жизнь свою в трудах, борясь с тем, что называют люди несчастием, но всегда находил время читать, мыслить, рассуждать о всех важных для человека вопросах»<sup>53</sup>.

Даже язвительный Ф. Вигель в своих «Воспоминаниях» отдал дань уважения Алексею Евсеевичу Полевому:

«Европейской политикой он занимался гораздо более, чем азиатской своей торговлей. В нем была заметна склонность к тому, чему тогда еще не было имени и что ныне называют либерализм...»<sup>54</sup>

Этот либерализм, живой интерес к политике, эта страсть к чтению в сочетании с неподдельной гуманностью и жизненной энергией были воспитаны отцом у своих детей, и основным наследником отцовских достоинств стал наиболее одаренный из сыновей — Николай.

Немалое влияние на детей оказала и мать, страстная любительница чтения, женщина чуткой и нежной души. «Впоследствии знал я женщин самой высокой образованности и, сравнивая с ними мать свою, изумляюсь, как она постигала простым чувством то, чего другие достигают только образованною светскою жизнью!»<sup>55</sup>

Хотя образование, полученное в родительском доме, было лишено строгой системы, Николай Полевой уже в юности уяснил для себя направление своих интересов: литература и искусство, история и политика. Его не интересовала торговая деятельность, которой ему приходилось заниматься с 10 лет, но зато влекло литературное творчество и журналистика: уже в детстве он издавал рукописные газеты и журнал для семейного круга.

---

<sup>52</sup> Николай Полевой. Автобиография. «Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов». Л., 1934, стр. 82.

<sup>53</sup> Ксенофонт Полевой. Записки о жизни и сочинениях Н. А. Полевого, там же, стр. 97.

<sup>54</sup> Ф. Вигель. Воспоминания, ч. II. М., 1892, стр. 165.

<sup>55</sup> Ксенофонт Полевой. Указ. соч., стр. 103.

В эти годы Николай Полевой жил прежде всего в мире книжных интересов. И тем не менее окружающая его сибирская действительность, многочисленные посетители их дома, своеобразная природа Сибири не могли не повлиять на живое воображение мальчика. Не случайно позднее, работая над повестью «Сохатый» (1830 г.), писатель возвращался мыслью к годам своего детства и с восторгом и с болью писал о Сибири, которую он не забыл, несмотря на многие годы разлуки с ней.

Как уже известно, в первом десятилетии XIX в. в Иркутске с особой напряженностью развернулась борьба между купечеством и царской администрацией. Надо полагать, что такой активный и отзывчивый человек, каким был отец Полевого, не мог стоять в стороне от этой борьбы.

Именно здесь, в этой сложной обстановке детства и юности Полевого, следует искать корни его сибирефильства, а также его приверженности интересам сибирского купечества, которые он позднее неумолимо защищал на страницах «Московского телеграфа».

По приезду в Москву в 1811 г. Полевой столкнулся со всеми уродствами, порожденными крепостничеством. Воспитанный в духе либеральных и вольнодумных идей, начитанный в самых различных областях науки и политики, увоивший наставления своих учителей — ссыльного поляка Горского и бывшего князя В. Н. Горчакова, Полевой враждебно относился к крепостному праву и дворянству. Он энергично защищал капиталистическое развитие России, отстаивая расширение прав для буржуазии, в том числе и для сибирской.

«Потому-то интерес к Сибири Полевого имел не только личные корни, но и общественные, носил принципиальный характер. Он с особой охотой печатал в своем журнале «Письма из Сибири» Словцова; он не соглашался с автором в отдельных частностях, но ему было близко и дорого отношение Словцова к сибирской буржуазии или, как говорил сам Словцов, «к сынам знаменитого сибирского купечества», которым он и посвящал свои «Письма»<sup>56</sup>.

Конечно, интерес Полевого к Сибири остался бы втуне, если бы это не отвечало настроениям русского общества тех лет. Сибирь приковывала к себе внимание «среднего класса», на который и ориентировался Полевой в первую очередь. Поскольку для большинства русских читателей Сибирь оставалась, что называется, грамотой за семью печатями, Полевой считал своим прямым долгом знакомить русскую публику с

---

<sup>56</sup> М. А за до вс к и й. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 76.

родным для него краем, преодолевать предубеждение против Сибири, основанное на неведении. В своей рецензии на «Письма из Восточной Сибири» А. Мартоса Полевой писал:

«Сожалею также, что автор своим взглядом на Сибирь может укоренить старый предрассудок. Зачем смотреть на Сибирь, как на новую Голландию? Сибирь та же Россия и мы, кажется, не дети, живем не в XVI столетии. Нравы сибиряков, образ жизни, степень просвещения такие же, как в Великой России; может быть, даже перевес просвещения и вообще хорошего быта на стороне сибиряков. Рецензент — сам природный сибиряк и знает это не понаслышке»<sup>57</sup>.

Полевой стремился преподнести своим читателям самые обширные сведения о различных областях России. Когда же речь заходила о Сибири, он не ограничивался ролью просветителя, но становился страстным пропагандистом. Среди сибирских материалов, опубликованных в журнале, были: описание Енисейской губернии, замечания о земледелии на Камчатке, статьи о кяхтинской торговле, описание достопримечательностей и окрестностей Тобольска, рассказ о путешествии в Китай через Монголию и многое другое. В журнале рецензировались многие книги о Сибири: «Записки о Монголии» и «Описание Джунгарии» отца Иакинфа (Бичурина), повесть Ф. Алексеева «Чика», «Отрывки о Сибири» Геденштрама; роман В. Ушакова «Киргиз Кайсак», роман И. Калашникова «Дочь купца Жолобова», стихотворение «Шебутуй» А. Марлинского, трагедия Хомякова «Ермак», «Поездка к Ледовитому морю» Фр. Белявского, «Поездка в Якутск» Н. Шуккина, «Стихотворения» И. Петрова<sup>58</sup>.

В «Московском телеграфе» публиковались и художественные произведения о Сибири, в частности: «Письмо к доктору Эрману» А. Марлинского, роман В. Ушакова «Киргиз Кайсак», отрывок из романа И. Калашникова «Дочь купца Жолобова». Полевой напечатал былинку об Илье Муромце, записанную им в Сибири. Но этот раздел сибиряки был представлен все же слабее, так как художественная беллетристика Сибири только зарождалась, а «Московский телеграф» отбирал произведения для публикации достаточно строго.

Полевой постоянно боролся за максимальную точность сведений о Сибири, охотно публиковал статистические материалы, в своих рецензиях нелюбезно указывал авторам

<sup>57</sup> «Московский телеграф», 1827, ч. XVI, стр. 270.

<sup>58</sup> Перечень статей и рецензий о Сибири, опубликованных в «Московском телеграфе», приведен М. Азадовским в кн. «Очерки литературы и культуры Сибири», стр. 74—75.

на их ошибки, обнаруживая при этом исключительную осведомленность в самых различных областях сибирской действительности.

В выступлениях по сибирским вопросам Полевой придерживался общей своей программы — он отвоевывал позиции для молодого, полного сил класса, идущего на смену дворянству. Но вместе с тем его программа была достаточно широкой, чтобы встретить сочувствие не только у буржуазии, но и в среде передовой разночинной интеллигенции. Полевой, «будучи честным человеком и действуя как честный писатель, со всею силой своего незаурядного публицистического пафоса обрушивался на «горделивое полуневежество», «смешное самохвальство», «квасной патриотизм»<sup>59</sup>.

Преодолевая привычные представления, раскрывая глаза на все новое в стране и за рубежом, идя постоянно вровень с веком, Полевой, не став революционером, тем не менее по-своему разрушал «умственные бастилии». Именно поэтому его приветствовали Белинский, Герцен, Чернышевский.

А. Бестужев-Марлинский писал Полевому с Кавказа: «О, я много обязан Телеграфу, рука на сердце, много! Кроме сведений обо всем самотекущем, обо всем созидающемся—сколько раз в полустранице кидался я на кровать и с горьким упреком самому себе мыслил — вот так творят другие... вот что сделали другие, вот каким должно быть поэту... а ты?!... и плакал — и снова читал и снова плакал. Не много слез ронял я — я солдат; много зато черпал чувств и мыслей!..»<sup>60</sup>.

Естественно, что журнал должен был возмущать и возмущал тех, кто олицетворял вчерашний день,— «литературных аристократов», представителей консервативного дворянства, близоруких обывателей. «И было из-за чего сердиться на этот журнал: нет возможности пересчитать все авторитеты, уничтоженные им!»<sup>61</sup>.

В 1830 г., в период расцвета своей журналистской деятельности, Н. Полевой опубликовал в альманахе М. Максимовича «Денница» повесть «Сохатый». Однако произведение не вызвало широкого отклика в литературных кругах Москвы и Петербурга. Объяснялось это отчасти тем, что в пору опубликования повести альманахи были решительно вытеснены из литературного обращения журналами. «Попытки оживить

---

<sup>59</sup> В. Орлов. Николай Полевой—литератор 30-х годов. «Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов», стр. 36.

<sup>60</sup> ЦГАЛИ, ф. 416, оп. 1, л. 1.

<sup>61</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 687—688.

альманах, вернуть его на утраченные им позиции, обратно в «высокую» литературу (см., например, альманахи, издававшиеся кружком Ранча, «Денницу» Максимовича и некоторые другие) успеха не имели»<sup>62</sup>. Между тем глава передовой журналистики 30-х годов опубликовал свое произведение именно в альманахе, и это предельно сузило круг его читателей. Более того, в этом «кругу немногих» вряд ли могло вызвать сочувствие произведение, вполне отвечающее антидворянским воззрениям автора<sup>63</sup>.

Но дело, разумеется, было не только в этом. Повесть «Сохатый», будем говорить прямо, не принадлежала к числу наиболее удачных произведений Полевого. В ней он отдал щедрую дань романтическим условностям и штампам и обратился к материалу, который далеко не во всем был ему хорошо знаком. Так, о сибирских разбойниках, руководимых Сохатым, он знал лишь понаслышке. Уже в годы детства Полевого события, связанные с действиями разбойников, уходили в прошлое и были окружены многочисленными легендами. Поэтому в повести есть надуманные и наивные места, словно навеянные чужими литературными образцами.

Элементы книжности ощущаются и в основном конфликте произведения — в описании борьбы между коварством иркутского коменданта барона фон Шперлинга и любовью его племянницы Амалии к незнатному офицеру Флахсману.

И все же мы не разделяем точку зрения М. Азадовского, который настойчиво подчеркивает, что «Сохатый» написан под влиянием немецких повестей о разбойниках и что описание разбойников прямо-таки выхвачено из них. «Порою кажется даже, — пишет М. Азадовский, — что эта повесть, просто-напросто, переведена с немецкого»<sup>64</sup>.

Конечно, следы этого влияния есть. Оно проявляется даже в таких деталях, как немецкие имена не только дядюшки коменданта, но и молодых людей, Амалии и Флахсмана, хотя о Флахсмане и сказано, что он «немец только по имени, русский душою, молодой офицер»<sup>65</sup>. Это имя вызывает недоуме-

---

<sup>62</sup> В. Орлов. Указ. соч., стр. 39.

<sup>63</sup> В журнале «Галагея» (1830, ч. XIII, № 15, стр. 175—187) был опубликован за подписью «К...ъ Г...въ» резко отрицательный отзыв о повести Н. Полевого. Автор отзыва отказывал Полевому в каких бы то ни было достоинствах и как писателю, и как журналисту. Это было выступление с враждебных позиций, продиктованное ненавистью к издателю «Московского телеграфа».

<sup>64</sup> М. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 85.

<sup>65</sup> Н. Полевой. Сохатый. (Сибирское предание). «Денница». Альманах на 1830 г, изданный М. Максимовичем. М., 1830, стр. 172—249.

ние, поскольку не имеет решительно никакого значения для развития действия. Более того, оно лишает читателей возможности «узнавания» образа, ибо вряд ли им приходилось часто сталкиваться с таким несоответствием.

Но при всех недостатках повести нам представляется, что в ней все же больше достоинств, чем это отмечено у Азадовского. Да, действительно, Полевого можно похвалить за «проникнутые глубоким лиризмом картины сибирского пейзажа, которыми открывается повесть», за то, что «Сибирь здесь впервые была представлена не как страна «мрака и холода», но как чудесная, цветущая страна, как «мир очарований» и источник светлых и радостных переживаний»<sup>66</sup>. Прав Азадовский и в том, что «Полевой устанавливал в этой повести новую точку зрения не только на сибирскую природу, но и на сибирский быт, на сибирское общество. Он рассказывает в ней о заселении Сибири, о первых поселщиках, о ссылке и о том, как «изгнанники в Сибири часто становятся добрыми гражданами»<sup>67</sup>. Однако все эти похвалы исследователя относятся, по существу, только к первой главе повести, которая является лишь вступлением к повествованию. А само повествование? Оно, получается по Азадовскому, все «совершенно чуждо подлинной сибирской жизни», все — будто перевод с немецкого.

Это, конечно, несправедливо. Трудно тогда понять, почему же именно «Сохатый» пробудил к жизни беллетристику в Сибири? Ведь и до Полевого было немало произведений, посвященных сибирской тематике. В частности, только за год до «Сохатого» был опубликован роман В. Ушакова «Киргиз Кайсак». Но все эти произведения, оказав определенное влияние на развитие местной литературы, тем не менее не сыграли такой значительной роли, как «Сохатый». Почему? Неужели сколок с шаблонных немецких повестей о разбойниках мог с такой силой разбудить общественное самосознание сибиряков и заставить обратиться к перу целую плеяду романистов?

Думается, что «Сохатый» имел привлекательные черты, которые должны были завоевать ему симпатии литераторов Сибири и даже заставить их простить автору многие его слабости.

Прежде всего основной конфликт произведения, на наш взгляд, вполне отвечает идейным позициям Полевого: писа-

---

<sup>66</sup> М. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 85.

<sup>67</sup> Там же, стр. 86.

тель последовательно развенчивает представителя старого дворянства, иркутского коменданта, с его приверженностью к давно отжившим понятиям фамильной чести. При этом автор использует испытанное оружие — иронию.

Барон фон Шперлинг, аккуратный до педантизма, неспособный, не выкурив четырех трубок, ни о чем думать, решает, что «Амалии надобно быть: 1-е за Лифляндцем; 2-е за Бароном; 3-е за таким человеком, который прибавил бы к своему имени имя Шперлинга»<sup>68</sup>.

«Добрый барон,— восклицает Полевой,— пеньковая трубка в человечестве! Ты забыл многое, не знал многого, да и кто же придумал бы все, что мы теперь расскажем!»<sup>69</sup>

Автор не оставляет своего иронического тона по адресу барона на протяжении всей повести. Он не устает подчеркивать ограниченность этого человека, пустоту его души, неспособность понимать не только окружающую жизнь, но и чувства самого близкого ему человека—Амалии. Когда Флахсман согласился служить в Сибири, чтобы быть рядом с Амалией, барон задумался: «Чего он ищет своею службою?» И догадался: «Уж не любовь ли это? Тут начал он думать: что бишь такое любовь? Взял старую энциклопедию, отыскал слово: Liebe и прочитал все признаки любви. Он испугался, увидя, что любовь делает чудеса и ведет к великим глупостям»<sup>70</sup>.

В ходе событий барон непрерывно строит козни любящим молодым людям, и только в конце они побеждают его тем же оружием — хитростью. После этого дядюшка примиряется с их браком и успокаивается на том, что сын Флахсмана и Амалии все-таки присоединит к своему имени имя Шперлинга. Он сказал: «Родословная дело важное; но если при этом еще вмешивается любовь, оно вдвое делается важно». Фраза была довольно несвязана, и, может быть, потому барон сопровождал ее густым облаком табачного дыма»<sup>71</sup>.

Эта благополучная концовка, конечно, сгладила остроту конфликта, описанного в повести, ослабив общее впечатление от нее. И все же нельзя не видеть, что Полевой в этом произведении лишний раз выразил свое отрицательное отношение к консервативному дворянству.

Все симпатии автора на стороне молодых людей. Незнатный офицер Флахсман изображен как человек скромный, исполненный чувства собственного достоинства, глубоко верный

<sup>68</sup> Н. Полевой. Сохатый, стр. 193.

<sup>69</sup> Там же.

<sup>70</sup> Там же, стр. 204.

<sup>71</sup> Там же, стр. 249.

своей любви. Оклеветанный, подозреваемый в убийстве сельского священника, который в свое время предал его, Флахсман отказывается отвечать на вопросы властей ради чести Амалии, несмотря на то, что это еще более усугубляет его вину. С некоторой долей романтизации переданы в повести его ответы на допросе:

«— Какого рода были ваши с ним (священником) отношения?

— Этого не скажу я никому.

— Что побудило вас выйти в отставку?

— Этого вы не узнаете никогда»<sup>72</sup>.

Полевой противопоставляет честного Флахсмана не только интригану барону, но и тем представителям светского общества, которые добивались руки Амалии, считавшейся богатой наследницей. О них Амалия думает как о «подвижных куклах в военных и статских мундирах» и мечтает о том, чтобы, наконец, появился «Он».

Гуманизм Флахсмана проявляется и в его отношениях с Сохатым. Для него, как и для Амалии, любой человек, даже отпетый преступник, достоин участия. Поэтому он подал воды Сохатому, когда тот, закованный в цепи, изнемогавший от голода и жажды, был доставлен к иркутскому коменданту. Позднее, сам став пленником Сохатого, Флахсман испытал на себе всю силу благодарности этого, казалось бы, совершенно очерствевшего человека. Сохатый не только отпустил его с миром, но и освободил сопровождавшего его жандарма, так как расправа с жандармом могла бы погубить и самого Флахсмана.

Эта ситуация может показаться надуманной. Но не потому, что она ложна в своей основе, а потому, что Полевой, нарушая логику характера Сохатого, заставляет его изъясняться сентиментально-напевными фразами:

«Я не смею поцеловать твоей ручки, потому что кровь неповинная запеклась на мне, и я осквернил бы тебя своими нечистыми устами. Да как ты зашел сюда? Как тебя, дорогого гостя, я нахожу на моем пепелище?»<sup>73</sup>

Это, конечно, фальшь.

Пройдет всего несколько лет, и подобная ситуация с необыкновенной правдивостью будет разработана Пушкиным в «Капитанской дочке». Там молодой офицер окажется в руках Пугачева и спасется от смерти только потому, что некогда по-

---

<sup>72</sup> Там же, стр. 224.

<sup>73</sup> Там же, стр. 232.

жертвовал Пугачеву заячий тулуп. Как и Флахсман, Гринев будет вести себя среди пугачевцев с большим достоинством, но и с сочувствием к главарю этих людей. Конечно, нет никаких оснований говорить здесь о каком-либо заимствовании, — в конце концов, сходные сюжетные ситуации могут привлекать художников совершенно независимо друг от друга; важно другое: Полевой, использовавший такой сюжетный ход, вовсе не заслуживает быть зачисленным в последователи немецкой романтической повести.

Гуманная позиция автора в трактовке темы разбойничества — одно из несомненных достоинств повести. Уже в самом начале ее, описывая пленного Сохатого, Полевой заставляет читателя проникнуться сочувствием к нему, несмотря на то, что во вступительной части сказано, что «из всех отчаянных голов, которых память осталась в народном предании, никто не страдал столько за свое время, как Буза и Сохатый»<sup>74</sup>.

Автор вкладывает в уста Амалии страстный монолог в защиту страдающего преступника:

«Кто знает глубину души человеческой? Может быть, Сохатый был сначала жертвою несчастной слабости, и только жестокость ваших судей сделала его нераскаянным злодеем; но и в злодейской душе всегда еще остается след Божьего образа, как среди ночной тьмы светят звезды, хотя и нет солнца...»<sup>75</sup>

И позднее слова Амалии подтверждаются: Сохатый оказывается настолько благородным разбойником, что отпускает ненавистного ему жандарма и решает добровольно отдать себя в руки властей.

Как ни сентиментальны многие излияния Сохатого, все же в них содержится серьезная и верная мысль: не по врожденной склонности к преступлению стал Сохатый разбойником, — к этому вынудили его сами люди, жестокие, полные злобы.

Характерно, что речи Сохатого звучат то просто и правдиво, то выпренно-романтически: чувствуется, что здесь в художнике борется романтик и реалист. И в последних словах Сохатого, обращенных к Флахсману, реалист все-таки торжествует:

«За все это налагаю я на тебя, Ваше благородие, обязательство. Послушай: в эту зиму я ворочусь в Иркутский острог. Полно, будет с меня! Если ты вспомнишь мое добро, то вели захлестнуть меня с одного раза — не мучьте меня: од-

<sup>74</sup> Там же, стр. 181.

<sup>75</sup> Там же, стр. 188.

ного только прошу!.. Да когда приведет тебя бог на святую Русь, отыщи там старика.. Но нет, нет! Не отыскивай, не говори никому... Поезжай с Богом!..»<sup>76</sup>.

Борьба «двух начал» пронизывает, вообще говоря, всю повесть. Зачин ее — громкое и восторженное восхваление Сибири — «золотого дна», казалось бы, должен был определить основную интонацию всего произведения — романтически приподнятую, лирически возвышенную. Однако уже в этот страстный авторский монолог вторгаются совсем иные тональности — личные воспоминания об Иркутске, о тех местах за городом, близ старой разрушенной мельницы, где в Ангару вливается Ушаковка и где река «раздвояется островом». Раньше напротив этого места было старое адмиралтейство, здесь жил отец, здесь промелькнули детские годы — в чтении Плу-тарха, в мечтах о величии.

«Там, говорят, все изменилось: старый отцовский дом не существует; добрых людей, которые некогда собирались в нем, разнесла буря жизни, и меня — беспечного юношу — увела судьба далеко от родины...»<sup>77</sup>

Это уже более интимная, негромкая интонация, которая переходит в спокойное раздумье о Сибири, о ее прошлом и настоящем.

Эти две интонации постоянно перемежаются в повести. То Полевой раздражается страстными тирадами, то пишет с легкой иронией. Порой он с романтическим преувеличением восхваляет Сибирь, отдавая предпочтение ей даже перед цветущим Крымом, воспеваает эти «мрачные леса, дикие горы, бесконечные степи, морям подобные реки, десять солнцев на небе зимой, знойность лета сибирского...»<sup>78</sup>. То с удивительной простотой и конкретностью видения пишет: «С вечера началась погода, разыгрывалась и разыгралась, как свободный зверь в лесах сибирских. В полночь ветер завыл, словно голодный волк, загремел, как гром на Хамар-Дабане...»<sup>79</sup>

Отсутствие стилового единства объясняется не только двойственностью, характерной для творческого сознания Полевого, но еще и незрелостью его мастерства, присущей ему в пору написания «Сохатого». Зачастую повествование у него отличается какой-то торопливостью, иногда поверхностностью, лишено подлинного психологизма. Попытки писателя раскрыть переживания своих героев «изнутри», как правило, не-

<sup>76</sup> Там же, стр. 240—241.

<sup>77</sup> Там же, стр. 176.

<sup>78</sup> Там же, стр. 197.

<sup>79</sup> Там же, стр. 214—218.

удачны. Автор использует для передачи психологических состояний трафаретные, стершиеся фразы: «Холодность Флахсмана подтаяла от тихого огня любви... Хаос души Флахсмановой слышал небесную гармонию любви»<sup>80</sup>.

Более точно запечатлены душевные движения героев в их поступках или словах. Очень зримо выписана, например, сцена в разбойничьем стане, когда Флахсман уговаривает Сохатого отпустить на волю жандарма:

«—... Ну, делать нечего...— Сохатый остановился, сжал крепко кулак, ударил себя в лоб и подошел к бедному полицейскому офицеру.

— Эй, ты, кислая шерсть! Вставай: Сохатый говорит тебе!.. Выменяй образ вот этого господина офицера: я — отпускаю тебя!

Со всюю низкой подлостью полицейский повалился в ноги разбойнику.

— Эдакий мерзавец! — вскричал Сохатый. — Утащите его в телегу, но не троньте ни волоса»<sup>81</sup>.

Однако простота и безыскусственность речи опять-таки изменяют Полевому, когда он пытается передать мимику героя. Он снова здесь пользуется стандартными, «близлежащими» фразами: «И Флахсман обнял со слезами Амалию, у которой щеки вспыхнули, как розы!»<sup>82</sup>.

Портретные характеристики в повести отличаются предельной скупостью («Уродливая, красная рожа в полицейском мундире...»), а чаще всего отсутствуют. Исключение составляет портрет Амалии, который, впрочем, крайне банален (голубые глазки, розовые щечки и т. п.). Образ Амалии, отмеченный печатью сентиментализма, вообще бледнее других. Амалия бездейственна, чувствительна, мечтательна. И вряд ли ее облик становится яснее от следующей характеристики:

«Амалия, тихое, кроткое создание, с голубыми, всегда опущенными в землю или поднятыми к небу глазками и розовыми щечками, не смевшее сказать дяде своему пяти слов кряду, скрывала в груди своей сердце великана (!), а голова ее — была пламенная голова жительницы Севера»<sup>83</sup>.

Более действен в повести Флахсман. Однако и на нем сказывается «неустойчивость», незрелость творческой манеры Полевого.

---

<sup>80</sup> Там же, стр. 202.

<sup>81</sup> Там же, стр. 237.

<sup>82</sup> Там же, стр. 246.

<sup>83</sup> Там же, стр. 194.

В минуту опасности Флахсман проявляет себя как человек смелый и презирающий смерть. «Стойте, бездельники! — вскричал Флахсман. — Чего вы хотите? Денег у нас нет»<sup>84</sup>.

Это один характер.

А вот Флахсман встречается с бароном. Тот поздравляет молодого человека с оправданием, на что Флахсман отвечает:

«Разве известно уже, что клевета, возведенная на меня, есть нелепость ужасная и невероятная?»<sup>85</sup>

Мужественный и сдержанный Флахсман не мог так сказать. Несвойственный ему стиль еще отчетливее проявляется в последующей тираде, обращенной к барону:

«Я думал, что счастье мое будет вашим счастьем: вы не хотели, вы отвергли меня, вы забыли слово, данное умиравшей вашей сестре: сделать счастливою дочь ее» и т. д. и т. п.<sup>86</sup>

Здесь уже чувствуется человек, склонный к романтической декламации и позе.

Но, несмотря на все эти художественные просчеты, Полевой оказал своим произведением неоценимую услугу Сибири: он добился для сибирской темы прав литературного гражданства и проложил путь, по которому устремились его последователи — «сибирские Куперы и Ирвинги».

## СИБИРСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН. И. Т. КАЛАШНИКОВ

В плеяде сибиряков — последователей Н. Полевого — наиболее значительным писателем был Иван Тимофеевич Калашников (1797—1863 гг.). Вдохновленный повестью «Сохатый», Калашников обратился к хорошо знакомой ему сибирской действительности. При этом он не стал простым подражателем Полевого: он не только усилил краеведческую направленность своих произведений, но, главное, создал сибирский исторический роман. В этом жанре были написаны его лучшие произведения — «Дочь купца Жолобова» (1831 г.), «Камчадалка» (1832 г.), «Изгнанники» (1834 г.).

Расцвет творчества Калашникова приходится на первую половину 30-х годов. Эти же годы стали временем его довольно большого успеха. Произведения Калашникова вызвали одобрение И. А. Крылова, А. С. Пушкина, В. К. Кюхельбекера.

<sup>84</sup> Там же, стр. 246.

<sup>85</sup> Там же, стр. 242.

<sup>86</sup> Там же, стр. 243.

ра. Они привлекли к себе внимание за рубежом<sup>87</sup>. Однако этот успех, отчасти объяснявшийся новизной тематики и обостренным интересом к Сибири, оказался непродолжительным. Написанные в духе романтизма произведения сибирского писателя устарели уже к началу 40-х годов в связи с развитием «натуральной школы». Охлаждению публики способствовало и то, что у Калашникова было много недостатков в построении сюжета и в разработке характеров (на это справедливо указывал ему В. Г. Белинский, Н. А. Полевой и др.). Пережив свою славу, он тем не менее продолжал писать: в 1835 г. вышла в свет его повесть «Жизнь крестьянки», в 1841 г.— роман «Автомат», в 1845 г.— «Ода в похвалу прекрасного поля», в 1847 г.— «Книга для чтения воспитанникам сельских училищ». В начале 60-х годов им были завершены автобиографические «Записки иркутского жителя», опубликованные много позднее<sup>88</sup>. Однако ни одно из новых сочинений Калашникова успеха уже не имело. Писатель не понимал требований передовой русской общественности 40-х годов. К тому же, обремененный служебными обязанностями довольно крупного чиновника, вынужденный для обеспечения многочисленной семьи трудиться одновременно в нескольких местах, он не находил ни сил, ни времени, чтобы всерьез заниматься литературным творчеством.

Забывтый уже при жизни, Калашников долгое время не был помянут добрым словом и после смерти. Почти полное забвение окружало этого писателя вплоть до Октябрьской революции. Впервые его творчество было оценено по достоинству М. К. Азадовским в статье о литературе Сибири, написанной для Сибирской советской энциклопедии<sup>89</sup>. Позднее Азадовский вернулся к Калашникову в книге «Очерки литературы и культуры Сибири», где более полно охарактеризовал его произведение в тесной связи с литературной жизнью 30-х годов. Об отношениях между Калашниковым и Пушкиным писал А. В. Зигур<sup>90</sup>. Ряд фактов из биографии писателя привел Л. Б. Модзалевский в примечаниях к «Письмам» Пушкина<sup>91</sup>.

---

<sup>87</sup> С похвалой отозвался о романе «Дочь кунца Жолобова» Виктор Гюго (см. «Северная пчела», 1832, № 233).

<sup>88</sup> И. Т. Калашников. Записки иркутского жителя. «Русская старина», 1905, № VII—IX.

<sup>89</sup> М. К. Азадовский. Литература сибирская. ССЭ, т. 3, стб. 171—172.

<sup>90</sup> А. В. Зигур. Пушкин и Калашников. «А. С. Пушкин и Сибирь». М.—Иркутск, 1937, стр. 101—106.

<sup>91</sup> А. С. Пушкин. Письма, т. 3: Academia, 1935, стр. 576—578.

Язык романов Калашникова проанализировали П. Я. Черных<sup>92</sup> и частично А. Гуревич в предисловии к книге «Восточная Сибирь в ранней художественной прозе»<sup>93</sup> (где было переиздано одно из произведений Калашникова — повесть «Изгнанники»).

И все же творчество Калашникова ждало более глубокого исследования. В 1948 г. вышла в свет статья А. А. Богдановой «Сибирский романист И. Т. Калашников»<sup>94</sup>. Здесь впервые была довольно полно освещена биография писателя благодаря использованию архивных материалов. А. А. Богданова тщательно проанализировала все наиболее значительные произведения писателя и осветила полемику вокруг них, которая развернулась на страницах журналов 30-х годов.

К сожалению, в статье недостаточно точно определено место, занимаемое Калашниковым в русской литературе. А. А. Богданова утверждает, что «для начала 30-х годов романы Калашникова были очень значительны и по своим достоинствам не уступали романам Загоскина и Лажечникова»<sup>95</sup>. Это — справедливое утверждение. Однако автор статьи безоговорочно объявляет произведения этих двух писателей реакционными, а романы Загоскина — еще и «полными неправдоподобия», так что сравнение с ними оборачивается вовсе не похвалой Калашникову.

В других местах статьи А. А. Богданова ставит Калашникова еще ступенью ниже. Свое исследование она заканчивает словами, что «путь И. Т. Калашникова — путь третьестепенного романиста, какими были К. Масальский, Зотов, Тимофеев и другие писатели»<sup>96</sup>. Иными словами, она разделяет суровую оценку В. Г. Белинского, который упомянул имя Калашникова «в Литературных мечтаниях» наряду с такими третьестепенными беллетристами, как Тимофеев, Булгарин, Греч, Масальский и др.<sup>97</sup> Если добавить, что, по словам А. А. Богдановой, эти писатели были создателями лубочных романов, то нам уже становится трудно понять, почему «тем не менее изучение его (Калашникова) творчества представляет большой интерес»?

---

<sup>92</sup> П. Я. Черных. Русский язык в Сибири. Иркутск, 1937, стр. 95—99.

<sup>93</sup> А. Гуревич. Первые повести и очерки о Восточной Сибири (30—40 гг. XIX в.). «Восточная Сибирь в ранней художественной прозе». Иркутск, 1938, стр. XIV—XVI.

<sup>94</sup> А. А. Богданова. Сибирский романист И. Т. Калашников. «Уч. зап. Новосибирского гос. пед. ин-та», серия ист.-фил., вып. 7, 1948, стр. 87—120.

<sup>95</sup> Там же, стр. 96.

<sup>96</sup> Там же, стр. 118.

<sup>97</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 20.

Между тем конкретный анализ произведений сибирского писателя, проделанный А. А. Богдановой, противоречит этим утверждениям. Из ее работы со всей очевидностью следует, что Калашников, несмотря на свою благонамеренность, не был реакционным писателем (и потому, естественно, не может быть поставлен знак равенства между ним и Булгаринным и Гречем). Его произведения отнюдь не похожи на лубочные. Калашников, как это видно из статьи,— писатель своеобразный, крепко связанный со своим краем, и если уж искать у него сходство с кем-либо из современников, то, на наш взгляд, скорее всего, с Н. А. Полевым как автором «Сохатого».

Это сопоставление становится возможным, несмотря на то, что именно Н. Полевой с исключительной непримиримостью нападал на своего последователя. Ирония этого положения заключается в том, что критические стрелы, направленные в Калашникова со стороны «Московского телеграфа», с полным основанием могли бы быть повернуты в самого редактора этого журнала, так как его «Сохатый», в конце концов, вряд ли был более совершенным произведением, чем романы Калашникова.

Да, Калашников придерживался канонов романтизма и имел многие недостатки, присущие романтической прозе «второго плана». Но и Н. А. Полевой был верен этим канонам и грешил теми же недостатками. Вместе с тем у Калашникова, как и у Полевого, есть целый ряд достоинств, позволяющих говорить о нем как о художнике, наиболее заметном среди сибирских прозаиков первой половины XIX в.

Не преувеличивая масштабов его дарования, мы вместе с тем не вполне разделяем отрицательную точку зрения В. Г. Белинского, высказанную по поводу романа Калашникова «Дочь купца Жолобова». По мнению критика, «гораздо лучше бы поступил г. Калашников, если б вместо такого романа составил что-нибудь вроде записок о Сибири, в которых, удаляясь от всякого ученого и догматического тона, рассказал бы просто, не мудрствуя лукаво, все, что видел, слышал и узнал во время своего жития в Сибири... Смеем уверить г. Калашникова, что его книга имела бы большой успех и доставила бы ему и выгоды и славу»<sup>98</sup>.

Конечно, Белинский был в значительной степени прав, когда сурово осуждал «романическую» сторону произведений Калашникова как наиболее слабую. Но вместе с тем нельзя не учитывать, что великий критик судил Калашникова-роман-

---

<sup>98</sup> Там же, т. VI, стр. 441.

тика с позиций критического реализма. И очень сомнительно, что произведения Калашникова, действительно, выиграли бы, если бы вместо романов он написал этнографические труды. Скорее всего, потеряв занимательность, его книги утратили бы и свою популярность. Отказывая Калашникову в даровании романиста и признавая его достоинства этнографа, рецензенты (впрочем, далеко не все!) забывали, что романы Калашникова вовсе не являются путевыми заметками, сделанными на основе непосредственных наблюдений. Переселившись еще в молодости из Сибири в Петербург, Калашников описывал сибирскую действительность со всеми признанной точностью по воспоминаниям десятилетней давности. Это ли не наблюдательность и не мастерство художника! Тем более, что он умел не только видеть и помнить, но и заразить своим видением читателя. А если учесть, что он никогда не был на Камчатке и на побережье Ледовитого океана, которые описывал в романах «Камчадалка» и «Изгнанники», и пользовался лишь печатными источниками и рассказами очевидцев, то нельзя не признать богатства и точности его воображения. Вот почему мы с полным сочувствием относимся к заявлению Калашникова, сделанному им в предисловии к «Изгнанникам»: «Мне возражают: зачем же не изложу я сведений моих о Сибири в одной книге? — Потому что в мечтаниях моих я нахожу наслаждение и пишу по невольному влечению сердца, предоставляя людям, более сведущим, издавать сочинения ученых»<sup>99</sup>.

Защищая, таким образом, свое право на художественное творчество, Калашников в том же предисловии ссылается на «похвалы и одобрения от людей, которые не имели ни малейшей причины ... лстить... Например: всякий раз я почти с благоговением внимаю, когда патриарх нашей словесности, муж и по уму и по характеру и по самой наружности подобный мудрецам древности (я не смею именовать его), с величайшею доброю и мудростию или старается... поощрить к новому труду, или умным наставлением желает направить перо мое к благой цели. Краткие минуты, проведенные с ним, будут всегда для меня драгоценны»<sup>100</sup>.

Поскольку Калашников не назвал имени литератора, поощрявшего его творчество, мнения исследователей о том, кого он имел в виду, разделились. А. Зигур утверждал, что речь шла о Пушкине<sup>101</sup>, М. К. Азадовский — о престарелом

<sup>99</sup> И. К а л а ш н и к о в. Изгнанники. СПб., 1834, стр. VI.

<sup>100</sup> Там же, стр. VIII—IX.

<sup>101</sup> А. З и г у р. Указ. соч., стр. 103.

И. И. Дмитриеве<sup>102</sup>, А. А. Богданова — о Крылове. Последнее мнение нам представляется наиболее верным. Если первые два основаны лишь на догадках, то А. А. Богданова подкрепляет свое мнение фактами. Она ссылается на переписку П. А. Словцова с Калашниковым. В письме от 3 августа 1834 г. Словцов писал Калашникову: «Крылов не патриарх словесности. Первый литератор ныне, по-моему, Марлинский да Полевой»<sup>103</sup>. Видимо, Калашников ранее называл Крылова «патриархом словесности». Трудно представить, что в предисловии к «Изгнанникам» он точно так же называл кого-то другого. Мнение А. А. Богдановой подтверждается и косвенными фактами. Известно, в частности, что Калашников встречался с Крыловым. В письме Словцову от 10 марта 1832 г. он сообщал:

«По выходе романа («Дочь купца Жолобова». — Ю. П.) я познакомился со всеми почти здешними литераторами. Особенно принял меня ласково Крылов. Я сидел у него с полчаса. Он просил меня посещать его, сказав: я люблю людей с талантами. И когда я пошел от него, его последние слова были: следуйте вашему сердцу, а ум вы имеете. Еще было сказано им: я вам предвещаю большой успех»<sup>104</sup>. Нетрудно предположить, что Калашников охотно откликнулся на приглашение Крылова, и, судя по предисловию, встречи с «патриархом словесности» были неоднократными.

Что касается встреч с Пушкиным, то ни об одной из них в письмах Калашникова не говорится. Если бы писатель виделся с Пушкиным, вряд ли он умолчал бы об этом<sup>105</sup>.

Известно, что Калашников отослал Пушкину все три основных своих романа, сопроводив их письмами<sup>106</sup>. В начале

---

<sup>102</sup> М. К. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 93—94.

<sup>103</sup> Цит. по ст. А. А. Богдановой «Сибирский романист И. Т. Калашников», стр. 93.

<sup>104</sup> Там же.

<sup>105</sup> Л. Б. Модзалевский, говоря об отношениях Пушкина и Калашникова, пишет: «Были ли они лично знакомы—неизвестно» (А. С. Пушкин. Письма, стр. 577).

<sup>106</sup> В первом письме, от 28 марта 1833 г., Калашников писал: «Милостивый государь, Александр Сергеевич! За все те приятные минуты в жизни, какими я наслаждался, читая Ваши превосходные творения, делающие честь делу и нашей литературе, не имея возможности заплатить тем же, я решаюсь поднести слабые труды мои и покорнейше просить Вас принять их, по крайней мере, за знак глубокого уважения моего к Вам, которое навсегда сохранится в моей душе.—Милостивый Государь ваш покорнейший Иван Калашников» («Литературное наследство», № 16—18, стр. 559—600. См. также примечания к «Письмам» Пушкина, т. 3, 1935, стр. 575—576).

апреля 1833 г. Пушкин ответил Калашникову на его первое письмо от 28 марта 1833 г. Сохранился полустершийся черновик его. Нам довелось познакомиться с двумя вариантами черновика. Один из них, состоящий из бессвязных, нерасшифрованных отрывков, опубликован в третьем томе «Писем» Пушкина (Academia, 1935, стр. 91—92); второй, полностью восстановленный, опубликован в «Полном собрании сочинений» Пушкина в 17 томах (т. 15. Изд-во АН СССР, 1948, стр. 59). Однако последний вариант черновика нельзя, по видимому, принять безоговорочно. В примечании редактора сказано: «Текст почти стерт и местами не поддается прочтению или читается предположительно». И все же, нам думается, с известной мерой допущения можно сослаться на этот вариант. Письмо в данной редакции начинается так:

«Искренно благодарю Вас за письмо, коего Вы меня удостоили...

Вы спрашиваете моего мнения о Камчадалке. Откровенность под моим пером может показаться вам простою учтивостью. Я хочу лучше повторить вам мнение Крылова, великого знатока и беспристрастного ценителя истинного таланта. Прочитав Дочь Жолобова, он мне сказал: Ни одного из русских романов я не читывал с большим удовольствием. Камчадалка верно не ниже вашего первого произведения...»

Этот отрывок окончательно разрешает спор, поскольку в предисловии к «Изгнанникам» сказано, что «одним из первых наших литераторов» сообщен Калашникову отзыв «патриарха нашей словесности» о романе «Дочь купца Жолобова» — «ни одного русского романа не читал он с большим удовольствием»<sup>107</sup>.

Как видим, последняя фраза дословно совпадает с мнением Крылова, которое было передано Калашникову Пушкиным («одним из первых наших литераторов»). Следовательно, Крылов и «патриарх нашей словесности» — одно и то же лицо.

Из этого маленького разыскания следует не только данный вывод, — мы узнаем и об отношении к сибирскому романисту Пушкина. Правда, М. К. Азадовский заявлял, что «Пушкин сам уклонился от прямой оценки романа, сообщив Калашникову мнение другого литератора — «патриарха нашей словесности»<sup>108</sup>. Азадовский, по существу, отрицал положительное мнение Пушкина о Калашникове, говоря, что

<sup>107</sup> И. Калашников. Изгнанники, стр. IX.

<sup>108</sup> М. К. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 94.

ничего такого в сохранившемся варианте письма нет. Но на самом деле это не так. Даже если обратиться к первому, нерасшифрованному варианту письма, то можно увидеть, что Пушкин довольно высоко оценивал романы Калашникова. Так, сообщив ему мнение Крылова, Пушкин продолжал: «После этого не тревожьтесь мнением П(олевого)... Романа его я не читал, но, судя по его Истории, знаю, как он должен быть ниже Камчадалки и Дочери Ж(олобова)...»<sup>109</sup>.

Пушкин имел в виду исторический роман Полевого «Клятва при гробе Господнем. Русская быль XVI в.» (1832 г.). Следовательно, он ставил романы Калашникова выше этого произведения и стремился успокоить писателя, встревоженного отрицательным отзывом Полевого на страницах «Московского телеграфа». Как видим, Пушкин вовсе не прятался за мнение другого литератора, но, судя по всему, его разделял.

С пушкинской оценкой «Дочери купца Жолобова» и «Камчадалки» перекликались высказывания об этих романах лицейского друга Пушкина декабриста В. К. Кюхельбекера, читавшего оба романа в ссылке. В «Дневнике Кюхельбекера» мы находим следующую заметку:

«Акша. 1841. 3 мая.

Прожил я 8 дней в Вараханте, пользовался водами и сеял хлеб; кроме того, прочел я там романы: де Санглена «Клятва на гробе», Зубкова «Астролог Карабахский», чей-то «Ужасный брак», да перечел «Дочь купца Жолобова». Лучший из всех последний; прочие — более или менее вздор»<sup>110</sup>.

По-видимому, роман Калашникова, который Кюхельбекер прочитал вторично, настолько пришелся ему по душе, что он сразу же вслед за тем обратился к «Камчадалке». Через несколько дней он писал в своем дневнике:

«7 мая (1841 год).

В «Камчадалке» слишком пересолено: ужасам конца нет. Но все же этот роман не без достоинств. Мы, изгнанники, вдобавок, должны благодарить Калашникова, что он добром помянул наших несчастных предшественников Зуду и Ивашкина. При чтении этого романа несколько раз мелькала в уме моем мысль, что, быть может, через 50, через 100 лет точно так помянет какой-нибудь даровитый романист о Кюхельбекерах, особенно о Михаиле»<sup>111</sup>.

<sup>109</sup> А. С. Пушкин. Письма, т. 3, стр. 91.

<sup>110</sup> «Дневник Кюхельбекера». Изд-во «Прибой», 1929, стр. 276.

<sup>111</sup> Там же, стр. 276—277.

Думается, что отзывы этих авторитетных людей могут внести некоторые поправки в суждение о Калашникове В. Г. Белинского. Они дают нам основание для более справедливого, объективного приговора.

Калашников, несомненно, один из одаренных провинциальных писателей своего времени. Как и Полевой, он познакомил русскую читающую публику с сибирской действительностью, способствовал росту самосознания сибиряков, обратив их внимание на многие интереснейшие явления в общественной жизни Сибири, на своеобразии обычаев коренных сибирских народностей, на красоте местной природы, вполне достойные пера художника.

Первоначально Калашников выступал как автор ряда статей<sup>112</sup>, а также пробовал свои силы в поэзии<sup>113</sup>. Но подлинное призвание он нашел в создании исторического романа, основанного на сибирском материале. Хотя большая часть жизни Калашникова была связана с Петербургом, он не забыл тех мест, где прошли его детство и юность. «Тоска по родине» звучала в его письмах к Словцову, пронизывала его стихи, одушевляла лучшие страницы романов. Дворцы Петербурга, говорил он в одном из стихотворений,

...чужды для меня; я чужд для них!..  
Душа моя летит в пределы мест родных,  
Где все—и ветров завыванье,  
И шум лесов, и горлицы зыванье,  
И цвет знакомый облаков,  
И томно среди пустынь катящиеся воды,  
И горы дремлющи под тяжестью веков,  
Все возвращает ей давно минувши годы...<sup>114</sup>

Подобно Н. Полевому, Калашников с восторгом и грустью писал о Сибири в предисловиях к романам. Свои чувства к ней он выражал также в описательно-лирических вступлениях ко многим главам, а больше всего — при воспроизведении множества дорогих ему подробностей природы и быта, к которым, по его глубокому убеждению, не могло остаться равнодушным сердце истинного сибиряка.

В этом слиянии глубоко личного чувства со стремлением быть полезным родному краю и заключался, по-видимому,

---

<sup>112</sup> Первое его произведение, появившееся в печати,—статья «Тельминская фабрика», опубликованная в «Казанских известиях» (1817, № 15—16). Там же и в «Сыне отечества» напечатано еще несколько статей.

<sup>113</sup> Ряд стихотворений был опубликован в «Сыне отечества» в 1829—1831 гг.

<sup>114</sup> «А. С. Пушкин и Сибирь». М.—Иркутск, 1937, стр. 102.

секрет успеха Калашникова. Когда же он обращался к темам, не связанным с Сибирью, его постигала неудача. И, напротив, в «Записках иркутского жителя», написанных уже в старости, он обнаружил зрелое дарование, прежнюю способность вызывать из памяти события и людей далекого прошлого и давать им вторую жизнь.

В романах о Сибири Калашников обращается к историческому прошлому края: в «Дочери купца Жолобова» события происходят в середине XVIII в., в «Камчадалке» — в конце XVIII в., в «Изгнанниках» — во времена бироновщины. Но, конечно, не всякий роман о прошлом есть роман исторический, как справедливо замечает С. Петров. Исторический роман отличает прежде всего соединение вымысла с тем или иным историческим событием или участие в вымышленных событиях реального исторического деятеля<sup>115</sup>. Романы Калашникова отвечают этому требованию. Писатель стремится передать содержание и дух изображаемой эпохи возможно точнее.

Не случайно «Дочь купца Жолобова» имеет подзаголовок: «Роман, извлеченный из иркутских преданий». Как отмечает в предисловии сам автор, главное происшествие его романа, смерть Жолобова, истинно: «И теперь еще у всех иркутских жителей предание о сем событии весьма живо. Равным образом истинно происшествие в Нерчинских заводах, и основано на сказании одного очевидца, у которого я заимствовал многие сведения относительно тогдашней службы, жалованья и разных обычаев того времени»<sup>116</sup>.

Историческую достоверность романа Калашникова подтверждает и декабрист Штейнгель: «Немцов прославился здесь особенно по случаю арестования сумасбродного Нарышкина, возмутившего Нерчинский край: обстоятельство, описанное с довольною точностью в романе Калашникова «Дочь купца Жолобова»<sup>117</sup>.

На выбор сюжета оказала определенное влияние борьба между купечеством и царской администрацией, которая происходила на глазах Калашникова в пору его пребывания в Иркутске. В этой борьбе все симпатии писателя были отданы купечеству. Вот почему с таким глубоким волнением он писал в своем романе о произволе несправедливой и развращенной власти, о незаслуженных страданиях представителей купечества и служилой интеллигенции в середине XVIII столетия. Тем более, что эта тема не утратила своей актуальности для

<sup>115</sup> С. Петров. Русский исторический роман XIX в. М., 1961, стр. 5.

<sup>116</sup> И. Калашников. Дочь купца Жолобова. СПб., 1831, стр. III.

<sup>117</sup> «Исторический вестник», 1884, VIII, стр. 370.

Сибири и в 30-е годы, так как с падением Трескина отнюдь не прекратились злоупотребления. Однако было бы несправедливым видеть в сюжете романа «Дочь купца Жолобова» современность, опрокинутую в прошлое. Калашников стремится быть верным исторической правде и характеру изображаемой эпохи.

Правда, Нарышкин, этот выживший из ума начальник Нерчинских заводов, выведен в романе под фамилией Пирушкина, но в этом, думается, нет отступления от требований жанра: в конце концов, прототипом героя является реальное историческое лицо.

И еще один момент: степень участия исторического лица в событиях, описанных в романе. Обязательно ли это лицо должно быть одним из главных действующих лиц или оно может быть эпизодическим? По-видимому, возможны оба варианта. В романе «Камчадалка» подлинные исторические лица — ссыльные Ивашкин и Иван де ла Суда (кстати, выведенный тоже под измененной фамилией — Зуда) — занимают довольно небольшое место, однако именно их присутствие в романе дает нам право считать «Камчадалку» — при наличии исторической достоверности в изображении эпохи — произведением исторического жанра наравне с повестью «Изгнанники», где путешествие и гибель знаменитого русского мореплавателя Шалаурова становятся сюжетной осью произведения.

Калашников вполне отдает себе отчет в характере и содержании своего творческого метода. Подобно многим писателям того времени, он разъясняет свои авторские намерения и характеризует поэтические средства, используемые им, в предисловиях к романам. Эти обращения «от сочинителя» позволяют нам глубже заглянуть в творческую лабораторию писателя.

Как и многие романтики, Калашников противопоставляет историю и поэзию и отдает предпочтение последней. В предисловии к «Изгнанникам» он пишет:

«История говорит холодно, сухо, мертво; заслоняет лица и события своей тенью; рассказывает о минувшем, а не воскрешает их, не проливает жизни в их истлевшие кости и не выводит на сцену перед наши глаза»<sup>118</sup>.

Писатель считает, что история может только пробудить, но не удовлетворить нашего желания «быть зрителем рассказанных ею происшествий». И тогда «на помощь душе приходит божественная, всемогущая поэзия. Она одна только спо-

---

<sup>118</sup> И. К а л а ш н и к о в. Изгнанники, стр. XII—XIV.

собна произвести чудо: заставить время переменить свой обычный путь; вызвать из вечности века и пролить огонь жизни в сердца, давно переставшие биться... Сие-то высокое и очаровательное наслаждение доставляет нам Драма, Повесть, Роман»<sup>119</sup>.

Исходя из примата поэзии, Калашников доказывает свое право на художественный вымысел. Говоря в предисловии к «Дочери купца Жолобова», что он старался сохранить многие события, характеризующие жизнь тамошнего края, автор вместе с тем отмечал: «Само собой разумеется, что я брал один очерк и должен был употреблять свои краски»<sup>120</sup>. Некоторые происшествия, случившиеся в разное время, он «соединял в одну раму» и считал это вполне правомерным: по-первых, потому, что это были «обстоятельства не суть важные, а вторых, так дельвал и сам родоначальник новейших романов, неподражаемый Вальтер Скотт»<sup>121</sup>. Тем более, добавим от себя, что Сибирь во многих отношениях оставалась еще terra incognita, и там, где писателю не доставало исторических данных, помогало его воображение.

Подобно Бестужеву-Марлинскому и другим романтикам, Калашников считал, что воскресить прошлое — значит оживить человеческие страсти, увидеть людей «с тайными их думами, с сокровенными порывами души, с неразгаданными муками и наслаждениями, с утаенными злодействами и добродетелями»<sup>122</sup>.

Стремясь раскрыть эту «стихию страстей», эту ожесточенную борьбу добра и зла, Калашников зачастую утрачивал реальные пропорции и допускал преувеличения, характерные для романтизма. Скажем больше: если для наиболее талантливых писателей-романтиков все же было свойственно определенное чувство меры, то в романах Калашникова совершалось столько злодейств и столько благородных, самоотверженных поступков, здесь сталкивалось такое подлое интриганство и такое безукоризненное бескорыстие, что все это оказывалось возможным лишь в воображении писателя. В своем желании передать чувства необыкновенной любви и глубокого страдания любящих, разлученных враждебными обстоятельствами, Калашников обращался к опыту Карамзина и писал сцены сентиментальные, трогательные «воображение и чувство».

Но вместе с тем его произведения пронизывает и иная

---

<sup>119</sup> Там же.

<sup>120</sup> И. К а л а ш н и к о в. Дочь купца Жолобова. СПб., 1831, стр. IV.

<sup>121</sup> Там же, стр. V.

<sup>122</sup> И. К а л а ш н и к о в. Изгнанники, стр XIII.

стихия. Критика времен Калашникова не раз сравнивала его с В. Скоттом. И, на наш взгляд, не без основания. Речь, конечно, идет не о масштабах дарования, поскольку великий английский романист и скромный сибирский писатель — величины несопоставимые. Дело в другом.

Калашников сам говорил, что он подражал В. Скотту: «... я не выдумывал новой формы сочинений и не стыдился писать по образцу бессмертного Шотландца»<sup>123</sup>. Но в то же время писатель отвергал обвинение в том, что его дарование якобы загублено подражанием. «Происшествия, лица, мысли, чувствования, картины суть моя собственность, — заявлял он, — и, по весьма уважительным причинам, мое владение ею неприкосновенно. Я первый написал Сибирский Роман: кому я мог подражать, кроме формы?»<sup>124</sup>

Калашников, действительно, не был лишь подражателем, переносящим английские сюжеты и образы на русскую почву: он хорошо знал изображаемую им Сибирь и писал по влечению собственного сердца. Но у В. Скотта он учился многому, и то, что он называл «формой», в конце концов включало в себя и содержание.

В самом деле, Калашников, как и другие романтики, учился у В. Скотта умению знакомить своих читателей с историей «домашним образом»: он изображал частную жизнь простых людей и выдающихся личностей, описывал их нравы, обычаи, верования. Грандиозность изображаемой В. Скоттом картины, поражающая читателей начала прошлого века, служила образцом и для Калашникова: он также стремился к многоплановости сюжета, изображал людей самых различных сословий, переносил действие из одной местности в другую, охватывая взором художника громадные пространства Сибири.

Как и у В. Скотта, в каждом из романов Калашникова выступала любовная пара (в «Изгнанниках» — две пары), которая терпела многие бедствия, прежде чем любящим молодым людям удавалось соединиться. И так же, как у знаменитого английского романиста, эти главные герои были изображены идеализованно и оказывались гораздо менее достоверными, чем их гонители. Однако не следует преуменьшать значения того факта, что в их лице Калашников одним из первых в русской литературе изобразил «маленьких людей», преследуемых сильными мира сего, страдающих от несправедливости.

---

<sup>123</sup> Там же, стр. VII.

<sup>124</sup> Там же, стр. VII—VIII.

Калашников следовал за В. Скоттом и в использовании некоторых художественных приемов. Счастливые или несчастные случайности, роковые совпадения, благополучные развязки, намеренное прерывание рассказа в самом интригующем моменте, переключение повествования с одних лиц на других, которые потом, оказывается, влияют на судьбу временно оставленных автором героев, вкрапливание в рассказ исторических описаний или изображения природы — все это во многом навеяно чтением вальтер-скоттовских романов.

Однако, несмотря на это подражание, Калашникову нельзя было отказать в известной доле самобытности. Прежде всего это проявилось в его привязанности к местному, сибирскому материалу. А. А. Богданова называет роман Калашникова краеведческим историческим романом<sup>125</sup>. И в этом отношении Калашников — единственный в своем роде писатель-сибиряк первой половины XIX в.

Правда, и здесь тогдашняя критика нашла для него параллель: его сравнивали с Купером. Но это сравнение скорее относилось к той роли, которую оба писателя сыграли независимо друг от друга в открытии новой, до них малоизвестной тематики — североамериканской и сибирской.

Калашников не только описывал Сибирь, но и выступал как страстный ее пропагандист. Вслед за Полевым он стремился показать Сибирь как страну, где есть сильные и смелые люди, где, как и всюду, рождаются высокие чувства и стремления, где бьется человеческая мысль. Как ни чудовищны злоупотребления местных властей, чувствующих в Сибири свою полную безнаказанность, как ни велики преступления тех, кто золотом оплачивает убийство, предательство и клевету, как ни бесконечны страдания тех, кто сохраняет честь и достоинство в самых невыносимых условиях, — все же писатель находит возможным говорить о Сибири в тонах восторженных и светлых. Несмотря ни на что, жизнь побеждает! — так можно определить лейтмотив романов Калашникова. Она торжествует и в скованном сорокаградусными морозами Иркутске, и на далекой Камчатке, и в двух занесенных снегом домишках на берегу Ледовитого океана, где живут люди, не сложенные десятилетиями ссылки...

Калашников, как и Полевой, стремится преодолеть сложившееся представление о Сибири как стране холода, мрака и отчаяния. Он самыми радужными красками рисует сибирскую природу, особенно весенний и летний пейзаж.

---

<sup>125</sup> А. А. Богданова. Сибирский романист И. Т. Калашников, стр. 95.

Будучи типичным представителем романтизма, Калашников твердо следует принципу передачи «местного колорита». Даже самые непримиримые критики его творчества признают за ним такие достоинства, как правдивое описание чиновничьего и купеческого быта, этнографически точное воспроизведение старинных обычаев и обстановки, верность изображения тяжелой жизни местных народностей<sup>126</sup>. В романе «Камчадалка» Калашников описал восстание камчадалов, доведенных до отчаяния произволом местных властей. Тем самым писатель поднимался над многими современными ему представителями романтического направления, которые обычно идеализировали быт различных народностей и увлекались описаниями этого быта ради экзотики<sup>127</sup>.

Сильной стороной творчества Калашников являлось и то, что он сатирически изображал чиновников-крючкотворов, продажных и невежественных судейских, сибирских помпадуров и помпадурш. При этом он нередко писал с натуры, используя в качестве прототипов действительно существовавших людей.

Увлечение писателя сибирской тематикой и местным колоритом, являющееся его достоинством, в то же время ограничило его идейный горизонт, замкнуло Калашникова в узкую сферу местных интересов. Это было характерно и для других представителей плеяды сибирских писателей 30-х годов. «Местные темы и местные интересы они не сумели сочетать с общими интересами всей страны и не сумели слиться с ее общим идейным течением, а потому они и остались в стороне от большой дороги русской литературы»<sup>128</sup>.

Это не означает, что Калашников и другие не испытали на себе влияния идейной борьбы, происходившей в России 30-х годов, и не заняли в ней никакого определенного места. Не следует, в частности, забывать, что Калашников и некоторые другие писатели-сибиряки жили, писали и издавались в столицах, что они были хорошо осведомлены в делах литературных, встречались с виднейшими русскими литераторами.

Калашников не принадлежал к наиболее прогрессивным кругам русской интеллигенции 30-х годов, следуя в своих произведениях в основном монархическим и религиозным принципам Карамзина. Как и Карамзин, он использовал истори-

---

<sup>126</sup> См. «Московский телеграф», 1833, ч. 50, № 6, март, стр. 224—246.

<sup>127</sup> А. А. Богданова. Сибирский романист И. Т. Калашников, стр. 108.

<sup>128</sup> М. К. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 103.

ческий материал для того, чтобы доказать, как важно честно служить государю или государыне, свято верить в их великие добродетели (и в их неосведомленность о том, какие злые дела творятся на окраинах империи) и как спасительна для невинных страдальцев, даже в самых жутких условиях, вера в монарха и в бога.

Однако как честный и искренний художник, как подлинный знаток края Калашников не умещался в прокрустово ложе официальной народности. Вера в государя не побуждала его, в отличие, например, от Булгарина, рисовать идеализованные картины жизни. Напротив, сибирская социальная действительность изображалась им настолько ужасной, что поневоле приходило в голову — либо царь совершенно не знает жизни своих подданных и, следовательно, плох как правитель, либо он далеко не так милосерден, как принято о нем думать.

Сам Калашников, конечно, не делал таких выводов, однако он заслужил симпатии Крылова, Пушкина и Кюхельбекера, видимо, вполне закономерно.

Будучи учеником и последователем Словцова, который руководил его воспитанием в Иркутске и затем поддерживал с ним переписку, Калашников выступал сторонником сибирской буржуазии, видя в лучших представителях ее наиболее высокие проявления русского национального характера. Купцы Жолобов и Шалауров — самые привлекательные герои его книг. Он симпатизировал и разночинной интеллигенции (Алексей Кремнев в «Дочери купца Жолобова», мичман в «Камчадалке» и др.). Однако он не сумел осознать прогрессивную роль русской буржуазии в ее борьбе с феодальнокрепостническим строем.

Немаловажно, что Калашников обратился к теме политической ссылки, обратился тогда, когда русское общество было потрясено драматической судьбой декабристов и когда каждый честный человек не мог не помнить о тех, кто томился в далекой Сибири. Конечно, у нас нет никаких оснований утверждать, что писатель, рассказывая в «Изгнанниках» о ссылных времен Бирона, тем самым выражал симпатии декабристам. Все-таки декабризм и монархизм — несовместимые вещи. Тем более, что учитель Калашникова, Словцов, резко отрицательно отзывался о декабристах<sup>129</sup>. И все же, хотел того писатель или нет, его книга неизбежно вызвала

---

<sup>129</sup> См. письмо Словцова Калашникову от 30 июля 1826 г. Архив Института литературы АН СССР. Отрывок из него цитирует М. Азадовский в кн. «Очерки литературы и культуры Сибири», стр. 104—105.

у современного ему читателя ассоциации с декабристами. Объективно она звучала как призыв к милосердию, к человечности. Более того, подчеркивая высокие нравственные качества ссыльных, писатель заставлял задуматься над тем, что не раз в ссылку попадали лучшие люди России.

Таким образом, мировоззрение Калашникова не было цельным: в его сознании уживались противоположные тенденции, и чаще всего получалось так, что монархизм его проявлялся лишь в авторских декларациях, а демократические симпатии, честное и критическое изображение действительности понижывали самую художественную ткань повествования. И эти последние тенденции, естественно, побеждали.

Наиболее крупное произведение Калашникова — роман «Дочь купца Жолобова»<sup>130</sup>. Здесь особенно полно проявляется дарование писателя, раскрываются самые характерные черты его авторской манеры и стиля.

Как типичный романтик Калашников на материале прошлого решает волнующие его вопросы современности. Писателя глубоко возмущает, что в условиях сибирской действительности честный человек бесправен и беззащитен перед произволом тех, кто обладает властью и богатством. Едва мы знакомимся с одним из главных героев романа, Алексеем Кремневым, как сразу же узнаем о ненависти, которую вызывает этот скромный молодой человек у сослуживцев-чиновников. Как бы сдержан и покладист он ни был с ними, их ненависть от этого не уменьшается: ведь он пробуждает ее именно потому, что он на них совсем непохож. Чиновник Запекалкин говорит ему: «Ах, ты выскочка проклятая! Мы сорок лет служим верою и правдою Государю, а у тебя еще молоко на губах не обсохло, да хочешь взять верх над нами. Не бывать этому! С волками живешь, так и вой по-волчьи!»<sup>131</sup>

Описанием попытки Запекалкина избить Алексея заканчивается первая глава романа, сразу четко расставляющая действующих лиц и намечающая основную авторскую мысль: тяжело положение добродетели в обществе, где царит несправедливость, угнетение и порок. В дальнейшем эта мрачная, но объективно верная мысль все время нагнетается от эпизода к эпизоду. Стоит Алексею, например, выпроводить из дому злоязычную сваху Лукерью Савишну, как нам становится яс-

---

<sup>130</sup> «Дочь купца Жолобова». Роман, извлеченный из иркутских преданий. Сочинение И. Калашникова в 4 частях. СПб., 1831. В дальнейшем все ссылки на это издание.

<sup>131</sup> «Дочь купца Жолобова», ч. 1, стр. 14.

но — он нажил себе еще одного врага, и враг этот не постоит ни перед чем, чтобы отомстить за обиду.

В произведении Калашникова ощущается какой-то рок, довлеющий над его главными героями, — купцом Жолобовым, его дочерью Натальей и Алексеем. Любовь молодых людей сразу же наталкивается на козни со стороны купца Груздева, желающего женить на дочери Жолобова своего беспутного сына Григория. Автор использует различные приемы, чтобы возбудить в читателе тревогу за судьбу главных героев. Вот они отдыхают за городом на берегу р. Ушаковки, Алексей объясняется с отцом Натальи и получает его согласие на их брак, — казалось бы, молодым людям только и радоваться, тем более, что в этот теплый майский день все цветет вокруг. Но недалеко появляется сумасшедшая Аксинья, которая в ответ на приглашение выпить с ними чашку чаю говорит:

«— Ладно, ладно, Жолобов! Ты мужик добрый, пойдем, помянем тебя.

— Я, слава богу, еще жив.

— Мы все живы и все мертвы! Слышишь, поют?..»<sup>132</sup>

Так в идиллическую картину чаепития вторгается драматическая тема; Жолобова обуревают мрачные предчувствия, и читатель понимает: эти предчувствия не напрасны.

Любопытно, что, придерживаясь романтической манеры повествования, Калашников в то же время стремится разумно осмыслить «роковые» моменты в развитии действия: сумасшедшая Аксинья вовсе не «ясновидящая» — просто все, что она слышит и видит, болезненно преломляется в ее сознании и вызывает у нее мрачные мысли. А когда во время сговора в доме купца Жолобова неожиданно происходит землетрясение, то этот романтический эффект воспринимается читателем скорее как географическая подробность, как элемент местного колорита, — ведь землетрясения неоднократно происходили в районе Иркутска (о чем и сказано в примечании от автора).

В основе поступков тех, кто воплощает злые силы в романе, лежит довольно серьезная социальная мотивировка. Правда, в образах Запекалкина и Груздева, как и в характерах разбойников, в руки которых попадает Жолобов и его дочь, есть многое от романтических злодеев, и все же поступки этих людей чаще всего соответствуют их общественному положению, их классовому облику и представляются вполне закономерными.

---

<sup>132</sup> Там же, стр. 55.

Конечно, у Калашникова в характеристике героев немало наивной прямолинейности, юмор его порой выглядит неуклюжим (например, при описании диких нравов груздевского дома), отдельные эпизоды кажутся нарочитыми. Скажем, можно еще поверить, что жена Груздева, проникнув во время отсутствия мужа в его горницу, спряталась за образами, едва тот вернулся домой. Но далее начинается прямо-таки небывальщина: нянька вдруг сообщает, что малолетний сын Груздева только что утонул, мать выскакивает из-за образа, образ ударяет по голове купца, оглушает его, и никто от страха не узнает пробежавшую мимо женщину.

А рядом с этим правдивые детали: Груздев хочет обобрать приказчика, но ловкий малый обманывает купца, и тот, в конце концов, примиряется с ним: «по странному расположению души, он любил плутов и всегда говаривал: «лучше дело иметь с плутом, чем с дураком»<sup>133</sup>. Но особенно достоверной представляется расправа Груздева с подрядчиком: придравшись к тому, что подрядчик из-за дождей опоздал с обозом на четыре дня, Груздев пускает его по миру — даже одной лошади не оставляет ему, чтобы тот добрался до дому за полторы тысячи верст. Здесь уже звучит социальный мотив: Груздев характеризуется как настоящий грабитель, использующий букву закона в собственных интересах.

Таким образом, несмотря на свою симпатию к купеческому сословию, Калашников менее всего склонен идеализировать его представителей. Как видим, он не жалеет черных красок, чтобы изобличить купца Груздева. Таково же его отношение и к чиновничеству. Отдавая симпатии лучшим из его представителей (таким, например, как высокообразованный воевода, в образе которого нашли отражение некоторые черты П. А. Словцова), писатель, следуя правде жизни, характеризует большинство чиновников как людей, искалеченных службой, заслуживающих только сатирических красок. Таков сумасшедший начальник Нерчинских заводов Пирушкин. Создавая образ этого человека, Калашников выступает как обличитель уродливых нравов российской провинции, где даже выживший из ума воевода продолжает оставаться у власти, поскольку окружающие его чиновники привыкли подчиняться любому начальству. Верноподданные и подхалимы, они поют Пирушкину его любимую песню: «Батюшка богат, черевички купил», а тот приплясывает, куражится, разбрасывает народу казенные деньги.

---

<sup>133</sup> Там же, стр. 112—113.

Не по романтическим канонам, а в соответствии с суровой правдой выписывает Калашников портреты судейских, в руках которых оказывается Жолобов. Особенно удачен образ асессора Скрыпушкина, недалекого, бесхарактерного человека, всегда готового выпить и никогда не могущего решать что-нибудь самостоятельно. «Бумаг он никогда не читал и подписывал все, что было подписано другими. Когда же приходилось подписывать ему первому, то он всегда прибегал к помощи жребия, т. е. бросал вверх серебряный алтын. Если выпадал орел, то сие означало, что он должен будет подписать бумагу; если же решетка, то он призывал обыкновенно секретаря и со всей судейской важностью говорил ему: «Пересмотрите эту бумагу и поверьте с делом: тут я нахожу много несообразного»<sup>134</sup>.

Начав свой роман с описания жестоких нравов, царящих в губернских канцеляриях Калашников заканчивает повествование мрачными картинками суда и застенка, в котором гибнет ни в чем не повинный Жолобов. Эмоциональное впечатление от этой безотрадной картины совершенно захлестывает авторские оговорки вроде того, что «благотворное царствование Екатерины Великой еще не озаряло России в сие время». Хоть сколько-нибудь проницательный человек, знакомый с сибирской действительностью, прекрасно понимал, что не только позднее, при Екатерине, но и во времена Калашникова менялись в основном лишь внешние формы жизни, существо же оставалось прежним.

Писатель не только описывал произвол местных властей, но и показывал следствия этого произвола — бедственное положение простых людей. Достаточно вспомнить рассказ о своей жизни сумасшедшей Аксины. Те издевательства со стороны мужа и родственников, которым она постоянно подвергалась и которые в конце концов помutilи ее разум, возможны были в условиях полного бесправия замужней женщины, в обстановке варварства и дикости, царивших в сибирской провинции. Аксины постоянно мерещился ее спившийся, погибший муж:

«А! Ты опять пришел меня мучить! Ведь я и так отдала последнее, теперь у меня ничего нет, кроме вот этого кольца обручального. Ужели и его ты хочешь пропить? А дети наши — чем они питаются будут? Посмотри на них, злодей? Они другой день не видали росинки хлеба, сидят не обуты, не оде-

---

<sup>134</sup> Там же, ч. 3, стр. 50.

ты. Слышишь: хлеба, мама, хлеба! Боже мой! Где я возьму его?!»<sup>135</sup>

Характерно, что даже тема разбойников у Калашникова не лишена социальных мотивов. Разбойники в его романе — люди разные: одни из них — действительно, отпетые преступники, другие — вроде подрядчика Коровина — стали разбойниками по нужде: Коровин вступил в шайку, поскольку был разорен Груздевым. Именно ему Жолобов обязан спасением от верной смерти.

Роман Калашникова представляет немалый этнографический интерес. Описание старинных сибирских обычаев, одежды героев середины XVIII в., сибирского пейзажа, тяжелой жизни тунгусов и бурят — все это несомненные достоинства произведения<sup>136</sup>.

Художественная манера Калашникова лишена цельности. Нет у него и стилевого единства. Как и в системе образов, у него сталкиваются две противоположные стихии: с одной стороны, приверженность к канонам романтизма и сентиментализма, с другой — простота и достоверность, которым Калашников учился у В. Скотта.

Вот характерный пример. Очень естественно, без натяжек описана сцена прощания Алексея с Жолобовым, когда Алексей отправляется в ссылку в Нерчинский Завод. Собственно, сцены как таковой нет: мы узнаем о прощании со слов хозяйки дома, у которой Жолобовы и Алексей остановились на ночь, прежде чем расстаться. Тем самым писатель избегает сентиментальности, обычной у него в подобных сценах, и заставляет читателя живо почувствовать горечь и боль разлуки любящих молодых людей.

Но в то же время этой сцене предшествует монолог Алексея, полный сентиментально-романтического пафоса: «О ты! — говорил он, устремив взор свой к небу. — Ты, погружающий в бездны сие лучезарное светило и вновь возводящий его на небо! Всемогущий Творец вселенной! Ты один своею благотворною десницею можешь вывести и меня из бездны несчастья! Ты только один можешь разогнать туман бедствий, скрывающий от меня все драгоценное моему сердцу!» Тут слезы полились из глаз незнакомца, и он умолк»<sup>137</sup>.

Такое сочетание простоты и выпренности характерно для стиля Калашникова. Описывая то или иное состояние героев,

---

<sup>135</sup> Там же, ч. 1, стр. 60.

<sup>136</sup> См. об этом в статье А. А. Богдановой «Сибирский романист И. Т. Калашников», стр. 100—101.

<sup>137</sup> «Дочь купца Жолобова», стр. 135—136.

писатель нередко впадает в трескучий пафос или в сентиментальность, доходящую до слезливости. И тогда из-под его пера выходят искусственные, неуклюжие фразы. Так, о болезни Алексея, вызванной любовью к Наталье, сказано: «Страшный жар пожирал всю его внутренность»<sup>138</sup>. Но та же глава, где рассказывается о том, что Наталья призналась отцу в своей любви к Алексею, заканчивается очень просто и с точным психологическим «попаданием». Отец посылает дочь к больному:

— Ступай же, Наташенька! Мы заговорились с тобою, а добрые дела надобно спешить делать<sup>139</sup>.

Конечно, многие погрешности стиля объясняются не только приверженностью Калашникова к устаревшим канонам, но также и его недостатками как художника. Он весьма слабо владеет средствами психологического анализа. Поэтому у него случаются просчеты в логике характеров, а это, в свою очередь, порождает порой стилистическую беспомощность. Например, чрезмерная скромность юного Алексея невольно воспринимается нами как трусость, и Алексей начинает казаться таким смиренным, безропотным иноком:

«Алексей вздрогнул и, оглянувшись, с ужасом увидел красный нос Запекалкина. Если бы и сам Дух злобы явился Алексею в сию минуту, то не более устрошил бы его. Все мечты, сейчас его ободрявшие, разлетелись как пар, и в сердце осталась одна убийственная грусть (!). Он тяжело вздохнул»<sup>140</sup>. Но сразу вслед за тем — точная, правдивая интонация:

— Что так печален, молодчик? — насмешливо спросил Запекалкин. — Ну да как не запечалиться! Вишь и другой пришел так же рано к должности!..<sup>141</sup>

Вообще Калашникову в основном удаются диалоги. Они отличаются естественностью, живостью и отчасти индивидуализацией языка. Особенно правдива у него простонародная речь. Вот как беседуют воспитательница Алексея и сваха Лукерья Савишна Закалданиха:

— Пожалуйте, Лукерья Савишна, выкушайте еще чашечку.

— Благодарю покорно, Домна Сидоровна! Ведь десятую, матушка, оканчиваю. Пора и честь знать!

---

<sup>138</sup> Там же, стр. 36.

<sup>139</sup> Там же, стр. 47.

<sup>140</sup> Там же, стр. 13—14.

<sup>141</sup> Там же, стр. 14.

— Ах, matka-свет! Ты уж и счет ведешь. Кушай во здравье, родимая! Душа — мера! <sup>142</sup>

Пословицы, которые употребляет Лукерья Савишна, отобраны в соответствии с ее характером. В ответ на слова вошедшего Алексея, что она постарела от забот, сваха заявляет:

— Хлопоты-то не што, кормилец! Они не стареют меня, да то беда, что часто принесешь самой любой холст, ан говорят толст <sup>143</sup>.

В доме Алексея Лукерья Савишна держится гордо, по-хозяйски. Иначе ведет она себя с Груздевым — подобострастно, самоуничижительно:

— Здравствуйте, батюшко Фома Яковлевич! Все ли подобру, поздорову?

На что Груздев отвечает:

— Мотаюсь, Савишна! Пока мышь головы не объела...<sup>144</sup>.

Лексика Груздева также вполне соответствует его характеру. На жалобу Савишны, что нынче «нам старухам и рта раскрыть не дают», он отвечает:

— Что делать, Савишна? Нынче надобен не столько рот волчий, как лисий хвост <sup>145</sup>.

Пословицы — не единственный фольклорный жанр, щедро используемый Калашниковым. В его романе встречаем мы и легенды, и народные песни, и произведения обрядовой поэзии. Так, во время сговора Алексея и Натальи, когда Алексей выходит в сени, девушки по обычаю поют ему:

Алексей, господин, воротися!

Федорыч, воротися!

Наталья-душа без тебя стосковалась,

Андреевна стосковалась!<sup>146</sup>

Калашников широко пользуется типично сибирскими выражениями и словами, стремясь тем самым передать своеобразие сибирской речи, местный колорит. Исследователь русского языка в Сибири П. Я. Черных считает, что это «почти научно точное отражение» русско-сибирской речи идет «несомненно во вред чисто художественным заданиям, стоящим перед автором» <sup>147</sup>. А. А. Богданова, на наш взгляд, вполне резонно опровергает это мнение, утверждая, что «употребление сибирских диалектизмов в языке романа не вредит его худо-

<sup>142</sup> Там же, стр. 24.

<sup>143</sup> Там же, стр. 26.

<sup>144</sup> Там же, стр. 83.

<sup>145</sup> Там же, стр. 84—85.

<sup>146</sup> Там же, стр. 123.

<sup>147</sup> П. Я. Черных. Русский язык в Сибири, стр. 96.

жественности. Напротив, этот прием делает язык романа ярким, своеобразным, близким к народной речи сибиряков»<sup>148</sup>.

В самом деле, Калашников не злоупотребляет диалектизмами и не выдает их за норму литературной речи,— напротив, каждое подобное слово он выделяет курсивом. И как раз наличие этих слов делает убедительной и своеобразной нарисованную им картину старой Сибири. Многие из этих слов позднее стали общерусскими, и обращение автора ко времени, когда они были еще непривычными и даже непонятными для людей, живущих к западу от Урала, позволяет установить уровень развития тогдашнего сибирского общества (забавно, например, звучит в наше время авторское разъяснение, что такое пельмени: это — «маленькие пирожки с говядиной, которые варят в воде и обыкновенно употребляют вместо супа все путешествующие сибиряки») <sup>149</sup>.

Однако мы не разделяем слишком высокую оценку языкового мастерства Калашникова, данную А. А. Богдановой («замечателен язык романа»). При всех достоинствах отдельных описаний, сцен и диалогов, где язык Калашникова отличается простотой и легкостью, все-таки он слишком неровен, чтобы считать его замечательным.

Как некое продолжение «Дочери купца Жолобова» следует рассматривать роман «Камчадалка»<sup>150</sup>. На это обстоятельство указывает сам автор: «...здесь и там действие происходит в Сибири, и таким образом оба сии романа знакомят читателя с сибирскою природою и туземными обитателями. В обоих я старался сохранить и оттенки сибирского наречия...»<sup>151</sup>.

Здесь, как и в первом романе, Калашников отстаивает мысль, что Сибирь (в данном случае — Камчатка) имеет не только «свои снега», но и «свои цветы». Причем он умеет находить своеобразную красоту и в весеннем, летнем пейзаже, и в природе, скованной свирепым морозом. Буря, грозящая смертью путешественникам, пожар на корабле посреди бушующего океана, снежный обвал, погребаящий камчадалов,— все это изображено Калашниковым романтически взволнованно и масштабно, в духе той суровой и необычной страны, где человек постоянно сражается с природой и нередко гибнет в этом поединке.

---

<sup>148</sup> А. А. Богданова. Сибирский романист И. Т. Калашников, стр. 103.

<sup>149</sup> «Дочь купца Жолобова», ч. 1, стр. 137.

<sup>150</sup> И. Т. Калашников. Камчадалка. СПб., 1833. Все дальнейшие ссылки на это издание.

<sup>151</sup> Там же, ч. 1 стр. 2.

Как этнограф Калашников объективен и не склонен ни к малейшей идеализации. Камчадалы изображаются им как люди невежественные, полные диких предрассудков, равнодушные к жизни и к смерти. Их религиозные верования отражают крайне примитивные представления о мире. Их верховный бог, Кутха, живет на небе как тойон, на земле ловит рыбу, ходит на лыжах, а однажды, объевшись мухомору и опьянев, он понаделал высокие горы... Умершего человека камчадалы тут же привязывают веревкой за шею и выбрасывают из юрты. По их мнению, «кого съедят собаки, тот сам будет на том свете ездить на добрых собаках»<sup>152</sup>.

Калашников описывает — не без юмора — свадебный обряд камчадалов — драку жениха со старухами, оберегающими его невесту, а также своеобразный обычай — приглашать гостя в баню и при этом угощать его вонючей, кислой рыбой — любимейшим кушаньем камчадалов.

В романе подчеркивается смирение, покорность, забитость этих людей — качества, позволяющие русским начальникам беспрепятственно угнетать их и обирать до нитки. По 10 собак берут с камчадала ежегодно в пользу начальника, отбирают у него собак для чиновников: «...а без собак нашему брату, бачка, как жить?.. Сиди, склавши руки, да умирай с голоду!»<sup>153</sup>. Камчадалов спаивают ловкие дельцы типа фельдшера Шангина, и никто не смеет уличить его, так как за его спиной стоит сам начальник Камчатки.

Но в конце концов камчадалы выступают против несправедливости: они «всем острожком положили: не давать ничего сверх царского ясака». Когда же один из них был зверски избит представителями власти, камчадалы решились на восстание.

Наиболее отвратительные черты местных сатрапов воплощены в образе Антона Григорьевича, начальника Камчатки. Этот образ производит настолько страшное впечатление, что кажется нереальным. Несомненно, в Антоне Григорьевиче есть черты романтического злодея — слишком уж он последователен в своих низменных поступках. Но вместе с тем нельзя отказать Калашникову и в умении показать достоверные черты крупного царского чиновника, причем образ этот не лишен элементов социальной характеристики.

Калашников объясняет злоупотребления местных властей тем, что здесь, на Камчатке, каждый правитель чувствует се-

---

<sup>152</sup> Там же, стр. 160.

<sup>153</sup> Там же, стр. 112.

бя вне всякого контроля. Ссылный Зуда спрашивает протопопа Верещагина:

«— Чай, помните вы, как покойный охотский начальник Кох говаривал: на небе бог, а на земле Кох?»

— Как не знать! Я лично был знаком с Кохом. Впрочем, он был человек весьма добрый.

— Вот видите: он был и добрый человек, а как заехал в Охотск, так уже выше себя никого не ставил!»<sup>154</sup>

Правда, Калашников не понимает, что эти злоупотребления закономерны в условиях монархии. Напротив, ему представляется, что все это возможно лишь потому, что здесь «от царя далеко». Устами протопопа он утверждает, что «зло таиться вечно не может. Дойдет весть до государыни: тогда и наш праздник наступит!»<sup>155</sup>. Поэтому все усилия Антона Григорьевича направлены на то, чтобы пресечь любой донос. Но Калашников все же достаточно объективен, чтобы показать, насколько бесполезным бывает большинство доносов. «Много их было послано отсюда,— говорит протопоп,— да все получили один конец: сюда же и пришлют, а тут уж бедный доносчик и места не найдет, куда головы приклонить...»<sup>156</sup>

Следовательно, Калашников понимал, что и чиновники повыше камчатского начальника оставались глухи к страданиям тех, кто жаловался, более того, они были заодно с начальником. Тут требовалось личное знакомство или родственная связь с высокопоставленным лицом, чтобы донесение имело силу. Добиться правды было тем более трудно, что любого жалобщика— даже если он был безупречным во всех отношениях— ничего не стоило оклеветать. В романе есть очень точная деталь: стоило секретарю Антона Григорьевича написать донос на протопопа и других, как «все эти клеветы, быв изложены складно и дельно в форме официальной бумаги, приняли вид величайшей вероятности»<sup>157</sup>.

Антон Григорьевич автор наделяет умом и пронизательностью. Этот человек не только отдает себе отчет в преступности собственных намерений и дел, но и великолепно понимает психологию тех, кто творит его злую волю. Большая правда заключена в том, что под началом такого человека подлые и жестокие люди чувствуют себя вольготно, в то время как честные и добрые обречены страдать. В этих условиях даже чудовищное убийство собственных детей, совершенное

<sup>154</sup> Там же, стр. 104—105.

<sup>155</sup> Там же, стр. 110—111.

<sup>156</sup> Там же, ч. 2, стр. 162.

<sup>157</sup> Там же, стр. 59.

новоявленной Медеей, цыганкой Мариной, представляется делом если не обычным, то, во всяком случае, ненаказуемым. И, действительно, Антон Григорьевич вовсе не собирается покарать цыганку, но готов использовать ее как орудие для своих козней.

Писателю изменяет чувство меры, когда он делает своего героя не только деспотом, взяточником и лицемером, но еще и сластолюбцем, готовым ради обладания молодой Машей уморить свою жену. Впрочем, это характерно для романтиков — наделая злодеев «демонической» страстью, готовностью ради удовлетворения ее совершить любое преступление. Лишенные добра и совести, эти люди, по прихоти авторов, делают своими избранницами добродетельных женщин и обычно губят их своей привязанностью.

Именно такой необъяснимой и кажущейся нарочитой страстью к Маше одержим дьячок Шайдуров. Уж в этом-то ничтожном, глупом, болезненно самолюбивом человеке еще труднее заподозрить способность к любовному томленью, чем в Антоне Григорьевиче. Но такова воля писателя-романтика!

Вместе с тем нужно отдать должное Калашникову: он далек от романтизации чувств, переживаемых Антоном Григорьевичем и Шайдуровым. Для него очевидно, что их отношение к Маше — лишь проявление обостренной чувственности, что оно не облагораживает ни того, ни другого, напротив, пробуждает в них самые низменные стороны характера. На этом, собственно, и строится конфликт: начальник Камчатки и дьячок каждый по-своему стараются разбить любовь Маши и молодого мичмана. Все это помножается на козни местного чиновничества, и сюжет романа, таким образом, превращается в нагромождение преступлений. Зло становится настолько чрезмерным, что это уже кажется невозможным даже в условиях тогдашней Камчатки.

Добродетельные герои — Маша, мичман Виктор Иванович, протопоп Верещагин, как и полагается у романтиков, выдержаны в духе общепринятых канонов. Правда, было бы неверным решительно отказать им в наличии индивидуальных черт. Маша по отцу происходила от камчадала (отсюда название романа), и потому в ней черты чувствительной барышни вполне естественно сочетались с отвагой и ловкостью жительницы Севера. Воспитанная вдали от светских салонов, она была незнакома с условностями «высшего общества» и, полюбив, простодушно призналась мичману в своем чувстве. Маша была умна и более проникательна, нежели мичман, который отличался наивностью, легковерием и по первому навету Антона Григорьевича поверил в измену Маши. Пылкий,

отважный, решительный, он вместе с тем обнаруживал черты жизненной неопытности и, несомненно, проигрывал в сравнении с Машей.

Протопоп Верещагин изображен Калашниковым как истинный слуга бога, как христианский пастырь, готовый с покорностью принять любые удары судьбы, проповедующий подчинение всякой власти, даже несправедливой, уповающий на бога и государыню. Его проповеди многословны, утомительны и не украшают романа. Писатель, совершенно очевидно, воплощает в этом человеке свой идеал, но реальная жизнь заставляет Калашникова в какой-то мере отказать от идеи христианского всепрощенчества. Протопоп в конце концов разоблачает перед камчадалами мошенничество фельдшера Шангина, он решает написать жалобу на начальника Камчатки и при этом готов идти на хитрость, чтобы обмануть бдительность Антона Григорьевича. Его смирение порой выглядит мудрой осторожностью, необходимой в поединке с таким коварным человеком, как камчатский правитель.

Христианская вера противопоставляется в романе не только варварству и дикости камчадалов, но и «глупому вольномыслию» дьячка. Калашников чересчур шарочито и навязчиво заставляет своего героя цитировать латинских авторов, которых тот начитался. Даже на краю гибели, уносимый собаками к обрыву, дьячок кричит: «Valete omnes!» (Прощайте все!). В его лице писатель не просто высмеивает недалекого человека, козыряющего своей псевдоученостью, но пытается дискредитировать и самих древних мыслителей, которых дьячок поминает по всякому поводу и чаще всего не к месту. Для протопопа учение Демокрита об атомах и прочие теории древних — «вздор». Он говорит дьячку: «Скажи ты мне: чем твои греки и римляне, которыми ты бредишь, чем эти всемирные учителя были умнее глупых камчадалов?»<sup>158</sup>. Протопоп отрицает разум, который «увлекает нас в погибель», и утверждает, что человеку достаточно одной веры.

Автор явно разделяет эту точку зрения. Он выступает как противник материализма, и эти реакционные позиции будут отстаивать и в дальнейшем (в романе «Автомат», в «Записках иркутского жителя»).

Но каковы бы ни были заблуждения писателя, в своих описаниях жизни он более объективен, чем в рассуждениях. Вся его книга пронизана негодованием против царских чиновников и тех общественных порядков, которые делают возможным их произвол. Сам ход событий в романе убеждает чита-

<sup>158</sup> Там же, ч. 1, стр. 39.

теля: смирением и верой не обуздать этих врагов человечества — нужно действовать, действовать энергично и сообща, нужна привопоставить силе силу.

Этот мотив звучит и там, где речь заходит о политических ссыльных Зуде и Ивашкине. О них в романе сказано, что они воспитывались в одном заведении и были друзьями с детства, несмотря на разность характеров. «Оба они равно любили правду и добродетель и ненавидели порок и ложь»<sup>159</sup>. Правда, осуждая камчатских чиновников, они уповали на милость государыни и, по воле Калашникова, не раз выражали свои верноподданнические чувства. Однако сам факт пребывания в ссылке этих достойных людей — если не по воле царицы, то, во всяком случае, с ее ведома — заставляет читателя усомниться в справедливости монархии как системы. Писатель ни единым словом не оговаривает причин ссылки этих людей, ничего не говорит об их «политических преступлениях», но зато не скупится на слова, чтобы пробудить у читателя симпатию и сочувствие к этим «несчастливым». Поэтому их судьба приобретает более глубокий смысл, нежели того хотел, может быть, сам писатель.

Зуда и Ивашкин, как уже сказано, не похожи друг на друга: «...Зуда не умел удерживать порывов своего сердца, шел везде грудью и высказывал свое мнение напрямки, а, напротив, Ивашкин, сохранявший во всяком случае более равнодушия, не любил лезть добровольно в опасность без пользы себе и другим, старался избегать ее, когда можно было ее сделать, и для достижения своих целей, особенно на пользу других, не гнушался никакими средствами, если только можно согласить их с правилами чести и справедливости»<sup>160</sup>. Но при всем различии натур оба ссыльных — сторонники действия. При первом же знакомстве с Зудой мы узнаем, что этот человек вполне реально смотрит на вещи, не обольщается, в отличие от протопопа, тем, что здесь бывают и добрые начальники, поскольку «худых как-то больше наворачивалось». Смирение протопопа Зуду не устраивает, он напоминает священнику: «На бога надейся, а сам не плошай» — и побуждает его написать жалобу на местных правителей. Впрочем, Зуда наперед уверен, что справедливый суд не поторопится и весть до царицы дойдет уже тогда, когда его самого в живых не будет, но он беспокоится не о себе — его тревожит судьба местного народа, который «год от году все беднеет и беднеет».

<sup>159</sup> Там же, ч. 2, стр. 108.

<sup>160</sup> Там же, стр. 108.

По-настоящему предприимчив Ивашкин. Он действует хитрее своего товарища по несчастью. Оказавшись в обществе пьяного дьячка, он ловко выведывает у того все его темные намерения. Затем, «угостив» знакомого камчадала горячей банькой, он добивается от него согласия доставить письмо Зуде, в котором предупреждает последнего об опасности и призывает скрыться. Когда план этот проваливается, Ивашкин решает уйти в сопки, но мысль о тех, кому он мог бы быть полезен, заставляет его пожертвовать собой и явиться в Петропавловск. Это благородство Ивашкина, изображенное в возвышенно романтических тонах, контрастно противопоставляется подлости его гонителей, облеченных властью. И этот резкий контраст не мог, конечно, не быть замеченным русской читающей публикой.

Однако тема политической ссылки в романе является все-таки побочной. По-видимому, это не вполне удовлетворяло самого писателя. Во всяком случае, в следующем своем произведении, «Изгнанники» (1834 г.) он вновь вернулся к этой теме, сделав ее центральной.

Хотя новое произведение Калашникова появилось всего лишь через год после «Камчадалки», нельзя не увидеть между ними определенной разницы. Прежде всего несколько другому освещается здесь тема ссылки. Если Ивашкин и Зуда изображены как одинокие изгнанники, живущие среди чуждых им людей, то герои последнего произведения, Неволя и Судьба, показаны в окружении их семейств, что позволяет автору раскрыть их характеры в бытовом плане, проследить личные взаимоотношения и тем полнее, следовательно, воссоздать их человеческий облик.

Подробно описывая домашнюю обстановку в «зимовьях» ссыльных, писатель подчеркивает чистоту и опрятность их жилищ, и это служит как бы свидетельством нравственных достоинств живущих здесь людей. Многолетняя дружба двух семей, изолированных от всего остального света, их скромные развлечения и радости, серьезные беседы родителей с детьми, воспитание последних в сознании долга «перед богом и людьми» — все это говорит о том, что ссыльные — люди, обладающие душевным благородством, и эти их лучшие качества проявляются не в отдельном ярком подвиге, но в сохранении человеческого достоинства на протяжении многих лет ссылки в условиях жесточайшей северной зимы.

Развивая мысль, намеченную в «Камчадалке», о страданиях ни в чем не повинных людей, Калашников скорбит о том, что самым высоким стремлениям их не дано осуществиться.

Он придает, несомненно, важное значение разговору Судьбы с путешественником Шалауровым, когда Судьба с глубокой горечью говорит о том, что и он мог бы быть полезен отечеству и что ему дорого стоило смирение со своим вынужденным бездействием.

Вместе с тем Калашников не склонен к романтической идеализации образов ссыльных. Он изображает жену Неволи, Анну Антоновну, как женщину, хотя и добрую, но вздорную и сумасбродную, а ее мужа — как человека неустойчивого в своих настроениях, поддающегося влиянию жены. Он пытается, таким образом, передать противоречия в характере своих героев, что, вообще говоря, раньше ему не было свойственно. Правда, эта попытка писателю не вполне удалась (Анна Антоновна в итоге получилась откровенно непривлекательной личностью), но нельзя недооценивать сам этот факт.

При всех недостатках, которыми наделена жена Неволи, очень важно, что Калашников одним из первых в русской литературе показал не только политических ссыльных, но и их верных подруг, последовавших за ними в Сибирь. Это тем более знаменательно, что очень многие люди в России того времени знали о подвиге декабристок.

Своими «Изгнанниками» Калашников внес нечто новое в круг тем, нашедших отражение в его первых двух романах: он обратился здесь к теме героического освоения Ледовитого океана. Еще в детстве писатель слышал от своего деда, бывшего моряка, об отважном путешественнике Шалаурове и теперь, через много лет, сделал его одним из главных героев своей повести. Характер этого замечательного человека описан скупой, но четко. Писатель показывает Шалаурова в драматические моменты его жизни, когда человеческая личность проверяется на прочность, когда отпадает все второстепенное, наигранное, придуманное и остается только главное. И это главное в Шалаурове — мужество, благородство, готовность к самопожертвованию.

Уже в первом эпизоде, где появляется Шалауров, характер героя сразу запечатлевается в нашем сознании. Трое едут через снежную пустыню на собаках, мороз перехватывает дыхание, ветер пронизывает меховые шубы, смерть, кажется, идет по пятам. Даже выдавший виды моряк Степан испытывает страх, а сын Шалаурова, Владимир, не может преодолеть желания заснуть — его воля сломлена. Только Шалауров сохраняет присутствие духа, действует спокойно и уверенно, заставляет сына бежать рядом с нартами, чтобы согреть-

ся, в глубине души страхась за него. Эта несокрушимая сила воли не покидает Шалаурова и тогда, когда его корабль оказывается затертым во льдах. Озверевшие от голода матросы обступают его. Они готовы бросить жребий: «кому выпадет, тот и будет нам едою».

— И начните с меня,— отвечал с твердостью Шалауров.— Точно, я один виновник вашей гибели,— я первый и пасть должен<sup>161</sup>.

Величие этого человека заключается в том, что он меньше всего помышляет о собственной выгоде: он жаждет подвига во имя своего отечества, ради его славы и благоденствия. «Те ошибаются,— пишет Калашников,— которые думают, что одно корыстолюбие было пружиной всех великих дел, совершенных завоевателями Сибири: мелкая страсть довольствуется и мелкими средствами. Но переходя из пустыни в пустыню, от битвы к битве, сражаясь с людьми и с природою, наконец, пускаясь в неизвестные и ледяные моря на утлых ладьях, надобно иметь несравненно возвышеннейшее побуждение, чем подлую корысть. Кто знает дух русского народа, тот легко изъяснит сие побуждение»<sup>162</sup>.

Калашников откровенно противопоставляет дела тех, кто действует по внутреннему побуждению, казенным, официальным мероприятиям, организованным правительством: «Влекомый, без всякого постороннего побуждения, одним своим беспокойным гением, чудный купец решил привести в исполнение то, чего не могло сделать само правительство при всех своих бесчисленных средствах»<sup>163</sup>.

Даже простой, ничем не примечательный человек, по мысли Калашникова, может считать себя счастливым, если ему удалось прикоснуться к великим делам своего времени. Поэтому с таким уважением и заинтересованностью писатель относится к своему деду, которому довелось знать Шалаурова и его сподвижников. Пусть небогат был дед, «но, обращаясь назад при конце жизни, и незначайший штурман с тем же то сладким, то горьким чувствованием кидает взор на минувшие события, как и величайший из царей...»<sup>164</sup>

Калашникову нельзя отказать в мастерстве, проявившемся в описании последних дней жизни Шалаурова — гибели всей

<sup>161</sup> И. Т. Калашников. Изгнанники. «Восточная Сибирь в ранней художественной прозе». Иркутск, 1938, стр. 32. Все дальнейшие ссылки на это издание.

<sup>162</sup> «Изгнанники», стр. 11.

<sup>163</sup> Там же, стр. 29.

<sup>164</sup> Там же.

его команды от голода, смерти его сына и Андрея Судьбы, а затем кончины и самого героя. Всегда склонный к изображению драматических и трагедийных ситуаций, стремящийся потрясти читательское воображение, автор на этот раз проявляет большую сдержанность, и, может быть, именно поэтому его рассказ особенно трогает читателя:

«Видел Шалауров и смерть сына, и смерть Андрея, видел и — не плакал: сердце его окаменело. Корабль был уже не обитель живых, но огромная могила, печальное кладбище, на котором блуждал владеец его, как привидение. Наконец, пробил и его час»<sup>165</sup>. Последние слова его были обращены к богу: «Прости мне, создатель, что я не умел соразмерить моих средств... отпусти мне этих многих, погибших от меня... прости мне смерть этих бедных юношей, увядших под моею рукою на самом цвете лет...»<sup>166</sup>

Создание образа Шалаурова, описание его трагической судьбы имеют большое значение в идейно-творческой эволюции Калашникова. В известном смысле это — его вершина. Здесь писатель сумел подняться над собственной проповедью христианского смирения и провозгласил, по сути дела, прямо противоположный взгляд на жизнь. Правда, ссыльный Судьба, поучая детей, как будто продолжает проповедь протопопа Верещагина. Он внушает им, что «душу легко можно приучить ко всякому положению, и во всякой сфере состояния есть непременно свои условия счастья». «Боже мой, что такое счастье? — продолжает он. — Когда чувствую мир в душе, когда вижу спокойствие в своем семействе, когда уверен, что друзья мои ко мне искренни, я решительно счастлив в эту минуту, хотя и брошен за тридесять земель в тридешатое царство. Если нет мира ни с самим собою, ни с другими, тогда повсюду ад, где бы человек ни был»<sup>167</sup>.

В этом утверждении Судьбы, безусловно, есть и доля истины: мир с самим собой, любовь, дружба — действительно, непреходящие ценности жизни, без которых невозможно счастье. Что же касается идеи смирения, то она здесь имеет иной оттенок, нежели в «Камчадалке»: речь идет о смирении с неизбежностью. Причем Судьба тяжело вздыхает, говоря Шалаурову о том, что «теперь мы все, действительно, счастливы», и слезы навертываются ему на глаза при мысли, что время его уже прошло.

---

<sup>165</sup> Там же, стр. 33.

<sup>166</sup> Там же.

<sup>167</sup> Там же, стр. 7.

Утверждая жизненную активность, горячо славя Шалаурова, Калашников, однако, не может полностью преодолеть своих безотрадных размышлений о бренности всего земного. Эти настроения звучат в заключительных строках повести. Что осталось от зимовий ссыльных около Баранова камня? «Домики были сломаны, кем — неизвестно. Ничто не напоминало, что тут жили некогда души светлые, бились сердца чувствительные, что и тут лились мысли, горели чувствования, блистала радость и тяготела печаль. Но что же! Не такова ли история и целого мира?»<sup>168</sup>

«Изгнанники» приоткрывают перед нами некоторые новые грани художественного мастерства Калашникова. В отличие от предыдущих романов, весьма пространных, это произведение отличается краткостью и относится к жанру повести. Выбор жанра продиктован самим характером сюжета: действие происходит в основном в селении ссыльных, где многие годы не бывает никаких перемен и где охота на оленей или встреча весной солнца после долгой зимы — самые большие события. Приезд Шалаурова и вызванные этим последствия — вот все, что составляет сюжет повести. Гибель Шалаурова — кульминация повести; рассказ об этом моряка Степана, смерть дочерей Судьбы и Неволы, возвращение родителей из ссылки, снова свободных, но утративших своих детей, — печальная развязка.

Калашников, в основном, избегает здесь тех исключительных сюжетных коллизий и перипетий, которые он щедро использовал в «Дочери купца Жолобова» и «Камчадалке». Сюжет в «Изгнанниках» отличается простотой и достоверностью (за исключением, пожалуй, эпизода неожиданного освобождения из льдов корабля Шалаурова, вынесенного бурей на берег с единственным живым матросом). Не исключено, что на писателя в данном случае повлияли упреки рецензентов, которые обвиняли его предыдущее произведение в неестественности положений, в необычности поведения его героев, во множестве несообразностей и отвратительных злодеяний, совершающихся без цели, без причины<sup>169</sup>. В «Изгнанниках» Калашников стремится к тому, чтобы сюжет развивался в согласии с логикой характеров. Движущей пружиной конфликта являются действия Анны Антоновны, которая хочет выдать замуж свою дочь за Владимира Шалаурова, а не за Андрея, несмотря на то, что Андрей и Ольга любят друг друга. В ста-

<sup>168</sup> Там же, стр. 39.

<sup>169</sup> См., например, «Московский телеграф», 1833, ч. 50, № 6, стр. 244—246.

рухе говорит честолюбивое желание видеть дочь женой свободного человека, и это стремление ее настолько сильно, что до появления Шалауровых она готова была отдать Ольгу за среднеколымского комиссара. Ее не останавливало при этом, что комиссару было около 60, а Ольге — 15, и только то обстоятельство, что «комиссар по обыкновению попал под суд и был отрешен от должности», «дало новое направление мыслям Анны Антоновны». Она поссорила своего мужа с Судьбой, и в этой «маленькой республике» воцарилась печаль. Конечно, как бы ни были сумасбродны действия Анны Антоновны и какие бы тяжкие последствия они ни имели, конфликт замыкался в рамках семейных отношений и был лишен глубины и значительности, отличающей конфликт в предыдущих романах. Здесь за столкновением «добра и зла» не просматривалось борьбы противоположных социальных сил. Тем более, что автор с самого начала говорил об Анне Антоновне как о человеке, не лишенном добрых начал: недаром же многие годы оба семейства жили в дружбе и согласии. Поэтому мы заранее предполагаем, что рано или поздно, с большими или меньшими издержками, конфликт будет исчерпан. Так это и случается в конце концов: приходит прощение из Петербурга, выясняется, что Судьба ходатайствовал не только за себя, но и за своих друзей, и Неволя с женой, заливаясь слезами, просят прощения у Судьбы за свои подозрения, за свое безумие.

Автор изображает Анну Антоновну со свойственной ему откровенной тенденциозностью. Чаще всего это — прямое осуждение, а в некоторых случаях — ирония, которая для Калашникова — тоже испытанное оружие. Так, он пишет, что «Шалауров хотел, было, уговорить Анну Антоновну, но сладить с дураком, скажите, кто умел<sup>170</sup>. Анна Антоновна такой подняла крик, что даже, говорят, гуси, плававшие около берега, спорхнули на воздух, тюлени побросались в море, и кит, кинувшись со страху от берега, расшиб на бегу ледяную гору. Последнего не выдаем за истину»<sup>171</sup>.

Как всегда у Калашникова, героиня, наделенная отрицательными чертами характера, получилась гораздо убедительнее тех, кто воплощает собой добродетель. Судьба и в особенности его жена («милая, добрая и, кстати упомянуть, дородная старушка») — «голубые» персонажи, выписанные однопланово и лишённые жизненной полноты.

Если в предыдущем романе Калашников уделяет преиму-

<sup>170</sup> Панкратий Сумароков.— *Прим. автора.*

<sup>171</sup> «Изгнанники», стр. 27.

щественное внимание особенностям быта одного из «коренных» народов Сибири, то в «Изгнанниках» этнографическая струя отходит на задний план,— может быть, это было ответом писателя тем критикам, которые не желали признавать за ним никаких достоинств, кроме достоинств этнографа. Правда, он описывает охоту юкагиров на оленей, но сами охотники в этом эпизоде лишь упоминаются,— внимание же писателя сосредоточено на описании многотысячного оленьего стада, устремляющегося с наступлением июня к берегам Ледовитого океана.

Картины северной природы вообще занимают существенное место в повести: в этом отношении Калашников верен себе. Природа у него полна жизни и движения, несмотря на то, что здесь, «на краю земли», царит холод и покой. Северное сияние изображено им как столкновение «невиданных, чудных бойцов», «как бы воспаленных гневом или обогранных кровью», и «вся пустыня, до того бледная, покрылась от них пожарным заревом». Полно драматизма описание и оленьего стада, которое, спасаясь от преследования барса — свирепого хищника с окровавленной мордой,—прыгало в реку прямо на копыта юкагиров.

Хотя Калашникову не удалось избежать прежней выпренности в ряде диалогов, внутренних монологов, описаний и характеристик (особенно в изображении зарождающейся любви Владимира и Елизаветы), тем не менее у него как психолога есть в этой повести и некоторые достижения. Неплохо передано, например, состояние Ольги, которая боялась материнского проклятия, но продолжала любить Андрея и опасалась, что Андрей и Елизавета почтут ее ветреною. Но особенно верно рассказано о двусмысленном положении Владимира, который все понимал и которого удерживало от откровенного объяснения с Анной Антоновной только почтение к ее седым волосам.

Здесь мы видим сближение Калашникова с реализмом, все более утверждающимся в русской литературе. Это проявляется не только в ряде психологических моментов, но и в некоторых описаниях быта. Так, перечисляя домашнюю утварь в зимовьях ссыльных и говоря о том, что домашнее хозяйство лежало на плечах Ольги и Елизаветы, писатель даже считает нужным оговориться перед читателем, обладающим романтическим вкусом: «впрочем, для успокоения доброго и особенно молодого читателя, мы спешим сказать, что прекрасные ручки Ольги и Елизаветы не могли слишком огрубеть от трудных работ, ибо во многих случаях заменяли их матери сами и еще

чаще призывали на помощь женщин из юкагирских семейств, кочевавших близ зимовий»<sup>172</sup>.

Конечно, новое, реалистическое направление было непримлемым для Калашникова, но мимо него не мог пройти ни один сколько-нибудь одаренный художник. Позднее сибирский писатель-романтик испытал на себе уже большее влияние нового направления, но и в 40-е годы он остался верен избранному им романтическому методу.

## РОМАНТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ Н. С. ЩУКИНА

Сибирский писатель-краевед Николай Семенович Щукин (1792—1883 гг.) принадлежит к числу ныне забытых. А между тем в 20—30-х годах XIX в. это была заметная фигура в общественной и литературной жизни Сибири. Вокруг него и его брата, С. С. Щукина, группировались иркутские литераторы-краеведы. Оба брата сотрудничали в казанских и столичных журналах. Свои многочисленные корреспонденции Н. С. Щукин посылал в «Московский телеграф», в «Северную пчелу», в «Журнал Министерства внутренних дел», «Москвитянин» и др. Он выступал по вопросам экономики, этнографии и культуры края, глубоко изучал проблему накопления книжных богатств в Иркутске, читательские интересы, отношение сибиряков к русской классике. Автор двух повестей, он поддерживал разветвленные связи с местными и столичными литераторами, помогал сибирякам публиковаться в столице (например, В. П. Паршину), вынашивал планы издания сибирских сборников.

Почему же Щукин был забыт вскоре после его смерти? Отчасти этому способствовала суровая оценка повестей Н. Щукина «Посельщик» (1834 г.) и «Ангарские пороги» (1835 г.), данная В. Г. Белинским<sup>173</sup>. Великий русский критик, отстаивавший принципы критического реализма, беспощадно судил о тех произведениях 30-х годов, которые создавались по романтическим канонам и в которых еще сохранялись устаревшие мотивы сентиментализма. Поборник высокой гражданской ответственности, Белинский не мог удовлетвориться критическими тенденциями, не выходящими за местные рамки. Тем более, что Н. Щукин обладал достаточно скромным писательским дарованием.

<sup>172</sup> Там же, стр. 3.

<sup>173</sup> В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 132—136 и 169—170.

Как мы знаем, столь же резко Белинский осудил произведения И. Т. Калашникова, порекомендовав последнему оставить поприще романиста и переключиться целиком на создание произведений описательно-этнографических. Однако Калашников не последовал этому совету. Щукин же после выступления Белинского не пытался больше писать повестей и обратился к тому роду литературы, в котором чувствовал себя достаточно сильным, — к созданию книг краеведческого характера. В 1844 г. он выпустил второе, исправленное и дополненное, издание книги «Поездка в Якутск», впервые опубликованной еще до появления «Посельщика», в 1833 г. Затем вышли в свет «Очерк торговли в Нерчинском крае» (1860 г.), «Народные увеселения в Иркутской губернии» (1868 г.), «Народные памятники в Восточной Сибири» (1883 г.) и др.

В этих работах Щукин зарекомендовал себя не только как этнограф, но и как художник. Показательна в этом отношении его «Поездка в Якутск»<sup>174</sup>. Рассказывая о своем путешествии по великой сибирской реке, автор очень живо описывает немногочисленные селения, разбросанные по берегам Лены, отмечает характерные особенности быта русских крестьян и «инородцев», воскрешает героическое прошлое этого края. Он неплохо осведомлен в истории освоения Сибири, для него история полна жизни, порой она волнует его не меньше, чем современность. Оказавшись в деревне, где некогда жил Ерофей Хабаров, писатель с восхищением говорит об этом человеке, открывшем путь русским людям на Амур. «Мужиков, подобных Хабарову», писатель находит и среди современных крестьян, но «они действуют уже в духе времени, бросаются в подряды, в проекты, затевают компании и весьма часто умирают ни с чем, ускользнув не только от истории, но даже от замечания современников»<sup>175</sup>.

Щукин преклоняется перед силой духа русских землепроходцев и путешественников, которые, не страшась жесточайшего холода, покрывали тысячеверстные расстояния, осваивали новые земли, открывали морские и речные пути. Его огорчает, что, хорошо зная имена героев европейских, мы зачастую не имеем ни малейшего представления о замечательных людях России. Равнодушие к прошлому Щукин видит в беспризорном состоянии ценнейшего якутского архива: свитки слиплись от воды, многие из них пошли на оклейку стен и окон, в том числе и в якутских юртах.

---

<sup>174</sup> Н. Щукин. Поездка в Якутск. Изд. 2. СПб., 1844. Все дальнейшие ссылки на это издание.

<sup>175</sup> Н. Щукин. Указ. соч., стр. 76—77.

Характерно, что, разбирая якутский архив, писатель обращает внимание на документы о жестокости местных воевод. Эти воеводы давали ход любому навету, пытали каждого, кого подозревали в преступлениях, и нарочно арестовывали купцов в расчете на то, что те дадут за себя откуп. Шукин осуждает «сибирских сатрапов», и эта авторская позиция находит затем отражение в повести «Ангарские пороги».

Критическое отношение к действительности — преобладающий тон книги. Шукин пишет о бесхозяйственности, царящей на огромных просторах Сибири, в результате которой от лесных пожаров выгорают тысячи гектаров леса. Он отмечает, что большинство крестьян живет в бедности, в невежестве, в условиях почти каторжного труда. Правда, здесь же восторженно описана усадьба богатого крестьянина Яныгина, где путешественникам подали к чаю даже графин с ромом («Вообразите! За восемь тысяч верст от Петербурга...»). Это дало писателю основание утверждать, что и здесь трудолюбием можно добиться достатка. Но объективная картина, нарисованная им, безотраднa.

Особенно тяжелое впечатление оставляют описания жизни местных народностей. Как ни выносимы эти коренные обитатели Сибири, условия их жизни настолько чудовищны, что повальные болезни преследуют их с детских лет. Незабываем эпизод, когда русский чиновник застаёт на снегу, в 35-градусный мороз, только что родившую тунгуску. «Она успела обмыть дитя снегом, перевязать пупок, завернуть в шкуру и положить в люльку, но ослабев, не могла уже сесть на оленя»<sup>176</sup>.

Сочувствие Шукина сибирским народам очевидно. Но Н. Полевой в рецензии на «Поездку в Якутск» справедливо замечает, что у автора есть односторонние, неверные суждения о нравственности якутов<sup>177</sup>. Впрочем, в полемике со Шukiным Полевой не во всем прав и допускает некоторые логические просчеты. Так, он пишет: «Г-ну Щ[укину].. странно кажется, что никто в Якутске не помнит Войнаровского или Миллера. Но, боже мой!—воскликает Полевой,—много ли преданий осталось в самой Москве, о важных событиях, гораздо более близких, например: о приезде в Москву Иосифа 2-го, казни Пугачева, московской чуме?»<sup>178</sup>. Конечно, равнодушные к событиям и к людям прошлого можно найти не только в Якутске, но разве это все-таки оправдывает якутских

<sup>176</sup> Там же, стр. 154.

<sup>177</sup> «Московский телеграф», 1833, ч. 52, № 14, стр. 246.

<sup>178</sup> Там же, стр. 248.

граждан? Далее, Полевой берет под свою защиту якутских певчих, опять-таки ссылаясь на то, что «правильное, хорошее пение» — редкость даже в Москве и Петербурге. Однако и эта ссылка на столицы не отрицает того факта, что певчие в Якутске все-таки плохи. Столь же неубедителен Полевой и в попытке извинить низкий уровень образования в якутских училищах отдаленностью от «центров просвещения». Каковы бы ни были, в конце концов, причины, Щукин имел право возмущаться тем, что «кончившие курс учения... отличаются от неученых только умением называть науки»<sup>179</sup>. Тем более, что «ученики уже на возрасте, есть иные лет по 17, а потому и строже хочется взыскать с них»<sup>180</sup>.

Но главное возражение Полевого относилось к утверждению Щукина, что «общий характер здешних жителей есть купеческий», что здесь очень ценят деньги и о достоинстве человека судят по его капиталу. В ответ на это Полевой заявляет, что «в Якутске, как везде, есть добрые, есть и худые люди» и что он, Полевой, готов защищать купцов вообще, гордясь своей принадлежностью к этому «почтенному сословию».

Возможно, Щукин несколько односторонне воспринял Якутск и, как приезжий из более крупного города, особенно остро ощутил и скуку местных собраний, и склонность местных жителей к картам и сплетням, и крайне развитое здесь ябедничество. Однако неверно, будто бы он отдавал Якутску монополию на все эти пороки. Он сам подчеркивал, что «теперь человек везде один и тот же: и камчадал, и парижанин, и якут, и москвич собственное «я» боготворят одинаково. Польза общая только на языке, а на деле лишь бы мне было хорошо»<sup>181</sup>. И даже сплетничество Щукин рассматривал как «общую принадлежность маленьких городков». По словам Полевого, «в Поездке» г-на Щ[укина] вообще замечен **мрачный** взгляд на все виденное им». Но, судя по всему, сама действительность давала повод к мрачным оценкам, и в суровом критицизме Щукина нам видится большая объективность, нежели в попытке Полевого грудью защитить купеческое сословие.

Эта критическая позиция, кстати сказать, сохранилась у Щукина и в его повестях, особенно в «Ангарских порогах».

О чем бы ни писал Щукин — о шаманстве ли, о захолустном городе Киренске, об экспедициях за золотом и слюдой, о промысле на белку и охоте на тигра — везде чувствуется в нем

---

<sup>179</sup> Н. Щукин. Указ. соч., стр. 233.

<sup>180</sup> Там же.

<sup>181</sup> Там же, стр. 225.

художник эмоциональный, впечатлительный, наблюдательный. Нельзя забыть рассказ о поединке между охотником и медведем: это яркая вставная новелла. Несколько часов человек и зверь бегали вокруг дерева, причем медведь хитрил, делал обманные движения, подтаскивал пни, и только с наступлением ночи охотнику удалось незаметно перезарядить ружье и уложить зверя наповал.

Шукин с любовью описывает сибирскую природу, причем и здесь проявляет чисто романтическую склонность к необычным явлениям, обходя вниманием однообразный пейзаж. С чувством ужаса он описывает скалистые берега Лены, по которым на огромной высоте, прямо над бездной, пробирается всадник, подробно рассказывает о речных порогах и особенно о знаменитых Ленских столбах, которые, по его мнению, могут затмить любые красоты в мире.

Излагая большой этнографический и краеведческий материал, Шукин вместе с тем постоянно стремится к занимательности своего рассказа. Иногда он даже готов принести в жертву этому научную полноту своего труда. Так, в предисловии к книге он говорит: «Признаюсь, я имел все средства написать полную статистическую картину Ленских берегов, но самое расположение книги не позволяет вдаваться в большие подробности, всегда полезные, но не для всех занимательные»<sup>182</sup>.

По-видимому, работая над «Поездкой в Якутск», Шукин почувствовал потребность выйти за пределы краеведения и «дать себе волю» как художнику: в последующие два года (1834—1835) он выпустил в свет свои повести «Посельщик» и «Ангарские пороги».

Насколько же удался ему этот опыт? И смог ли Шукин внести в литературу Сибири нечто равноценное его вкладу в краеведение?

Преувеличивать достоинства повестей Н. Шукина, конечно, не следует, но было бы, по-видимому, несправедливым вообще игнорировать заслуги писателя в развитии местной беллетристики, в деле художественного освоения сибирской тематики.

О «Посельщике» у Белинского сказано, что «Сибирь в нем очень мало видна, ибо большая половина романического действия происходит в Европейской России, где герой романа рассказывает историю своей жизни»<sup>183</sup>. Хотя нельзя не согласиться, что Сибирь в данной повести изображена недостаточно

<sup>182</sup> Там же, стр. II.

<sup>183</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 136.

глубоко, все же критик допускает сразу две неточности: во-первых, большая половина действия происходит не в Европейской России, а в Сибири (мы подсчитали: Сибири посвящено в повести 22 страницы из 29); во-вторых, поселщик рассказывает историю своей жизни опять-таки не в Европейской России, а губернатору одного из сибирских городов—судя по всему, иркутскому губернатору Трескину<sup>184</sup>. При этом надо заметить, что, несмотря на беглость описаний, в повести есть целый ряд удачных и точных зарисовок сибирской природы и быта. По мнению же Белинского, о Сибири мы узнаем из повести «только то, что там бывает очень холодно, что там уходят с заводов каторжные и режут глупых мужиков, которые почитают их умеющими заговаривать ружья; что Сибирь очень богата естественными произведениями и т. п.»<sup>185</sup>.

Таким образом, если у Калашникова Белинский признавал ценность хотя бы краеведческих описаний, то автору «Посельщика» он отказывал и в этом. Между тем русская читающая публика 30-х годов, имевшая о Сибири самое приблизительное представление, могла почерпнуть из этой повести некоторые полезные и интересные для себя сведения.

Уже начало повести, написанное в приподнято романтическом тоне, настраивало читателя на восприятие необычной сибирской природы — величественной, масштабной, полной контрастов. Это начало, как замечал М. К. Азадовский<sup>186</sup>, было прямым подражанием вступлению к повести Н. Полевого «Сохатый», под влиянием которого и творил Щукин:

«Разнообразна природа твоя, Сибирь пространная! Различны и племена народов, тебя населяющих! Там гранитные горы, возвышаясь до облаков, красуются под снеговыми покрывалами. Здесь луга, благоухая ароматами цветов, прельщают разнообразием своим взоры путешественника...»<sup>187</sup>

Щукин с восхищением описывал Байкал, то, как зеркало, отражающий горы и небо, то «бунтующий посреди гор». Воображение писателя поражал и знаменитый Хамар-Дабан —

---

<sup>184</sup> Герой повести вторично прибыл в Сибирь в 1816 г. Здесь он и рассказал свою историю. Если учесть, что деревня, куда он был в свое время сослан, находилась недалеко от губернского города, расположенного на берегу Ангары, то станет очевидно, что этим городом был Иркутск, а губернатором — Трескин, правивший здесь с 1806 по 1819 г.

<sup>185</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 136.

<sup>186</sup> М. К. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 98.

<sup>187</sup> Н. Щукин. Посельщик. (Сибирская повесть). «Восточная Сибирь в ранней художественной прозе». Иркутск, 1938, стр. 40. Все дальнейшие ссылки на это издание.

«трехглавый исполин, далеко простирающий в небеса свои обнаженные выи, с которых, как серебристые ленты, тянутся ручьи»<sup>188</sup>.

Щукин воспринимал природу как романтик: его влекло к себе «страшное борение стихий». С вершины Хамар-Дабана, писал он, «все ужасы дикой природы откроются перед вами: обнаженные вершины гор, пропасти, погасшие жерла огнедышащих гор, огромнейшие куски разрушенных гранитных скал. Над вами чистая лазурь небесного свода, а внизу волнуются густые облака, гремит гром и сверкает молния»<sup>189</sup>.

Но вместе с тем это — вовсе не романтически условный пейзаж: в нем проявляется наблюдательность автора, пишущего с натуры, хотя в этих описаниях есть и некоторая доля преувеличения. Вслед за изображением Байкала и окружающих его гор автор переносит читателя туда, где горы сменяются степью и где глазу романтика как будто бы не на чем остановиться. Здесь однообразный, дремлющий пейзаж — бескрайняя степь с разбросанными юртами бурят и стадами, с безобразными верблюдами, которые тянутся один за другим, высоко подняв головы. Но романтик и в степи находит для себя отраду: «вот на быстром иноходце мчится молодая бурятка, обгоняя ветры».

Поэтический восторг автора перед «величественной Сибирью» сменяется прославлением плодородия ее земель и богатства ее недр. Вслед за Полевым Щукин стремится отстоять новый, непредубежденный взгляд на Сибирь, стараясь пробудить у читателя уважение и любовь к этому краю, своему прекрасному.

Бегло и как бы попутно разбрасывает автор детали из жизни сибирских крестьян, подробнее останавливаясь лишь на их столкновениях с разбойниками. Последнее для него важно, так как в схватке с грабителями проявляется мужественный характер главного героя — поселщика. Автор отмечает обычай, существующий у крестьян: по ночам караульные постреливают в воздух и стучат в доски, давая знать разбойникам, что они не спят и вооружены. Щукин, по-видимому, не преувеличивает, когда говорит о крайнем невежестве и суеверности крестьян, веривших, что разбойничий атаман умеет заговаривать ружья, хватает пули, пущенные в него, и бросает их в своих неприятелей. Писатель приводит точный текст заговора, который произносит вполголоса атаман при падении на деревню: («Стану я не благословясь, пойду не пере-

<sup>188</sup> Там же.

<sup>189</sup> Там же, стр. 41.

крестьян, из ворот в ворота, из дверей в двери, на чистое поле, на широкое раздолье» и т. д.). Об этом поверье, кстати, впервые сообщается в повести Н. Полевого «Сохатый». Именно суеверностью крестьян писатель и объясняет их страх перед грабителями. Вместе с тем Щукин отмечает, что крестьянам не чуждо благодушие в случае, если они одерживают верх: пленным разбойникам женщины подают хлеб и шаньги.

Обращаясь к излюбленной романтиками теме разбойничества, Щукин излагает ее довольно правдиво, без преувеличений. Он пишет о том, что шайки разбойников обычно составлялись из беглых каторжников и, в частности, из тех, кто уходил с Александровского винокуренного завода. К сожалению, писатель не касается положения этих людей на каторге. Все свое внимание он акцентирует на жестокости разбойников, вырезывавших целые семейства крестьян, пытками вымучивавших из них признание о спрятанных деньгах. Щукин не придумывает этих злодейств,— существует ряд документальных данных о том, как разбойники терроризировали местное население<sup>190</sup>.

Конечно, среди разбойников были люди разные, и не только черные дела творили они на сибирской земле. Упомянув имена атаманов Бузы, Сохатого, Коровина, Гондюхина, Щукин отмечал, что «между множеством злодейств, ими произведенных, мелькают иногда резкие черты великодушных поступков и добродетели»<sup>191</sup>. Писатель вывел в числе разбойников, плененных крестьянами, одного из бывших крепостных, который, судя по всему, раскаивался в своих преступлениях.

Известное отражение нашли в «Посельщике» жизнь и быт бурят, хотя в следующей повести — «Ангарские пороги» — им уделено значительно больше внимания. Писатель подчеркивает социальные различия между представителями этой народности. Богатые буряты жили в бревенчатых юртах и кочевали со своими стадами. «Но бедные, не имеющие ни земли, ни скота, строили свои юрты в русских деревнях и питались трудами рук своих. Они выделявали крестьянам овечьи шкуры, козулины, сохатины, катали войлоки, шили унты, шубы, работали на пашне, сенокосе и проч.»<sup>192</sup>

Щукин отмечает храбрость бурят, которые, в отличие от

---

<sup>190</sup> Об этом пишет и И. Т. Калашников в «Записках иркутского жителя», упоминавая, кстати, о беглых с винокуренных заводов (см. «Русская старина», 1905, кн. 7, стр. 202).

<sup>191</sup> Н. Щ у к и н. Посельщик, стр. 43.

<sup>192</sup> Там же, стр. 48.

суевверных русских крестьян, жестоко расправляются с разбойниками, пишет о том, как хорошо буряты ориентируются в тайге и какими способами умеют оживить замерзшего человека. Писатель отмечает их обычай не выдавать, а продавать своих дочерей в замужество — недаром рождение дочери считается у них благом. «Таковое обыкновение породило закон, что муж почитает жену свою как рабу: он возлагает на нее все домашние заботы, а сам целый день сидит возле огня с трубкою»<sup>193</sup>.

С глубоким уважением относится писатель к бурятской девушке Сайхан. Он наделяет ее добротой, природным умом, благородством характера. Конечно, автор несколько идеализирует ее, — вряд ли в условиях нищеты и невежества простая бурятка могла достичь такого уровня развития, чтобы просто и безболезненно стать подругой, а затем женой ссыльного князя. Да и сам выбор такой ситуации (женитьба русского на бурятке) отчасти продиктован канонами романтизма. Но вера писателя в душевные силы и способность к совершенствованию девушки из бедной буряткой среды, отсутствие всяких преубеждений против брака между людьми разных наций — свидетельство подлинного гуманизма автора.

Отец Сайхан изображен в повести очень скупно, но, несмотря на это, его образ не лишен индивидуальности. Это — человек, которого трудно вывести из равновесия и который, спасши от смерти поселщика, вовсе не считает это сколько-нибудь важным событием. Как и все буряты, он хотел бы получить за дочь калым, но при этом не проявляет жадности — он только «немного призадумался», когда узнал, что дочь выходит замуж за русского. И большая правда заключалась в том, что, несмотря на уговоры дочери, приехавшей за ним через несколько лет, он не захотел отправиться в Россию. «Куда мне ехать, — говорил он, — я не привык к русскому житью, я задохнусь в ваших избах»<sup>194</sup>. В этом проявилось, с одной стороны, его бескорыстие, а с другой — глубокая привязанность, пусть консервативная, к своему национальному быту.

К достоинствам повести «Посельщик» относится стремление автора передать особенности сибирской крестьянской речи. «В своих приемах воспроизведения народной речи Щукин подражает беллетристам XVII—XVIII столетий. Он фонетически фотографирует крестьянскую речь». «А фто эво знат? Мы и сами про нево не знаем», — отвечает на вопрос каторжного

---

<sup>193</sup> Там же.

<sup>194</sup> Там же, стр. 68.

о Посельщике один из ангарцев»<sup>195</sup>. Однако сохранение фонетических особенностей — не самое характерное для Щукина. Гораздо существеннее то, что писатель старается передать сибирскую крестьянскую лексику, смысловые оттенки и специфические обороты речи:

«Видишь, и собака-то у него ученая, как почала пластать, только брызги вверх!.. Напой-ка, дядя Митрей, прошкою. (Нюхает табак). О! да какая ярая, а у меня так некорысна што-то. Только, дядя, как вздумаю о нашей заварухе, о Секлетном, так волосы шишом становятся»<sup>196</sup>.

Несомненно, самая большая заслуга автора «Посельщика» как описателя сибирской действительности заключается в резко критическом изображении иркутского губернатора Трескина и его окружения. В литературе Сибири 30-х годов трескинское правление нашло лишь косвенное отражение — мы имеем в виду роман И. Т. Калашникова «Дочь купца Жолобова». Однако только Щукин изобразил губернатора и методы его правления, не прячась за исторической декорацией. Правда, в его повести это составило лишь эпизод, но эпизод красноречивый.

Узнав о том, что в город приезжает из Санкт-Петербурга поручик гвардии, князь В., губернатор решает, что тот едет с каким-нибудь секретным поручением, и отдает распоряжение, напоминающее приказания городничего из гоголевского «Ревизора». При встрече с князем губернатор держится очень любезно, но вместе с тем хитро и осторожно, стараясь выведать тайные намерения гостя. Этот контраст между добропорядочной внешностью губернатора и темными помыслами его достаточно характеризует нравственный облик Трескина.

Довольно остро написана сцена приема губернаторшей жены князя. Губернаторша «хотела принять ее с важностью местной начальницы, но при взгляде на даму, столь великолепно одетую, она растерялась и не выполнила роли, заранее выученной. Так обыкновенно теряется надутый своим происхождением провинциал при встрече с особою высшего круга»<sup>197</sup>.

Щукин рассказывает, как злословят дамы в губернаторском доме по адресу княгини, завидуя удачливой судьбе бывшей простой бурятки. Реплики, которыми они обмениваются,

---

<sup>195</sup> А. Гуревич. Первые повести и очерки в Восточной Сибири. «Восточная Сибирь в ранней художественной прозе». Иркутск, 1938, стр. XIX—XX.

<sup>196</sup> Н. Щукин. Посельщик, стр. 45.

<sup>197</sup> Там же, стр. 53.

свидетельствуют о поразительной ограниченности этих женщин и вместе с тем об их сословной спеси. Но, как замечает автор, княгиня «вежливостью и ласковым обращением обезоружила всех своих завистниц и заставила полюбить себя». Таким образом, писатель смело поставил бурятку на голову выше представительниц иркутского дворянства.

Повесть Щукина вызывает к себе тем большее доверие, что сюжет ее не придуман автором: история ссыльного князя В. — это, по существу, несколько видоизмененная история ссыльного дворянина Шубина. И. Т. Калашников в «Записках иркутского жителя» рассказал об этом человеке, которого ему приходилось видеть в дер. Кузьмихе, расположенной недалеко от Иркутска<sup>198</sup>. Преступление, за которое тот попал в ссылку, «было чисто игра молодой крови». Суть его та же, что и в повести Щукина: «Сказывали, что в чайнии награды Шубин донес, будто бы он открыл заговор и будто бы заговорщики хотели его убить; чтобы подкрепить свой донос, он прострелил себе руку. Но, по исследованию, никакого заговора не оказалось, и обман его открылся»<sup>199</sup>. В ссылке, по сообщению Калашникова, Шубин полюбил молодую и хорошенькую дочь казака, старался образовать ее и, наконец, женился на ней. Затем он был прощен императором Александром, отличился на службе во время Отечественной войны, позднее приехал в Иркутск и построил в Кузьмихе церковь «в благодарность Богу Спасителю». Все эти моменты и составили содержание повести Щукина.

Но писатель не просто пересказал историю одного из ссыльных — он подчинил ее определенному моральному тезису, который и вложил в уста своего героя:

«...Молодой человек никогда не должен итти кривыми путями к своему возвышению и устраивать свое благополучие на несчастье другого»<sup>200</sup>.

Писатель осуждал не только карьеризм и недостойное поведение князя В., но и его озлобленность против людей, которая дошла до такой степени, что князь не помог тонувшему на его глазах деревенскому мальчику и смеялся над горем его родителей. Духовная эволюция князя, вернувшегося к людям в результате многолетних размышлений, должна была послужить читателю уроком. Вмешательство помещика в схватку крестьян с разбойниками, его героизм, обеспечивший крестья-

---

<sup>198</sup> И. Т. Калашников. Записки иркутского жителя. «Русская старина», 1905, кн. 7, стр. 203.

<sup>199</sup> Там же.

<sup>200</sup> Н. Щукин. Посельщик, стр. 54.

нам победу, «работали» на основную идею книги — только в единении с людьми, только в служении им и заключается подлинное достоинство и душевная красота человека. Эта идея подкреплялась и другим, не менее сильным эпизодом — описанием того, как буряты спасли замерзающего посельщика. Своей постоянной заботой Сайхан не просто вернула его к жизни, но излечила от мизантропии, пробудила в нем желание человеческого участия и доброты.

Нравственное преображение героя служило, по мысли Щукина, одним из доказательств очистительного значения Сибири для ссыльных. «Сибирская природа, сибирское общество, жизнь среди простых и чистых сердцем сибиряков-простолодинов действует облагораживающе на ожесточенные и озлобленные характеры изгнанников-отщепенцев и возвращает их обществу»<sup>201</sup>.

Первопричиной преступления, совершенного князем, Щукин считал ложное воспитание, полученное от гувернеров-иностранцев, которые составили у молодого человека самое превратное представление о России. «Открыто проповедуя, что все превосходное находится за границею, а все худое в России, они поселили во мне сперва презрение к обычаям отечества, а после и к законам. Бывало, если я сделаю какую-нибудь шалость, фи,— говорили мои наставники,— это по-русски!»<sup>202</sup> Именно гувернеры всячески развивали в своем воспитаннике карьеристские наклонности, помогая ему мотать деньги и превознося до небес его достоинства.

Протест Щукина против влияния иностранщины, его возмущение тем, что в качестве воспитателей дворянских детей нередко приглашались невежественные и алчные люди, презирающие все русское, несомненно, отражали прогрессивные тенденции тех лет. К сожалению, Щукин отрицал и то, что было прогрессивным на Западе,— он рассматривал любые иноземные влияния как «вредные, несвойственные нашему отечеству новости». «Вольнодумство» он отождествлял с безнравственностью и «шаткому разуму, которым мы смеем кичиться», противопоставлял веру в бога.

Щукин писал о том, как был удивлен его герой, узнав, что Сайхан «не озарена еще светом христианского учения». В повести излагалось содержание религиозных бесед, которые вел посельщик со своей юной подругой. Устами посельщика писа-

---

<sup>201</sup> Там же.

<sup>202</sup> М. К. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 100.

тель утверждал необходимость и благотворность христианской веры не только для русских, но и для бурят. И, конечно, Сайхан, прежде чем стать женой ссыльного князя, подверглась обряду крещения. В то же время надо отметить, что при всей приверженности к религии автор «Посельщика» проповедует не столько веру в бога, сколько необходимость человеческой доброты, честности, готовности помочь ближнему.

\* \* \*

Повесть Н. Щукина «Ангарские пороги» (1835 г.) имеет подзаголовок «Сибирская быль». Тем самым автор стремится подчеркнуть достоверность изображенных в ней событий. В предисловии к повести он говорит, что она «заимствована из преданий сибирских, но приближена к настоящему времени; местом действия избрана страна, о которой никто еще не говорил; туземные характеры взяты из сибирского быта; а декорации я рисовал с натуры или по рассказам бывалых людей»<sup>203</sup>.

Содержание повести соответствует авторской декларации. Прежде всего, в основе ее лежит конфликт, который, несмотря на условно романтическую окраску, имеет социальную подоплеку. «В Сибири, — говорится в предисловии, — все обращается около начальника; он дает всему направление. Пословица «до бога высоко, до царя далеко» — родилась, вероятно, в Сибири»<sup>204</sup>.

Такой начальник, обладающий в своей округе всей полнотой власти, изображен Щукиным в лице комиссара Тункинской крепости (в этой крепости и начинается действие). Комиссар — отнюдь не романтический злодей, но лицо вполне реальное, человек жестокий, мстительный и лицемерный. Наказывая беглых посельщиков плетью, он читает им «в продолжение всей операции нравоучение, подкрепляемое текстами из Священного писания»<sup>205</sup>. Желая загубить своего соперника, ссыльного Александра Аркадьева, он приказывает подбросить ему в дом «свинцовую дощечку», чтобы обвинить затем в изготовлении фальшивых денег, а для того, чтобы упрятать за решетку мать понравившейся ему девушки, он подбрасывает ей «винокурный снаряд». Все это очень похоже

---

<sup>203</sup> «Ангарские пороги». Сибирская быль. Сочинение Н. Щ(укина). СПб., 1835, стр. III. Все дальнейшие ссылки на это издание.

<sup>204</sup> Там же, стр. II.

<sup>205</sup> Там же, стр. 47.

на правду. Даже в наперснике комиссара, каторжнике Лейбе,— при всех нарочито злодейских чертах последнего — есть многое от реальных преступников, используемых сибирскими начальниками в своих низменных целях. При этом Щукин не один раз подчеркивает, что комиссар таков не потому, что губернские власти не знают о его злоупотреблениях, а, напротив, потому, что он пользуется их поддержкой. Более того, он — «любимец губернаторский». Следовательно, и губернские власти ему под стать. Не случайно, подбивая Лейбу на убийство, он говорит: «Поверь, дружок, все сойдет с рук как нельзя лучше. Ты знаешь мой связи!»<sup>206</sup>

Любопытно, что Щукин наделяет комиссара религиозностью. Если в «Посельщике» религия рассматривается как спасительное средство для озлобленного душой ссыльного, то здесь она служит своеобразной ширмой для преступника, облеченного властью. «С какой торжественностью, бывало, он оборачивался к народу, как важно ел освященный хлеб и посылал частицы онго почетным крестьянам»<sup>207</sup>. Несмотря на свою болезненность, комиссар до изнеможения отвешивал поклонны во время молитвы, а когда по его приказу Лейба убил его жену, он даже прослезился.

«— Ну,— сказал он,— видно, на то была воля Божья! Кто из нас прав, кто виноват, разберет один Бог; только я всегда любил и уважал ее. Ах, Боже мой! не найти мне такой... ступайте к священнику и просите его, чтоб сегодня же ехал в Култук для совершения отпевания. Я бы сам отправился туда же, но болезнь моя, служба,— о Господи! прости мои согрешения»<sup>208</sup>.

Таким образом, Щукин был достаточно объективным художником, чтобы показать, насколько легко можно использовать религию для самых низменных и корыстных целей.

Щукину нельзя отказать в умении строить сюжет. События в его повестях развиваются стремительно, и интерес читателя к ним не ослабевает. В «Ангарских порогах» интрига сложнее, чем в «Посельщике», причем она приобретает здесь более драматический характер. Смерть бурята во время землетрясения, убийство жены комиссара, гибель Лейбы и, наконец, драма, разыгравшаяся на Ангарских порогах, закончившаяся смертью комиссара,— все это создает мрачный колорит, столь любезный сердцу романтика.

---

<sup>206</sup> Там же, стр. 124.

<sup>207</sup> Там же, стр. 14.

<sup>208</sup> Там же, стр. 157.

Конечно, приверженность автора канонам романтизма иногда приводит к наивности рассказа. Щукин использует, например, прием недомолвки, которая, однако, совершенно прозрачна, нарочно старается нагнетать атмосферу таинственности, стремится создать у читателя ощущение опасности при помощи всякого рода предсказаний и предчувствий. С той же целью — вызвать чувство тревоги за судьбу главных героев — он вводит в действие драматические случайности: землетрясение в горах, несчастный случай с проводником-бурятом, чуть не утонувшим при переправе через реку, нападение медведя и т. д. Авторский «умысел» в данном случае настолько очевиден, что заранее ждешь какого-нибудь происшествия, и именно это разрушает иллюзию подлинной жизни.

Но вместе с тем в «Ангарских порогах» щедрее, чем в «Посельщике», используются описания природы и сибирского быта. Они вступают в противоречие с элементами нарочитости в сюжете повести и часто заставляют поверить в достоверность многих изображаемых Щукиным событий.

Природа Сибири предстает в повести опять-таки не статичной и спокойной, но полной действия и борьбы. Создавая романтический пейзаж, Щукин стремится взволновать им и даже потрясти читательское воображение. Таково описание, например, горной местности близ китайской границы, где начинается действие.

...Вот каменный козел, заметив на каком-нибудь уступе клочок любимой травы, бросается с высоты в пропасть. «Не бойтесь за него, глаз его зорок и верен: он не оступится, не поскользнется; довольно, если камень, на который он падает, имеет столько пространства, что поместятся на нем четыре ноги прыгуна — козел совершил свое сальто-мортале благополучно». Однако с огромной высоты низвергается на него быстроглазый ширококрылый орел, сбивает его крылом своим в пропасть и, раздробленного о камни, пожирает на дне бездны<sup>209</sup>.

Это описание — как бы первая проба пера перед изображением величественной глубокой пади у Цаган-Гола, где слух и зрение героев поражает водопад Шebutуй — целая река, низвергающаяся с утеса со свистом и стоном. Однако и эта картина меркнет в сравнении с описанием стремительной Ангары и ее мощных гранитных порогов — Похмельного, Пьяного, Падунского и самого страшного — Шаманского... «Страдание ужасное! Вода то ударяется об ряд камней, то дробится на разные течения, вертится водоворотами, волнуется, как бы во

---

<sup>209</sup> Там же, стр. 4.

время ужасной бури, летит вверх брызгами и пеной, упираясь в камни; поворачивает назад и снова падает через глыбы гранита, скрывающиеся под водою»<sup>210</sup>. Здесь, как нигде, Щукину удастся передать ощущение смертельной опасности, нависшей над Александром и Надеждой, лодка которых устремляется прямо на огромный камень.

Более значительное место, чем в первой повести, занимают в «Ангарских порогах» и описания этнографического характера. Иногда они тормозят действие, превращаясь в довольно обширные отступления. Вставным эпизодом, например, выглядит встреча Александра и Надежды со «знаменитым минерологом», шихтмейстером 14-го класса Саввой Полуектовичем Хромиевым, который разыскивает в Забайкальских горах серебряную руду. Для развития сюжета этот эпизод имеет единственное значение — от Хромиева становится известно, что урядник Полубенцов, молча и безнадежно влюбленный в Надежду, покончил с собой, бросившись в пропасть. Но для характеристики сибирских нравов этот эпизод весьма важен. В лице Хромиева показан, в общем-то, ловкий делец, крайне невежеством местных властей. Из рассказа казака Александр и Надежда узнают, что «сей ученый, разъезжая по бурятским улусам, пьет тарасун, требует людей для разведывания гор, заставляет их бурить утесы, скапывать горы и тяжкими работами доводит до того, что бедняки платят ему по несколько сот рублей, лишь бы освободили их от работ, и что на теперешнее становище приехал он с намерением подвергнуть бурят голоду. Разумеется, что они должны будут дарить его, чтобы отпустил по домам»<sup>211</sup>.

По этому поводу Александр замечает: «В России неизвестен этот род взятка. Правда, что землемеры там дельвали некогда подобные штуки...»<sup>212</sup>

В этой повести подробно описывается жизнь бурят, устройство бурятских юрт, их внутреннее убранство. Писатель рисует портреты двух лам, со знанием дела говорит о молитвенной Тангутской книге, о предметах религиозного обихода. Он излагает и бурятские поверья. Так, посещение Аршан-усун (священных вод), по мнению бурят, приводит к дождю, и автор сам, по-видимому, всерьез относится к этому поверью. В тексте часто встречаются бурятские слова, сопровождае-

---

<sup>210</sup> Там же, стр. 252.

<sup>211</sup> Там же, стр. 204—205.

<sup>212</sup> Там же.

мые переводом: «тынха» — чугунная чаша, «бурханы» — святые и боги, «тэрлык» — халат, «ноен» — господин, «чолон» — камень и т. д.

Как и в первой повести, автор выражает свои симпатии бурятскому народу. Именно буряты сопровождают Александра и Надежду, бежавших от комиссарского гнева и решивших испросить прощение себе «у подножия трона».

В «Ангарских порогах» можно заметить усиление сентиментально-романтической струи, в то время как большая часть повести «Посельщик» написана в сдержанном тоне, порой даже суховато, и только там, где посельщик, рассказывая о себе, старается передать свои переживания, тон меняется, появляется искусственность, романтическая высокопарность. Так, об измене жены князь В. говорит следующее: «Я не помню в жизни моей подобного удара... Казалось, что небо и земля упали на мое сердце и давили его ужаснейшим образом. Я повалился на пол, катался, рвал на себе волосы и, вероятно, лишил бы себя жизни, если бы стража не наблюдала за мною...»<sup>213</sup>

Эти романтические «излишества» — не только дань литературному направлению, представителем которого являлся Щукин, но и результат недостаточного умения пользоваться средствами психологического анализа.

Как и большинству романтиков, Щукину не удалось положительные герои, которых он наделил всеми мыслимыми добродетелями. Правда, в характере посельщика сочетались противоречивые черты, делая его образ довольно живым и узнаваемым; здесь, вероятно, помогло и то, что писатель имел перед глазами реальный прототип. Но Александр Аркадьев уже лишен четкой индивидуальности. Хотя его тоже «завлек в Сибирь» «один необузданный порыв бурной страсти», однако автор не расшифровывает, что это был за проступок, и потому герой его предстает перед нами как персонаж, «награжденный всеми дарами природы». «Герой наш был умен, добр и великодушен», — к этой краткой характеристике добавить решительно нечего.

Столь же безусловно добродетельной изображена и Надежда. Александру «нравилась в этой девушке, кроме телесной красоты, какая-то оригинальность мыслей (?), необыкновенная доброта сердца и твердость характера»<sup>214</sup>. Правда, писатель отмечает, что она (как и Сайхан) — «дочь природы,

---

<sup>213</sup> Н. Щукин. Посельщик, стр. 60.

<sup>214</sup> Н. Щукин. Ангарские пороги, стр. 142.

незнакомая ни с ухищрениями утонченного гражданского общества, ни с пороками, происходящими от уверенности в своих достоинствах». Но, в отличие от бурятки, характер которой выписан довольно четко, образ Надежды расплывчат, неопределенен. Автор наделяет ее такой чрезмерной чувствительностью и сентиментальностью, которая никак не сочетается с тем, что Надежда умела скакать на лошади, говорила побурятски, защищала свою честь с ножом в руках. Неясное любовное томление, охватившее Надежду, когда она «останавливала пожирающие взоры свои на каждом молодом парне селения», Щукин описывает в банально сентиментальном стиле, испытывая, по-видимому, на себе влияние того самого Дюкре-Дюмениля, который упоминается им как писатель, особенно охотно читаемый в минуты любовного ожидания и грусти.

Тем не менее в «Ангарских порогах» рядом со сценами беспомощными и трафаретными есть места, достойные внимания, есть страницы, написанные безыскусственно и правдиво, а финал повести, на наш взгляд, вполне удачно завершает ее. Повесть заканчивается совсем иначе, чем, по-видимому, ожидает читатель. Комиссар настигает беглецов на Ангаре. Тогда Александр ударом шеста сбивает комиссара в воду, и тот после многих попыток ухватиться за камни исчезает в водовороте. Но почти одновременно лодка Александра и Надежды ударяется о камень, и все сидящие в ней погибают.

«Следовательно,— замечает автор,— невинные, добродетельные супруги, гонимые страстями злобного человека, погибли одинаково с мучителем своим, который, вероятно, не миновал бы суда человеческого в сей жизни и должен мучиться в будущей...»<sup>215</sup>

Однако и такая концовка могла бы показаться шаблонной — своего рода «антисхемой». Своеобразие финалу придает авторский *post scriptum*: через год после побега молодых людей мать Надежды уехала в Россию, получив от кого-то деньги, хотя в России у нее не было родственников. Спустя пять лет один из местных купцов, побывавших на ярмарке, рассказал своей жене о том, что он встретился случайно с каким-то майором, как две капли воды похожим на бежавшего из Сибири Александра Аркадьева. «Точно ли слышала почтенная купчиха от мужа своего о том, что мы, по нескромности, разгласили, не беремся доказывать. Но чего не бывает на свете? Александр мог подкупить казаков, поймавших его. Все не любили комиссара, а кто не любит денег? Как бы то

---

<sup>215</sup> Там же, стр. 264.

ни было, только рассказ сибиряков о бежавшем секретном Александре Аркадьеве оканчивается Ангарскими порогами»<sup>216</sup>.

Таким образом, автор оставляет читателя в сомнении относительно судьбы главных героев повести. Скорее всего они, по-видимому, остались в живых, но были вынуждены не обнаруживать этого, чтобы избежать преследования со стороны сибирских властей. И все-таки читателю трудно избавиться от непосредственного впечатления, произведенного на него описанием их, пусть легендарной, гибели. Эта романтическая таинственность и придает финалу повести подлинный драматизм, который заставляет острее почувствовать социальную несправедливость и страдания ни в чем не повинных людей.

Таким образом, Н. Щукин, будучи художником противоречивым, далеко не равноценным в различных аспектах своего творчества, тем не менее сыграл определенную роль в художественном «освоении» Сибири. И, пожалуй, стоит пожалеть, что в дальнейшем он целиком отказался от поприща писателя, посвятив себя исключительно деятельности краеведа и этнографа.

#### НИКОЛАЙ БОБЫЛЕВ

Одним из наиболее одаренных сибирских литераторов-романтиков 30-х годов XIX в. является Николай Иванович Бобылев (1818—1865 гг.), автор ряда произведений из бурятской жизни, поэт и переводчик. Довольно высоко оцененный современной ему критикой<sup>217</sup>, он был, однако, впоследствии забыт, его творчество никем не изучалось, и в настоящее время мы располагаем о Бобылеве лишь самыми скудными сведениями<sup>218</sup>. Этими немногими, но чрезвычайно важными све-

---

<sup>216</sup> Там же, стр. 266—267.

<sup>217</sup> Отзывы об издававшемся Н. Бобылевым «Невском альбоме», где были помещены его произведения, появились в «Современнике» (1838, т. XII, стр. 70), «Отечественных записках» (1839, т. V, отд. VII, стр. 10), «Сыне отечества» (1838, т. V, отд. VII, стр. 61), «Библиотеке для чтения» (1838, т. 30, отд. VII, стр. 21) и в ряде других журналов.

<sup>218</sup> В «Критико-библиографическом словаре русских писателей и ученых» С. А. Венгерова говорится: «Биографических сведений о нем (Бобылеве) мы не имеем» (т. IV, стр. 73). В Сибирской советской энциклопедии (т. I, стб. 356, и т. 3, стб. 171) дается лишь краткая справка о произведениях Бобылева из жизни бурят. О его биографии ничего не говорится и в кн. М. К. Азадовского «Очерки литературы и культуры Сибири» (Иркутск, 1947).

днями сибирское литературоведение обязано Е. Д. Петряеву<sup>219</sup>.

Родился Бобылев в Новгороде, но его отца вскоре назначили в Нерчинск начальником окружного управления, и жизнь будущего поэта на ряд лет оказалась связанной с Сибирью.

Бобылев немало сделал для просвещения жителей Нерчинска и стал одним из активных деятелей местного литературно-краеведческого кружка 30-х годов. Члены этого кружка изучали природу и историю края, собирали местный фольклор, записывали песни и предания бурят. Результатом этих занятий были многочисленные «литературные опыты» в стихах и прозе на местные историко-бытовые темы, а также естественнонаучные статьи и заметки о природе Забайкалья<sup>220</sup>.

Вместе с другим преподавателем училища, И. И. Голубцовым, Бобылев участвовал в литературных беседах и драматических вечерах, обычно устраиваемых при училище. Нередко в программу этих вечеров включались и стихи Бобылева, которые, как отмечает исследователь, пользовались тогда известной популярностью в местном обществе<sup>221</sup>.

В 1838 г. при отъезде из Нерчинска отец поэта «надворный советник Бобылев пожертвовал Нерчинскому училищу для женских классов свой дом, оцененный более чем в 8 тысяч рублей»<sup>222</sup>. Благодаря этому со следующего года в уездное училище стали принимать и девочек, что раньше не делалось в связи с недостатком помещения<sup>223</sup>.

О деятельности Бобылева в Петербурге известно, что в 1838—1840 гг. он издавал «Невский альбом», в котором публиковал наиболее крупные свои произведения, посвященные жизни и быту бурятского народа: «Чингисов столб» (1838 г.), «Джарго аега» (1839 г.), «Белый месяц» (1840 г.). Там же были помещены его «Опыты в стихах» и другие произведения. В 1840 г. на страницах «Русского инвалида» появился очерк Бобылева о бурятах «Сибирские скипцы»<sup>224</sup>. В этом же году в «Литературной газете» (№ 77) вышли его «Новогреческие песни».

---

<sup>219</sup> Е. Д. Петряев. Исследователи и литераторы Забайкалья. Чита, 1954, стр. 146—147; Он же. Впереди — огни. Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1968, стр. 152—154.

<sup>220</sup> Е. Д. Петряев. Впереди — огни, стр. 152—153.

<sup>221</sup> Е. Д. Петряев. Исследователи и литераторы Забайкалья, стр. 147.

<sup>222</sup> Бумаги И. В. Багашева (Кяхтинский музей, № 62).

<sup>223</sup> Там же.

<sup>224</sup> В Сибирской советской энциклопедии очерк ошибочно назван «Сибирские скопцы» (см. ССЭ, т. 3, стб. 356).

Бобылев имел возможность обозреть и творчески претворить в жизнь достижения романтизма 20—30-х годов, учтя тот вклад, который внесли в него писатели-сибиряки. Разумеется, ему не удалось преодолеть многих романтических штампов и условностей — вполне возможно, что он и не сознавал необходимости отказаться от них, считая, что эмоциональный заряд этих канонов еще не исчерпан. Но вместе с тем, в отличие от поэтов и писателей, не связанных непосредственно с Сибирью и писавших о ней понаслышке, Бобылев достаточно хорошо знал сибирскую действительность, в частности жизнь бурятского народа, и стремился поделиться своими знаниями с читателем. Об этом свидетельствуют прежде всего довольно подробные описания природы, быта и нравов, одежды и обстановки, а также авторские комментарии по поводу бурятских обычаев, имен и названий. Прав М. К. Азадовский, усматривая в произведениях Бобылева значительное влияние Марлинского и считая, что эти произведения могут быть названы романтико-этнографическими очерками<sup>225</sup>.

Стремление к точности в изображении Сибири не исключало у Бобылева краеведческого пафоса, характерного, как уже сказано, для многих сибирских литераторов 30-х годов. Бобылев горячо любил Сибирь и считал своим долгом выступать против предвзятого отношения к ней со стороны людей, никогда в ней не бывавших.

Уже первая его повесть «Чингисов столб»<sup>226</sup> открывается обращением к читателям, которых он призывает отказаться от необоснованного страха перед далеким сибирским краем: «Были ли вы когда-нибудь в Сибири? Если были, то поздравляю вас; а если не были, то советую скорее взять почтовую тройку и скакать туда... Славная земля, чудесная земля!..»<sup>227</sup>

И далее:

«Сибирь кажется ужасною только по числу верст, отделяющих северную нашу Пальмиру от резиденции господина генерала-губернатора Восточной Сибири, да и то разве для того же кармана...»<sup>228</sup>

Путешествие в Сибирь, особенно в сухую погоду, — одно удовольствие, утверждает Бобылев. И как приглашение к этому путешествию звучит вся его повесть.

<sup>225</sup> М. К. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 94.

<sup>226</sup> «Невский альбом». Опыты в стихах и прозе Н. Бобылева, СПб., 1838, стр. 233—282.

<sup>227</sup> Там же, стр. 233.

<sup>228</sup> Там же, стр. 235.

Сюжет взят из жизни бурят, автор знакомит читателя с особенностями быта и нравов этого народа, причем пишет о бурятах с глубокой симпатией и восхищением: «Их патриархальная, исполненная поэзии жизнь; их мирные нравы; гостеприимство, доставившее им переименование Братских; все, наконец, заставляет нас привязаться к этому народу, кочующему по обломкам разгромленного царства Чингисова»<sup>229</sup>.

Отмечая одну из самых важных черт бурят — их привычку к кочевой жизни, Бобылев рассматривает ее как выражение постоянного стремления этих людей к свободе. Бурят «любит волю, как дикий конь из табуна его; она любя ему; он не продаст ее ни за что на свете: переселите его в город, дайте ему спокойное, удобное жилище.., он зачахнет, умрет, и дух его полетит вольною птицею в родимые степи, приютится в углу родной юрты и, в дыму и копоти, будет слушать рассказы стариков про бывалые дни их молодчества, про табуны, что ломают поля обширные»<sup>230</sup>.

Конечно, в таком понимании национального характера бурят сказывается приверженность Бобылева к романтизму: в конце концов, определяющую роль в образе жизни этого народа играли факторы экономические, в особенности потребность в новых пастбищах. Но в то же время стремление писателя подчеркнуть свободолюбие бурят делает ему честь. В противоположность тем, кто видел в кочевой жизни лишь проявление культурной отсталости народа, Бобылев готов был расценивать это как выражение его высоких достоинств. Вот почему он с такой восторженностью описывал скачки во время ежегодного летнего праздника бурят — Аббона (причем, сам стилистический строй этого описания невольно напоминает нам известное авторское обращение в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»):

«Видали ли вы когда-нибудь скачку дикого? О, вы не видали ее, этой степной воли, этого разгула степного ветра, этих исполинских перелетов перекати-поле, когда она, с глухим рокотом, катится с горы на гору, из долины в долину!»<sup>231</sup>

Бобылев высоко оценивал способность бурят чувствовать прекрасное. По его убеждению, буряты могут служить примером не только тонкого восприятия искусства, но и умения создавать его, творить импровизационно, по внутреннему наитию: «Едва ли можно найти где-нибудь столь мелодический народ, как буряты, и, смею сказать, столь же чувствительный». Бурят

<sup>229</sup> Там же, стр. 236.

<sup>230</sup> Там же, стр. 238.

<sup>231</sup> Там же, стр. 260—261.

поет о том, что видит, и «забывает в эту минуту и себя, и детей своих, и родную, неразлучную ганзу... О, уверяю вас! если есть только где-нибудь поэзия истинная, то это у бурятов»<sup>232</sup>.

При всей поэтизации жизни бурятского народа писатель соблюдает этнографическую точность в описании празднества, состязаний, скачек, а также кумирни, моления лам, оглушительной музыки, которой сопровождается религиозная церемония. Следует отметить, что Бобылев относится к некоторым сторонам религиозных обрядов с иронией. Ему вообще свойственно в этом произведении сочетание восторженности с легкой улыбкой по поводу того, что ему кажется странным или непривычным. Такая манера повествования позволяет ему быть более точным и достоверным в своих описаниях. Если, например, многие романтики изображали представительниц сибирских народностей как необыкновенных красавиц, то Бобылев не склонен к идеализации и считает, что красота бурятских девушек своеобразна. О героине повести Зузуле он говорит, что ее бы «вы, конечно, испугались, господа, если б она попалась вам на Невском проспекте, но, вероятно, думали бы о ней совсем иначе, увидев ее на коне, над прозрачными водами Аги-реки, отражавшей во всей красоте ее плоское лицо, сплюснутый нос и узенькие, миниатюрные глазки. Время и место — важные вещи, друзья мои!»<sup>233</sup>

Это понимание Бобылевым относительности самого понятия «красота» и вместе с тем умение оценить бурятскую красавицу по достоинству, как бы взглянув на нее глазами представителя этого народа, — свидетельство проницательности писателя, его реалистического чутья и вместе с тем подлинного гуманизма.

Верность действительности отличает и сюжет повести, овеянный духом романтизма. Во время празднества неожиданно появляется неизвестный всадник, который одерживает победу в состязаниях. Затем он пытается сосватать любимую им Зузулу, но за нее уже давно уплачен калым. И когда девушку увозит к себе ее жених, на следующий же день она исчезает. «Заклучение» в повести написано в типично романтическом плане: оно полно таинственности и загадочности. Мы узнаем, что «между бурятами носились слухи, будто в одну бурную ночь, при блеске молнии, два охотника видели, как какой-то всадник, на вороном коне, бросился в вспененные воды Онона»<sup>234</sup>. А вслед за тем рассказывается, как муж Зузулы с ее

<sup>232</sup> Там же, стр. 244—245.

<sup>233</sup> Там же, стр. 262.

<sup>234</sup> Там же, стр. 278.

отцом и своим другом отправились на охоту и увидели на Чингисовом столбе скелет, привязанный в четырех местах полугнившими ремнями...

Завершается повесть авторским обращением к читателю. Пронизанные лирическим пафосом, эти слова естественны под пером романтика. И в то же время в них есть тот глубинный «подтекст», который явился в литературе уже достижением реалистического, психологического искусства:

«Вам жаль Зузулу, друзья мои!.. Но что вам до того?.. Мир велик, велик, как мысль Создателя... один несчастный между сотней счастливых не заметен; одна горькая пылинка в чаше нектара не ощущается вкусом. Забудьте ее., как забываете слезу несчастья, капнувшую еще вчера на руку, отягченную рубином и алмазами... руку, твердую, как эти камни... Забудьте ее, как забываете все, как позабудете, быть может, и меня, и эти строки...

Ее звали: Зузулою»<sup>235</sup>.

События, изображенные в повести «Чингисов столб», говорят о том, что и для вольнолюбивого бурятского народа были характерны острые противоречия. Джергат и Зузула любили друг друга, но обычай оказался превыше всего. Напрасно Джергат умолял отца Зузулы отдать ему девушку, тот упрямо повторял: бурхан не велит!

Здесь уже Бобылев вплотную подошел к теме, которая более полно будет развернута в его следующем произведении, в повести «Джарго аега», — к теме религии, разрушающей естественные человеческие отношения, обрекающей людей на страдания.

Сюжет повести «Джарго аега»<sup>236</sup> не лишен своеобразия. Используя многие мотивы романтической литературы, писатель в то же время полемизирует с традиционными сюжетными схемами, вносит в них существенные коррективы. Как мы уже видели, в целом ряде произведений романтиков разрабатывается одна и та же ситуация — встреча разочарованного героя с прекрасной, неискушенной «дочерью степей». Их любовь развивается в экзотической обстановке, на лоне девственной природы, и заканчивается обычно трагически. Бобылев использует все, что так дорого сердцу романтика, — и любовь, и изме-

<sup>235</sup> Там же, стр. 281—282.

<sup>236</sup> Н. Бобылев. Джарго аега. «Невский альбом». Литературный сборник, издаваемый Н. Бобылевым. СПб., 1839, стр. 7—114. Джарго аега — чаша с вином, из которой пьет несколько человек вместе, передавая ее от одного к другому; в отвлеченном смысле — сговор, рукобיתье (примеч. Н. Бобылева).

ну, и месть. Он охотно обращается к изображению необычной обстановки, в которой разворачивается действие,— события происходят вдали от цивилизованного мира, в среде кочевых бурят. Однако сами эти события во многом отличаются от того, к чему привык тогдашний почитатель романтической литературы. Если, предположим, в «Цыганах» Пушкина воспевается свободное чувство и оправдывается неверность Земфиры мужу, то у Бобылева проблема «любовного треугольника» решается совсем иначе: здесь неверным оказывается муж, предпочитающий молодую, красивую бурятку своей жене, и автор не только не оправдывает его, но относится к нему с осуждением.

Герои повести Бобылева — люди одной народности, приверженные одним и тем же обычаям и поверьям. И драма здесь возникает не из-за того, что любящих разделяет стена религиозных, национальных, классовых предрассудков, но потому, что глава семьи оказывается черствым, эгоистичным человеком, меньше всего думающим о своем долге перед женой и ребенком.

Все симпатии автора — на стороне покинутой мужем бурятки Гюльбы, любящей, преданной женщины, прекрасной матери. И, напротив, ему чужд неверный супруг ее Шамуни, который без малейших угрызений совести бросает и наскучившую ему жену, и сына. Писатель не допускает ни малейшей идеализации героя. Правда, описывая свидание влюбленных, он подает эту сцену в приподнятых тонах, наделяет Шамуни и его новую избранницу Хатым поэтической речью, в которой ярко проявляется национальный колорит. Такова, например, клятва Шамуни в вечной любви к Хатым: «Да выпьет медведь мозг Шамуни, да сбросит меня конь, да уььет меня моя винтовка, если я истопчу цветок моей Хатым!»<sup>237</sup>

Однако при более пристальном прочтении этой сцены можно увидеть, что речь Шамуни лишена искренности: в ней слишком много выпренности, нарочитости и главное — трезвой расчетливости. Говоря о любви, Шамуни не забывает о взаимной выгоде их брака: «Кони мои ржут нетерпением — покрыться чепраками твоих коней, Хатым; коровы и верблюды мои копят молоко для веселого праздника; овцы блеют протяжно, выкликая мою Хатым из-под белоснежной юрты ее отдохнуть на мягких войлоках шерсти их... Хатым привязала Шамуни к своему стремени... Шамуни теперь невольник Хатым!»<sup>238</sup>

<sup>237</sup> Н. Бобылев. Джарго аега, стр. 42.

<sup>238</sup> Там же, стр. 39.

Кроме речевой характеристики, автор использует и другие средства осуждения Шамуни. Прежде чем бурят появляется на месте свидания, доносится топот его коня: «тяжко стонала земля под копытами невидимого всадника»<sup>239</sup>. Такая реплика выражает отношение к Шамуни как к человеку недоброму, как к недругу. Но главное, что определяет наше отрицательное восприятие героя,— описание страданий Гюльбы, которое предшествует сцене свидания. Усиливается это тем, что рядом с Гюльбой находится ее сынишка Джумбу, который, конечно, не понимает причин скорби своей матери — «хоцы», но всеми силами старается развеселить ее, бегаёт, скачет вокруг нее, поет ей песенки:

Хоца! Хоца! Трр... ррр... рр!  
Травка с прутиком свилась —  
Травка сохнет, вянет...  
Трр... ррр... хоца!<sup>240</sup>

«В блестящих глазках его прыгала сама радость»,— замечает автор.

Любопытно, что и в сцене свидания присутствует мальчишка. Это пастух, который случайно оказался здесь и которого обрызгал конь Шамуни. Своей злой репликой он прерывает объяснение в любви. «Злобно прыгали его глазенки; коса, похожая на крысиный хвостик, металась из стороны в сторону»<sup>241</sup>.

И в первом и во втором случае автор использует излюбленный романтиками прием контраста, который подчинен здесь определенному замыслу: вызвать наше сочувствие Гюльбе и одновременно разрушить поэзию любовного свидания.

Характерно, что и Хатым в сцене встречи с Шамуни далека от той идеализированной дочери природы, какие обычно изображались в романтических стихах того времени. Правда, ее внешность весьма напоминает традиционный портрет экзотической красавицы: «Солнце играло радугой в бляхах и нитках бисера, украшавших ее черные, густые косы; на щеках румянец юности спорил с цветом сараны, умирающей под копытами коня, который плавной иноходью спускался в долину; узкие, черные, как агат, глаза горели спокойным ожиданием, а на губах рдела улыбка надежды»<sup>242</sup>.

Любопытно сравнить это с отрывком из поэмы Я. Г. «Мир-

---

<sup>239</sup> Там же, стр. 35.

<sup>240</sup> Там же, стр. 38.

<sup>241</sup> Там же, стр. 43.

<sup>242</sup> Там же, стр. 38.

за; или бурятка на своем празднике» (опубликованном в журнале «Галатей», 1829 г.), где о героине говорится: «Под тонкой будто пеленою румянец с легкою игрою, а очи ясные, как смоль, а брови черные — дугою...»

Но в описании внешности Хатым следует обратить внимание на такую деталь: глаза ее «горели спокойным ожиданием». Не сильная, стихийная страсть, не чистая, возвышенная любовь руководит ею, а спокойное, ровное, в общем-то, тонко рассчитанное чувство. Хатым меньше всего волнуется судьба женщины и ребенка, покидаемых ее возлюбленным:

«— Гюльбе должно быть скучно, если Шамуни ее не любит! — сказала бурятка, устремив на Шамуни нежный взгляд»<sup>243</sup>.

Совершенно очевидно, что симпатии автора не на стороне Хатым. И тем более — не на стороне Шамуни. Писатель окончательно развенчивает этого человека в эпизоде, когда тому сообщают о гибели его сына. Шамуни воспринимает это равнодушно. Кроша табак, он спрашивает:

— А куда носил его шайтан?

Несомненно, в центре внимания автора — Гюльба и ее сынишка Джумбу. Не владея еще средствами психологического анализа, писатель стремится передать состояние героини описанием ее поведения и внешности, посредством диалога с сыном и стариком Урсум, а также при помощи ее пространственных монологов и авторских лирических отступлений. И всюду романтическая стихия пронизана конкретными, реалистическими мотивами. Поэт-романтик неотделим от трезвого наблюдателя-этнографа.

Вот портрет Гюльбы, выдержанный в романтическом стиле: «В смуглых щеках бурятки, озаренных красноватым отблеском потухающего огня, можно было прочесть глубокие иероглифы, напечатанные в них недавно болезнью или, может быть, тайной скорбью души, грустным откликом сердца на призыв зловещих дум, отуманивающих черные глаза ее...»<sup>244</sup>

А рядом с этим сообщается, что Гюльбе было лет под 30, что она была в легком матерчатом дегиле (нечто вроде капота), в желтой стеганой шапочке — обязательной у всякой замужней бурятки. У Гюльбы две толстые косы, украшенные металлическими бляшками и ниспадающие на грудь. Все это — детали реалистического портрета.

<sup>243</sup> Н. Б о б ы л е в. Д жар го а е га, стр. 40.

<sup>244</sup> Там же, стр. 10.

То же единство поэтического и этнографического отличает диалог матери с сыном, которым открывается повесть:

— Послушай, Джумбу, не воеет ли ветер, не вьется ль ковыль-трава в поле?

— Нет, хоца. В степи все тихо; ветерок шелестит травкой.

— Посмотри, Джумбу, не ходят ли черные тучи, не летает ли чагын-дар птица?

— Нет, хоца. В степи все тихо; собаки греются на солнце.

— Скажи мне, Джумбу, не снился ли тебе серый волк ночью? Не вешает ли что твое сердце?

— Нет, хоца. В степи все тихо; сердце мое молчит: у тебя черные косы... мне весело, хоца!<sup>245</sup>

За романтической оболочкой повествования здесь постоянно угадывается точное знание бурятского фольклора, поверий, обычаев. Здесь авторский рассказ легко и естественно переходит в исполнение Гюльбой бурятской песни «На полях Сонголы цветет ургуй-цветок...». И бурятская поэзия пронизывает горестные слова Гюльбы о разлюбившем ее Шамуни:

— Весна эта была осенью для Гюльбы: ургуй-цветок распустился, а любовь Шамуни завяла; око Бурхана стало проливать теплые лучи свои, а в сердце Шамуни было холодно, как в нашем улусе третьей зимою, когда птицы мерзли на воздухе; ручейки зажурчали так весело, а глаза Гюльбы начали течь!<sup>246</sup>

Конечно, Гюльба говорит как типично романтическая героиня. Но содержание ее речей далеко от романтической условности и приблизительности:

— Гюльба так любила Шамуни... Гюльба принимала коня его, когда он приезжал с охоты; Гюльба держала стремя ему; Гюльба поила его чаем, клала на белый войлок, сыпала цветы ему на изголовье...<sup>247</sup>

С психологической точностью передана реакция Гюльбы на известие о том, что ее сын погиб в волнах Селенги.

Старик Урсуй говорит ей:

— В ночь наши молодые люди вытащили коня его из...

— Тс! не договаривай!

— Селенги...

— Га!

Сердце матери поняло остальное<sup>248</sup>.

Вслед за тем идет лирическая тирада автора, в которой

<sup>245</sup> Там же, стр. 7—8.

<sup>246</sup> Там же, стр. 27—28.

<sup>247</sup> Там же, стр. 26.

<sup>248</sup> Там же, стр. 83.

соединяются авторская интонация и интонация самой Гюльбы,— это уже подступ к внутреннему монологу героини:

«Скажи мне, ненаглядное сердцу милое дитяtko, лервенец дум моих, Любовь, где, в какой стране не слышится плач твой, не раздастся твоя колыбельная песенка? В каком зеркале не вижу я твоего лика, какое эхо не вторит мне младенческого твоего лепета?»<sup>249</sup>

Последние страницы повести, где рассказывается о сумасшествии Гюльбы, которая уже не верит в то, что сын ее спасен, не узнает его, а затем в припадке ярости убивает изменника-мужа,— эти страницы по-настоящему волнуют: здесь много жизненной правды. Заканчивается повесть многозначительным восклицанием автора: «Судьба!»

Но не просто «рукой судьбы» объясняется драма, пережитая Гюльбой. Рядом с романтической историей разрушенной любви, где «всюду страсти роковые», развивается тема социальная: автор выступает против шаманской веры, которая приносит людям несчастье.

Старый шаман Сухтой спасает Джумбу от верной смерти, но делает это не бескорыстно, а для того, чтобы насильно превратить его в своего преемника. Между тем, как замечает автор, для этого требовалось согласие матери. «В таких случаях шаманы употребляют нередко замысловатые хитрости и большею частью привлекают к себе новобранцев обманом. Охотников бывает весьма мало»<sup>250</sup>.

Обман был использован и на этот раз: Сухтой внушил полумертвой от горя женщине, что ее сын погиб, но что можно вернуть его из царства мертвых, если мать согласится отдать ребенка ему. И когда вбежал Джумбу и шаман сказал: «Он мой», разум помутился у Гюльбы. Это вовсе не заставило шамана отступить. После того, как жертвой сумасшедшей Гюльбы стал Шамуни, Сухтой осуществил свое намерение: «По Селенге раздалась страшная шаманская песня. Все оглянулись — Сухтой, положив недвижного Джумбу в лодку, взмахнул веслами»<sup>251</sup>.

Описывая камлание шамана, Бобылев не жалеет черных красок, чтобы разоблачить Сухтоя, в действиях которого он не видит ничего, кроме кривляния. Автор дает почувствовать читателю откровенную фальшь религии. Больше того, именно происки шамана окончательно загубили Гюльбу, разлучив ее

<sup>249</sup> Там же, стр. 83—84.

<sup>250</sup> Там же, стр. 104.

<sup>251</sup> Там же, стр. 113.

с сыном, который оставался для нее последней надеждой и опорой в жизни.

Здесь Бобылев, обращаясь к ситуации необычной, в общем-то исключительной, вместе с тем описывает то, что имело место в жизни сибирских народностей, и выражает свое отрицательное отношение к религии и невежеству, оценивая их с позиций поборника просвещения, разума, доброты. Он не идеализирует «первобытность», не противопоставляет экзотику «туземного» существования цивилизованному миру, напротив, осуждает предрассудки, темноту, умственную пассивность многих кочевников. Все эти черты воплощены в старике Урсуй — может быть, наиболее реалистическом образе повести.

Дядя Урсуй любит выпить и с молчаливой важностью курит у костра свою ганзу, временами повторяя: «Бурхан велик, велик бурхан!» Его спокойствия ничто не может возмутить. На жалобы Гюльбы он отвечает:

— Бурхан велик: дает зиму, дает и лето; слезы текут, слезы и высохнут. Урсуй тоже плакал, когда хоронил жену; теперь Урсуй не плачет<sup>252</sup>.

Такие люди были находкой для шаманов — только их невежеством и доверчивостью объяснялось всеисилие служителей культа. Но вся история Гюльбы — как бы опровержение слов о величии бурхана: это история невинных страдальцев, матери и сына, которых загубили злые и жестокие люди, и (если употребить известные слова) бога в данном случае может извинить только то, что он не существует.

Повесть Н. Бобылева «Джарго аега» — произведение волнующее и запоминающееся. При всех романтических преувеличениях повесть вызывает к себе чувство доверия, так как в сюжете и образах ее проявляется действительное знание жизни и гуманизм автора. Писатель с глубоким уважением относится к быту, нравам, поэзии бурятского народа и в лице Гюльбы показывает благородные черты его лучших представителей. Повесть, несомненно, сыграла свою роль в приобщении русского читателя к жизни сибирских народностей, и в наши дни она забыта несправедливо.

Несмотря на то, что творческая деятельность Бобылева была кратковременной, она претерпела известную эволюцию. В 1840 г. Бобылев обратился к жанру очерка, опубликовав «Белый месяц. (Из путевых воспоминаний по Сибири)»<sup>253</sup> и

<sup>252</sup> Там же, стр. 28.

<sup>253</sup> «Невский альбом», издаваемый Николаем Бобылевым. Год второй. 1. СПб., 1840, стр. 100—137.

«Сибирские скиццы»<sup>254</sup>. Выбор нового жанра не был лишь актом формального характера: Бобылев не мог не испытывать на себе влияние развивающейся «натуральной школы», и, отказавшись от романтической повести, он одновременно порвал многие нити, связывавшие его с романтизмом.

Правда, в «Белом месяце» есть страницы, пронизанные лирическим пафосом, в какой-то мере сближающим этот очерк с предшествующими произведениями Бобылева. Таково, например, начало очерка, где восторженно описывается зимняя езда по реке Селенге. Это описание можно было бы посчитать заимствованным из «Мертвых душ», если б поэма Гоголя не вышла в свет двумя годами позже. По-видимому, совпадение следует объяснить тем, что существуют не только «идеи времени», но и «формы времени» (Белинский).

Бобылев пишет:

«Мороз. Дикие кони мчат меня с быстрого вихря... Не знаю, может ли что сравниться с прелестью скорого бега. Ни прошлое, ни будущее не занимает нас в эту минуту: одно наслаждение, бурное, безотчетное наслаждение поглощает все существо наше... кибитка летит, как по воздуху. Не помню, чтобы ездил я когда с такою быстротою. Резкий, холодный ветер прохватывал меня до костей, и, несмотря на это, я горел, как в огне. Предметы более и более мешались в глазах моих, так что под конец я ничего не мог видеть: все стало передо мной — скорость и буря...»<sup>255</sup>

Повторяем, этот отрывок написан в лирическом, а не в романтическом плане; эмоционально насыщенный, он не страдает поэтическими «излишествами», отличается простым слогом. И все же в нем можно почувствовать прежнего Бобылева. Романтический же стиль характерен лишь для одного авторского отступления, где Бобылев обращается к своим воспоминаниям. Говоря о том, что несколько часов, проведенных им в кругу одного очень любезного семейства в Троицкосавске, надолго останутся в его памяти, он пишет далее: «Образы, отражаемые в зеркале юной души, изглаживаются нескорю: стоит только поновить их, омыть это зеркало слезами воспоминания, и они явятся снова, приветливые и грозные, с улыбкою на устах или зияющею ранюю в сердце... люблю голубить мои воспоминания, пускай и нерадостные; выкликать их, как барды севера сзывали некогда тени героев оссиановских...»<sup>256</sup>

---

<sup>254</sup> «Русский инвалид», № 221, 5 октября 1840 г., стр. 886—887.

<sup>255</sup> «Белый месяц», стр. 100, 103.

<sup>256</sup> Там же, стр. 117.

Любопытно, что, позволив себе этот «экскурс в романтизм», Бобылев сам же осуждает себя за это: «Однако ж, я позабыл, что расчувствовался так не с самим собою, а перед читателями и что байроновские выходки перестают быть в моде»<sup>257</sup>. Важное признание!

«Белый месяц» — это своего рода дневник путешествия, в котором не может быть места домыслу. Автор не позволяет себе «расцветивать» будничную действительность красками своего воображения. Его рассказ намеренно аскетичен. Он не прославляет здесь Сибири, не приглашает к путешествию, но ставит целью дать читателю конкретное представление о далеком крае, в который удается попасть немногим.

Сибирский пейзаж изображен как унылый и однообразный. Перед Усть-Кяхтой сани вытащили на берег Селенги и волочили версты две по песку, смешанному со снегом, между редким кустарником. «...Остальной путь до Троицко-Савска не представляет ничего занимательного. Песок и снег, снег да песок — вот все материалы для пейзажиста. Два-три высокие холма, да редкий бор, поломанный бурей... Проезжая эти места, чувствуешь в душе какую-то пустоту, что-то неопределенное и за всем тем невыразимо-тягостное...»<sup>258</sup>

Унылую картину представляют собой и местные селения. Об Усть-Кяхте сказано, что это селение «окружено множеством тальниковых плетней и заборов, составляющих обширный лабиринт. Каменная церковь и такой же, незатейливой наружности, дом, принадлежащий одному частному лицу, — вот все, что нашли мы здесь замечательного»<sup>259</sup>.

Не испытывает автор особого восторга и от Троицкосавска. Ему он представляется обыкновенным уездным городом, каковой знаком каждому из читателей, живущих в провинции.

И все же автору удается рассказать о Сибири так, что она пробуждает к себе интерес: он останавливает внимание на таких особенностях местной жизни, которые непривычны для жителя Европейской России и не лишены для последнего определенной экзотики.

Такова упомянутая выше быстрая езда по Селенге. «Скорость, с какою возят здесь путешественников, едва не вошла в пословицу. Причину объяснить немудрено: избыток в лошадях, привольные луга для паствы и сравнительно малое число проездов... Родная замашка — помолодечествовать, щеголь-

---

<sup>257</sup> Там же, стр. 118.

<sup>258</sup> Там же, стр. 114.

<sup>259</sup> Там же, стр. 108.

нуть друг перед другом тоже играет не последнюю роль в этом случае»<sup>260</sup>.

Из очерка мы узнаем о ценной археологической находке — о камне с древними письменами и изображениями, который, по нерадивости местных властей, был вмурован в фундамент усть-кяхтинской церкви. Говорится здесь и о «лучшем дорожном кушанье» — пельменях. Но наиболее яркой этнографической зарисовкой является описание Белого месяца — праздника обитателей пограничной китайской слободы в Кяхте.

Бобылев с мастерством наблюдательного художника отмечает множество подробностей этого праздника, рассказывает о китайском театре и фейерверке, об угощении в доме пограничного начальника, жар-гу-чи. Неподвижные лица китайцев во время обеда, меланхолический свет от фонарей, повешенных снаружи за окнами, затянутыми разрисованной бумагой, бесконечное количество блюд, к которым неизменно подавались чеснок и свинина, необходимость есть при помощи костяных палочек и пр. — все это очень живо передавало атмосферу китайского праздника, непривычность и странность некоторых обычаев для русского человека. Вполне возможно, что Бобылев привел бы многие другие подробности, но он не хотел повторяться, отметив, что «все это было говорено» до него<sup>261</sup>.

В очерке часто встречается и ироническая интонация, на этот раз уже не контрастирующая с романтической восторженностью, но подчеркивающая известную сухость рассказа, ощущение будничности, прозаичности окружающего. Думается, что это — результат расставания Бобылева не только с романтическим прошлым, но в известном смысле — и с воспоминаниями о Сибири. Шли годы, Сибирь постепенно утрачивала в глазах писателя свою притягательную силу и уже не вдохновляла, как прежде, его перо.

Критика возлагала на Бобылева немалые надежды. Так, рецензент «Литературной газеты» высоко оценивал очерк «Белый месяц» и желал писателю новых успехов в издании альманаха<sup>262</sup>. Однако эти пожелания остались втуне. «Невский альбом», вышедший в 1840 г. в третий раз, уже не имел продолжения.

Конечно, причиной этого была не только утрата этнографической тематики, соответствующей наиболее сильным сто-

<sup>260</sup> Там же, стр. 101.

<sup>261</sup> Об этом, в частности, писал А. Степанов в «Путешествии в Кяхту из Красноярска» (см. «Енисейский альманах на 1828 г.», стр. 1—98).

<sup>262</sup> «Литературная газета», СПб., № 20, 1840 г., стр. 469—471.

ронам дарования Бобылева, но и сам характер эпохи 40-х годов. Обстановка жестокого николаевского режима обескрылила писателя-романтика, который не имел ни сил, ни соответствующего духовного склада, чтобы стать реалистом-критиком современности. Как отмечал С. А. Венгеров, «рассказы Бобылева написаны интересно и вполне литературным языком, а стихотворения довольно живописны и совершенно безукоризненны по структуре. Вообще, литературные дебюты Бобылева можно было назвать удачными»<sup>263</sup>. Однако Венгерovu непонятно, что заставило Бобылева сложить перо. «Только через двадцать лет после этого он появился со своей довольно бессодержательной статейкой в «Северной пчеле» о Мартынове»<sup>264</sup>. Не случайно, по-видимому, Бобылев выступил последний раз в своей жизни на страницах реакционного журнала.

### ПЕТР ЕРШОВ — СКАЗОЧНИК, ПОЭТ, ПРОЗАИК

Об авторе сказки «Конек-горбунок», вошедшей в «большую» литературу, много писалось и в Сибири, и за ее пределами. Библиографический список работ, посвященных Петру Павловичу Ершову, насчитывает десятки названий. И все же сказать сегодня о том, что литературное наследие Ершова освоено, было бы преждевременным. В самом деле, значительная часть его стихов рассеяна по различным редким изданиям или остается в рукописях. Причем основной архив, который, по словам сына поэта, В. П. Ершова, насчитывал томов семь, хорошо переплетенных<sup>265</sup>, до сих пор не найден. Единственной рукописью остается пока так называемая «тобольская» — три тетради стихотворений, которые, конечно, не могут дать полного представления о творческом облике Ершова.

За последние 50 лет предпринимались неоднократные попытки собрать и издать все произведения поэта (или хотя бы большинство), однако до сих пор осуществить это намерение не удалось. Больше того, не составлена полная библиография сочинений Ершова, нет исчерпывающего списка работ о нем,

---

<sup>263</sup> С. А. Венгерov. Критико-библиографический словарь русских писателей и ученых, т. IV, стр. 73.

<sup>264</sup> Там же. «Вечер с Мартыновым» опубликован в «Северной пчеле» (1860, № 210).

<sup>265</sup> См. письмо от 25 ноября 1910 г. (Архив АН СССР, ф. 107, оп. 2, № 163).

не собраны и его письма<sup>266</sup>. Лучшее из изданий, которым мы сейчас располагаем, — омское издание 1950 г.<sup>267</sup> Оно, кстати, положено в основу данного очерка о Ершове как наиболее полное.

Если само творчество поэта известно нам недостаточно, то о его личности и жизненном пути мы имеем довольно четкое представление. Еще не так давно основными источниками биографических данных о Ершове служили две книги: «Петр Павлович Ершов, автор сказки „Конек-горбунок“» А. Ярославцева (СПб., 1872) и «Историческая записка о состоянии тобольской гимназии за 100 лет ее существования — 1789—1889 гг.» С. Замахаева и Г. Цветаева (Тобольск, 1889 г.). Первая книга, основанная на воспоминаниях автора и письмах Ершова, в какой-то мере приоткрывала нам внутренний мир поэта; вторая книга рассказывала о деятельности Ершова на педагогическом поприще. Однако оба источника страдали неполнотой, сознательным или невольным умолчанием о некоторых важных моментах биографии Ершова<sup>268</sup> и кое в чем давали неверные сведения о нем.

В 20-х годах некоторые новые данные о Ершове разыскал учитель Егор Иванович Симонов (1889—1923), создавший в Тобольске кабинет по изучению жизни и творчества Ершова и написавший несколько брошюр<sup>269</sup>. Однако ранняя смерть прервала его деятельность, и часть из того, что он успел собрать, была позднее утеряна.

Немаловажный вклад в изучение биографии и творчества Ершова внес М. К. Азадовский<sup>270</sup>. Но более всего сделал для освоения ершовского наследия талантливый исследователь

---

<sup>266</sup> См. ст. Л. В. Азадовской «К вопросу об издании полного собрания сочинений П. П. Ершова» («Сибирские огни», 1962, № 9, стр. 168—172).

<sup>267</sup> П. П. Ершов. Сочинения. Редакция, комментарии и вступительная статья В. Г. Уткова. Омск, 1950.

<sup>268</sup> «... В условиях 70-х годов Ярославцев не мог говорить, например, о связях Ершова с декабристами, о дружбе с петрашевцами. Возможно, что он и сам многое не знал» (А. А. Богданова. Две книги о П. П. Ершове. «Сибирские огни», 1951, № 5, стр. 109).

<sup>269</sup> Е. Симонов. Как издавали и как надо издавать сказку П. П. Ершова «Конек-горбунок». Омск, 1922; Он же. Автор «Конька-горбунка», в портретах, набросках и карикатурах. Тобольск, 1923; Он же. Автор «Конька-горбунка» в поэзии. Тобольск, 1928; и др.

<sup>270</sup> М. К. Азадовский. Первая глава биографии Ершова. «Очерки литературы и культуры Сибири», стр. 153—164; Он же. Вступительная статья, редакция и комментарии к кн. П. Ершова. «Стихотворения». Л., 1936; Он же. Вступительная статья к кн. П. Ершова «Конек-горбунок». «Стихотворения». Малая серия «Библиотеки поэта». М.—Л., 1961; и др.

В. Г. Утков (Бурмин), написавший о Ершове целый ряд статей и несколько книг<sup>271</sup>.

В поисках новых материалов об авторе «Конька-горбунка» В. Г. Утков обследовал архивы и музеи в Тобольске и Омске, а также архивы Москвы, установил переписку с внучкой поэта Н. В. Ершовой, опросил множество людей, имевших какие-либо сведения о Ершове и его семье, изучил огромный материал о самом поэте, его окружении и эпохе. Это дало исследователю возможность в своих «беллетризованных биографиях» — «Сказочник П. П. Ершов» и «Рожденный в недрах непогоды» — смело домысливать то, что оставалось не до конца выясненным, причем логика его догадок чаще всего была вполне убедительной. Именно ему прежде всего современный читатель обязан достаточно полным представлением о человеческом облике Ершова.

Заслугой В. Г. Уткова следует считать и то, что он опровергал некоторые предубеждения против поэта: будто Ершов являлся «человеком одной книги» и ничем, кроме «Конька-горбунка», не был интересен; что тобольский (послепетербургский) период в жизни Ершова был творчески почти бесплодным и что сама жизнь поэта в эти годы представляла собой постепенное нравственное угасание.

«Мы можем с уверенностью сказать,— писал В. Г. Утков, — что Ершов... после «Конька-горбунка» не прекратил творческой деятельности, что он, живя в Тобольске, не умер духовно, что его не всосала бюрократическая тряпина и не растворился он в ней бесследно. Нет, он жил и боролся и оставил о себе память не только как замечательный русский поэт, автор неувядаемого «Конька-горбунка», народных песен и стихов, которые до наших дней бытуют в деревнях среднего Прииртышья, он оставил по себе память и как гражданин, передовой учитель и воспитатель...»<sup>272</sup>

Традиция, с которой пришлось бороться В. Уткову, существует не одно десятилетие. Она восходит, в частности, к статье Г. Н. Потанина «Крымские письма сибиряка»<sup>273</sup>. В этой статье Потанин подверг поэта самой суровой критике, оценив всю его жизнь с позиций тех намерений, которые привели Ершова в Сибирь и которые тот не осуществил: «С одной поэзией, в

<sup>271</sup> В. Г. Утков. П. П. Ершов. (Биографический очерк). Новосибирск, 1950; Он же. Сказочник П. П. Ершов. Омск, 1950; Он же. Рожденный в недрах непогоды. Новосибирск, 1966.

<sup>272</sup> В. Утков. Петр Павлович Ершов. Новосибирск, 1950, стр. 6.

<sup>273</sup> Авесов (Г. Н. Потанин). Крымские письма сибиряка. «Сибирь», № 15, 11 апреля 1876 г., стр. 3—4.

которой он видел какую-то волшебную силу, Ершов собирался совершить чудеса в Сибири. Но оказалось, что с такими крошечными силами нельзя было одному человеку мечтать о возрождении края, и кончилось все тем, что синица море не зажгла»<sup>274</sup>.

Категорически осуждая поэта за то, что тот отступился от своего намерения преобразовать Сибирь, Потанин в данном случае упускал из виду, что юношеские мечты нередко разбиваются при столкновении с действительностью, и вряд ли в этом можно винить самих людей. Тем более неоправедливо упрекать поэта в том, что он не поступил так, как представлялось Потанину единственно правильным: «Он сделал бы для Сибири много, если б занялся естественными науками или восточными языками... Или снял бы с себя официальный сюртук, обратился в обыкновенного смертного и отдался изучению бытовой жизни простого народа; деля с народом труды и досуг в обозе, на белкованье, на палатах, участвуя на его свадьбах и сходках, он мог бы сделаться народным поэтом Сибири»<sup>275</sup>.

Конечно, не исключено, что, если бы Ершов действовал подобным образом, его заслуги перед Сибирью были бы более велики. Но поэт шел по жизни своим путем, более соответствующим его характеру и наклонностям. Несмотря на тяжелейшие условия, он сделал немало полезного для родного края, между тем как, по мысли Потанина, «из него вышел просто чиновник, присосавшийся к жене и семейной жизни, к тихой уездной жизни и по временам пописывающий стихи»<sup>276</sup>.

Тобольский период в жизни Ершова представляется Потанину временем полного поражения поэта. «Петербургские друзья уговаривали его не ездить в Сибирь, говорили, что он погибнет в этой трущобе, и говорили резон..., но Ершов не послушался их разумных советов, уехал и был страшно наказан»<sup>277</sup>. Потанин понимал, что обстоятельства жизни Ершова были крайне неблагоприятны (обремененность большой семьей, безденежье, недобросовестное отношение к поэту его издателей и т. д.). Критик говорил и о том, что Сибирь оказалась для Ершова слишком суровой и жестокой: «Она погубила его, эта «северная красавица», которая однако была холодная, грязная и грубая красавица, колотившая своего любовника

---

<sup>274</sup> Там же, стр. 4.

<sup>275</sup> Там же.

<sup>276</sup> Там же.

<sup>277</sup> Там же, стр. 3.

кулаком»<sup>278</sup>. И все же основной причиной поражения Ершова Потанин считал его собственные недостатки — слабоволие, «робость» и «леность»: «тут надо было другой характер или более богатые дарования»<sup>279</sup>. Критик писал о «прозябании» Ершова в Тобольске, о «хныканье на судьбу» и даже о неспособности поэта к усидчивому труду. «Ершов обращается в забитую личность», — таков был вывод Потанина. И этот вывод, хотя и в несколько смягченной форме, повторяли некоторые из биографов Ершова<sup>280</sup>.

Нашло поддержку и отрицательное мнение Потанина о лирике Ершова. Критик утверждал, что Ершов «пописывал» в Тобольске «ненужные вирши (!), неспособные в ком-либо пробудить душевное движение... Он был лирик, но он не умел сам ловить свои чувства. Стихи его деланные... «Конек-горбунок» ему удался, но потому, что это — эпическое произведение»<sup>281</sup>. Потанин признавал «великолепный язык» этой сказки, представлявший собой «подражание народному»: «Ершов владел им превосходно, не уступая Некрасову»<sup>282</sup>. Но в то же время, по мнению Потанина, «за формой у него всегда скрывалось бедное содержание». И это особенно сказалось в лирике: «вместо того, чтобы наблюдать окружающий мир, наблюдать тобольского мужика, в деревенской среде искать материал для поэзии», Ершов давал волю своей фантазии и «жил безвыходно в мечтательном мире».

Потанин и здесь допускал неисторический подход к Ершову, требуя от романтика верности реализму, от поэта с пылкой фантазией — преодоления ее, от художника с разносторонней тематикой — непременно обращения к «деревенской среде». Он несправедливо отказывал поэзии Ершова в содержательности, взяв, по-видимому, за образец творчество Некрасова. Но художнические цели Ершова были совсем иными и, как показал В. Г. Утков в книге «Петр Павлович Ершов», на пути к достижению этих целей поэт добился немалых успехов.

Потанин упрекает Ершова и в том, что тот, «горячо, до сумасбродства» любя Сибирь, не смог стать действительно «местным поэтом». Причину этого критик усматривает в бояз-

<sup>278</sup> Там же, стр. 4.

<sup>279</sup> Там же.

<sup>280</sup> Мы уже говорили (см. Введение, стр. 22), что с годами Потанин пересмотрел свое отношение к Ершову и стал возлагать ответственность не столько на поэта, сколько на тогдашнюю действительность (см. Г. Потанин. Областная тенденция в Сибири, Томск, 1907, стр. 5—7).

<sup>281</sup> Авесов (Г. Н. Потанин). Крымские письма сибиряка. «Сибирь», № 15, 11 апреля 1876 г., стр. 4.

<sup>282</sup> Там же.

ни Ершова открыто выразить свою любовь к родному краю: «Если он писал о родине, он тщательно утаивал имя этой родины; ...назвав стихотворение «Сибирскими вечерами», он подчеркивает «сибирскими» и переименовывает вечера в «осенние»<sup>283</sup>. Будучи робким в частной своей жизни, Ершов был вместе с тем и литературный трус...»<sup>284</sup>.

Думается, что и в этих утверждениях критик был несправедлив к поэту. Исходя из заранее построенной логической схемы, Потанин старался доказать, что Ершов являет собой «пример человека, вскормленного в стране крестьянских общин, но выросшего и воспитавшегося на образцах общества с другими наслонениями и не умевшего уже приладиться к родной среде»<sup>285</sup>. Учеба в Петербурге — вот что, оказывается, помешало Ершову стать подлинно сибирским поэтом!

Но закономерно возникает вопрос: а почему, собственно, Ершов так боялся своей любви к Сибири? Разве эта любовь была преступлением с чьей-либо точки зрения? Вряд ли. В данном случае правомернее говорить не о «трусости», но о принципиальном желании поэта не замыкаться в местных рамках. Влияние университета на него в этом смысле было только благотворным. Петербург не заглушил в душе Ершова привязанности к Сибири, но позволил ему взглянуть на собственное творчество с позиций общерусской литературы. Ершов сумел на определенном этапе подняться над уровнем местных интересов и потребностей и стать художником национального значения.

Перестал ли он при этом быть представителем и литературы Сибири? Вовсе нет. Сибирь вскормила его как поэта, насытила местными мотивами его стихи — даже там, где он не подчеркивает этого, и, вопреки мнению Потанина, Ершов остается истинно сибирским поэтом до конца своих дней.

\* \* \*

Жизнь П. П. Ершова (1815—1869 гг.) — ключ к его творчеству. Потанин прав, говоря о том, что его дарование — лирическое. Не только его интимные стихи, но и романтические поэмы, и проза, и даже отчасти «Конек-горбунок» окрашены в тона его личности, овеяны впечатлениями детства и юности поэта, проведенных в Сибири.

<sup>283</sup> Потанин ошибся: «Осенние вечера» — не стихотворение, а цикл рассказов.

<sup>284</sup> Г. Н. Потанин. Указ. соч., стр. 4.

<sup>285</sup> Там же.

Сын волостного комиссара, человека беспокойного и плохо уживавшегося с начальством, Петр Ершов уже с самого раннего возраста колесил по Сибири. Дер. Безруково (где Петя родился), крепость святого Павла (ныне Петропавловск), Омская крепость, Березов — вот те места, где прошло детство будущего поэта. А еще — многоверстные пути, которые покрывали Ершovy, переезжая с одного места на другое.

Эти частые переезды, бесспорно, оставили глубокий след в сознании мальчика. «Ершов с детства привык к сибирским просторам, к большим расстояниям, к общению с народом — с крестьянами, казаками, ямщиками, охотниками, рыбаками»<sup>286</sup>. Рассказы простых людей, их немудреный быт, их радости и горе питали воображение Пети Ершова, развивали его душевные силы. «В Березове живы были предания о первых походах в Сибирь, о сражениях с Кучумом, о смелых путешествиях казаков и на восток, в неведомые края»<sup>287</sup>. Предания эти тем более должны были волновать Ершова, что в соборной городской церкви он видел знамена дружины Ермака, овеванные славой.

Но еще большее впечатление произвел на Петра Ершова Тобольск, где они с братом должны были учиться в гимназии. Тобольский Кремль, многолюдная ярмарка, Чувашский мыс, возле которого некогда произошло решающее сражение между Ермаком и Кучумом, — эти новые впечатления переплелись в сознании подростка с многочисленными рассказами и сказками бывалых людей, заходивших на огонек в людскую дома его дяди, купца Н. С. Пиленкова. А главное — Ершов познакомился здесь с такими выдающимися личностями, как П. А. Слобцов, который в 1829 г. вышел в отставку и поселился в этом городе, ссыльный композитор Александр Алябьев и новый директор гимназии Иван Павлович Менделеев (женатый на племяннице Василия Корнильева). Последний ввел в гимназии новые порядки, изменил методы преподавания: стал устраивать так называемые «творческие воскресения», во время которых гимназисты декламировали произведения русских и иностранных авторов, а также свои собственные сочинения.

Общение с этими людьми не могло не сказаться на формировании творческой индивидуальности Ершова. Как раз в эти годы вышли в свет «Письма о Сибири» и «Прогулки вокруг Тобольска в 1830 г.» Слобцова. Автор приступил к созданию

---

<sup>286</sup> В. Г. Уткoв. Петр Павлович Ершов, стр. 10.

<sup>287</sup> Там же.

фундаментального труда — «Историческое обозрение Сибири». Общение с ним должно было укрепить любовь молодого Ершова к Сибири, пробудило в нем желание изучить ее прошлое и настоящее. Встречи с Алябьевым помогли Ершову приобщиться к современной русской литературе. Алябьев познакомил его со стихами Жуковского и Пушкина, с баснями Крылова. Нововведения в гимназии, осуществленные Менделеевым, развивали в молодом поэте творческие стремления, способствовали самостоятельности его мышления.

Большое значение для Ершова как будущего поэта имело наличие в Тобольске определенных литературных традиций. Еще живы были воспоминания об издании здесь «Иртыша, превращающегося в Ипокрену». И хотя издательская деятельность давно уже прекратилась, интерес тоболяков к поэтическому творчеству продолжал сохраняться. В столичных журналах появлялись стихи тобольских поэтов 20-х годов: И. Черкасова, И. Нагибина, Речкина, И. Веттера. Причем стихи тобольских литераторов всецело посвящались Сибири. Поэты воспроизводили в стихах предания сибирской летописи, воспевали местную природу, а поэт Речкин с упоением писал о сибирских пельменях<sup>288</sup>.

Ершов не мог не обратить внимания на эту местную поэзию. Тем более, что он сам проявлял большой интерес ко всему, что было связано с Сибирью.

Уезжая в 1830 г. в Петербург для поступления в университет, Ершов увозил с собой огромный запас впечатлений, накопленных им в годы детства и юности. К этому времени он обладал главным, что было необходимо ему как поэту: знанием жизни народной, чувством единения с простыми людьми, глубоким знанием сибирского фольклора — старинных сказаний и сказок. Именно здесь следует искать объяснение такого феноменального явления, как создание замечательной сказки «Конек-горбунок» 19-летним юношей в самом начале его творческого пути.

Петербургский период в жизни Ершова (1830—1836 гг.) — бесспорно, самый значительный и яркий. О нем поэт всегда вспоминал с теплым чувством, правда, смешанным с горечью: это был период светлых надежд, которым впоследствии не суждено было осуществиться. Вместе с тем пребывание в Петербурге омрачалось многими тяжелыми переживаниями. Ершов не мог не видеть кричащих контрастов русской столицы,

---

<sup>288</sup> См. М. К. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 156.

жестоких проявлений крепостничества. Не радовал молодого поэта и университет.

Ершову пришлось столкнуться здесь с казенщиной и косностью. Среди преподавателей было немало чиновников от науки, требовавших от студентов зубрежки и нетерпимо относившихся к тем, кто мыслил не по шаблону. Профессора-иностранцы читали лекции на латинском языке и были очень далеки от действительных нужд и интересов русской молодежи. Не попав на историко-филологический факультет (из-за слабого владения латынью), Ершов поступил на факультет философско-юридический, что вовсе не соответствовало его склонностям. Поэтому он мало уделял внимания учебе и восполнял пробелы своего образования усиленным чтением.

Обстановка в университете несколько изменилась с появлением двух молодых преподавателей словесности—П. А. Плетнева и А. В. Никитенко. Они знакомили студентов с современной литературой, приобщали их к передовым течениям общественной мысли и искусства.

То, чего недоставало Ершову в университетской науке, он пытался найти в кругу друзей-единомышленников. Правда, мировоззрение поэта еще не отличалось в это время достаточной ясностью, поэтому он дарил своей дружбой людей, во многом противоположных друг другу. Это—В. А. Треборн, занимавшийся время от времени переводами с немецкого, — «беззаботный малый, поэт шуток и знакомец целого Петербурга» (по словам самого Ершова). По-видимому, он привлекал застенчивого и довольно замкнутого поэта своей жизнерадостностью и общительностью. Сближается Ершов и с А. К. Ярославцевым, ставшим позднее писателем и цензором, написавшим упомянутую нами биографию поэта. С Ярославцевым их роднит интерес к литературе и музыке. Наконец, третьим, наиболее близким другом Ершова становится К. И. Тимковский. Вместе с ним поэт строит смелые планы путешествий по Сибири, изучения и преобразования этого края. Ершов мечтает о том, что они познакомятся с жизнью сибирских племен и представят правительству проект, как помочь этим бедствующим людям. В своем дневнике Ершов пытается наметить конкретные меры по осуществлению своей обширной программы. Путешествовать они должны летом, а зимой съезжаться в один город, издавать журнал, в котором публиковать собранные сведения по истории, географии, быту и пр. Предполагалось, что подписка на журнал доставит им новые средства.

Ершов посвятил в эти планы и Ярославцева, которому

мы, кстати сказать, и обязаны подробным рассказом об этих юношеских намерениях Ершова<sup>289</sup>. Но сам Ярославцев отнесся к ним достаточно сдержанно, в то время как Тимковский тут же начал готовиться к их осуществлению. Он оставил университет, перешел во флот и отправился в далекое плавание, пообещав Ершову «привезти из Америки шхуну, для хода по водам, где можно...».

Конечно, это были наивные, романтические мечтания, заведомо обреченные на провал. Но сами намерения молодых людей свидетельствовали о благородстве их помыслов, о желании приносить пользу обществу. Тимковский, внук по материнской линии известного путешественника, основателя Российско-Американской компании Г. И. Шелехова, проявлял естественный интерес к Сибири, о которой ему рассказывала мать. В отличие от братьев, делавших военную карьеру и принимавших участие в подавлении декабристского восстания, Константин был человеком передовых взглядов, не случайно ставшим позднее активным участником кружка Петрашевского. Можно предполагать, что он рассказывал Ершову о декабристах (тем более, что в их доме часто бывал К. Рылеев, одно время управлявший канцелярией Российско-Американской компании)<sup>290</sup>. И, видимо, не только мечты о преобразовании Сибири воодушевляли двух молодых энтузиастов<sup>291</sup>.

Первые поэтические опыты Ершова относились еще к тобольскому периоду: в частности, М. К. Азадовский высказывает предположение, что сонет «Смерть Ермака» был задуман и написан вчерне еще до отъезда из Сибири<sup>292</sup>. В университете Ершов продолжал писать стихи, сочинял шуточные поэмы и эпиграммы, которые имели успех в студенческой среде.

Но началом зрелого творчества Ершова явилась знаменитая сказка «Конек-горбунок» (1834 г.), сделавшая имя молодого поэта известным всей России.

Это произведение было ответом на полемику о народности, которая заполняла тогдашние столичные журналы. Ершов не стремился «облагораживать» фольклор, не привносил в него

---

<sup>289</sup> А. Ярославцев. П. П. Ершов, автор сказки «Конек-горбунок». СПб., 1872, стр. 23.

<sup>290</sup> В. Г. Утков. Указ. соч., стр. 26.

<sup>291</sup> Впоследствии Тимковский, по-видимому, осознал нереальность своих юношеских планов, связанных с Сибирью, и не только не возвращался к ним, но и, проезжая через Сибирь в Европейскую Россию, не встретился с Ершовым в Тобольске.

<sup>292</sup> М. К. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 157.

«точность и правильность», как это делали Жуковский и Дельвиг. Подобно Пушкину, он старался овладеть духом и стилем народного рассказа, самым методом русских сказочников<sup>293</sup>.

Поэтому «Конек-горбунок» сразу же вызвал восторг одних и неприязнь других. Среди противников ершовской сказки оказался, между прочим, молодой Белинский, который в этот период отрицал и сказки Пушкина, считая их «подделкой» под народность. По мнению Белинского, художник, как бы ни старался, не может «омужичиться» («из-за зипуна всегда будет виднеться ваш фрак») да и не должен этого делать! Его задача — идти от фольклора к «высшим формам», поднимать «народную стихию» в более высокую сферу. Между тем, считал Белинский, Пушкин и тем более Ершов не сделали этого, культивируя «простонародность» и оставаясь поэтому чуждыми исканиям передовой мысли.

Белинский был конечно, не прав. «Для Пушкина,— писал Азадовский,—его сказки знаменовали новый метод и новую точку зрения; они знаменовали обращение к новым социальным силам как к новому творческому источнику. Это была великодушная и смелая попытка расширения социальной базы творчества включением в литературу подлинной народной стихии»<sup>294</sup>.

Эти слова в полной мере могут быть применены и к «Коньку-горбунку». Не случайно сказка Ершова была встречена в штыки прежде всего представителями консервативной критики, поборниками старины, а также царской цензурой, беспощадно выбрасывавшей из текста наиболее острые места и позднее запретившей сказку.

Правда, Сенковский и Смирдин, способствовавшие изданию «Конька-горбунка» на страницах «Библиотеки для чтения» и отдельной книгой, восприняли это произведение лишь как нечто невинное и забавное. Однако очень скоро стало ясно, что сказка Ершова не только раздражает некоторых, но и вызывает возмущение. Особенно усилились нападки, когда официальным кругам стала до конца понятной социальная направленность сказки. Один из критиков заявлял: «Неужели народность состоит в том, чтобы говорить по-мужицки? После этого высочайшая бы народность заключалась в том, чтобы вывести на сцену двух мужиков, ругающихся площад-

---

<sup>293</sup> М. К. Азадовский. П. П. Ершов. В кн. П. Ершов. «Конек-горбунок. Стихотворения». Л., 1961, стр. 20.

<sup>294</sup> Там же, стр. 33.

ной бранью»<sup>295</sup>. После третьего издания стали раздаваться требования запретить сказку, что и было исполнено цензурным комитетом.

Отвергнутая официальными кругами, сказка Ершова завоевала признание демократического читателя. Среди поклонников ее был и Пушкин. При встрече с Ершовым он сказал: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить». Пушкин заявил ему также о своем намерении содействовать изданию этой сказки с картинками, в огромном количестве экземпляров, по возможно дешевой цене.

Пушкина не только не шокировал, но, напротив, восхитил народный язык «Конька-горбунка». «Этот Ершов, — говорил он, — владеет своим стихом, как крепостным мужиком». Правда, Азадовский усматривал в этом и долю иронии: Пушкин «подчеркнул и некоторую беспорядочность ершовского стиха, некий произвол в обращении с поэтическим материалом и поэтическими формами»<sup>296</sup>. Однако это не отрицало главного — исключительной «послушности» поэтического языка воле автора.

Некоторые исследователи (А. Ярославцев, А. Гуревич, А. Путинцев и др.) считают, что Ершов как создатель «Конька-горбунка» несамостоятелен, что он лишь «обработал» различные сказки, соединив их в единое целое. В. Утков справедливо возражал против этого: «Конек-горбунок» — не подражание литературным образцам, не «сумма» сказочных мотивов, не «попурри на сказочные темы», а оригинальное и самостоятельное реалистическое произведение, рожденное жизненным опытом П. Ершова, его общением с народом, его общественными взглядами, его желанием осмыслить окружающую действительность. Будь иначе — сказка не дошла бы до наших дней, как не дошли сотни подражательных, эпигонских виршей того времени»<sup>297</sup>.

Вместе с тем В. Утков в полемическом задоре впадает, на наш взгляд, и в противоположную крайность, обвиняя, например, Азадовского в том, что тот отказывает Ершову в самостоятельности и «механически начинает подсчитывать «замысловатости» П. Ершова из народных сказок»<sup>298</sup>.

Конечно, Азадовский не вполне удачно определил «Конька-горбунка» как «попурри на сказочные темы». Но что касается конкретного анализа сказки, проделанного исследовате-

<sup>295</sup> «Отечественные записки», 1840, т. VIII.

<sup>296</sup> М. К. Азадовский. П. П. Ершов, стр. 24.

<sup>297</sup> В. Утков. Указ. соч., стр. 38.

<sup>298</sup> Там же, стр. 37.

лём, то мы меньше всего видим в нем «навязчивое желание» отказать Ершову в оригинальности. Азадовский, например, пишет:

«...источниками Ершова были, несомненно, сказки; слышанные им непосредственно из уст народа в Сибири...»

В поэме Ершова искусно сплетены различные мотивы русских сказок. В ней слышны отголоски сказок о Жар-птице и Василисе-царевне, о Сивке-бурке, о волшебном коне, об Иван-царевиче, об Ерше Щетинникове, о Марке богатом и Василии несчастном»<sup>299</sup>.

В чем же здесь «формалистический взгляд на литературные явления?» Неужели В. Утков считает, что в произведении Ершова даже не слышны отголоски упомянутых сказок? Не думает же он, в самом деле, что все эти образы и мотивы придуманы самим автором «Конька-горбунка»!

Конечно, Ершов никогда не был лишь составителем текстов, бытующих в народной среде: он «переплавил» богатейший сказочный материал, создав совершенно новое, самобытное произведение, оплодотворенное его собственной фантазией; пронизанное его миропониманием. Он изложил сказку поразительно легкими, «летучими» стихами, в самой манере повествования выразив свою личность, свой страстный порыв к свободе, светлую веру в счастье.

Известно, что в русских сказках главный герой — крестьянский сын, солдат или работник — подвергался преследованиям со стороны многочисленных врагов и с помощью волшебства торжествовал над ними. Авторы сказок отстаивали идею социальной справедливости, но не могли не чувствовать, что их мечта далека от реального воплощения, и потому для достижения ее оказывалось необходимым вмешательство чудодейственных сил. Этой традиции следовал и Ершов, причем мотивы, заимствованные из фольклора, получили в его сказке еще более глубокое, социально-обобщенное звучание.

Обычно «глупость» Иванушки-дурачка была синонимом его наивности, простодушия, неприспособленности к жизни. Его доброта и бескорыстие приносили ему немало горя, но вместе с тем по сложной логике жизни эти же качества способствовали его удаче и счастью. В полной мере сохранив это в характере и судьбе своего героя, Ершов подчеркнул нравственный аспект личности Ивана. «Дурачком здесь называется Иванушка только на людском языке: он не подходит под по-

---

<sup>299</sup> М. К. Азадовский. П. П. Ершов, стр. 19.

нятия людей обыкновенных; не живет, как они живут; служит людям честно, терпит многое, решается на невозможное для них же; и добрые всемогущие силы помогают ему, как своему собрату»<sup>300</sup>.

Это очень важно, что Иван глуп только с точки зрения обывательского «здорового смысла», на взгляд, например, его братьев — жадных, лживых, недалеких. Между тем он вовсе не глуп для себя. Как утверждает один из исследователей, «положение общепризнанного дурака нередко помогает герою. И не то, чтобы Иван многого желал от жизни — он совсем не прихотлив, — но и то малое, что имеет, он должен оберегать от других — «умных»<sup>301</sup>. Иными словами, Иван играет роль дурака, пользуется тем, что, «мол, на дурне не взыщут».

При всем своем простодушии Иван способен и хитрить: он обманывает братьев, рассказывая им о своей встрече с кобылицей, скрывает от них, что нашел перо жар-птицы, а позднее отрицает перед царем, что у него хранится это перо.

Конечно, Иван гораздо честнее своих братьев: оба они вовсе не сторожили поле, обманывая своего отца, в то время как Иван всю ночь добросовестно выслеживал вора. Он и бескорыстнее братьев: поначалу его возмутило, что они украли его коней, но, когда они сказали, что сделали это ради отца, который уже не может работать, он смягчился и сам поехал на ярмарку. Получив от царя деньги за коней, Иван щедро наделил братьев, которые, разбогатев, тотчас же женились, «стали жить да поживать, да Ивана вспоминать».

Бескорыстие Ивана проявляется и в том, что он не сразу соглашается служить при дворе, а согласившись, не ищет себе никакой выгоды, исправно ухаживает за своими конями, вволю спит и чувствует себя вполне довольным своей судьбой. Показательно, что, владея волшебным коньком, который способен исполнить любое его желание, Иван ничего от конька не требует — конек сам предлагает ему свою помощь.

Ивану присуще чувство собственного достоинства. В отличие от придворных, «сгибающихся вперегиб» перед царем, он разговаривает с ним, как с ровней:

Только чур со мной не драться  
И давать мне выспаться,  
А не то я был таков<sup>302</sup>.

<sup>300</sup> Я. К. Грот. Не для забавы только. «Неделя», 1964, № 51, стр. 8.

<sup>301</sup> В. Аникин. О сказке «Конек-горбунок», ее героях и авторе. В кн. П. П. Ершов. Конек-горбунок. М., 1962, стр. 10.

<sup>302</sup> «Конек-горбунок». В кн. П. П. Ершов. Сочинения. Омск, 1950, стр. 50. Все дальнейшие ссылки на это издание.

Иван является полной противоположностью царю, человеку предельно корыстолюбивому, привыкшему к безоговорочному исполнению своих желаний. Идеино и композиционно эти образы противопоставлены друг другу и контрастно оттеняют один другого. По-существу, конфликт между ними и является движущей пружиной сюжета: всякий раз царь ставит Ивана на грань жизни и смерти, и только помощь конька-горбунка да собственная сметливость спасают его от неминуемой гибели.

Царь изображен Ершовым как дряхлый старикашка-лежебока, который, однако, не только не торопится сводить счеты с жизнью, но еще стремится к тому, чтобы в полной мере получать жизненные удовольствия, и для него, как и для старухи из сказки Пушкина о золотой рыбке, нет пределов в желаниях: удовлетворение одного побуждает его требовать исполнения следующего.

Физическая немощь этого человека еще более оттеняет его жестокость. Принимая придворных обычно в постели, царь, не вставая с кровати, раздаёт зуботычины и не скупится на угрозы:

— Говори, не прибавляя,—  
Царь сказал ему, зевая,—  
Если ж ты да будешь врать,  
То кнута не миновать<sup>303</sup>.

Отправляя Ивана за жар-птицей, царь заявляет ему:

Если ты в недели три  
Не достанешь мне жар-птицу  
В нашу царскую светлицу,  
То, клянуся бородой!  
Не являйся мне живой,  
Посажу тебя я на кол.  
Вон, холоп! — Иван заплакал...<sup>304</sup>

Дословно повторяется угроза, когда царь посылает Ивана добыть царь-девицу. Когда же он приказывает Ивану «искупаться» в трех котлах, то угрожает ему в случае отказа еще более страшной казнью:

Я отдам тебя в мученье  
Прикажу тебя пытать,  
По кусочкам разрывать...<sup>305</sup>

---

<sup>303</sup> «Конек-горбунок», стр. 55.

<sup>304</sup> Там же, стр. 58.

<sup>305</sup> Там же, стр. 93.

Если Ивану Ершов сочувствует и только кое-где добродушно посмеивается над ним, то к царю автор относится с откровенной иронией. Особенно ярко это проявляется в эпизодах ухаживания старика за молоденькой царь-девицей. Его «сладкие речи» и «нежные» взгляды выдают в нем сластолюбца, смешного и нелепого. Резкую оценку царю дает Месяц Месяцович:

Ах, злодей!  
Вздумал в семьдесят жениться  
На молоденькой девице!  
Да стою я крепко в том,  
Прооидит он женихом!  
Вишь, что старый хрен затеял:  
Хочет жать там, где не сеял!  
Полно, лаком больно стал!<sup>306</sup>

Авторское отношение к царю нетрудно уловить и в той презрительной отповеди, которую получает престарелый жених от своей невесты:

...не выйду никогда  
За дурного, за седого,  
За беззубого такого!<sup>307</sup>

Между прочим, тема царя отчасти повторяется в описании подводного царства: здесь правителем над рыбами является кит. Но он во многом отличается от «земного» государя: он долго страдал, будучи в опале у бога и нося на спине своей целую деревню, населенную людьми. Он не лишен чувства справедливости и в благодарность за то, что Иван избавил его от мук, помогает ему найти перстень царь-девицы. Но и кит тоже обладает крутым нравом, и перед ним трепещут подданные. Киты докладывают, что только ерш может найти перстень, но ерша куда-то унесло:

«...Отыскать его в минуту  
И послать в мою каюту!»—  
Кит сердито закричал  
И усами закачал!<sup>308</sup>

В другом случае:

«...Что ты долго не являлся?  
Где ты, вражий сын, шатался?» —  
Кит со гневом закричал.  
На колени ерш упал!<sup>309</sup>

<sup>306</sup> Там же, стр. 80—81.

<sup>307</sup> Там же, стр. 91.

<sup>308</sup> Там же, стр. 85.

<sup>309</sup> Там же, стр. 87.

Как видим, Ершов не обольщается насчет царского нрава и дает читателю понять, что с царями вообще шутки плохи.

Следуя фольклорным традициям, поэт наказал несправедливого и жестокого правителя: царь сам же погиб в котле, который был уготован для Ивана. Смерть царя воспринимается как заслуженное возмездие, и народ охотно признает и молодую царицу, и избранного ею супруга Ивана. Так простой крестьянин становится царем, и читателю самому дано поразмыслить над этим жизненным уроком.

«Не овейанный романтическим ореолом богатырь, а мужик заменяет царя — такой ситуации еще не знала русская поэзия»<sup>310</sup>.

Вместе с тем в сказке заключалась не только определенная социальная концепция, но и глубокая нравственная идея: «простодушное терпение увенчивается, наконец, величайшим возмездием на земле, а необузданные желания губят человека даже и на высочайшей ступени земного величия»<sup>311</sup>.

Идейный замысел ершовской сказки тем более значителен, что поэт сумел правдиво, насколько позволял ему избранный жанр, описать народную жизнь. «Вместо бытовавших в литературе «поселян» Ершов показывает людей, живущих трудными интересами... В его сказке уже намечены некоторые черты, впоследствии нашедшие наиболее полное выражение в поэзии Кольцова»<sup>312</sup>.

В самом деле, читая сказку Ершова, мы знакомимся с реальным положением русского крестьянства, которое живет в нескончаемой нужде. Братья, укравшие коней, говорят Ивану в свое оправдание:

Сколь пшеницы мы не сеем,  
Чуть насущий хлеб имеем.  
До оброков ли нам тут?  
А исправники дерут<sup>313</sup>.

В ярких лубочных тонах, хотя и с сохранением жизненных пропорций, выписана картина столичной ярмарки — толкотня «покупальщиков», появление городничего с сотней стражи, громогласное объявление глашатая: «Гости! Лавки открывайте, покупайте, продавайте...» И тут же — свист бичей, с помощью которых городничий расчищает себе дорогу.

<sup>310</sup> «История русской литературы», т. VI. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 476.

<sup>311</sup> Я. К. Грот. Указ. соч., стр. 8.

<sup>312</sup> «История русской литературы», т. VI, стр. 474—475.

<sup>313</sup> «Конек-горбунок», стр. 43.

Вообще образ городничего, не забывающего при случае напомнить царю о том, что он верой-правдой исправляет свою должность, не столько традиционно-сказочен, сколько реален и типичен для изображаемой среды. То же самое можно сказать о доносчике-спальнике, который входит в царские палаты, «скрючась обручем таловым», или о дворянах, которые нарочно растянулись на полу, чтобы посмешить царя<sup>314</sup>.

«Сказочное повествование движется стремительно и свободно, на лету создавая одну картину за другой, и, внимательно приглядевшись, мы узнаем в них не тридевятое царство, тридешатое государство, а уездную Русь, которая в будни пахала землю, торговала, хитрила, наделяла худыми кличками разных захребетников, а в праздники — пела, буянила, плакала, молилась, бранилась, доверчиво слушала бывалых странников об иноземных царях-басурманах и всегда мечтала о лучшей доле»<sup>315</sup>.

Великолепно зная фольклор, Ершов дал широкий простор народно-поэтической стихии в «присказках», которые не были непосредственно связаны с действием, но самим богатством и разнообразием сказочных мотивов и образов как бы включали «Конька-горбунка» в нескончаемую цепь сказок, созданных народом.

Духом сказочного фольклора пронизано все произведение. При этом Ершов сохраняет порой те сказовые и речевые формы, которые ему приходилось встречать именно в Сибири. Местные диалектизмы довольно часты в поэме: «Малахай свой надевает», «Как в суседки он попал», «Что, — сказал он, — за шайтан», «...а посыльные дворяна побежали по Ивана», «Доставать тоё Жар-птицу», «Вон отсюда, болеть злая» и т. д. Ершов охотно употребляет усеченные формы, характерные для сибирской речи: «Я те шапки, ровно, не дал», «Вдруг приходит дьявол сам с бороною и с усам» и т. п. Иногда поэт переставляет ударения, как это ему приходилось слышать у жителей Сибири: «Ну, для первого случаю», «Работать уже не может», «Месяц, ровно, тоже свѣтил», «Мужики на губе пашут» и т. д.<sup>316</sup>

Вообще язык сказки отличается как будто бы неряшливостью, но это — сознательный авторский прием: поэт стремится к тому, чтобы создать полное впечатление устной, разго-

<sup>314</sup> То, что данный эпизод, по мнению Азадовского, навеян грибоедовским «Горем от ума», думается, не отрицает нашего утверждения.

<sup>315</sup> В. Аникин. Указ. соч., стр. 7.

<sup>316</sup> См. об этом в кн. П. Черных «Русский язык в Сибири». Иркутск, 1937, стр. 113—118.

ворной речи. Порою поэтический слог Ершова кажется наивным, но именно поэтому создается впечатление, что поэма родилась в среде народа и что Ершов лишь добросовестно записал услышанное, ничего не исправив и ничего не улучшив.

Поражает, как смело и непринужденно пользуется Ершов «простонародными» формами речи:

Кто-то в поле стал ходить  
И пшеницу шевелить...  
...Стали думать да гадать,  
Как бы вора соглядать..  
...Братья ну ему пенять,  
Стали в поле погонять...<sup>317</sup>

А как достоверно передана нескладная, со многими лишними словами речь старика-крестьянина:

Ты, Данило, молодец!  
Ты, вот, так сказать, примерно,  
Сослужил мне службу верно,  
То есть, будучи при всем  
Не ударил в грязь лицом <sup>318</sup>.

Иногда в языке автора угадываются интонации тех героев, о которых идет речь:

Сам отец не мог сдержаться,  
Чтоб до слез не посмеяться,  
Хоть смеяться так, оно  
Старикам уж и грешно <sup>319</sup>.

Ершов щедро пользуется сравнениями из народного быта: Иван «приумылся, причесался, кнут свой сбоку прицепил, словно утица поплыл» <sup>320</sup>.

А сколько подлинно фольклорной образности и экспрессии в сцене обуздания Иваном пойманной им кобылицы!

Кобылица молодая,  
Очью бешено сверкая,  
Змеем голову свила  
И пустилась как стрела.  
Вьется кругом над полями,  
Виснет пластью надо рвами,

---

<sup>317</sup> «Конек-горбунок», стр. 33, 35.

<sup>318</sup> Там же, стр. 34.

<sup>319</sup> Там же, стр. 39. Эту особенность «Конька-горбунка» великолепно реализует исполнитель сказки Дмитрий Орлов.

<sup>320</sup> Там же, стр. 57.

Мчится скоком по горам,  
Ходит дыбом по лесам,  
Хочет силой аль обманом,  
Лишь бы справиться с Иваном...<sup>321</sup>

Поэма вся сверкает блестками народного юмора, неприятельного, порой грубоватого, но всегда меткого:

Спотыкнувшись три раза,  
Починивши оба глаза,  
Потирая здесь и там,  
Входят братья к двум коням<sup>322</sup>.

Наконец, хочется сказать о поразительной краткости и емкости ершовского стиха, об энергии выражения, захватывающей читательское воображение:

Пальцы в шапку запустил,  
Хвать перо — и след простыл...  
...Сельди духом собралися,  
Сундучок тащить взялися,  
Только слышно и всего —  
У-у-у! да о-о-о!...  
...Царь велел себя раздеть,  
Два раза перекрестился, —  
Бух в котел — и там сварился!<sup>323</sup>

«Таким образом, — пишет академик Я. К. Грот, — сказка «Конек-горбунок», легко укладываясь в памяти, производит, подобно басням Крылова, двойную пользу: во-первых, нравственную, впитываясь незаметно в молодую душу; а во-вторых, научную, приучая ребенка к благозвучности и ясности слога, к тому языку, которым он со временем станет излагать свои мысли»<sup>324</sup>.

В петербургский период Ершов пробует свои силы и в жанре драматургии. Таков его «драматический анекдот» «Суворов и станционный смотритель», либретто оперы «Страшный меч», драматическая сцена «Кузнец Базим», неоконченная драматическая сценка «Фома-кузнец» и др.

«Суворов и станционный смотритель» был напечатан в конце 1835 г. и имел успех у читателей. Однако пьесу к постановке не разрешили. Основанием для запрета послужило то, что цензор Ольдекоп считал это произведение «порочащим славное имя героя». В результате пьеса была со временем за-

<sup>321</sup> Там же, стр. 36—37.

<sup>322</sup> Там же, стр. 40.

<sup>323</sup> Там же, стр. 55, 87, 96.

<sup>324</sup> Я. К. Грот. Указ. соч., стр. 8.

быта и увидела свет рампы только в Тобольске, где была поставлена под руководством автора силами гимназистов.

Цензурный запрет последовал не случайно: несмотря на то, что сюжет пьесы был внешне незначителен и сам цензор называл пьесу «прекрасной безделкой», однако было в этой пьесе достаточно серьезное рациональное зерно, которое не могло вызвать одобрения цензуры. «Так же, как и своего «Конька», Ершов и «Суворова» подслушал у народа... Ершов сумел передать образ великого русского полководца таким, каким он хранится в памяти народа и до наших дней; в пьесе Ершова мы видим Суворова, близкого простым людям, не гнушающегося хлебать щи из одной чашки с крестьянином, остроумного, веселого. Вероятно, это и заставило Ольдекопа возмутиться — царский цензор хотел увидеть в пьесе графа, а нашел народного героя...»<sup>325</sup>

В самом деле, замысел автора состоял именно в том, чтобы подчеркнуть демократизм Суворова. Само действие пьесы было построено по принципу контраста между пышными приготовлениями к встрече Суворова на дорожной станции и неожиданным появлением его в солдатской шинели, под видом графского гонщика. Суворов обращается со зрителем запросто, на равных, как солдат с солдатом, и никто не узнает в этом человеке великого полководца; даже тогда, когда он называет себя, ему не верят. Суворову, утверждает Ершов, не нужны ни почести, ни торжества; он предпочитает видеть людей такими, как они есть; ему приятно и радостно встретить здесь одного из тех, кто сражался когда-то под его началом, и вместе с ним вспомнить лихие походы.

Великолепную самохарактеристику дает себе Суворов, когда зритель, принимая его за солдата, состоящего на службе у графа, спрашивает о том, что Суворов любит, а чего не любит:

Суворов. Любит правду, ненавидит кривду; кто не кривит душой, за того стеной; а кто мытарит для дружбы, так того вон из службы; капитану арест, ефрейтору палочки...

Смотритель. Все так! Да если он заговорит со мной, как мне отвечать-то?

Суворов. Отвечай смело, так и в шляпе дело. Пуще всего не говори: не могу знать, — запрет!<sup>326</sup>

---

<sup>325</sup> В. Утков. Творчество Петра Павловича Ершова. В кн. П. П. Ершов. Сочинения. Омск, 1950, стр. 8.

<sup>326</sup> «Суворов и станционный зритель». В кн. П. П. Ершов. Сочинения, стр. 112—113.

Здесь все соответствует тому облику Суворова, который сложился в сознании народа: герой, правдолюбец, друг солдата. Нетерпимый ко всяческой глупости и притворству, Суворов сразу же проникается симпатией к зрителю — человеку прямому, радушному, находчивому.

Демократизм и гуманность Суворова ярко проявляются и в его заступничестве за крестьянского парня Луку и дочь зрителя Машеньку, которые любят друг друга, но не могут соединиться из-за бедности жениха. Суворов просит зрителя не препятствовать их браку, и воля полководца для бывшего солдата — закон.

Суворов в изображении Ершова лишен какого бы то ни было «хрестоматийного глянца». Ершов не побоялся показать его не только исключительно простым, но и любящим шутку, озорство. Граф охотно принимает предложение зрителя — прорепетировать встречу Суворова и играет роль самого себя. При этом вдруг вскакивает, забрасывает зрителя неожиданными вопросами, поворачивается на одной ноге, кричит петухом, а когда появляется племянник зрителя Яков, громогласно приветствующий Суворова, лезет под стол: «Ой, боюсь! Какой страшный!» Зритель на это хохоча замечает: «Ох, ты старый проказник! Быть бы тебе при царе Горохе шутом!»

Видимо, и эти эпизоды вызвали недовольство цензора как «порочащие славное имя героя». Между тем именно они и придавали обаяние образу Суворова, тем более, что все это не придумано Ершовым, а соответствует действительному облику знаменитого полководца.

Пьеса привлекает умением автора создавать запоминающиеся характеры. Особенно удались ему сам Суворов и станционный зритель. Но не лишены индивидуальности и другие, хотя им дано, может быть, всего несколько реплик. Симпатии зрителя завоевывает Машенька. В ней сочетаются противоположные черты характера: она озорная и скромная, своевольная и ласковая; она любит Луку, но в то же время строга с ним и при малейшей его вольности «надувает губки».

В языке пьесы чувствуется автор «Конька-горбунка» — настолько сильна в нем подлинно народная струя. Главные герои пьесы часто употребляют пословицы и прибаутки, а деревенский староста, весельчак и балагур, так и сыплет ими: «Мир вам, и я к вам, старик румяной, не прошеной, не званой, не в гости гостить, не балы точить, а дело говорить...»<sup>327</sup> Су-

---

<sup>327</sup> Там же, стр. 120.

воров, чтобы развлечься после еды, начинает рассказывать сказку: «За морем синица не пышно жила...». Смотритель тут же подхватывает: «А! Не пышно жила, пиво варивала». И начинается типичное состязание двух сказочников.

Совсем немного слов у Луки, но язык его отличается такой свободой и образностью, что сразу понимаешь: это парень неглупый, достойный своей невесты. В то же время Лука может говорить и как простака: «...я все-таки растянусь себе перед графом, да и зареву во всю ивановскую: ваше графское сиятельство! Господин Суворов-батюшка! Помилуй!...»<sup>328</sup> Эту уже весьма напоминает нам Ивана из «Конька-горбунка».

Пьеса «Суворов» и стационарный смотритель» отличается стройным сюжетом. «На эту сторону творчества Ершова вообще обращали мало внимания. Между тем она весьма характерна для Ершова и очень важна для понимания его таланта»<sup>329</sup>.

Мастерство Ершова в построении сюжета проявилось и в либретто оперы «Страшный меч». А. Ярославцев отзывался об этом произведении с похвалой, отмечая, что либретто «написано очень обдуманно, и, по нашему мнению, достойно бы труда композитора гениального: в нем фантазия живая, много чувства, страсти, стихи мастерские...»<sup>330</sup>.

Хотя на этот раз приговор цензора был милостивым, автору не повезло и с этим произведением: опера так и не была поставлена и появилась в печати только в 1876 г. в журнале «Иллюстрированный вестник».

В обстановке засилья на столичной сцене иностранной оперы Ершову хотелось создать произведение русское по духу и содержанию. Сюжет ее снова, как и в «Коньке-горбунке», носил сказочный характер, но был связан с русской историей, со временами правления князя Владимира и княжеской междоусобицы.

«Печать юношеской неопытности лежит на «Страшном мече»... В авторских ремарках либретто чувствуется влечение к сценическим эффектам в духе «Роберта-дьявола...»<sup>331</sup>, но в опере крепкая сюжетная основа, есть отдельные удачные лирические места, а главное — либретто Ершова представляет несомненную историко-литературную ценность как одна из попыток создания русской национальной оперы»<sup>332</sup>.

<sup>328</sup> Там же, стр. 104.

<sup>329</sup> В. Утков. Указ. соч., стр. 12.

<sup>330</sup> А. Ярославцев. П. П. Ершов — автор сказки «Конек-горбунок». СПб., 1872, стр. 18.

<sup>331</sup> В. Утков. Указ. соч., стр. 11.

<sup>332</sup> Там же, стр. 12.

Если в опере «Страшный меч» Ершов далек от впечатлений, связанных с Сибирью, то в драматической сцене «Кузнец Базим, или изворотливость бедняка» (впервые опубликована в 1858 г.)<sup>333</sup> сказалось близкое знакомство Ершова с татарским населением Сибири. И хотя действие в ней разворачивается в Багдаде, во времена Гарун-аль-Рашида, в ее герое мы без труда можем узнать одного из тех предприимчивых татар-кузнецов, что жили на Пиляцкой улице Тобольска<sup>333</sup>.

Неоконченная драматическая повесть «Фома-кузнец» относится к 1835 г., но, по предположению В. Уткова, была начата раньше, еще до отъезда Ершова в Петербург<sup>334</sup>. Нельзя не согласиться с исследователем в том, что «это одно из первых русских литературных произведений, посвященных рабочему люду»<sup>335</sup>.

Основной персонаж, кузнец Лука, изображен как мастер своего дела:

...К кузнечному письму  
Господь мне дал и разум и охоту.  
Спать ли что, лихова ль подковать,  
Надвесить ли торговые запоры,  
Замки ль свернуть на английскую статью.  
**Иль вывести немецкие узоры, —**  
На все Лука!<sup>336</sup>

Но, к сожалению, речь Луки страдает излишним многословием. Лука сам осознает свой недостаток («Язык — наш враг, писание гласит, да победить его подчас не в силу»). Однако автора следует упрекнуть в том, что он не умеет немногими средствами дать почувствовать разговорчивость своего героя, — он вкладывает в его уста пространные рассуждения о слишком элементарных вещах.

Многословен и таинственный незнакомец — «проезжий», который просит Луку подковать его коня. Из его монолога мы узнаем, что он спасается от каких-то «стозорких волжан». Его слова намеренно неясны, но в них все же можно увидеть отражение мыслей самого Ершова. Здесь есть несколько строк, где слог поэта обретает необходимую выразительность, остро недостающую всему этому отрывку. Перед проезжим стоит выбор: или бороться со своими врагами,

<sup>333</sup> Там же, стр. 13.

<sup>334</sup> Предположение основано на том, что песню Луки, которой начинается отрывок, положил на музыку для мужского хора А. Алябьев, с которым Ершов встречался только до отъезда в Петербург (там же, стр. 283).

<sup>335</sup> Там же, стр. 232.

<sup>336</sup> «Фома-кузнец». В кн. П. П. Ершов. Сочинения, стр. 137.

Или просить смиренно их объятий,  
Услуживать ученым старикам,  
Водить старух, псаломствуя, к обедам,  
Любезничать меж этих постных дам  
И в праздники таскаться по передним...<sup>337</sup>

Судя по всему, этот «вечный» вопрос мучил молодого Ершова, и решение его героя разыгрывать «ложное смирение», увы, стало позднее уделом самого поэта.

Летом 1836 г. Ершов уезжает из Петербурга в Тобольск учителем местной гимназии и здесь поселяется навсегда. В 1837 г. он заканчивает поэму «Сузге», которая печатается в плетневском «Современнике» (1838, т. XII).

Это последнее крупное поэтическое произведение Ершова не имело сколько-нибудь заметного отклика у столичного читателя и, пожалуй, до сих пор не в полной мере оценено критикой. Причина, по-видимому, заключается в том, что поэма воспринимается не сама по себе, а в невольном сравнении с «Коньком-горбунком» — в сравнении, которое, конечно, не в пользу «Сузге». Однако это произведение обладает рядом несомненных достоинств, которые и обеспечили ему определенную популярность в Сибири<sup>338</sup>.

Рассказывая о временах похода Ермака, Ершов не вполне придерживается официальной версии присоединения Сибири. Он не считает Кучумово царство диким и невежественным. Напротив, поэт старается подчеркнуть богатство и роскошь столицы Кучума, определенную изысканность в образе жизни самого сибирского правителя:

Царь Кучум живет в палатах,  
Ест с серебряного блюда,  
Из ковша пьет золотого,  
Спит под шелковым навесом,  
На пуховых на постелях,  
Ходит мягко по коврам<sup>339</sup>.

В отношениях Кучума и Сузге поэт отмечает определенную утонченность: это не любовь грубого и жестокого человека к своей рабыне, но нежная и страстная привязанность восточного повелителя к красавице-жене.

Конечно, в описании образа жизни Сузге есть известная идеализация. Ее «веселый терем» скорее напоминает русский, чем татарский,—

<sup>337</sup> Там же, стр. 139.

<sup>338</sup> Об издании и постановках на сцене «Сузге» см. в кн. П. П. Ершов о в. Сочинения, стр. 283.

<sup>339</sup> «Сузге», там же, стр. 143.

С переходами резными,  
Со ставнями расписными,  
С узорочною оградой  
И с перильчатым крыльцом<sup>340</sup>.

А описание купания Сузге невольно вызывает в памяти строки из «Руслана и Людмилы» и «Бахчисарайского фонтана»:

Вечер. Кончилось купанье.  
Снова полог расстегнулся,  
И царица молодая  
(Щеки розами горят)  
Вновь мелькнула по дорожке  
Легкой серною на холм  
И под пихтою душистой  
Опустилася, слабая,  
На узорчатые ткани.  
И несет одна девица  
Прохладительный напиток  
Ей в сосуде золотом,  
Вкруг Сузге ее рабыни  
Черну косу выжимают,  
Чешут пребнем, разделяют,  
В плетеницы завивают  
И жемчужную повязку  
В косу пышную плетут.  
Пьет царица молодая  
Прохладительный напиток...<sup>341</sup>

Это воспевание «черноглазой Сузге», неустанное восхищение ее прелестью и изяществом, это совершенно очевидное приукрашение татарского быта подчинено определенным идейно-художественным целям. Поэт с глубоким сочувствием относится к покоренным сибирским народностям и стремится вызвать у читателя уважение к ним. В лице Сузге он старается показать лучшие черты представительницы этих народностей. Поэтому царица у него не только женственна и нежна, но полна чувства собственного достоинства, гордости и непреклонности. Она, как и ее соплеменники, жаждет независимости и счастья и в минуту опасности способна проявить мужество и силу духа. Несмотря на то, что Искер пал, а Кучум бежал на восток, она готова защищать Сузгун. В беседе с братом Махмет-Кулом она обнаруживает хитрость стратега и дает брату совет, как ему одолеть русских. А когда сопротивление в Сузгуне становится бессмысленным, она готова пожертвовать собой для спасения своих соотечественников. Ее мучи-

<sup>340</sup> Там же, стр. 145.

<sup>341</sup> Там же, стр. 147.

тельные раздумья бессонными ночами, ее безысходные страдания описаны у Ершова с глубоким участием, с неподдельным волнением. Но особенно драматична сцена, когда вошедшие в Сузгун казаки находят тело умирающей Сузге:

Под навесом лихт душистых,  
Прислоняя головою  
К корню дерева, сидела  
Одинокая царица.  
Вьется ветром покрывало,  
Руки сложены на грудь...  
Щеки бледностью покрыты,  
Льется кровь из-под одежды,  
И в глазах полузакрытых  
Померкает божий свет...<sup>342</sup>

Чертами смелости и решительности отмечен и брат Сузге, Махмет-Кул. Храбро обороняет Сузгун татарский старшина. Характерно, что сами русские казаки по достоинству оценивают своих противников. Так, атаман Гроза пишет Ермаку:

Две недели уж проходят,  
А мы все еще не можем  
Взять Сузгуна на мечи.  
Да и что это за крепость!  
Да и что это за люди!<sup>343</sup>

Русские воины изображены в поэме как люди благородные, преданные родине, великодушные к побежденному врагу. Казаки беспрепятственно выпускают из крепости защитников Сузгуна при условии, что их царица добровольно сдастся в плен. В скорбном молчании они отдают последние почести Сузге, которая предпочла смерть рабству.

Сам Ермак Тимофеевич предстает перед читателем как человек мудрый, дальновидный, берегущий своих людей. Он религиозен и, уповая на бога, видит свой долг в том, чтобы взять Сибирь «для Руси». В нем нет ничего от легендарного разбойника. И таковы же его верные атаманы Кольцо и Гроза, его удалые казаки.

В основу поэмы положены Ершовым те исторические предания, которые ему приходилось слышать в Сибири. Один из современников поэта, ссыльный поляк Констанций Волицкий, рассказывает о поездке из Тобольска в татарское село, расположенное у подножия горы Сузгун: «До горы Сузгун доехать нельзя, а пешеходный путь через болота труден; итак, только издали смотрели мы на гору, в то время как Ершов,

<sup>342</sup> Там же, стр. 166—167.

<sup>343</sup> Там же, стр. 157.

дителя здешних стран, как поэт, рассказывал нам о сражениях и несчастьях последнего царя татарского».

Конечно, события, изображенные в поэме, весьма далеки от исторической достоверности, но Ершов и не претендовал на нее. Больше того, именно там, где он откровенно опирался на фольклор, его повествование звучало особенно убедительно. Так, он ярко излагал те зловещие слухи, которые, обрстая легендами, распространялись в Кучумовом царстве перед приходом русских:

Чудны женские рассказы!  
Будто полночью глубокой  
На мысу одном высоком  
По три раза проходили  
Цвета белого собака  
И, как уголь, черный волк;  
С воем прызлись меж собою,  
И в последний раз собака  
Растерзала злого волка.  
Будто с той же ночи всюду  
Меж сибирскими лесами  
Чудным образом и видом  
Вдруг береза зашвела...  
Что-то будет с ханским царством!<sup>344</sup>

Сама манера повествования содержит элементы былинного характера. Поэт использует, например, типично былинное обращение: «Гой, товарищи и братья, вы казаки удалые!» «Гой, татары и уланы!» И даже татары отвечают: «Гой, неверный воевода!» Встречаются у него и характерные для былин «отрицательные» сравнения:

То не лебеди, не снега —  
То их парусы белеют;  
То не песни соловьины —  
То их русские напевы...  
То не пчелы вылетают  
Из улья с своей царицей,  
То татары выбегают  
С старшиной своим отважным<sup>345</sup>.

Поэт часто использует повторы:

Вдруг к нему, к царю, подходит,  
Легкой ножкой чуть ступая,  
Черноглазая Сузге...  
Так к нему, царю, вещает  
Черноглазая Сузге...<sup>346</sup>

<sup>344</sup> Там же, стр. 148—149.

<sup>345</sup> Там же, стр. 156.

<sup>346</sup> Там же, стр. 144.

Или:

Вот является царица,  
Легкой серною мелькает  
По излучистой дорожке...  
Вновь мелькнула по дорожке  
Легкой серною на холм<sup>347</sup>;

Белый стих, которым написана поэма, ещё более усиливает отпечаток былинности.

Однако в отличие от «Конька-горбунка» Ершов не пошел здесь вслед за народными певцами: он вложил в фольклорную форму типично книжную, романтическую поэму. В результате этого несоответствия ему не удалось в полной мере выявить возможности избранного им жанра, и, с другой стороны, он утратил непосредственность, подкупающую наивность, которые в сочетании с подлинно народной мудростью производили неотразимое впечатление на читателей его замечательной сказки.

Не удался Ершову и восточный колорит. Правда, есть здесь отдельные удачные детали. Например, вполне в духе татарской образности звучит ответ старшины на вопрос, далеко ли до русских:

А когда б стрела летела  
Час один с одною оилой,  
Так к концу она упала б  
В их неверные шатры<sup>348</sup>.

Но чаще все-таки автор «Конька-горбунка» обращается к привычной для него поэтической образности русских сказок. Сузге говорит Кучуму: «Хороши твои **усадыбы**... Прикажи мне, мой властитель, там построить **терем царский**... В этом тереме веселом встретить вешнюю зарницу, **красно** лето проводить»<sup>349</sup>. «И царица призывает старшину в свою **светлицу**»<sup>350</sup> и т. д.

Язык поэмы «Сузге» уже не отличается свободой и естественностью, характерными для «Конька-горбунка». Довольно многочисленны в поэме затасканные книжные сравнения:

Словно пламя — пышат щеки;  
Словно звезды — блещут очи;  
Словно волны — дышат груди;  
Так бела и так свежа!<sup>351</sup> и т. д.

<sup>347</sup> Там же, стр. 146—147.

<sup>348</sup> Там же, стр. 150.

<sup>349</sup> Там же, стр. 144—145.

<sup>350</sup> Там же, стр. 149.

<sup>351</sup> Там же, стр. 147.

Таким образом, Ершов не простился в полной мере с тем, что было использовано им в «Коньке-горбунке», и не пришел целиком к тому новому, чего требовал от него жанр романтической поэмы. Поэтому и художественный эффект оказался гораздо менее значительным: после громкой известности «Конька-горбунка» поэма «Сузге» прозвучала предельно скромно и прошла почти незамеченной в столичных кругах.

С переездом в Тобольск условия для дальнейшего творчества Ершова оказались крайне неблагоприятными. Он оторвался от литературной среды, потерял контакты с передовыми художниками времени. Ему пришлось жить в условиях провинциальной ограниченности и затхлости, усугубляемых жестоким гнетом николаевской поры. Будучи учителем тобольской гимназии, человеком, обремененным многочисленной семьей, вынужденным постоянно заботиться о хлебе насущном, Ершов оказался в крайне стесненных обстоятельствах. Естественно, что все это не способствовало творческому вдохновению, обескрыливало впечатлительного и легкоранимого поэта.

Ершов, правда, долгие годы боролся за свое право на творчество. Он довольно много писал, особенно во второй половине 30-х годов. И было бы неправильным рассматривать тобольский период как время его полного поражения, творческого бессилия<sup>352</sup>. Однако ему уже не удалось подняться до уровня «Конька-горбунка»: его перо как бы потеряло прежнюю твердость и остроту.

Говоря о тобольском периоде, важно отметить, что поэт искал применения своим силам на общественном поприще. Он стремился перестроить преподавание русской словесности в гимназии. Для этого он использовал свои записи лекций, прослушанных в университете, рассказывал гимназистам о Пушкине, Жуковском, Дельвиге и других современных писателях, с которыми встречался в Петербурге, боролся против зубрежки, против мертвящих «правил риторики», отстаивал самостоятельность мышления учащихся. Он составил новую программу по словесности, разрабатывал «Курс словесности для гимназии» и написал сочинение «Мысли о гимназическом курсе». В последнем он выступал против засилья латыни, предлагал уделять большее внимание русскому языку, истории, географии, а также ввести преподавание естественных наук. Однако все его нововведения не встретили сочувствия в Министерстве народного просвещения: бумаги, посланные им, так и оста-

---

<sup>352</sup> Мы уже оспаривали подобную точку зрения, изложенную Г. Н. Потаниным в «Крымских письмах сибиряка».

лись без ответа. Ершову пришлось ограничиться своей собственной скромной практикой, но и здесь его новшества вызвали сопротивление со стороны гимназического начальства и местных властей. Зато ученики платили ему любовью за любовь. С большой теплотой отзывались о своем учителе Д. И. Менделеев, будущий великий русский ученый, и революционер-шестидесятник И. А. Худяков.

Помимо словесности, Ершов проявлял большой интерес к краеведению и археологии, а также к истории Сибири: пусть в гораздо более скромных масштабах, чем мечталось в юности, но он осуществлял отдельные пункты той программы, которую в свое время они разработали вместе с Тимковским.

Поэт создал вместе со своими «дружками» (как он называл гимназистов) любительский театр, где ставил пьесы Фонвизина, Загоскина и других, а также и свои произведения.

Кстати, когда в июне 1837 г. Тобольск посетил наследник царского престола Александр, Ершов написал по этому поводу либретто оперы «Сибирский день», музыку к которой сочинил К. Волицкий. Однако и на этот раз Ершову не повезло. Как вспоминает ссыльный композитор, «наследник не захотел восхищаться нашими талантами, и опера моя осталась в портфеле...»<sup>353</sup>.

О гражданском облике Ершова можно судить также по тому факту, что поэт поддерживал близкие отношения с декабристами Чижовым, Фонвизиним, Анненковым, Кюхельбекером, а также с петрашевцами и ссыльными поляками. Ершов передал редакции «Современника» пушкинские стихи, посланные в Сибирь, которые он получил от Пущина, приехавшего из Ялуторовска в Тобольск.

Все это навлекало на него подозрения со стороны тобольских властей, не раз на Ершова строчились доносы, и западносибирский генерал-губернатор П. Д. Горчаков лично проявлял к нему «немилость». Только в 1857 г., при новом тобольском губернаторе В. А. Арцимовиче, человеке просвещенном и либеральном, Ершов получил, наконец, пост директора гимназии и возглавил Тобольскую дирекцию училищ. Он много ездил по губернии, открывал школы, способствовал развитию женского образования.

Конечно, не следует игнорировать тех противоречий, которые были присущи Ершову на протяжении всего его жизненного пути. Было бы преувеличением отождествлять его поли-

---

<sup>353</sup> К. Волицкий. Воспоминания о пребывании в Варшавской крепости и в Сибири. Львов, 1876, стр. 185—186.

тические взгляды со взглядами ссыльных революционеров. Достаточно сказать, что он сочинил восторженные стихи, проникнутые духом верноподданничества в связи с приездом царевича Александра. В этом приветствии он писал о том, что два века Сибирь мечтала, когда «посетит Восток владыка», и вот мечта сбылась: «Отец услышал глас детей». За это стихотворение Ершов был награжден золотыми часами.

Неясность, нетвердость политических взглядов, постоянные колебания в определении своей жизненной программы, сочетание вольномыслия и критического отношения к современности с известным консерватизмом сказывались на его поэтической деятельности: поэзия Ершова была противоречивой в своей идейной направленности, и эти противоречия проявлялись в ней, уже начиная с первых творческих опытов.

Обратимся к одному из самых ранних стихотворений Ершова — к посланию «Тимковскому» (1835 г.). Оно написано на отъезд друга в Америку, и начальные строки его проникнуты поистине пушкинским оптимизмом и бодростью:

Готово! Ясны небеса;  
В волнах попутный ветер холмится,  
И чутко дремлют паруса,  
И гром над пушкою дымится.  
Бокал! Бокал! Пускай струя  
Сребристых вод донских пред нами  
Горит жемчужными огнями  
И шумно плещет чрез края...<sup>354</sup>

Это стихотворение — идейное кредо молодого Ершова: здесь изложена его программа, которая столь же значительна, сколь и отвлеченна:

Какая цель! Пустыни, степи  
Лучом гражданства озарить,  
Разрушить умственные цепи  
И человека сотворить;  
Раскрыть покров небес полных,  
Богатства выпросить у гор  
И чрез кристаллы вод восточных  
На дно морское кинуть взор.  
Подслушать тайные сказанья  
Лесов дремучих, скал седых  
И вызвать древние преданья  
Из уст курганов пробовых;  
Воздвигнуть падшие народы,  
Гранитную летопись прочесть  
И в славу витязей свободы  
Колосс подоблачный вознесть<sup>355</sup>.

<sup>354</sup> П. П. Ершов. Сочинения, стр. 171.

<sup>355</sup> Там же, стр. 171—172.

Нетрудно увидеть в этих строках прекраснодушные мечтания юноши о преобразовании Сибири с помощью просвещения. Здесь, по существу, не содержится никаких политических идеалов, и слова о стремлении «разрушить умственные цепи», о том, чтобы прославить «витязей свободы», остаются романтической фразой. Но и эта программа утверждается поэтом без большой уверенности в своих силах. Сомнение в себе, опасение, что враждебная среда, «толпа насмешливая» могут помешать осуществлению его планов, выражены в центральной части стихотворения:

Ужель, забыв свое призванье  
И охладив себя вконец,  
Мы в малодушном ожиданье  
Дадим похитить свой венец?<sup>356</sup>

Поэт спешит отбросить это сомнение, он хочет уверить себя и своего друга в том, что у них достанет сил и твердости духа для борьбы. Он призывает его противопоставить

Великим трудностям — терпенье;  
Ошибкам — первые плоды;  
Толпе насмешливой — презренье,  
Врагам — молчанье и труды<sup>357</sup>.

Если бы дальнейшая жизнь Ершова в полной мере подтвердила его решимость, строки сомнения можно было бы воспринимать как выражение мимолетного настроения. Однако на поверку получилось, что у сомнений поэта — глубокие корни и что юношеские планы были ему не по силам, да и препятствия оказались слишком великими.

Лирика Ершова петербургского периода во многом объясняет нам, что произошло с поэтом позднее, в Сибири. В стихах этого времени часто звучат мрачные ноты: Ершов чувствует себя чужим в столичной среде, постоянно страдает из-за недостатка средств, его глубоко потрясает смерть отца и брата. В этих условиях ему все больше начинает казаться, что только с возвращением в родную Сибирь он воспрянет духом и сумеет приступить к настоящему, большому делу. В стихотворении «Молодой орел» он пишет:

Но тоска, тоска-кручина  
Сердце молодца грызет,  
Опостыла мне чужбина,  
Край родной меня зовет<sup>358</sup>.

<sup>356</sup> Там же.

<sup>357</sup> Там же, стр. 172.

<sup>358</sup> «Молодой орел», там же, стр. 174.

Если здесь используются формы народной поэзии (диалог «белой лебеди» с «орлом быстрокрылым», в образе которого и олицетворяется тоска поэта по воле), то в стихотворении «Желание» Ершов пишет уже от своего имени, мечтая о том, чтобы самому стать орлом и «реять в зефире»: «Я бы мчался с грозой и крылья разливом зари позлатил». Это — одно из лучших стихотворений Ершова петербургского периода: талант поэта еще свеж, и мастерство его, пусть неровное, позволяет ему заразить своими настроениями читателя. Здесь звучит и тоска по родным местам, и стремление к свободе вообще. Поэту нестерпимо больно от мысли, что жизнь его проходит впустую:

Чу! Вихорь пронесся по чистому полю!  
Чу! Крикнул орел в громовых облаках!  
О, дайте мне крылья! О, дайте мне волю!  
Мне тошно, мне душно в тяжелых стенах!..  
Ни чувству простора! Ни сердцу свободы!  
Ни вольного лету могучим крылам!  
Все мрачно! Все пусто! И юные годы  
Как цепи влachu я по чуждым полям.  
И утро заблещет, и вечер затлеет,  
Но горесть могилой на сердце лежит.  
А жатва на ниве душевной не зреет,  
И пламень небесный бессветно горит...<sup>359</sup>

Ершов создает ряд стихотворений в народной форме, где господствует тот же мотив — тоска по родине и воле («Песня казачки» из поэмы «Сибирский казак», «Русская песня» и др.). Особенно хочется выделить «Русскую песню» — стихотворение, вполне достойное автора «Конька-горбунка». Не случайно оно стало народной песней, которая бытует до нашего времени среди жителей среднего и нижнего Прииртышья<sup>360</sup>.

Уж не цвeсть цветку в пустыне,  
В клетке пташечке не петь!  
Уж на горькой на полыне  
Сладкой яголке не зреть!..  
Не сходить туману с моря,  
Не сбежать теням с полей,  
Не разбить мне люта горя,  
Не разнесть тоски моей<sup>361</sup>.

Настроение безотрадности и обреченности, характерное для этого стихотворения, видимо, нередко посещало молодого

<sup>359</sup> «Желание», там же, стр. 177.

<sup>360</sup> И. Коровкин. Народные песни в Западной Сибири. «Омский альманах», 1945, кн. 5, стр. 90.

<sup>361</sup> «Русская песня», Сочинения, стр. 176.

Ершова. Во всяком случае, уезжая из столицы, он уже не выражал что-то особой радости при мысли о долгожданном свидании с родной Сибирью и покидал Петербург не без душевной боли («Прощание с Петербургом», 1835 г.)

Для мировоззрения Ершова весьма характерно стихотворение «Семейство роз», которое вступает в противоречие с посланием «Тимковскому»: в нем нетрудно увидеть проповедь умеренности, осторожности, умения держаться поближе к берегу, а не пускаться без руля и без ветрил в открытое море — ведь там и погибнуть недолго:

...Блажен, кто с юных лет  
От тихой пристани очей не отвращает,  
И с теплой верою, средь горестей и бед,  
Все к ней, все к ней стремленье направляет...<sup>362</sup>

Этот определенный консерватизм Ершова, уживавшийся в нем с вольнолюбием и недовольством современности, — лишнее свидетельство тех противоречий, с которыми он приехал из Петербурга в Тобольск и которые здесь, в Сибири, получили дальнейшее развитие.

М. К. Азадовский справедливо говорил о том, что на стихах Ершова сказалось влияние Бенедиктова с присущим последнему гиперболизмом образов, отсутствием в них чувства меры, употреблением романтических штампов: это увлекло Ершова в сторону от передовых течений русской литературы и заглушило в его поэзии пушкинское начало<sup>363</sup>.

В стихах Ершова тобольского периода некоторое время еще сохранялись те энергичные и страстные интонации, которые звучали в его лучших стихотворениях, написанных в Петербурге. Таково «Послание другу», адресованное Тимковскому в Америку. Ершов здесь рассказывает о своей жизни, о страданиях, вызванных смертью брата, о разочаровании в людях. Но уже в этом стихотворении присутствуют те романтические преувеличения и та вычурность, которые навеяны поэзией Бенедиктова: «Я измирал на язвах муки... Я, безнадежный, плакал кровью и раны сердца раздирали...»

Со временем «бенедиктовщина» настолько возобладала в стихах Ершова, что поэту уже трудно было пробиться сквозь словесную мишуру. Так, в одном из стихотворений он пытался передать впечатление, которое производила на него музыка. Он нанизывал один образ на другой, старался подыскать впе-

<sup>362</sup> «Семейство роз», там же, стр. 179.

<sup>363</sup> М. К. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 35—36.

чатляющие и точные слова, но это ему не удавалось: слова оказывались самыми ходовыми, стертыми, не трогающими читательского воображения:

Вдруг по взмаху чародея  
Светлых звуков легкий рой,  
Золотой мотив лелея,  
Хлынул звонкою волной.  
То совьются в ожерелье,  
То раскинутся в лучах,  
То рассыпчатую трелью  
Задрожат на высотах... и т. д. и т. п.<sup>364</sup>

В стихотворении «К музе» (1838 г.) Ершов восторженно писал о том, что он снова после «душевного недуга» обратился к поэзии. И хотя нельзя не сочувствовать поэту, о своем возрождении он говорил словами слабыми и выспренными: «Явилась ты с улыбкою привета и огонь небес мне в грудь влила...» и т. п.

В таком же духе написаны его стихотворения «Праздник сердца», «Шатер природы», «Экспромт», «Моя звезда», «Три взгляда» и т. д. Даже обращение к народным мотивам не спасает поэта: его «Кольцо с бирюзой», написанное как будто бы в стиле народной песни, сентиментально и лишено естественности.

Несколько лучше и искреннее стихотворение «Желание любви»—одно из тех, которые были вызваны любовью Ершова к С. А. Лещевой, его будущей жене. Здесь свое чувство поэт вкладывает в уста девушки, которая грустит о ком-то, чего-то ищет, но не знает, отчего все же так ноет сердце. Это—традиционная «жалоба», с которой девушка обращается к своей няне. В этом стихотворении, написанном просто, бесхитростно, наивно, поэт выходит из-под влияния Бенедиктова.

Не без подражания Пушкину пишет он свой «Зимний вечер»... Метель бушует над страной. «Скучно! Грустно! Что же, други, соберемтесь на досуге укоротить под рассказ зимней скуки долгий час!»<sup>365</sup>

Поэт, видимо, сам был не удовлетворен тем, что писал. Не раз он бросал перо. Правда, он заверял друзей, что настанет в его жизни «воскресительный» день, когда он снова «запоет» (стихотворение «Друзьям»). Однако день этот все не приходил: рождались новые песни, но в них не было поэтической силы.

---

<sup>364</sup> «Музыка», Сочинения, стр. 188.

<sup>365</sup> «Зимний вечер», там же, стр. 205.

Все чаще Ершов испытывал пагубное желание отказаться от слишком больших требований к жизни, от славы поэта, жить скромно, незаметно, наслаждаясь радостями семейного очага («Перемена»). Конечно, это было далеко не всегдашним его настроением: борьба двух начал не прекращалась в нем всю жизнь. Однако с годами ослабевала его творческая энергия, истощенная неравной борьбой с действительностью, он все чаще предавался пессимистическим настроениям, терял веру в себя и в последние годы умолк как поэт.

Эта духовная драма многих лет с наибольшей полнотой выражена в стихотворении «Грусть», в котором романтические стереотипы оттеснены искренним, глубоко выстраданным чувством:

В вечерней тишине, один с моей мечтою  
Сижу, измученный безвестною тоскою.  
Вся жизнь прошедшая, как летопись годов,  
Раскрыта предо мной: и дружба, и любовь,  
И сердцу сладкие о днях воспоминанья  
Мешаются во мне с отравою страданья.  
Желал бы многое из прошлого забыть  
И жизнью новою, другою пережить.  
Но тщетны поздние о прошлом сожаленья:  
Мне их не возвратить, летучие мгновенья!  
Они сокрылись и унесли с собой  
Все, все, чем горек был и сладок мир земной...  
Я, точно как пловец, волной страстей влекомый,  
Из милой родины на берег незнакомый  
Невольно занесен: напрасно я молю  
Возрата сладкого на родину мою,  
Напрасно к небесам о помощи взываю  
И плачу, и молюсь, и руки простираю...  
Повсюду горестный мне слышится ответ:  
«Живи, страдай, терпи — тебе возврата нет!»<sup>365</sup>

Из наиболее удачных стихов позднего Ершова следует выделить те, которые навеяны впечатлениями от сибирской природы и жизни Тобольска: «Моя поездка», «Палы» и др.

Стихотворение «Моя поездка» (1840 г.) на редкость реалистично: здесь Ершов возвращается к пушкинской традиции. Это особенно ощущается в начале стихотворения, где поэт резко осуждает тобольское общество:

Город бедный! Город скушный!  
Проза жизни и души!  
Как томительно, как душно  
В этой мертвенной глуши!

---

<sup>365</sup> «Грусть», там же, стр. 205—206.

Тщетно разум бедный ищет  
Вдохновительных идей;  
Тщетно сердце просит пищи  
У безжалостных людей.  
Изживая без сознания  
Век свой в узах суеты,  
Не поймут они мечтанья,  
Не оценят красоты.  
В них лишь чувственность без чувства,  
Самолюбье без любви,  
И чудесный мир искусства  
Им хоть бредом назови...  
Прочь убийственные цепи!  
Я свободен быть хочу...  
Тройку, тройку мне — и в степи  
Я стрелю полечу!<sup>367</sup>

Иногда и здесь поэт пользуется «близлежащими» сравнениями («И, как птичка, я на воле песню громкую спою»). Но тут же он находит верные и простые определения:

Звучно голос разольется  
По волнам цветных лугов;  
Мне природа отзовется  
Эхом трепетных лесов<sup>368</sup>.

Природа воспринимается поэтом как место отдохновения от людей. Он вырывается из города, как из темницы: «Я свободен!... Я на воле!...» Его восхищает разнообразие и изменчивость пейзажа, он взволнованно слушает пение полевой птицы и спрашивает ее:

«Где, скажи, ценитель твой?»  
Слышу — птичка отвечает:  
«Я пою не для людей,  
Звук свободный вылетает  
Лишь по прихоти моей.  
Мне похвал ничьих не надо:  
Слышат, нет ли — что нужды?  
Сами песни мне награда  
За веселые труды»<sup>369</sup>.

Поэт благославляет «легкокрылую певицу»: пусть век ее краток, она свободна и счастлива.

Ершова восхищает быстрая езда, когда хочется обогнать ветер, оторваться от земли. Но это — не романтическое вос-

---

<sup>367</sup> «Моя поездка», там же, стр. 198. Первая строка — реминисценция из Пушкина.

<sup>368</sup> Там же.

<sup>369</sup> Там же, стр. 200.

певание «птицы-тройки», а очень конкретная зарисовка с натуры:

С русской мощною отвагой  
Беззаботно с вышины  
Низвергаться в глубь оврага  
Всем наклоном крутизны!  
И опять, гремя телегой,  
По зыбучему мосту  
Всею силою разбега  
Вылетать на высоту!<sup>370</sup>

Вообще в этом стихотворении много непосредственных наблюдений поэта, так что оно воспринимается как страничка из дневника:

И всюду над лугами,  
Как воздушные цветки,  
Вьются вольными кругами  
Расписные мотыльки<sup>371</sup>.

Как и Пушкин, Ершов находит поэзию в том, что принято считать «непоэтическим»: природа для него прекрасна во всех своих проявлениях.

Вот поскотина; за нею  
Поле стелется; а там,  
Чуть сквозь тонкий пар синяя,  
Домы мирных поселян.  
Ближе к лесу — чистополье  
Кормовых лугов, и в нем,  
В пестрых группах, на раздолье  
Дремлет стадо легким сном<sup>372</sup>.

Это стихотворение дает основание утверждать, что в Ершове дремали недюжинные силы поэта, и, если бы он верно выбрал направление и форму своих произведений, если бы он продолжал творчески развивать пушкинское начало, его, несомненно, ждал бы успех. К сожалению, утратив свой звонкий юношеский голос, поэт не обрел подлинной творческой зрелости и не угадал своего истинного назначения.

Наше представление о Ершове было бы неполным, если бы мы не сказали о нем как об авторе эпиграмм. Большинство из них не отличается сколько-нибудь заметными достоинствами: поэт вышучивает «поклонников латыни», «любитель-

---

<sup>370</sup> Там же, стр. 201.

<sup>371</sup> Там же, стр. 202

<sup>372</sup> Там же.

ниц военных», лицемерную «филантропку», иногда адресует свои эпиграммы конкретным лицам — художнику М. Знаменскому, купцу Плеханову, тобольскому губернатору А. И. Деспоту-Зеновичу. Последняя эпиграмма свидетельствует об определенном мужестве автора:

Тебя я умным признавал,  
Ясновельможная особа,  
А ты с глупцом меня сравнял...  
Быть может, мы ошиблись оба?<sup>373</sup>

На наш взгляд, для данного жанра Ершову не хватало сатирической остроты. Тем не менее эта сторона деятельности Ершова не прошла бесследно для русской литературы.

Поэт познакомился с одним из создателей образа Козьмы Пруткова, В. М. Жемчужниковым, прибывшим в Тобольск вместе с губернатором Арцимовичем. Ершов, как мы уже говорили, позволил Жемчужникову использовать стихотворную сцену «Черепослов, сиречь френолог», написанную им вместе с поэтом-декабристом Н. А. Чижовым; он познакомил Жемчужникова со своими эпиграммами, и одна из них, посвященная местному архитектору, послужила основой для эпиграммы Жемчужникова «Раз архитектор с птичницей спознался», которая была включена в «Сочинения Козьмы Пруткова».

В 1850 г., когда Ершов уже почти не писал стихов, кроме альбомных и отдельных набросков, складываемых в ящик письменного стола, он обратился к прозе, создав цикл рассказов «Осенние вечера». Это произведение, можно сказать, давно вызревало в сознании Ершова — недаром он написал его быстро, всего за две недели. Еще в юности он хотел написать русскую эпопею, в которой намеревался объединить сюжеты многих сказок. Однако этот замысел осуществить ему не удалось, и тогда у него возникло намерение написать сибирский роман. И как подготовительный этап к нему Ершов рассматривал цикл рассказов: «...на мелких рассказах я приучу перо свое слушаться мысли и чувства»<sup>374</sup>.

Свои опыты в прозе он прочитал в кружке тобольских декабристов и, получив их одобрение, отправил рассказы Плетневу. Тот сдержанно похвалил рассказы, посоветовав Ершову написать «что-нибудь особенное, но более аналитическое, чем, преимущественно, теперь все восхищаются»<sup>375</sup>.

<sup>373</sup> «А. И. Деспоту-Зеновичу», там же, стр. 212.

<sup>374</sup> А. Ярославцев. Указ. соч., стр. 21.

<sup>375</sup> Письмо Плетнева от 8 марта 1851 г.

Ершов в своем ответе не согласился с этим пожеланием: «Я не враг анализа, но не люблю анатомии... Для меня одна глава «Капитанской дочки» дороже всех новейших повестей так называемой натуральной, или лучше школы мелочей»<sup>376</sup>.

«Ершов, — замечает по этому поводу В. Утков, — так долго проживший вдали от литературной жизни и отставший от передовой литературы того времени, не мог быть последователем новой школы и не понимал ее прогрессивного значения. И все же вопреки этому, в отдельных своих рассказах и высказываниях о прозе он ближе к новому направлению в русской литературе, чем он сам считает. Он тоже за реализм художественного изображения, за правдивость и ясность мысли.

Чутье художника не обманывает Ершова, у него верный маяк — проза Пушкина»<sup>377</sup>.

«Осенние вечера» выходят в свет в 1857 г. в «Живописном сборнике» А. Плюшара. Согласно воле автора, имя его скрыто: рассказы подписаны инициалами П. Е.

Этот цикл состоит из семи рассказов, объединенных предисловием, где говорится о том, как у отставного полковника Безруковского собираются его приятели и коротают вечер, рассказывая друг другу занятные истории. Автор дает краткие портретно-психологические зарисовки собеседников. Нельзя сказать, чтобы эти характеристики дали нам возможность отчетливо представить себе всех этих людей; почти ничего не добавляют к их характерам и прозвища, которыми они награждают друг друга, — Академик, Лесняк, Немец, Татарин. Пожалуй, только «питомец Руси и Татарии» Таз-баши наделен яркой индивидуальностью: он отличается грубоватым остроумием, пылкостью нрава и полным отсутствием светскости. Остальные образы, в общем-то, едва намечены. У Безруковского, несмотря на его 50 лет, «полное румяное лицо, бодряя осанка и пламенные глаза, нередко бросающие искры одушевления, — все это придавало ему такую свежесть, которой позавидовал бы не один юноша нашего бледного века»<sup>378</sup>. Академик флегматичен, солиден, рассудителен; Лесняк — человек, привыкший жить вдали от города, на лоне природы; Немец отличается язвительностью, умением подмечать слабые стороны людей, но при этом он благороден и строг. Вот и все, пожалуй.

<sup>376</sup> Письмо Ершова, написанное в июне 1851 г.

<sup>377</sup> В. Утков в. Указ. соч., стр. 17.

<sup>378</sup> «Осенние вечера». В кн. П. П. Ершов. Сочинения, стр. 219.

Если добавить, что собравшиеся многословно обсуждают проблему проведения скучного вечера, то придется сказать, что предисловие — наименее удачная часть «Осенних вечеров». Здесь Ершов пытается написать нечто подобное современной ему «аналитической» прозе, но оказывается беспомощным. Зато некоторые из рассказов удались ему в полной мере и существенно дополнили характеры и образ мысли самих рассказчиков.

Так, полковник Безруковский гораздо понятнее и интереснее для нас как личность в своем рассказе «Страшный лес», нежели там, где автор расточает ему похвалы от своего имени («философ в жизни и поэт в мечтах» и т. п.). Мы легко представляем себе этого энергичного офицера, который мчитесь день и ночь на перекладных, чтобы помочь своему брату в его семейных делах, — мчитесь, подгоняя ямщиков то кошельком, то нагайкой. Чтобы сократить путь, он готов проехать через «страшный лес», о котором ходят самые зловещие слухи: говорят, что в этом лесу появляется какой-то барин — не то колдун, не то сама нечистая сила — роет могилы да варит кости умерших. Безруковский устремляется навстречу испытанию еще и потому, что такой уж у него характер: то ли скупка подстрекнула, то ли казачья удаль. И когда на его повозку в этом лесу обрушилась буря и сам он шел по колено в грязи, его не пугали мрачные предзнаменования: он только досадовал на неожиданную задержку в пути. Здесь перед нами вполне определенный характер. Он становится для нас тем более привлекательным, что Безруковский оказывается не только мужественным человеком, но и способным чутко отнестись к чужому горю, искренне сочувствующим страданиям таинственного незнакомца, живущего в уединенной усадьбе.

Великолепно раскрывается характер Таз-баши в юмористическом «Рассказе о том, каким образом дедушка мой, бывший у царя Кучума первым муфтием, пожалован в такой знатный чин». Рассказчик восторженно говорит о своем дедушке, который с детских лет вбил себе в голову, что он должен стать муфтием Кучума, и неукоснительно шел к этой цели. Но восторг этот пронизан иронией: называя дедушку «гением», Таз-баша в то же время откровенно смеется над ним, особенно рассказывая центральный эпизод «посвящения» в муфтии. Дедушка проникает в опочивальню Кучума. Спунув с колен царя черноглазую Сузге, он успокаивает разгневанного повелителя возвышенно поэтическим обращением: ведь «царь Кучум был поэт». Вслед за тем дедушка заявляет о своем желании быть муфтием и награждается пинками пониже спи-

ны, причем Кучум приговаривает: «Вот тебе казначей! Вот тебе кравчий! Вот тебе постельничий!» «Разумеется, что при таком необыкновенном производстве каждый новый чин невольно приближал дедушку к дверям с необыкновенной быстротой, так что чин постельного достался ему уже в прихожей».<sup>379</sup> Но дедушка не растерялся и вернулся в опочивальню, сказав изумленному царю:

«— Раб твой не найдет слов для выражения благодарности. Но, хан ханов! Доверши свои милости и произведи уж меня в чин муфтия.

Сказав эти слова, дедушка мой принял положение, самое удобное для производства в такой знатный чин, и стоял в ожидании.

Царь Кучум не долго медлил своим решением...

На другой день, ко всеобщему изумлению двора, дедушка мой сидел на стуле первого муфтия, хотя на первый раз и не очень спокойно, по некоторым обстоятельствам».<sup>380</sup>

Небезынтересен и рассказ «Об Иване-трапезнике и о том, кто третью булку съел», хотя облик рассказчика в нем угадывается гораздо слабее, чем в предыдущих. Основанный на народных сказаниях и легендах, рассказ этот увлекателен по сюжету, содержит немало колоритных жизненных сцен. Характер главного героя, Ивана, вороватого, упрямого, упорствующего во лжи, но не лишнего добродушия, вполне удался автору. Есть в рассказе и определенная нравственная идея. Однако было бы бесполезно искать здесь достоверную картину древней Руси, что, кстати сказать, признает и сам автор («...господин Немец, откуда в древнюю Русь забрело столько князей, сколько у тебя их в сказке?» — спрашивает рассказчика один из собеседников). Рассказ, скорее, выглядит как притча, и события, происходящие в нем, могли с таким же успехом иметь место в средневековой Европе, как и в Древней Руси.

Здесь, пожалуй, важнее всего отметить мастерское построение сюжета, — достоинство, которое, как уже сказано выше, отличает лучшие произведения Ершова. Это же мастерство проявляется и в рассказе «Страшный лес», где читатель держится в постоянном напряжении и только постепенно уясняет для себя суть происходящих событий. Конечно, сюжет здесь не лишен романтического элемента: случайное убийство любимой жены на охоте, ежегодные ночные «свидания» с ней

<sup>379</sup> Там же, стр. 254.

<sup>380</sup> Там же.

на могиле, сам образ невольного убийцы — все это написано с романтическим оттенком. Но время, прошедшее после 30-х годов, не могло не сказаться на Ершове: в его рассказе много жизненной конкретности, простоты, нет никаких преувеличений или нарочитой эффектности. Автор следует здесь тому правилу, которое он сам изложил в предисловии устами Академика: «По моему мнению, единственное условие изложения ...есть и должно быть — отсутствие всякой изысканности. Пусть каждый из нас говорит без претензии, как знает, как думает...»<sup>381</sup>.

Писателю удаются в рассказах и характеры героев, он точен в передаче крестьянской речи. Очень ценно, что в «Осенних вечерах» нашла отражение древняя Сибирь, почти не затронутая русской литературой, а также Сибирь современная, в частности Тобольск (рассказы «Дедушкин колпак» и «Панин бугор»). К сожалению, «Панин бугор» малоудачен, как и «Чудный храм». Но «Повесть о том, каким образом мой дедушка, бывший при царе Кучуме первым министром, вкусил романа» достойно завершает весь цикл.

И в заключение: рассказы Ершова проникнуты той неподдельной человечностью, которая характеризует и его поэзию. В них возрождается фольклорная стихия и народный юмор, исчезнувшие в творчестве Ершова со времен «Конька-горбунка». К сожалению, это было последнее крупное произведение Ершова. Позднее он не создал ничего сколько-нибудь значительного.



---

<sup>381</sup> Там же, стр. 226.



## ГЛАВА IV

### 40—50-е ГОДЫ. ОТ РОМАНТИЗМА К РЕАЛИЗМУ



ороковые годы XIX в.— время дальнейшего обострения противоречий крепостнической России. По всей стране прокатывается волна крестьянских волнений. Острое недовольство политикой царского самодержавия нарастает в передовых кругах русского общества. В ряды участников освободительного движения приходят теперь не только дворянские революционеры, но и представители разночинной интеллигенции. Рядом с Герценом и Огаревым становятся Белинский и Буташевич-Петрашевский. Интеллигенция проявляет большой интерес к политическим и философским проблемам, приобщается к идеям материализма и утопического социализма.

Революция 1848 г. во Франции вызывает брожение во всей Европе и находит широкий отзвук в России. Царизм принимает все меры для подавления малейших признаков революционности в стране, и в 1849 г. жестоко расправляется с петрашевцами. Только смерть спасает Белинского от той же участи.

Но никакие репрессии, разумеется, не могут остановить поступательного развития общества, не могут задержать движения вперед духовной жизни нации. Тем более, что царизм

сам многократно дискредитирует себя. Позорная Крымская война знаменует полное банкротство русского самодержавия, и после 1856 г. начинается новый исторический этап в развитии страны и ее культуры.

Народное возмущение зреет и в Сибири. Оно проявляется в выступлениях крестьян приуральских и западносибирских областей, а также в стихийных восстаниях якутов, ненцев, хакасов. Оппозиционные настроения характеризуют деятельность кружков местной интеллигенции в Кяхте, Нерчинске, Иркутске. Эти настроения отражаются в рукописных сатирических журналах и газетах, в которых принимают участие и ссыльные декабристы. Тесные связи с декабристами, а затем и с петрашевцами поддерживают лучшие представители сибирской интеллигенции и купечества.

В городах Сибири довольно широко распространяются периодические журналы этих лет — «Отечественные записки» и «Современник».

Общественное недовольство находит выражение в создании нелегальных рукописных произведений — памфлетов, листовок, писем, стихов и т. д. Образчиком такой рукописной литературы является памфлет неизвестного автора «Скрежет зубовой, слышимый в Западной Сибири»<sup>1</sup>.

Судя по всему, автором памфлета был человек образованный, хорошо владевший слогом, близкий по своим взглядам декабристам. В смелости его суждений о порочных законах, о гнете чиновников и бедствиях народных проявилось воздействие напряженной общественной обстановки тех лет. Ополчаясь против самодержавия, автор памфлета, однако, не призывал к свержению властей, ограничиваясь «скрежетом зубовым»<sup>2</sup>.

Рукописная литература была представлена и произведениями поэта-самоучки, принадлежавшего к «низшему» классу, — Василия Сурикова. Енисейский казак по происхождению, занимавший должность мелкого чиновника, он писал довольно острые обличительные стихи. Правда, его творческая деятельность по-настоящему развернулась позднее, в 50—60-е годы, но все же, думается, истоки творчества Сурикова — в

---

<sup>1</sup> Памфлет был обнаружен Н. А. Лапиным в фонде А. Сулоцкого, тобольского священника, близкого декабристам, автора статей по истории и этнографии Сибири. Содержание памфлета Лапин изложил в статье «Подпольная рукописная литература Западной Сибири в 30—40 годах XIX в.».

<sup>2</sup> ГАТОТ (Государственный архив Тюменской области в Тобольске), ф. 144, оп. 1, д. 56.

этом периоде, в обстановке широкого народного недовольства<sup>3</sup>.

Социальные противоречия времени нашли отражение также в стихах и поэмах М. Александрова, писавшего под непосредственным влиянием А. Бестужева-Марлинского.

И все же литература Сибири 40-х годов значительно отставала от общерусской, для которой это десятилетие было временем окончательного торжества критического реализма над романтизмом. Русская литература с гораздо большей активностью, чем прежде, вторгалась в общественную жизнь и сама становилась фактором идеологической борьбы. Именно в эти годы развивается журналистика, позволяющая широко обсуждать самые острые вопросы современности. Законодателем вкусов, идейным руководителем передовой литературы становится В. Г. Белинский.

Все эти процессы не могут не отразиться на духовной жизни Сибири, однако здесь нет достаточно подготовленной почвы для скорого освобождения от устаревших литературных канонов. В Сибири не оказывается крупных талантов, могущих достойно поддержать и развить то, что было начато Лермонтовым и Гоголем. Поэтому процесс перехода от романтизма к реализму здесь затягивается на целое десятилетие и завершается только в 50-х годах.

Причины этого отставания кроются прежде всего в самом характере сибирской действительности. В условиях сурового, отдаленного края гнет николаевской поры приобретает особо уродливые формы. Для царского правительства Сибирь оставалась по-прежнему колонией со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сибирская буржуазия, охваченная «золотой лихорадкой», в массе своей утратила те духовные, общественные интересы, которые были присущи лучшим представителям ее в годы борьбы с царской администрацией и в первые десятилетия после смещения Пестеля и Трескина.

Отсутствие местной издательской деятельности, неразвитость критики и журналистики, одиночество талантов, затерянных в глуши, подавляли самые лучшие творческие стремления. Именно этим объясняется трагическая судьба поэта Евгения Милькеева. Некоторые из писателей, покинув Сибирь, постепенно отходили от ее повседневных нужд и забот. Среди этих литераторов была и талантливая бытописательница

<sup>3</sup> О творчестве В. Сурикова см. статью П. М. Головачева «К истории 60-х годов в Сибири» («Восточное обозрение», 1893, № 38—39), а также вступительную статью Б. Жеребцова в книге «Старая сибирская сатирическая поэзия» (Новосибирск, 1938, стр. 12—13).

Е. А. Авдеева-Полевая, позднее творчество которой питалось в основном воспоминаниями. В своих «Записках о старом и новом быте» (СПб., 1842), где были собраны статьи о Курске, Одессе, Иркутске, Дерпте и других городах, она в основном повторила то, что было сказано ею о Сибири раньше<sup>4</sup>.

Склонная и прежде к идеализации старого быта, писательница в своих «Воспоминаниях об Иркутске»<sup>5</sup> изображает жизнь этого города только в светлых тонах. По ее мнению, в Иркутске и образованность выше, чем в других городах: «нигде не видала я такой общей страсти читать»<sup>6</sup>. Этому способствовал «самый образ тамошних дел и промышленности». «Оттого являлись в Иркутске, между торговым сословием, люди необыкновенные и множество лиц достопамятных и оригинальных»<sup>7</sup>. Авдеева называет среди таковых Г. И. Шелехова, А. А. Бараanova, собственного отца. Высоко оценивает она деятельность генерал-губернатора Якоби и губернатора Ламба. «Достопримечательнейшими генерал-губернаторами в Иркутске» она называет Леццано, Селифонтова и, конечно, Сперанского. Получается, что и царские администраторы, приезжая в Сибирь, преобразались в бескорыстных радателей за общественное благо, либо само Провидение отбирало для Иркутска одних достойных! Конечно, Трескин в воспоминаниях Авдеевой не был даже упомянут.

Наиболее ценной частью «Воспоминаний об Иркутске» следует считать то, что относится к языку и фольклору иркутян. Надо отдать должное изумительной памяти писательницы — памяти, которая, по словам Николая Полевого, «сделалась, наконец, живую энциклопедию, обширную библиотеку»<sup>8</sup>.

Авдеева приводит слова и изречения, которые ей приходилось слышать в Иркутске от старых людей. Вместо «прекрасный день» здесь говорили: «красный день», «Красная жизнь», «красные дети» (когда было двое детей, сын и дочь), хорошее лето — «красное лето». Если кто провел жизнь свою счастливо, про того говорили: «жил красовался» или «жили

---

<sup>4</sup> Белинский отметил эту книгу «как довольно добродушные рассказы умной и начитанной женщины». (В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 260).

<sup>5</sup> К. Авдеева. Воспоминания об Иркутске. «Отечественные записки», 1848, т. 59, № 8, стр. 125—138.

<sup>6</sup> Там же, стр. 125.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Н. Полевой. Предупреждение к кн. К. А. Авдеевой «Записки о старом и новом быте». СПб., 1842, стр. III.

золото весили». Золото тоже называли красным. Хваля, говорили: «как наливное яблочко, как дыня, как мытая репочка, как маков цвет, как лебедь белый...»

«Многие из старых людей, — пишет Авдеева, — были мастера прибавлять ко всякой речи какую-нибудь поговорку или прибаутку, и здесь-то, мне кажется, надобно искать настоящей игривости русского ума... О хозяине и хозяйке: «Хозяин в дому, как медведь в бору, а хозяйюшка в дому, как оладья в меду...» Обращаясь к подчиненным в доме девицам, старик непременно прибавлял: «Ох вы, красные девицы, пирожные мастерицы, горшечные пагубницы!»<sup>9</sup>

В воспоминаниях приведены различные предания (например, о царь-девице), сказки (в том числе услышанные от известного баюна, ночного сторожа в доме Полевых Терентьяча), рассказы о местных оригиналах. Считая, что «занимательность и прелесть русских сказок зависела больше от искусства рассказчиков, нежели от самого содержания их», писательница стремится зафиксировать различные прибаутки, присказки и пр. Вот начало одной из них: «Поместье у меня большое, заведение знатное: деревня на семи кирпичах построена, рогатого скота петух да курица, а медной посуды крест да пуговица...»<sup>10</sup>

При всей важности этого материала «Воспоминания об Иркутске» лишены, как бы мы сказали сейчас, свежей информации. Авдеева еще раз обратилась к услугам своей памяти, но нити, связывающие ее с Сибирью, были уже порваны, и после 1848 г. (в этом году она опубликовала еще рассказ о Сибири—«Страшная гроза»<sup>11</sup>) писательница больше не обращалась к сибирской тематике.

В условиях николаевской реакции увядали дарования многих писателей — и тех, кто жил в Сибири, и тех, кто переселился в Европейскую Россию. Судьба Ершова не составляла в этом отношении исключения. Некоторые литераторы претерпевали эволюцию «вправо», примиряясь с существующей действительностью (Н. Щукин, Н. Бобылев, И. Калашников и др.). Даже Николай Полевой под давлением реакционных кругов постепенно изменил своим убеждениям. После закрытия журнала «Московский телеграф», гонимый нуждой, преследуемый многочисленными противниками, он начал приспосабливаться к официальной политике, скатился на позиции

<sup>9</sup> К. Авдеева. Воспоминание об Иркутске, стр. 132.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> К. Авдеева. Страшная гроза. Сибирский рассказ. «Отечественные записки», 1848, № 5.

реакционной «Северной пчелы» и создавал на сибирском материале произведения, пронизанные духом монархизма (драмы «Параша Сибирячка» и «Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь»).

В драме «Параша Сибирячка» (1840 г.) меньше всего чувствуется подлинно сибирский колорит: автор уже забыл особенности природы и жизни родного для него края и писал о Сибири так же, как и те, кто никогда в ней не бывал. Это — театрализованная, «оперная» Сибирь. В самом начале пьесы появляется несколько тунгусов с рогатинами и дубьем. Вместе с главным героем пьесы, ссыльным, выступающим под именем Неизвестного, они идут охотиться на медведя. Но это — условные фигуры. От русского их отличает только то, что они повторяют слово «бачка»: «Только смотри не сбей, бачка!.. Видишь: миша уж такой... О, такой большой тоён — мы уж того — знаешь... поставили бурхану большую подачку»<sup>12</sup>. Вот и все, что относится в пьесе к сибирской специфике.

Да, в общем-то, автор и не заботился об этом: он использовал сюжет повести французского писателя Ксавье де Местра «Молодая сибирячка», чтобы восславить русского царя. Героиня пьесы, Параша, дочь ссыльного, решает отправиться к царю и вымолить прощение отцу, ставшему жертвой собственных страстей. «Ах! Зачем я не птичка божья, не ласточка,— восклицает она,— я перелетела бы туда, туда, где трон царя милосердного — я села бы подле него, у ног его, прощевала бы ему: «Государь добрый! Когда все радуются, есть один страдалец в царстве твоём! Дочь просит тебя за отца! Я перелетела из Сибири далекой. Государь! Прости отца моего! (Падает на колени). Прости, и вся жизнь моя на молитву за тебя!..»<sup>13</sup>. Параша пешком идет в Москву. Увидев царя на Кремлевской площади, она подает ему просьбу о своем отце, и царь прощает несчастного.

Прославление царя неотделимо в пьесе от религиозного пафоса. Один из героев пьесы, узнав, что Параша ушла в Кремль, восклицает: «Она, верно, хочет увидеть государя; но она не знает, что нельзя, невозможно... Но нет, нет! У нас возможно! (С радостным восторгом.) Милосердию бога нет границ — нет их и милосердию русского царя! В храм божий все-

---

<sup>12</sup> Н. Полевой. Параша Сибирячка. (Русская быль в двух действиях с эпилогом). «Репертуар русского театра». Вырезки из т. 1—2 за 1840 г., стр. 3.

<sup>13</sup> Там же, стр. 11.

гда отверзты двери — и к царю всюду доступ его детям!»<sup>14</sup>

Но справедливость требует сказать, что пьеса не лишена некоторых достоинств. Прежде всего немаловажно, что автором затронута тема сибирской ссылки. Далее, хотя и слабо, но в пьесе звучат некоторые социальные мотивы. Автор показывает равнодушие представителей светского общества к появившемуся среди них после многолетнего плена старику-офицеру, этому новоявленному «полковнику Шаберу», которому они многим были обязаны. Писатель создает сатирический образ чиновника Писулькина — неглупого, продувного, любящего выпить, да и взятку взять. Наконец, как считает один из рецензентов, основная мысль пьесы — «торжество дочерней любви» — «не может не найти отклика во всякой человеческой душе»<sup>15</sup>. Однако ложная основа, на которой построено это произведение, порождает общую идейно-художественную слабость его и неубедительность основных образов — Параша и Неизвестного. Потребовалось мастерство и личное обаяние таких актеров, как Асенкова и Каратыгин, чтобы, играя пьесу на сцене Александринского театра, вдохнуть жизнь в эти бескровные и откровенно назидательные роли<sup>16</sup>.

Далек Полевой от сколько-нибудь достоверного изображения Сибири и в своей исторической драме «Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь» (1845 г.). Общими фразами, приблизительными определениями характеризует он эту «страну», когда заставляет говорить о ней своего героя, — монолог Ермака звучит чуть ли не как возвращение к тирадам о Сибири Ломоносова или Державина:

Страна раскрылась — ей конца не видно —  
С полуночи вся льдом обложена,  
С востока бурными волнами моря,  
От запада горами до небес,  
От юга знойными, сыпучими песками,  
И в той земле кипят народу тмы...<sup>17</sup>

Сцена в сибирском лесу, где шаманы пляшут вокруг идола и бьют в бубны с унылыми криками, где Махмет-Кул сражается с Ермаком, откровенно декоративна, здесь нет никаких конкретных примет сибирской действительности. Эта сцена нужна автору, по-видимому, только для того, чтобы шаман

<sup>14</sup> Там же, стр. 19.

<sup>15</sup> В. Б. Александринский театр. «Параша Сибирячка». «Литературная газета», № 10, 3 февраля, 1840, стб. 230

<sup>16</sup> Там же, стб. 230—231.

<sup>17</sup> Н. Полевой. Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь. (Драматическое представление в 5 действиях). СПб., 1845, стр. 41.

от имени царя Кучума предложил Ермаку полцарства и дочь в супруги и чтобы Ермак отказался от этого дара, сказав, что он не сменяет трон «за название простого казака, слуги, раба царя Российского».

Верноподданничество и религиозность — пожалуй, самые характерные черты Ермака в трактовке Полевого. Уже в начале пьесы атамана грызет совесть — «как змея сосет у сердца»: он не хочет быть разбойником, он стал им из-за людского неправосудия, связал себя клятвой с другими, и теперь им всем «возврата нет». «Ты понял ли весь ужас слова: «Возврата нет?» — говорит он своему сагайдашному Андрею. И добавляет: «О, если бы я мог бежать в какую строгую обитель и схимником дожить мой век в молитве...»<sup>18</sup>. Поэтому, как только стало известно, что царь их простил и повелел им идти покорять Сибирь, Ермак возрадовался и поклялся пожертвовать всем ради того, чтобы подарить царя сибирским царством. И даже тогда, когда уже в Сибири приходит известие о том, что царь сменил милость на гнев, поверив клевете, Ермак готов подчиниться царской воле.

Эта монархическая тенденция настолько навязчива в пьесе, что вместо объективной картины жизни мы видим рассудочно построенную схему, сдобренную пышными словесами о любви к царю, к богу, к «Руси святой» и чуть-чуть прикрытую драматической интригой (козни есаула Мещеряка, полного необъяснимой ненависти к Ермаку, а также любовная линия Марии и Андрея).

Последним отзвуком сибирской тематики в творчестве Н. Полевого были опубликованные им «Анекдоты сибирской храбрости»<sup>19</sup>. Здесь приводилось несколько случаев, когда человек вступал в схватку с медведем один на один и побеждал его. Но эти истории уже выходили за пределы художественной литературы.

Сибирь стала для Полевого далеким прошлым, и если он и пытался возродить это прошлое, то освещал его с позиций реакционных, исключавших возможность правдивого изображения жизни.

Не понял и не принял новых течений общественной мысли 40-х годов и И. Т. Калашников. Он попытался было вмешаться в философскую борьбу и выступил с позиции консервативных. Будучи человеком религиозным, он в своем новом романе «Автомат» (1841 г.) отставал идеалистические взгляды и

<sup>18</sup> Там же, стр. 30.

<sup>19</sup> «Отечественные записки», 1822, ч. 9, № 22, стр. 282—286.

отрицал материалистическое мировоззрение<sup>20</sup>. Иден материализма он истолковывал неверно, вульгарно, а порой и примитивно. Так, изображая петербургских чиновников, Калашников с иронией говорил о них, что это «были люди девятнадцатого века»: они гордились высокими идеями, европейскими взглядами на вещи, высшим образованием и при всем при том не умели правильно связать фразу, были чужды постоянному труду, редко приходили на службу, являлись балластом канцелярии. Нечего говорить, что между этими людьми с их самомнением и вульгарно-материалистическим подходом к жизни и подлинными выразителями материалистических идей не было ничего общего. Калашников не делал различия между модным и новым и искал опоры в людях типа главного героя Евгения Судьбина, воплощавшего в себе лучшие черты «доброе старого времени».

Евгений — выходец из Сибири, уроженец Иркутска, образ отчасти автобиографический. Автор наделяет его трудолюбием, упорством, скромностью, которые сочетаются в нем с чувством собственного достоинства и личной порядочностью. Евгений чужд всякого рода философских и политических новшеств: воспитанник строгого и благородного наставника Нейвина (в образе которого нашли отражение черты П. А. Словоцова), он сохраняет верность заветам своего учителя и делает свое дело, не гоняясь за «высокими материями». И так же, как Нейвин, он многим жертвует во имя сохранения своего достоинства: жизнь его — непрекращающиеся лишения и страдания.

В своем отрицании «столичного обывателя» Калашников готов со всяческим сочувствием отнестись к провинциальному чиновничеству — пусть робкому, подобострастному, нелепому, похожему «на те оригиналы, какие обрисованы в прелестном фарсе Гоголя», но тем не менее доброму, человеческому, заслуживающему скорее жалости, чем иронии.

Отец Евгения был как раз одним из этих провинциальных чиновников, «из тех презабавных оригиналов, которые теперь столь превосходно осмеяны. С начальниками: да-с, да нет-с; поклоны по Табели о рангах; сохрани бог — вздернуть нос перед старшими! Только и ума — ходить да выходить из канцелярии; исполнять в точности свою обязанность; почитать приказания начальников, как десять Моисеевых заповедей! Словом, ходячая выписка из законов; воплощенный Генеральный

<sup>20</sup> А. А. Богданова. Сибирский романист И. Т. Калашников. «Уч. зап. Новосибирского гос. пед. ин-та», вып. 7, 1948, стр. 115.

Регламент»<sup>21</sup>. Но в то же время Калашников характеризует его как человека безукоризненно честного. «Если бы история, — говорит писатель, — отмечала на своих листах скорее подвиги скромной добродетели, чем шумной славы, то сколько прекрасных поступков самоотвержения мы увидели бы в осмеянном чиновничьем мире!»<sup>22</sup>

Роман «Автомат» значительно уступает по своим достоинствам предыдущим произведениям Калашникова. Прежде всего минуло почти десятилетие со времени их создания, за которое совершенно преобразилась русская литература: романтизм отжил свое, и даже популярнейший Бестужев-Марлинский утратил любовь читающей публики. Между тем над Калашниковым довели не только старые представления о мире, но и отслужившие свое литературные каноны. Один-два примера. Чтобы герой романа, например, познакомился с прекрасной девушкой, надо было, чтобы лошади понесли и опрокинули кибитку, в которой она ехала, и чтобы он, Евгений, нес на руках «волшебную ношу». Для того, чтобы отношения молодых людей получили какое-то движение, автору потребовался пожар в доме Наденьки. А каким старомодным и наивным преувеличением выглядит попытка автора передать психологическое состояние героя: «Выйдя ни живой, ни мертвый из церкви, поруганный любовник сначала кинулся бегом, ему казалось, что колоколья за ним гнались вслед, что колокола хохотали над его позором, что дома кривились злою усмешкою»<sup>23</sup>.

Конечно, в романе есть и некоторые достоинства. Это — единственный роман в русской литературе, в котором рисуются события 1812 г. в Сибири<sup>24</sup>. Герой его участвует в Бородинском сражении. Будучи ранен, он остается в Москве, попадает в плен и только благодаря случайности спасается от расстрела. В описании жизни Евгения сначала в Иркутске, затем в Петербурге есть правдивые страницы, чувствуется отражение личного опыта писателя, причем автор не гнушается показом наиболее будничных сторон жизни — в этом нельзя не видеть влияния критического реализма. Кое-что новое писатель добавляет и к изображению Сибири: он рассказывает о временах Трескина, об одной «из тех чернильных Пунических войн, которыми наполнены летописи присутствен-

<sup>21</sup> И. Т. Калашников. Автомат. СПб., 1841, стр. 2—3.

<sup>22</sup> Там же, стр. 3—4.

<sup>23</sup> Там же, стр. 25.

<sup>24</sup> А. А. Богданова. Сибирский романист И. Т. Калашников, стр. 115.

ных мест в отдаленных провинциях. Воевали две сильные соседственные державы: Казенная палата и Губернское правление. Островом Сицилия был питейный откуп»<sup>25</sup>. Война эта велась не только на бумаге: жертвами ее становились живые люди, в том числе и отец Евгения. В соответствии с действительностью изображалась Калашниковым и иркутская гимназия, которая, как это известно из его мемуаров<sup>26</sup>, до прихода в нее Словцова находилась в состоянии полного развала, так как директор Миллер ничего не делал и пил горькую.

Роман был встречен критикой отрицательно. Рецензент «Литературной газеты» не видел в романе никаких достоинств — даже там, где они были. Он писал: «Ах, мой Бог, как пошло чувствительно! Евгений женился на Ольге. Богатый тесть его разорился. У Евгения двое детей и ни полена дров; дети в scarлатине, а у отца нет копейки в кармане. Притом начальник его обижает, выгоняет из службы за то, что Евгений славно работает в своем департаменте, а на его место определяет другого, который ничего не смыслит и ничего не делает. Какие, право, злые эти начальники в Петербурге. Неужели они все там такие?...»<sup>27</sup>

Несколько сдержаннее, но без признания некоторых заслуг автора, отозвался «Современник»: «Роман, по-видимому, сочинен для доказательства истины некоторых мнений автора, и потому не достаёт в нем истины жизни. Поболее простоты в действиях, поменьше украшений в выражениях — и сочинение могло бы достигнуть даже предположенной автором цели»<sup>28</sup>.

О консерватизме писателя свидетельствовало отчасти и его последнее крупное произведение — «Записки Иркутского жителя» (1862 г.). Калашников преувеличивал здесь «благоденствия», оказанные Сибири Сперанским, идеализировал царя Александра I и удивлялся, что «в то время, как Россия наслаждалась самым кротким и благородным правлением, каково было царствование Александра I-го, одна Сибирь носила на себе иго времен Ивана Грозного»<sup>29</sup>.

Впрочем, при описании сибирской действительности Калашников не скрывал ее теневых сторон. В нем все же не

<sup>25</sup> И. Т. Калашников. Автомат, стр. 5.

<sup>26</sup> И. Т. Калашников. Записки иркутского жителя. «Русская старина», 1905, кн. 8, стр. 393—398.

<sup>27</sup> «Литературная газета», № 1, 1942 г., стр. 14.

<sup>28</sup> «Современник», 1842, т. 26, стр. 49.

<sup>29</sup> И. Т. Калашников. Записки иркутского жителя. «Русская старина», 1905, кн. 7, стр. 232.

угас художник-правдолюбец, и в его книге не было такой идеализации старины, как, например, у К. Авдеевой-Полевой, Стремясь сохранить «беспристрастность» при изображении злоупотреблений сибирских властей, писатель все-таки не мог удержаться от возмущения. «Что делать? — восклицал он. — Давно сказано, что история злопамятнее людей»<sup>30</sup>.

Несмотря на отставание литературной жизни Сибири 40-х годов от передовых течений общерусской литературы, следует отметить отдельные достижения местных писателей.

Общая реалистическая направленность русской литературы 40-х годов не могла не сказаться на характере краеведческих произведений, принадлежавших перу таких литераторов-сибиряков, как М. Зензинов, А. Мордвинов, В. Паршин и др. Их работы принадлежат к жанру очерковой прозы: они написаны по свежим впечатлениям и отражают вместе с тем широкую осведомленность авторов в особенностях местной природы, быта, культуры. Здесь уже почти нет романтических преувеличений и штампов, и хотя порой присутствует пропагандистский пафос, однако преобладает трезвое, а иногда и критическое восприятие действительности. Писатели-краеведы ищут красоту в повседневности, в суровом и «торжественном» пейзаже горного Забайкалья, в полузабытых фактах истории. Они любят край, в котором живут, но предпочитают не столько говорить об этой любви, сколько быть ему полезными.

Оценивая деятельность нерчинского кружка литераторов в целом, нельзя не согласиться с мнением Е. Д. Петряева, что это было интересное и прогрессивное явление в культурной жизни Забайкалья 40-х годов XIX века:

«В условиях мрачной николаевской реакции, при полном застое политической жизни изучение своего края было своеобразной «отдушиной», своеобразной формой общественно полезной работы...»

Активное сотрудничество в столичных журналах и газетах, издание книг о своем крае, организация библиотеки, любительского театра с репертуаром местных авторов, начало издания рукописных журналов, появление сатирических произведений, обличавших произвол и алчность чиновников, наконец, ряд серьезных исторических и естественно-научных исследований, — таков общественный результат деятельности нерчинского кружка литераторов и краеведов»<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Там же, стр. 190.

<sup>31</sup> Е. Д. Петряев. Исследователи и литераторы старого Забайкалья, стр. 158.

Мотивы критического отношения к действительности находили отражение не только в рукописных изданиях и краеведческих трудах тех лет, но частично проникали и в поэзию. В сборнике «Сибирские мелодии» А. Штукенберга (1846 г.) среди романтических восхвалений сибирской природы встречались отдельные стихи, выражавшие нотки общественного протеста («Поэту» и др.).

Но наиболее критическим в литературе Сибири этого времени является творчество одаренного поэта Матвея Александрова, который, оставаясь в русле романтического направления, в то же время испытал на себе несомненное влияние «натуральной школы» и, может быть, в большей степени, чем кто-либо другой из сибирских поэтов-романтиков, отразил в своем творчестве путь от романтизма к реализму.

Рубежом в развитии литературы Сибири следует, по-видимому, считать 1856—1857 гг. — время поражения русского царизма в Крымской войне. Для Сибири этот период важен еще тем, что в 1857 г. в Тобольске, Томске, Красноярске и Иркутске стали издаваться «Губернские ведомости». Эти первые сибирские газеты дали значительный толчок развитию местной журналистики. Общественный подъем второй половины 50-х годов захватил и Сибирь, период застоя кончился, и следующее десятилетие литература и публицистика Сибири ознаменовали крупными достижениями.

Именно во второй половине 50-х годов появились в печати стихи верхнеудинского поэта Д. П. Давыдова. Однако время написания его произведений относится к более ранним годам, и это дает нам основание рассматривать его в числе поэтов первой половины XIX века.

## ЕВГЕНИЙ МИЛЬКЕЕВ

Говоря о поэтах прошлого столетия, загубленных российской действительностью, нельзя не упомянуть тобольского литератора-романтика Евгения Лукича Милькеева (род. в 1815 г., год смерти неизвестен).

На первый взгляд, обстоятельства как будто бы благоприятствовали ему. Скромного чиновника тобольской канцелярии заметил знаменитый русский поэт В. А. Жуковский, путешествовавший в свите наследника Александра по России. Стихи Милькеева понравились ему, и он способствовал приезду молодого поэта из Тобольска в Петербург. Здесь произведения Милькеева стали печататься на страницах «Совре-

менника» (в конце 30- — начале 40-х годов); там же была опубликована наиболее крупная его поэма «Абалак» (1841 г.)<sup>32</sup>. В 1843 г. в Москве вышел сборник стихотворений, положительно оцененный П. А. Плетневым<sup>33</sup>. Достоянием читающей публики стала и его искренняя, откровенная исповедь в письме к В. А. Жуковскому<sup>34</sup>, вызвавшая сочувственную реплику В. Г. Белинского<sup>35</sup>.

Поэту-сибиряку покровительствовали московские литераторы А. Хомяков и К. Павлова, посвятившие ему дружеские послания. И тем не менее у нас есть все основания говорить о Милькееве как о загубленном даровании, как о человеке, который не смог противостоять жестокой атмосфере николаевской России.

Известно, что В. Г. Белинский, сочувственно относившийся к личной судьбе Милькеева, в то же время очень сурово отзывался о сборнике его стихотворений. Противопоставляя сибирского поэта другому художнику-самородку, Кольцову, критик отказывал Милькееву не только в самобытности, но и в даровании<sup>36</sup>.

Особенно возмущало Белинского подражание Бенедиктову, творчество которого он рассматривал как отступление от пушкинских традиций в поэзии. «Г. Милькеев, — писал он, — подражатель Бенедиктова, подобно всем подражателям доводящий до карикатуры и без того поразительные недостатки своего оригинала»<sup>37</sup>.

С отрицательным мнением Белинского совпало и мнение представителя противоположного лагеря, Сенковского, который с жестокой иронией отзывался не только о стихах Милькеева, но и о его письме-исповеди<sup>38</sup>.

Несомненно, в суровом приговоре Белинского была известная доля правды: многие стихи Милькеева действительно от-

<sup>32</sup> «Современник», 1841, т. 22, стр. 146—147.

<sup>33</sup> П. А. Плетнев. Стихотворения Е. Милькеева. «Сочинения и переписка П. А. Плетнева», т. 2, СПб., 1885, стр. 385—388.

<sup>34</sup> Письмо было впервые опубликовано П. Плетневым в статье «Путешествие В. А. Жуковского по России» («Современник», 1838, т. XII, стр. 5—22). Повторно издано с некоторыми изменениями в предисловии к «Стихотворениям Е. Милькеева» (М., 1843, стр. XIII—XXIV).

<sup>35</sup> Белинский процитировал это письмо в статье, посвященной разбору стихотворений Е. Милькеева, отметив, что оно проникнуто «простотою, умом и достоинством» (В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 605).

<sup>36</sup> В. Г. Белинский. Указ. соч., стр. 605.

<sup>37</sup> Там же, стр. 608.

<sup>38</sup> «Библиотека для чтения», 1844, т. 62, отд. VI, стр. 1—6.

личались подражательностью, причем подражал он не только Бенедиктову, но и Жуковскому, Пушкину, Лермонтову, а также поэтам пушкинской плеяды — кн. Вяземскому, Языкову, но более всего — Тютчеву, влияние которого «оказалось самым сильным и самым благотворным в творчестве Милькеева»<sup>39</sup>. Это обилие образцов для подражания, отсутствие достаточно твердого поэтического голоса — верные признаки незрелости таланта. И тем не менее мы не можем согласиться с безоговорочным заявлением Белинского, что в стихах Милькеева «видна положительная, решительная бездарность». Прежде всего это мнение не разделяли другие современники поэта, тоже достаточно авторитетные ценители поэзии — Жуковский и Плетнев, Павлова и Хомяков. Плетнев даже называл Милькеева «замечательным» поэтом и ставил его выше многих стихотворцев, заполнявших своими произведениями тогдашние журналы<sup>40</sup>. Не разделяют мнение В. Г. Белинского и советские исследователи творчества Милькеева — М. К. Азадовский и В. Бурмин (Утков)<sup>41</sup>.

Конечно, не следует преувеличивать масштабы достаточно скромного дарования Милькеева, но мы не считаем возможным отрицать и определенные достоинства в некоторых, наиболее удачных его стихотворениях. Эти достоинства, вполне вероятно, были бы более значительными, если бы не крайне неблагоприятные условия, в которых сформировался Милькеев как художник.

Так, из его автобиографии мы узнаем, что еще в раннем детстве он лишился отца и вырос в крайней бедности, что уже в 11 лет ему пришлось оставить уездную школу и поступить на службу писцом «в одно губернское место».

«Немного можно было почерпнуть из этой словесности, какую видел я перед собою», — писал он и со скромной сдержанностью добавлял: «Наша приказная фразеология, в отдаленных и низших местах, нельзя сказать, чтоб отличалась

---

<sup>39</sup> М. К. Азадовский. Неизвестный поэт-сибиряк (Е. Милькеев). Чита, 1922, стр. 22.

<sup>40</sup> М. К. Азадовский в вышеуказанной работе (стр. 15) очень удачно сопоставляет взаимоисключающие высказывания о Милькееве Белинского и Плетнева.

<sup>41</sup> В. Бурмин даже, пожалуй, впадает в противоположную крайность, говоря о стихах Милькеева, что они «неровны, но порой изумительно чеканны и свежи», что «отдельные стихи превосходны и дают нам право говорить о больших возможностях Милькеева — философского поэта». (В. Бурмин. Поэтический подмастерье Евгений Милькеев. «Ожский альманах», 1947, кн. 6, стр. 151—153).

вкусом»<sup>42</sup>. Умственные интересы чиновников не шли дальше чтения сказок и давно забытых повестей. Первыми книгами, заинтересовавшими Милькеева, оказались басни Крылова и «Жизнеописания» Плутарха. Они пробудили в нем желание стать поэтом.

Однако у него не было не только учителей, но и советчиков. Он вынужден был овладеть тайнами стихотворства совершенно самостоятельно, идя на ощупь. Можно ли всерьез винить его за то, что в этих условиях он учился где только мог и старался подражать всему, что казалось ему достойным подражания? Позже Милькеев писал: «Я останавливался на тех страницах, которые восхищали меня живописью и благозвучием; старался удерживать в памяти образ выражения, где благородство и чистота были осязательны моему рассудку, и после прилагал эти сведения к моей стихотворной практике...»<sup>43</sup>.

Естественно, что Милькеев в эти годы не имел представления о борьбе направлений, происходившей в русской литературе, не мог познакомиться с критическими выступлениями Белинского, не представлял себе сколько-нибудь полно тех замечательных успехов в утверждении критического реализма, каковыми было отмечено творчество Пушкина этих лет. Лишенный питательной умственной среды, глубоко одинокий в своей любви к поэзии и в стремлении к творчеству, Милькеев, естественно, оказывался на задворках духовной жизни страны. Если учесть при этом его робкий характер, постоянные сомнения в своих силах, созерцательный склад натур, то можно понять и рано развившуюся у него религиозность. Хотя он и проявлял интерес к природе и к людям, тем не менее чрезмерная приверженность к мыслям о «потустороннем» породила отвлеченную мечтательность, вызвала грустные раздумья о краткости и несовершенстве этого «бренного» мира, а в конечном итоге притупляла потребность в познании окружающей действительности.

«Его стихи, — писал П. А. Плетнев, — в самом деле выражали то, что дает человеку жизнь в полном смысле созерцательная — глубокое религиозное чувство и стремление к высокой философии»<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> Цит. по кн. «Сочинения и переписка П. А. Плетнева», т. I. СПб., 1885, стр. 409.

<sup>43</sup> Там же, стр. 410.

<sup>44</sup> Там же, стр. 408.

Вполне понятно, что стихи Милькеева должны были elicит к нему симпатии Жуковского и иже с ним, но в то же время вызвать возмущение Белинского, поборника гражданской поэзии, страстного защитника критического реализма.

«В суровой оценке Белинского, — писал В. Бурмин, — играла большую роль, конечно, и та борьба, которую он вел с кругом писателей, покровительствовавших Милькееву»<sup>45</sup>.

Не способствует утверждению Милькеева в литературном мире и обстановка наступившего поэтического безвременья. В 1837 г. закатилось «солнце русской поэзии» — Пушкин. Уходили один за другим из жизни талантливые поэты — Веневитинов, Дельвиг, Козлов, Д. Давыдов, Полежаев. Лермонтов был изгнан на Кавказ. Журналы и альманахи заполнялись водянистыми и бесцветными стихами, среди которых редко-редко встречались достойные внимания.

«Вместо напряженной созидательной работы идет поспешная разработка наследия предшествующей поры. Причем это наследие воспринимается чисто механически. Поэты идут проторенными путями и говорят чужими словами; образы, пущенные в поэтический оборот Пушкиным или каким-нибудь другим поэтом его плеяды, захватываются, делаются общим достоянием и вместе с тем становятся общими местами. То, что для тех было переживанием, для «наследников» — готовая формула, удобный штамп. Поэтика превращается во фразеологию»<sup>46</sup>.

В этих условиях механического подражания великим образцам и падения интереса к поэтической форме Милькеев выгодно отличается от многих стихотворцев известной музыкальностью своего стиха. И, конечно, неправ Белинский, утверждающий в полемическом задоре, что «стих его есть не что иное, как насильственное сведение слов, которые ревут, видя себя поставленными вместе»<sup>47</sup>.

Более проникательным в оценке стиха Милькеева оказался, на наш взгляд, Плетнев, который говорил, что «в эпоху падения чистых поэтических форм Милькеев, руководимый единственно музыкальным слухом и внутренним тактом, понял назначение поэтических созданий и защитился от всех недостатков господствующего теперь слога»...<sup>48</sup>. И далее:

<sup>45</sup> В. Бурмин. Поэтический подмастерье Евгений Милькеев, стр. 157.

<sup>46</sup> М. К. Азадовский. Неизвестный поэт-сибиряк, стр. 21.

<sup>47</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 608.

<sup>48</sup> П. А. Плетнев. Стихотворения Е. Милькеева, стр. 385.

«Кто постигает успех соединения поэтической идеи с достоинством ее словесной формы, тот без сомнения почувствует, как не похожи эти стихи г. Милькеева на ежедневно ныне появляющиеся рифмованные строки без гармонии, без ясности, лишённые ровности фраз и колеблющиеся в своем неверном движении»<sup>49</sup>.

И все же недостатки провинциального воспитания не могли не сказаться на Милькееве. Признавая справедливость похвалы Плетнева, мы в то же время не должны воспринимать ее безоговорочно — ведь наряду с музыкальными строками у Милькеева встречаются и слишком «общие», затертые фразы, используются готовые поэтические формулы, рожденные не непосредственным чувством, а заимствованные из чужого арсенала, нередки и неуклюжие, беспомощные обороты. Мы, скорее, готовы согласиться с отзывом рецензента «Литературной газеты», признавшего у Милькеева «неподдельный талант», но считавшего, что этот талант неровен, недостаточно самостоятелен и требует учебы, овладения мастерством, тщательной работы над словом<sup>50</sup>.

Не прижившись в Петербурге, Милькеев решает вернуться в Тобольск. К этому побуждает его прежде всего мысль о матери, тоскующей без него в Сибири. Он собирается пожертвовать ради нее своим поэтическим будущим. Однако это решение страшит его: «...отстать от избранной мысли, воротиться на свое прозаическое место, к этой должности, к этим занятиям, от которых, нечего греха таить, часто тупеет голова!.. Это ужасно как смерть»<sup>51</sup>.

Впрочем, его пребывание в Тобольске оказывается непродолжительным. Вскоре он снова покидает Сибирь и на этот раз появляется в Москве. По-видимому, он все-таки приходит к решению, которое еще не созрело у него в Петербурге: «Пусть укрепится мать против разлуки с сыном, необходимой для пользы его нравственных сил. Правда, что он хочет отважиться на подвиг трудный, и слишком поздно; но лучше теперь, чем никогда»<sup>52</sup>.

Однако и в Москве его судьба складывается неблагоприятно. Правда, здесь он как будто бы окружен людьми, относящимися к нему с сочувствием и возлагающими на него большие надежды. Это литераторы-славянофилы Н. Павлов,

<sup>49</sup> Там же, стр. 388.

<sup>50</sup> «Литературная газета», № 28, 1843 г., стр. 533—536.

<sup>51</sup> Е. Милькеев. Письмо к В. Жуковскому. В кн. «Сочинения и переписка П. А. Плетнева». т. 1. СПб., 1885, стр. 413.

<sup>52</sup> Там же, стр. 413.

К. Павлова, А. Хомяков и др. Они видят в нем поэта-самоходка; близкого им по духу, «вывозят» его в свет, демонстрируют как диковинку, курят ему фимиам, однако отнюдь не способствуют его действительному творческому развитию. Покровители поэта побуждают его издать сборник стихов, заранее рекламируют эту книгу, но не помогают ему подобрать действительно достойное для публикации. Не в меру захваленный, неопытный и робкий, но не лишенный честолюбия, поэт выпускает в 1843 г. наспех составленный сборник, в котором лучшие, наиболее зрелые стихи тонут в окружении банальных и слабых. Это была медвежья услуга, оказанная поэту друзьями<sup>53</sup>.

Суровый приговор, вышедший из-под пера самого авторитетного критика России, убил в Милькееве и без того слабую веру в свои силы. Вскоре он в полной мере ощутил свое одиночество. Недавно покровительствовавшие ему люди быстро охладели к нему, тем более, что и раньше их заинтересованность в его судьбе была достаточно поверхностной<sup>54</sup>.

О дальнейшей жизни Милькеева почти нет никаких сведений. Известно лишь, что он продолжал жить в Москве, всеми забытый, больной, не имеющий достаточных средств к существованию. И, судя по некоторым строкам из стихотворения К. Павловой «Памяти Милькеева», он покончил с собой:

Стоял той порой он в своем чердаке,  
Души разбивалася сила.  
Стоял он безумный с веревкой в руке.  
В тот вечер спросить о больном бедняке  
Нам некогда было..

Милькеев погиб в самом начале своего творческого пути, пополнив собою печальный список жертв николаевской России.

\* \* \*

К тому времени, когда Милькеев приехал в столицу из далекой сибирской провинции, век романтизма кончился. Правда, еще был жив Жуковский, еще появлялись многочис-

---

<sup>53</sup> В. Бурмин. Указ. соч., стр. 157.

<sup>54</sup> Узнав о том, что Хомяков и Павловы долго спорили о том, чем должен заниматься Милькеев, Белинский заметил: «Чем спорить, лучше бы просто помогли бедняку» (И. И. Панаев. Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 173).

ленные произведения, написанные в романтическом духе, но гениальный Пушкин уже пропел отходную этому направлению, и даже многие из «староверов» в литературе не могли не понимать, что золотой век романтизма позади. Милькеев этого не понимал. И даже если бы он обладал более сильным талантом и более отточенным мастерством, ему не удалось бы завоевать расположение передового читателя: поэт отстал от поступательного развития литературы.

Вместе с тем сборник «Стихотворения Е. Милькеева» (1843 г.) обнаруживает глубокие противоречия в сознании поэта. И можно с уверенностью сказать, что художественная неравноценность помещенных в нем стихотворений объясняется в первую очередь именно этими противоречиями между ложными, религиозными тенденциями (находившими, кстати сказать, поддержку в кругу московских славянофилов) и здоровым, земным тяготением поэта к природе, к людям, к естественным радостям жизни. Соответственно этому образы напыщенно романтические, религиозно условные, бесцветные соседствуют с простыми и живыми зарисовками, бесхитростными интонациями, музыкальными, а порой и смелыми поэтическими строками. Разумеется, Милькеев был далек от реализма, и написанные им стихи дают очень мало оснований для оптимистических прогнозов относительно его дальнейшего творчества, останься он жив. И все же молодой поэт спорит с самим собой, пытается вырваться из цепких пут религиозности, с интересом присматривается к миру, которым он должен был, казалось бы, пренебрегать. В этом и заключены его достоинства, пусть очень скромные, но дающие основание писать и думать о нем с сочувствием.

Сборник открывается стихотворением «Солнце», в котором определяется как бы официальная идейная направленность книги. Здесь в торжественно-приподнятых тонах воспеваются «дивный красавец, колосс мироздания» и тот,

...Кто на подвиг и бденье,  
На славу и радость тебя сотворил:  
Ему одному лишь несем поклоненье,  
Источнику блага, источнику сил<sup>55</sup>.

Природа и ее создатель — преобладающая тема сборника, и поэт славит их с преувеличенным восторгом («Выходишь ты с бездной тепла и сиянья, в короне зиждительно-мощных лучей» и т. п.).

<sup>55</sup> «Стихотворения Е. Милькеева». М., 1843. стр. 1—2.

Со стихотворением «Солнце» перекликается целый ряд других, также посвященных прославлению «Творца», в том числе цикл «Переложений из Библии» и поэма «Абалак». Порой стихи Милькеева напоминают молитву, переложенную в стихи (характерны сами названия их: «Молитва», «Троицын день», «Молитва Иверской», «Светлое воскресенье» и т. п.). Поэт и в природе стремится увидеть в первую очередь проявления «божественного». Так, в стихотворении «Кукушка» говорится о том, что в Благовещенье, когда «веселился мир земной» и все спешили к алтарям, не тужа о земном, кукушка «дня святого не почтила и гнездо себе свила». За это бог лишил ее пристанища:

С той поры она тоскует,  
Нет привета в мире ей:  
Одинокая кукует  
В темноте глухих ветвей<sup>56</sup>.

И все же нельзя не отметить, что в некоторых стихах Милькеева божество настолько растворяется в природе, что религиозное стихотворение становится образцом пейзажной лирики, — поэта восхищает не столько сам творец, сколько его творение («Воспоминание»).

О внутренних борениях Милькеева свидетельствует, как отмечает В. Бурмин, стихотворение «Затворницы»<sup>57</sup>. Поэт рассказывает о том, как он, «грустный, одинокий», заходит в храм в надежде, что душу его «любовь и вера оживит». Здесь он видит хор молодых послушниц. Молитвенное настроение поэта сразу улетучивается. Его поражает контраст — мрачные своды храма и земная красота девушек:

Каких алмазов дорогих,  
Какой красоты, какого клада  
Наш грустный свет лишился в них.  
О, если б некой власти сила  
Исторгла их из этих стен  
И в мир обширный воротила —  
К ним мир повергнулся бы в плен!..

Религиозная концовка у стихотворения не может заглушить страстного порыва души молодого поэта. Никакие молитвенные настроения не в силах лишить его глубокой и естественной привязанности к жизни, ко всему прекрасному в этом мире.

<sup>56</sup> Там же, стр. 51.

<sup>57</sup> Об этом см. В. Бурмин. Указ. соч., стр. 154—155.

Эта двойственность Милькеева пронизывает и самое значительное произведение — поэму «Абалак», действие которой разворачивается на родине поэта — в Сибири<sup>58</sup>.

Говоря в начале поэмы о присоединении Сибири к России, поэт усматривает в этом «высшую волю»:

Страну Кучума, край богатый  
Нам Бог чудесно даровал...<sup>59</sup>

Незадолго до пришествия русских «перед неверными очами» на небе появился город золотой с колокольнями и крестами. А вслед затем пришел Ермак, и покорила Сибирь.

И нет Кучума, нет Искера:  
К народам диким вместо них  
Спешила истинная вера,  
И шум кровавой брани стих<sup>60</sup>.

Таким образом, Милькеев рассматривает присоединение Сибири прежде всего в плане религиозном: христианство распространилось на восток, «дикие народы» познали «истинную веру», и в этом — самое важное следствие похода Ермака. Поэт рисует идеализированную картину воцарившегося в Сибири всеобщего мира и счастья: повсюду возникают православные селения и города — «отрада для очей»:

И грудь земли, раскрыв умильно  
Всю роскошь тайны сил своих,  
Выносит пышно и обильно  
Дары на нивах золотых...  
И зной живых полей не губит,  
И злаков молния не жжет,  
И град стремительный не бьет,  
Роса их ласковая любит,  
И их урочною порой  
Кропит жемчужною струей<sup>61</sup>.

Сюжет поэмы строится на религиозном предании о чудотворной иконе Богородицы в Абалакском храме. Сказания о чудесах, творимых святыми и их изображениями, были довольно широко распространены в Сибири, и Милькеев обратился к одному из них.

---

<sup>58</sup> Абалак — село в 25 верстах от Тобольска.

<sup>59</sup> Е. Милькеев. Абалак. «Современник», 1841, т. 22, стр. 146.

<sup>60</sup> Там же.

<sup>61</sup> Там же, стр. 164.

Земледелец Ефим, поклявшийся заказать икону Богородицы и поставить ее в Абалакский храм, был исцелен от тяжелой болезни. Он выполнил клятву: вновь написанная икона была торжественно перенесена в храм, воздвигнутый в честь девы Марии. Поэт подробно, в самых торжественных тонах описал крестный ход, а также чудеса, которые творила икона при ее перенесении и при водворении в храм.

Кульминационным моментом поэмы является чудо, сотворенное иконой во время наводнения 1665 г. в Тобольске: перенесенная из Абалака в Тобольск она прекратила наводнение<sup>62</sup>. Заканчивается поэма апофеозом в честь Богоматери — покровительницы Сибири.

При всей выпренности гимнов в честь Богородицы и других святых поэма «Абалак» не лишена некоторых поэтических достоинств, связанных с проявлением прямо противоположных начал в мироощущении Милькеева. И здесь нам хочется возразить М. К. Азадовскому.

Исследователь считает, что религиозно-философская лирика не по плечу молодому поэту. «Не языком начинающего писателя, да еще самоучки, можно говорить о таких сюжетах... Недаром этот вид лирики считается самым трудным, — и в русской поэзии, пожалуй, до сих пор единственным великим представителем философско-религиозной лирики является Державин, — да изредка умел возвышаться до настоящего религиозного пафоса Федор Глинка»<sup>63</sup>.

Конечно, религиозно-философская лирика — действительно, один из самых трудных видов лирики, однако трудность ее заключается, на наш взгляд, не только в том, что «такие сложные и величественные проблемы нужно прежде всего сильно и оригинально продумать», но и в том, что религиозные мотивы как таковые таят в себе опасность абстракции, отвлеченности, бескровности. И, думается, заслуга Державина заключается не в «настоящем религиозном пафосе», а в том, что он совлекал бога с небес и писал о земном, о человеческом. Милькеев же не сумел преодолеть отвлеченности религиозных гимнов, не смог подчинить их земному, и в этом смысле он, действительно, «не дорос». Обращение к религиозным мотивам и образам обескровило многие места его поэмы. Но там, где он писал о людях, где давал хотя бы краткие бытовые характеристики, где старался передать психологическое

<sup>62</sup> О наводнении 1665 г. и легенде, связанной с ним, см. «Город Тобольск и его окрестности. (Исторический очерк)». Сост. К. Голодников, 1887, стр. 41.

<sup>63</sup> М. К. Азадовский. Неизвестный поэт-сибиряк, стр. 28.

состояние своих героев — пусть навеянное религиозными мотивами, — там его слог обретал энергию и в известной степени трогал читательское воображение.

С романтическим преувеличением и нарочитым нагнетанием красок, но в то же время темпераментно и образно рассказано о том, как поразило «диких» кочевников Сибири «небесное видение» перед приходом Ермака. Темный ужас, охвативший людей, усилен картиной разгневанного Иртыша:

И с высоты чудесным звоном  
Дрожащий слух был поражен,  
И степь вопила тяжким стоном,  
И грозно меркнул небосклон;  
Иртыш багровел, будто гневом  
И роковым позором полн,  
И мчался вдаль с унылым ревом,  
И тяжело бился грудью волн...<sup>64</sup>

Этот отрывок показателен для стиля Милькеева: рядом с ничем не говорящим сочетанием «чудесный звон» соседствует точное в своей образности выражение «дрожащий слух». Традиционно сказано: «тяжко бился грудью волн», но в сочетании «мчался вдаль с унылым ревом» уже есть попытка отметить особенность сибирской реки.

Вообще картины природы наиболее удачны в поэме. Правда, в них трудно обнаружить конкретные черты сибирских пейзажей — над поэтом довлеют условно романтические приемы. И все же было бы несправедливым отказать Милькееву в умении передать если не местный колорит, то по крайней мере общее впечатление от него. Таково описание наводнения. Обращаясь к излюбленному романтиками бурному пейзажу, к «катастрофе» в природе, Милькеев не выдумывает этот грандиозный размах стихии:

Но из годов, цветущих счастьем,  
Был год суровый для земли;  
Весна грустила под ненастьем,  
Дожди холодные текли...  
Ревели ветры буйным хором,  
Клубили мрак седых небес,  
И под ужасным их напором  
Срывались пни, ломался лес...  
И воды вздутые надменно  
Шли на простор из берегов  
И покрывали испугленно  
Поверхность пашен и лугов<sup>65</sup>.

<sup>64</sup> Е. Милькеев. Абалак, стр. 146.

<sup>65</sup> Там же, стр. 165.

Как известно, романтикам меньше удается описание мирных картин природы — здесь они словно утрачивают поэтическое воодушевление и скатываются к банальности и «общим местам». Это характерно и для Милькеева. Но в то же время в поэме есть одно описание, где Милькеев остается на уровне своих наиболее «весомых» стихов: это — начало второй части.

Стоит пустынный Абалак  
На крутизне горы высокой.  
В ненарушимости глубокой  
Пред ним лесов раскинут мрак...  
Вдали громады их одело  
Небес туманной синевой;  
Внизу шумит осиротело  
Иртыш. Он пенится волной,  
Невольник грустный, безнадежный...  
Давно хребет его мятежный  
Рыбак веслом перекрестил  
И в волны сети запустил<sup>66</sup>.

Судя по всему, Милькеев стремился прежде всего раскрыть перед читателем свой внутренний мир (чем, по-видимому, и объяснялось вторичное опубликование письма-исповеди Жуковскому) и свои лирические откровения ставил выше описательных стихов. Поэтому Сибирь не заняла почти никакого места в сборнике. Сибирский мотив прозвучал лишь в некоторых стихах как мотив воспоминанья:

Бродил я в пустыне, в глуши отдаленной,  
Меж дубрей туманных, меж скал и стремнин...<sup>67</sup>

Поэт говорит, что его не привлекает шумная столица и «роскошные девы», чьи «блещут очи... сильнее звезд»; — ему «снится дева дальних мест»<sup>68</sup>. Городской жизни он предпочитает сельскую идиллию:

Я занят светлою природой —  
Друзья мне солнце и луна<sup>69</sup>.

В этих стихах уже нет и намек на Сибирь — его «домик» с одинаковым успехом мог быть и в Сибири, и в Подмосковье, и в воображении поэта.

<sup>66</sup> Там же, стр. 157.

<sup>67</sup> «Стихотворения Е. Милькеева», стр. 137 («Воспоминание»).

<sup>68</sup> Там же, стр. 75—76 («Воспоминание» — другое стихотворение под таким же названием).

<sup>69</sup> Там же, стр. 104—106 («Мой домик»).

Правда, мотив сибирской зимы и весеннего возрождения природы прозвучал еще в философском стихотворении «Возрождение»<sup>70</sup>, но это и все. Милькеев не стал одним из тех сибирских поэтов-романтиков, которые считали своей первейшей задачей отражение местного колорита.

При всем при том стихи, где поэт обращался к конкретным лицам и событиям, удавались ему больше, чем лирика религиозно-меланхолических переживаний. Таковы его стихотворения, навеянные московскими впечатлениями: «Сухарева башня», «Сон Ломоносова», «Художник», «Затворницы», «Колокол в Кремле». В последнем стихотворении намечается социальный мотив: колокол жалуется поэту, что он обречен неметь «в бездейственном сне», тогда как создан был «с целью великой» — славить мощь и силу России. Люди приходят к нему, дивуются на его величину, но

Их вздохи, желанья, мечты — близоруки,  
Одно любопытство к нему их влечет.

В. Бурмин усматривает в царь-колоколе символ бессилия эпохи<sup>71</sup>.

Общественная проблематика выражена у Милькеева слабо — то с карамзинской сентиментальностью («Сирота»), то с романтической напыщенностью («Прекрасной»). Единственное исключение, пожалуй, составляет не вошедшая в сборник «Сцена канцелярская»<sup>72</sup>, где поэт в довольно живых образах, не лишенных сатирической остроты, изображает чиновничий мир, хорошо знакомый ему по Тобольску. Особенно запоминается его непосредственный начальник, с подозрительностью относящийся к молодому канцеляристу, занимающемуся «поэтством»:

Не худо, право, бы смотреть за ним построже:  
Не служит ли молодчик наш в масонской ложе!

Недостаточная развитость гражданских мотивов у Милькеева становится понятной, если вспомнить о пристрастии поэта к стихам Бенедиктова. Упрек Белинского в «бenedиктовщине» особенно уместен по отношению к стихам, посвященным любовной тематике. И все же надо знать Милькеева, чтобы понять — в эту заимствованную форму он вкладывает искреннее чувство.

<sup>70</sup> Там же, стр. 3—5.

<sup>71</sup> В. Бурмин, Указ. соч., стр. 155.

<sup>72</sup> «Современник», 1839, т. XV, № 3, стр. 130—136.

Вот отрывок из его «Сонета»:

Зачем, о дева-красота,  
Владеешь грудью ты лилейной?  
Зачем улыбкой чародейной  
Твои красуются уста?..  
...О, как роскошно, как отрадно  
Отдать себя тебе во власть,  
И пред тобою, ненаглядной,  
В восторге трепетном упасть,  
И языком лобзаний жадно  
Вверить тебе немую страсть! <sup>73</sup>

При всей наивности этого излияния хочется вспомнить: поэт очень часто размышляет о смерти (стихотворения «Покойница», «Кладбище», «Смертному» и др.) и на этом мрачном фоне «Сонет» безусловно выглядит как попытка преодолеть собственную тоску. По той же причине мы не относимся с непримиримостью, свойственной Сенковскому, к стихотворению «Русское вино», которое — при многих недостатках — вступало в противоречие с унылой религиозностью Милькеева и звучало в духе эпикурейской лирики, столь естественной под пером молодого поэта:

Здравствуй, русское веселье,  
Здравствуй, русское вино,  
Православное похмелье,  
Чаш потопленное дно! <sup>74</sup>

В автобиографическом письме Милькеев говорил: «Если не заблуждаюсь, природа наделила меня привязанностью к звукам»<sup>75</sup>. Думается, что поэт не заблуждался в этом, и Белинский неправ, заявляя, что у него нет «ни одного поэтического стиха».

М. К. Азадовский справедливо считает чеканными заключительные строки послания Каролине Павловой:

Мой жребий мрачен и ненастлив,  
Никто мне в мире не родня,  
Но я прославлен, горд и счастлив,  
Когда вы хвалите меня.

Исследователь приводит одно из удачных, вполне самобытных выражений, которое должно было возмутить Сенковского:

<sup>73</sup> «Стихотворения Е. Милькеева», стр. 69—70.

<sup>74</sup> Там же, стр. 155.

<sup>75</sup> Цит. по: «Сочинения и переписка П. А. Плетнева», т. 1. СПб., 1885, стр. 408.

С туч, беременных дождями,  
Льются бурные ручьи.

Наконец, Азадовский находит достойным внимания стихотворение «День рассеянный...», где поэт со всей искренностью исповедуется перед читателем:

День рассеянный, день нестройный  
Мною властвует, как рабом;  
В суете его беспокойной  
Я ношусь и кружусь пером.  
Нет ни силы в душе, ни воли,  
Ни мечты в уме золотой,  
Нет на сердце колючей боли,  
Нет и радости в нем живой...<sup>75а</sup>

В этих строках — ключ к пониманию поражения, которое потерпел в жизненной борьбе молодой поэт-сибиряк: ему не доставало воли, чтобы противостоять тяжелой действительности 40-х годов. Одновременно с ним в поэзию вступали Некрасов, Тютчев, Фет, Майков, Апполон Григорьев, Каролина Павлова. Эпоха подавляла и их дарования. Тем не менее каждый из них в конце концов выстоял. А Милькеев — сломился. Поэтому «он так и остался поэтическим подмастерьем, но в его беззаветном служении поэзии были все задатки мастера»<sup>76</sup>.

#### МАТВЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

Судьба М. Александрова, может быть, печальнее всех других. Поэт, в стихах которого социальный протест передовых людей Сибири 30—40-х годов получил наиболее полное отражение, не мог печататься, многие его стихотворения остались в рукописях, так и не увидев света. Непризнание при жизни, забвение после смерти — такова участь Александрова, по справедливости названного М. К. Азадовским «забытым сибирским поэтом»<sup>77</sup>.

Впервые на творчество Александрова обратил внимание Н. М. Ядринцев. В статье «Судьба сибирской поэзии и старинные поэты Сибири» Ядринцев рассказал о том, что прозаическое сочинение Александрова «Воздушный тарантас», представляющее собою воспоминания об Иркутске 1827 г. и оуб-

<sup>75 а</sup> М. К. Азадовский. Неизвестный поэт-сибиряк, стр. 26.

<sup>76</sup> В. Бурмин. Указ. соч., стр. 158.

<sup>77</sup> См. М. К. Азадовский. Забытый сибирский поэт. «Очерки литературы и культуры Сибири», стр. 138.

ликованное в «Сборнике историко-статистических сведений о Сибири»<sup>78</sup>, случайно оказалось в руках Г. Н. Потанина. Кроме того, «нам досталось множество его стихотворений, поэм и повестей из сибирской жизни...»<sup>79</sup>.

Познакомившись с произведениями Александрова, Ядринцев заключил, что «этот человек странствовал и жил, начиная от Камчатки до Енисейской тайги. Он был очень плодовитым писателем и поэтом: сряду лет 20, по крайней мере, он писал»<sup>80</sup>. Ядринцев отдавал должное поэтическому дарованию Александрова, отмечал, что тот легко владел прозой и стихами, был начитан и получил хорошее образование. Александрова вдохновляла «грандиозная природа Сибири с ее горами и реками, камчатские пирамиды, Байкал, Енисей, Ангара. Величественная тайга, леса Сибири также служат предметом лирических стихотворений поэта. Сибирские предания и легенды служат темой для поэм. История Сибири также вызывает у него размышления, и на эту тему у него есть удачное стихотворение «Ночь на Иркутском кладбище»<sup>81</sup>.

Самым большим достоинством Александрова Ядринцев считал обращение поэта к темам общественной жизни: «В его произведениях мы встречаем и сатиру. Предметом ее служат приобретательные мотивы, исключительно материальные стремления, погоня за грошом и необыкновенная грубость самодовольного нажившегося лавочника и золотопромышленника, словом, то же, что давало повод к филиппикам Шапова, что служит предметом обличения и до сих пор»<sup>82</sup>.

В качестве примера Ядринцев привел отрывки из сатирической пьесы Александрова «Таежный карнавал».

Вместе с тем критик упрекал Александрова в приверженности к романтической школе Марлинского, в том, что он, «познакомившись с Бестужевым в Якутске, окончательно отдался его влиянию. Поэтому все его произведения страдают вычурностью языка»<sup>83</sup>.

Замечание справедливое, хотя мы не можем не видеть и положительных сторон в том влиянии, которое оказал на сибирского литератора ссыльный поэт-декабрист (поэтому и не

<sup>78</sup> «Сборник историко-статистических сведений о Сибири и сопредельных ей странах», т. 1. Сост. Б. А. Милютин. СПб., 1875—1876, стр. 1—44.

<sup>79</sup> «Литературный сборник», изд. редакции. «Восточного обозрения». СПб., 1885, стр. 419.

<sup>80</sup> Н. М. Ядринцев. Указ. соч., стр. 419.

<sup>81</sup> Там же.

<sup>82</sup> Там же.

<sup>83</sup> Там же.

присоединяемся к словам Ядринцева о том, что Александров «имел несчастье» быть последователем Марлинского).

Определенное противоречие есть у Ядринцева в заявлении о том, что «к сожалению, все его произведения потеряли всякое современное значение...»<sup>84</sup>. Как же в таком случае понимать переключку стихов Александрова с «филиппиками Щапова» и то, что объект его сатиры «служит предметом обличения и до сих пор»?

Ядринцев опубликовал из произведений Александрова только одно стихотворение — «Сибирь»<sup>85</sup> и пьесу «Таежный карнавал»<sup>86</sup>. «Судьба остальных бумаг, которые были в распоряжении Ядринцева, неизвестна. К счастью, это был не единственный фонд. Известно, что часть рукописей Александрова хранилась в семье амурского золотопромышленника Ельцова, часть сохранилась в Якутске»<sup>87</sup>.

Сведения о жизни Александрова невелики. Нам неизвестны даты его рождения и смерти, точные причины его приезда из Петербурга в Сибирь, его служебное положение до приезда в Якутск (в 1834 г.), не совсем ясна его дальнейшая судьба после отъезда из Якутска (в 1841 г.). Более отчетливое представление мы имеем о пребывании Александрова в самом Якутске благодаря архивным материалам, изученным Н. П. Канаевым<sup>88</sup>.

Ядринцев писал о поэте:

«Александров, как видно, был сначала морским офицером и явился в Сибирь в 1824 г., был в Камчатке, затем служил в Восточной Сибири в гражданской службе много лет»<sup>89</sup>.

Однако предположение, что Александров был моряком, М. К. Азадовский опровергает: во-первых, имени Матвея Александрова не значится в общем морском списке; во-вторых, поэт не называет себя морским офицером в «Воздушном тарантасе», являющемся во многом производением автобиографическим. Напротив, из его упоминаний о себе явствует, что он был штатским и ехал на Камчатку в качестве секретаря начальника области. Однако в то время управление Камчаткой находилось в руках морского ведомства, и, следовательно, Александров мог быть причислен к этому ведомству<sup>90</sup>.

<sup>84</sup> Там же.

<sup>85</sup> «Восточное обозрение», 1883, № 36.

<sup>86</sup> «Сибирский сборник». Под ред. Н. М. Ядринцева. СПб., 1887.

<sup>87</sup> М. К. Азадовский. Забытый сибирский поэт, стр. 139.

<sup>88</sup> Н. П. Канаев. Русско-якутские литературные связи. М., «Наука», 1965, стр. 34—45.

<sup>89</sup> Н. М. Ядринцев. Указ. соч., стр. 418.

<sup>90</sup> М. К. Азадовский. Забытый сибирский поэт, стр. 139—140.

Что касается причин приезда Александра в Сибирь и дальнейшего пребывания здесь, то М. К. Азадовский и Н. П. Канаев сходятся на том, что этот приезд не был вполне добровольным. Они ссылаются при этом на некоторые строки из стихотворений Александра: «Уж двадцать лет прошло, как двадцать дней, с тех пор, когда пустился я в неволю...» («Дума»); «В Сибирь попал за разные проказы, то ль за стихи, то ль за иные фразы...» («Поэт»). В послании поэту-сибиряку И. Москвину Александров называет себя «поэтом-эмигрантом».

Предположение о вынужденной поездке Александра в Сибирь косвенно подтверждается тем, что здесь он сошелся с Бестужевым-Марлинским и, по существу, высказывал в своих стихах мысли, близкие к идеям декабризма. Не случайно, по видимому, он должен был покинуть Петербург в 1824 г., за год до декабрьского восстания<sup>91</sup>.

Александров встретился с Бестужевым-Марлинским в Якутске. Позднее он посвятил ссыльному декабристу стихотворение «Элегия». Прочувствованными строками откликнулся он на гибель своего единомышленника и друга: «Тебя уж нет, кавказский Прометей...».

«Элегия» написана человеком, близко знавшим Бестужева. В стихотворении угадываются реальные черты поэта-декабриста, который «прекрасен был» и «в бедствии своем»:

Я знал его в пустыне, в нищете,  
В ничтожестве — без хлеба и без крова;  
Отдав свой долг житейской суете,  
Он о былом не произнес ни слова.  
Лишь изредка, в минуты вещей снов,  
Он под святым крестом Чучур-Мурана  
Оплакивал слезами Оссиана  
Погибшую к отечеству любовь...<sup>92</sup>

Конечно, стихотворение выдержано в романтической манере. Уже само обращение к герою: «Могучий дух, страдалец гениальный» — заключает в себе смещение масштабов, столь характерное для романтиков. Есть, несомненно, нарочитость и искусственность в таких выражениях, как «И снова он, как

---

<sup>91</sup> М. К. Азадовский говорит: «Не исключена возможность..., что и сам он принадлежал к декабристской периферии и, может быть, потому был вынужден покинуть Петербург и ехать в далекую Сибирь» (см. там же, стр. 142).

<sup>92</sup> Цит. по кн. М. К. Азадовского «Очерки литературы и культуры Сибири», стр. 141.

лебедь величавый», «Он весь был гул восторга и побед», «Как вопль птенца, забвенного в пустыне» и т. п. И уж совсем плохо сказано: «Подобно бурному очарованью ты промелькнул по сфере жизни сей».

Однако, несмотря на «шелуху слов», сквозь которую трудно пробиться к чувствам, владевшим поэтом, нельзя не заметить искренности переживания в последних четверостишиях «Элегии», где говорится о гибели поэта в горах Кавказа:

Всему конец — и пылкой жажде брани,  
И пылких чувств возвышенным мечтам.  
Но как он пал? и где скрестил он длани?  
Или живой отдался в плен врагам? —  
Вотще казак, слуга и друг героя,  
Желал призреть вождя священный прах;  
Один рассказ о падшем в вихре боя  
Звучал в его болезненных устах...<sup>93</sup>

В том же 1837 г. Александровым была написана поэма «Жертвы рока», где поэт воспел в романтических тонах любовь ссыльного и казачки, причем прообразом главного героя стал опять-таки Бестужев-Марлинский. М. К. Азадовский справедливо считает, что последние строки этой поэмы определенно указывают на прототип героя:

Однажды, позднею порою,  
Казак с почтовою сумою  
В пустынный город прибежал,  
Но что привез, никто не знал.  
Назавтра в юрте опустелой,  
Где ссыльный время коротал,  
Сидел монах оиротельный  
И сладко плакал: он узнал,  
Что в силу царского указа  
На бранные пиры Кавказа  
Посланец ссыльного умчал.<sup>94</sup>

Александров испытал на себе влияние и рылеевской поэзии: в его песне «Романс трубадура» (из поэмы «Гетман Хмельницкий») не случайно использован украинский сюжет, как не случайно поэт проявляет интерес и к могиле Войнаровского.

Обращаясь к народным преданиям и легендам, поэт выбирает такие, которые соответствуют его оппозиционным настроениям. Он пишет поэму «Якут Манчары», посвящая ее леген-

---

<sup>93</sup> Там же, стр. 142.

<sup>94</sup> Там же.

дарному герою якутского народа. Поэт отмечает народный характер бунта этого героя и глубоко сочувствует ему.

Манчары, образ которого уже при жизни был окружен ореолом легенд,— реальное историческое лицо, более того,— современник Александрова. «Будучи судебным работником, Александров одно время имел непосредственное отношение к делу Манчары и был лично знаком с самим обвиняемым. Поэтому созданная им поэма основана не только на материалах судебного следствия, но и на собственных впечатлениях. В силу всего этого поэма Александрова приобретает значение наиболее достоверного и ценного памятника эпохи»<sup>95</sup>.

Н. П. Канаев приводит целый ряд архивных документов, которые характеризуют Александрова как человека очень честного и справедливого, стремившегося принести, по его собственным словам, «существенную пользу краю в полном смысле неусовершенствованному во всех отношениях политического его существования»<sup>96</sup>. Александров бесстрашно боролся против злоупотреблений местных чиновников и якутских тойонов, отстаивая интересы бедняков. Естественно, что и обращение его к образу народного бунтаря Манчары было продиктовано именно этим стремлением как-то противостоять жестокому гнету со стороны властей и богатой верхушки.

Поэт изображает Манчары в духе фольклорной традиции—человеком мужественным, сильным и справедливым. Он отвергает обвинения героя в разбойничестве: никогда люди Манчары не нападали на усадьбы баев с целью личной наживы,— они всегда действовали в интересах тысяч обездоленных, стоявших за их спиной. Александров подчеркивает, что Манчары силен народной поддержкой, сочувствием бедняков, которые делились с ним продовольствием, одеждой, оружием. Он отмечает, что выступление Манчары пробудило сознание и у тунгусов (это вполне соответствовало исторической истине: тунгусская беднота в эти годы не один раз выступала против своих угнетателей).

В поэме «Якут Манчары» виден уже будущий поэт-сатирик. В отгалкивающих красках Александров изображает представителя царской администрации начальника Якутского областного управления В. Щербачева. Этот Улахан-тойон (большой начальник) гуляет день и ночь с «хотунами» (барынями) по займам, устанавливает грабительские цены на

<sup>95</sup> Н. П. Канаев. Русско-якутские литературные связи, стр. 37.

<sup>96</sup> Рукописный фонд Якутского филиала АН СССР, отдел истории, ф. 5, оп. 1, ед. хр. 80.

провиант и поддерживает свою власть средствами насилия и угроз.

Показательна такая деталь в поэме: Манчары, отпуская на волю казака-пленного, просит передать Улахан-тойону:

Скажи, что я, Манчары,  
Прошу его, тойона, на провиант  
Немедленно понизить цену — в меру —  
И тем народ и бедность успокоить,  
Не то я сам за бедность заступлюсь<sup>97</sup>.

Беспощадно судит поэт и о русских чиновниках («... в судах корысть залогом служит. Богатый прав, а бедный виноват»), и о якутских богатеях. Причем он рассматривает их действия не как уродливое исключение, но как повсеместное явление:

И от Нюрбы до дебрей Оймякона  
Нигде уж нет законной правоты...<sup>98</sup>.

Несмотря на то, что власти подавили восстание Манчары, поэма заканчивается оптимистически. Поэт обращается к «пустынной безгласной стране» — Якутии:

Роскошный одр бесцветных тундр и гор,  
Усопших одр могильная ограда,  
Кипучих выюг и бурь живой простор,  
Ты спящее тревожной жизни море,  
Пробудись ль? Пробудись и вскоре<sup>99</sup>.

Александров был, по-видимому, человеком, у которого слово не расходилось с делом. Во всяком случае, его действия на поприще юриста, продиктованные демократическими симпатиями, вызвали резкую реакцию местных властей и прежде всего начальника Якутского областного управления Рудакова. Чтобы отстранить его от должности, как это следует из документов, приведенных Н. П. Канаевым, приверженцы Рудакова посылали на поэта в Иркутск и Петербург клеветнические доносы. Об этом Александров писал в своей ответной записке:

«Враждуя на меня тайно и открыто, формально и частно, г. Рудаков употреблял разные способы для того, чтобы чем-нибудь запятнать мою строгую безупречную службу и лишить меня занимаемой должности, с намерением предоставить

<sup>97</sup> Там же, оп. 33.

<sup>98</sup> Там же.

<sup>99</sup> Там же.

этот важный пост иному чиновнику, который раболепным повинованием способствовал бы его самовластным распоряжениям»<sup>100</sup>.

В другом месте он пишет: «самую тяжелую и нестерпимую опеку Рудаков наложил на меня по возвращении своем из Иркутска в начале 1840 года. Чиновники разорвали со мной узы знакомства и приязни, а бедные и беззащитные не посмели требовать от меня законного содействия в их нужде... Прибегающий под мою защиту делается жертвою гонения»<sup>101</sup>.

В результате этих интриг Александров в 1841 г. по распоряжению иркутского генерал-губернатора был переведен в Красноярский край.

В дальнейшем, по словам Азадовского, Александров жил то в Красноярске, то в Иркутске, то в Канске. Одно время он служил на приисках в енисейской тайге, умер в Канске в крайней бедности<sup>102</sup>. Азадовский не располагал необходимыми архивными документами о якутском периоде в жизни Александрова, поэтому он высказывался о причинах отъезда поэта из Якутска предположительно: «Отъезд его из Якутска был, очевидно, вынужденный. В своих стихотворениях он неоднократно упоминает о какой-то катастрофе, крушении своих надежд и т. п.»<sup>103</sup>. Приведенные исследователем отрывки из стихотворений Александрова «Дума» и «Ангара» любопытны в том отношении, что можно проследить по ним, как преломлялись реальные биографические события в сознании поэта-романтика:

Отрадно протекли эсмынадцать с лишком лет.  
Но вот на горизонт мой ясный  
Взошел багряный шар, туманом зги одет:  
Я содрогнулся, — и безгласный  
Наместо божества надежд моих прекрасных  
Облбызил ничтожества скелет.  
Свершилось, наконец, судьбы определенье:  
Моя житейская ладья  
Разбита вдребезги,— и нет ей обновленья  
(«Дума») <sup>104</sup>.

После отъезда из Якутска начинается последний, наиболее зрелый период творчества Александрова. Сохраняя верность

<sup>100</sup> Рукописный фонд Якутского филиала АН СССР, ф. 5, оп. 1, ед. хр. 80.

<sup>101</sup> Там же.

<sup>102</sup> М. К. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 143—144.

<sup>103</sup> Там же, стр. 144.

<sup>104</sup> Там же.

романтической манере, поэт все большую дань отдает сатирическому изображению жизни. Это объясняется, конечно, не только обстоятельствами его собственной биографии, но прежде всего общественной жизнью Сибири 40-х годов. Ушли в прошлое 20-е годы, когда Александров верил в великое будущее сибирского купечества. Он на опыте убедился, как далека сибирская буржуазия от мысли о всеобщем благе и демократии. Поэтому в его поздней лирике так много желчи, насмешки, сатирической остроты. Образец этого рода поэзии — стихотворение «Демьян Кузьмич Бессеребренников», в котором Александров, в частности, пишет:

В тайге служенье безотчетно,  
Никто ничем не попрекнет,  
Там золотая грязь охотно  
Сама собой к ладоням льнет<sup>105</sup>.

В таком же обличительном духе написана и пьеса «Таежный карнавал». Нельзя не согласиться с Ядринцевым, что здесь правдиво воспроизведена жизнь золотопромышленников — всесильных хозяев тайги, у которых горные ревизоры состоят на посылках и все окружающие выполняют их прихоти. В пьесе метко представлены нравы, дикие забавы и развлечения тайги<sup>106</sup>.

Перед богатым золотопромышленником Сохатым разряженный торбанист поет песни. Ему бросают золото. У торбаниста, хитрого и ловкого поселенца, в песнях рядом с лестью сквозит сатира на этих господ, которые

Молодецки промывают  
В грязных лужах золотицо  
И геройски распивают  
Заграничное винцо,  
А за тяжкую работу,  
Будь хоть братец им родной,  
Не прибавят гроша к счету,  
Обочтет еще иной!<sup>107</sup>.

Герой пьесы, золотопромышленник Сохатый, — один из тех, кто в былые годы не имел куска хлеба насущного, но случайно набрел на золото и стал богачом. Все подвластно ему в тайге, и хор песенников славит его:

Богат и титулом почтен  
Таежный наш Наполеон.

<sup>105</sup> Там же, стр. 148.

<sup>106</sup> «Литературный сборник», изд. редакции «Восточного обозрения». СПб., 1885, стр. 419.

<sup>107</sup> Там же, стр. 419—420.

Гребет он золото лопатой  
И мечет горстью тароватой  
Свой золотой песок на всех  
Для благодетельных потех.  
И честь и слава Дормидонту,  
Таежному Наполеон-ту!<sup>108</sup>

Нетрудно заметить, что здесь за славословием угадывается позиция самого автора, высмеивающего непомерные претензии этого самодовольного и тупого «Наполеон-та» енисейской тайги.

Вполне под стать Сохатому по своему невежеству и «сибирский барон, купец и золотопромышленник» Дошлый. В следующем диалоге двух богатеев вновь проявляется авторское отношение к героям, причем речь их не лишена индивидуальных особенностей:

Дошлый (выпив залпом стакан вина):

Да, братец! Мы тово — вон, как оно...  
А у тебя чудесное вино!  
Ты тоже ведь по части просвещенья  
В гимназии науки проходил.

Сохатый (шутя):

Что знал тогда, теперь уж все забыл.  
Нам не под стать глубокое ученье;  
Нам бог иной назначил в жизни путь.

Дошлый:

Однако ж, брат, приятно ведь болтнуть  
Ученое словцо из уваженья  
К учености почтеннейших гостей<sup>109</sup>.

Поэт нередко задумывается над положением художника в этом мире, помешавшемся на золоте, и приходит к самым горестным выводам. Интересен диалог между художником и золотопромышленником. Служитель искусства отстаивает свое право на творчество, в то время как его собеседник считает, что это — самый ненадежный путь к счастью. Он призывает художника бросить искусство, которое никому здесь не нужно, и ехать в тайгу, где его ждет богатство:

Напрасно ж, брат, заехал ты в Сибирь.  
Здесь золото, кредиты да цифирь,  
А эдаких картин и лиц с натуры

<sup>108</sup> «Старая сибирская сатирическая поэзия». Новосибирск, 1938, стр. 8.

<sup>109</sup> Там же, стр. 8.

Не надо нам...  
Раскрой глаза и на любого взглянь:  
Не полотно, а золотая ткань!<sup>110</sup>

Золотопромышленник высказывает мысли, которые, по сути дела, отражают представления о действительности самого поэта, только для автора это — горькая истина, а его герой говорит с легкой душой циника:

Все под ярмом, иль под законом моды,  
Смири и ты пред ней свои мечты;  
Набрось на них покров подобооастья;  
Никто не чужд искать мирского счастья:  
А счастлив тот, кто из людских страстей  
Кует рубли для прибыли своей.

После долгого разговора поэт говорит с иронией:

Благодарю за краткую беседу.  
Спускаю флаг, ты выиграл победу...<sup>111</sup>

В стихах Александрова последнего периода звучат ноты глубокой скорби. Сибирь воспринимается им как страна резких контрастов между богатством и нищетой («Сибирь», «К Енисею», «Сибирская мелодия»). Особенно сильно выражены страдания поэта в «Сибирской мелодии», написанной в подражание былине:

...Ах, скала, скала, бездыханная,  
Бесприветная, безответная, —  
Если б знала ты, если б ведала,  
Что лежит в груди у несчастного...  
Не хочу, скала, говорить с тобой,  
Говорить с тобой — выть по-волчьему...  
Отзовись мне ты, конопляночка, —  
Золотой тюрьмы гостя вольная,  
Улыбнись ты мне, солнце красное,  
Отогрей мне грудь хоть на полчаса...  
Кулаком глаза промозолил я:  
Плакать хочется, — слезы выплакал...  
Все приятели отшатнулись прочь;  
Хил здоровьем стал, денег нету-ка...  
И любовница отчуралася:  
Умерла с тоски по отечеству...  
Что ж оставил рок сиротинушке,  
Безотрадному, бесприютному,  
Дай мне отповедь, глушь таежная...<sup>112</sup>

<sup>110</sup> «Литературный сборник», стр. 420.

<sup>111</sup> М. К. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 148.

<sup>112</sup> Там же, стр. 150.

Глубокое разочарование — лейтмотив многих стихотворений Александрова последних лет. Жизнь представляется ему безотрадной, обманувшей его лучшие надежды. Рассказывая о встрече с Ангарой после многолетней разлуки, поэт невольно вспоминает молодость, когда он, веселый и счастливый, собирал здесь цветы:

И вот опять, как сказочный герой  
Чрез много лет, сединами покрытый,  
Без юных слез, без молодецких дум  
И немощен, и грустен, и угрюм,  
Владычице своей — мечте послушный,  
Лобзаю твой вуаль полувоздушный<sup>113</sup>.

Но как бы ни было тоскливо настоящее, поэт обретает силы в сознании собственной честности, в том, что он не уподобился многим, утратившим не только молодость и здоровье, но и свое достоинство. «Как примешь ты бездомного поэта под влажный свой лазурный балдахин?» — обращается он к Ангаре и слышит ответ:

Не как раба, иль суеты клеветра,  
Прикрытого лоскутьями седины,  
Но как певца, достойного вниманья<sup>114</sup>.

Оглядываясь на прожитую жизнь, Александров не может не вспоминать о «людском озлоблении», о ненависти, которая преследовала его всюду, где бы он ни появлялся:

Когда вокруг меня шипело подозренье  
И зависть и вражда снесли мой покой,  
Мертвили честь мою, гасили вдохновенье  
И выживали вон из юдоли земной  
Меня — питомца Муз и истины святой...<sup>115</sup>

Окруженный стяжателями и мещанами, Александров, естественно, ощущал себя чужим среди них и старался найти отраду в природе, в сибирской тайге. «Меж диких гор», «в долине диких роз» он хотел забыть о людях, об их неутомимой злобе:

Не долетит сюда ни голос человека,  
Ни резкий звон монеты золотой,  
Ни бранный гул уж минувшего века,  
Ни современный гвалт, ни выстрел холостой  
Из пушки, серною смолой залитой...<sup>116</sup>

---

<sup>113</sup> «Ангаре». «Изв. Иркутского гос. научного музея». Иркутск, 1937, стр. 33.

<sup>114</sup> Там же, стр. 34.

<sup>115</sup> «Последняя весна», там же, стр. 33.

<sup>116</sup> «Тайга», там же, стр. 31.

Сибирская природа, при всей ее суровости, изображается Александровым как «эдем — приют успокоенья». Правда, и здесь появляются люди, и здесь они ищут золото, враждуют друг с другом, но поэт не хочет писать о них: он ищет в природе радующие глаз картины, хочет прочесть «иероглифы тайги», его ободряет приход весны.

Природа и поэзия нередко выступают в стихах Александрова как бы в нерасторжимом единстве. Он следует здесь фольклорным образцам и, подобно народным певцам, стремится передать собственные настроения через образы природы. Об этом красноречиво говорит его стихотворение «Поэзия»:

Сквозь мглу осенней непогоды,  
Сквозь прорези дождливых туч  
Чело мертвющей природы  
Порой лобзает солнца луч:  
Так иногда восторг священный  
Своим таинственным огнем  
Животворит мой дух смятенный  
И блещет на челе моем<sup>117</sup>.

И какой же жалкой, скучной, безысходной рисуется поэту жизнь в городах и городишках, в обществе людей, одержимых золотой лихорадкой, погрязших в мелких заботах, в картежной игре, в сплетнях и чревоугодии. В этой провинциальной глуши поэта не могут спасти от тоски даже книги.

Конечно, это — типично романтические мотивы, но под пером Александрова они осмысляются в плане реалистически бытовом. Осознавая себя «Чайльд-Гарольдом», он в то же время относится к окружающему миру без малейшей рисовки, не драпируется в плащ разочарованного романтика, но пишет трезво, зло и намеренно буднично:

Я одряхлел под кровлей городской;  
Осплинился в сосновом городишке,  
Где корчится задорный род людской,  
Как Леманов штук-мейстер на афишке,  
Приелись мне Крылов и Кантемир,  
И Вальтер Скотт, и Пушкин, и Шекспир,  
И преферанс, и сплетни, и газеты,  
И чепчики, и редька, и паштеты.  
Как Чайльд-Гарольд, как баснословный Ир,  
Я зол на весь спекулятивный мир...<sup>118</sup>

<sup>117</sup> «Поэзия». «Библиотека для чтения», 1843, т. 56, стр. 16.

<sup>118</sup> «Тайга», там же, стр. 31.

Реалистически конкретные мотивы и образы уживаются в стихах Александрова рядом с пространными романтическими тирадами, с выражениями туманными и витиеватыми. И все же нельзя не видеть, что реалистическое чутье поэта довольно велико. Так, рисуя бедный якутский пейзаж в эпилоге к поэме «Якут Манчары», Александров замечает:

Бледна, суха, пустынная картина!..  
Что ж делать! — я не виноват..  
От грязных юрт туземцев до палат  
Якутского купца иль гражданина,  
От радужных хамар-дабанских скал  
И до могил гигантов допотопных,  
От грамматических начал  
И сплошь до ямбов пятистопных  
Давыдова и Москвина,  
Решительно, на всем одна  
Безмолвия льдяная пелена...<sup>119</sup>

Упоминание здесь имен сибирских поэтов Д. Давыдова и И. Москвина, как и шутовское замечание о писателях И. Калашникове и Н. Шукине, которые «натошак коснулись струн сибирского Баяна», свидетельствует о том, что в Сибири уже были известны эти имена, и Александров стремился рассмотреть их в ряду других художников, гораздо более значительных.

В уже упомянутом эпилоге он называет великих представителей русской и мировой литературы, соотнося то, что было написано ими, со своим собственным рассказом, и выражает надежду, что его поэма даст читателю что-нибудь новое: ведь Сибирь — страна еще неизведанная:

Друзья мои, позвольте молвить слово!  
Без цели я не тронул бы пера...

Александров сумел по достоинству оценить романтическую эпоху в мировой литературе («все знаете, всем насладились вы...»). Он сам использовал многие средства романтической поэзии, ее достоинства и слабости, но при этом попытался настроиться на иной лад, взглянуть на жизнь трезвыми глазами реалиста.

К сожалению, многие из его стихов не сохранились, Александров был вскоре забыт, пополнив собою ряды талантов, задавленных сибирской действительностью.

---

<sup>119</sup> «Якут Манчары» (Эпилог), там же, стр. 34.

В 1846 г. в Петербурге был издан анонимно сборник «Сибирские мелодии». Спустя 40 лет, в 1886 г., Н. М. Ядринцев в статье «Судьба сибирской поэзии и старинные поэты Сибири» писал: «Автор неизвестен, видно, что он был ссыльный; по крайней мере, во многих стихотворениях он выражает свои изгнаннические чувства и свою тоску»<sup>120</sup>. И только спустя почти 80 лет после выхода в свет сборника М. К. Азадовский назвал имя автора<sup>121</sup>. Опираясь на данные «Русского биографического словаря», он установил, что автором сборника был не ссыльный, а инженер, находившийся на службе в Сибири, Антон Иванович Штукенберг. В конце 30-х годов Штукенберг был командирован для исследования Забайкальских гор и изысканий по постройке Кругобайкальского пути<sup>122</sup>. Он пробыл в Сибири четыре года, и впечатления этих лет легли в основу его «Сибирских мелодий». В 1852 г. он издал второй сборник, «Мелодии», в который включил лучшие стихи первого сборника, а в 1866 г. выпустил третий сборник — «Осенние листья».

Штукенберг не обладал сколько-нибудь крупным дарованием. Свои стихи он писал в духе давно изжившего себя романтизма, и Ядринцев справедливо отмечал, что «они напоминают слабое подражание Баратынскому»<sup>123</sup>.

Естественно, что поэтические опыты Штукенберга должны были вызвать к себе отрицательное отношение передовой критики 40-х годов. В. Г. Белинский сурово и насмешливо отзывался о его стихах, отметив их подражательный характер, затасканность и избитость большинства образов, отсутствие цельного мирозерцания<sup>124</sup>. «Приговор Белинского, — замечает М. К. Азадовский, — в общем, был справедлив, но все же среди его (Штукенберга) сибирских стихотворений можно отметить несколько всплесков подлинного поэтического чувства. С большой силой передает он суровый колорит сибирского пейзажа».

<sup>120</sup> Н. М. Ядринцев. Судьба сибирской поэзии и старинные поэты Сибири. «Литературный сборник», изд. редакции «Восточного обозрения», СПб., 1885, стр. 414.

<sup>121</sup> М. К. Азадовский. Бурятия в русской лирике. «Жизнь Бурятии», 1925, № 1—2, стр. 17.

<sup>122</sup> «Русский биографический словарь». Шебанов-Шютц. СПб., 1911, стр. 449—450.

<sup>123</sup> Н. М. Ядринцев. Указ. соч., стр. 415.

<sup>124</sup> «Отечественные записки», 1846, т. XLIX. № 12, декабрь, библиографическая хроника, стр. 109.

зажа»<sup>125</sup>. Собственно, такое же мнение высказывал об авторе «Сибирских мелодий» Ядринцев, которого вообще нельзя заподозрить в снисходительном отношении к местным литераторам: «Поэт не имеет большого таланта, но, как видно, природа Даурии оставила в нем сильное впечатление»<sup>126</sup>.

Ошибочность предположения Ядринцева относительно биографии поэта объяснялась тем, что, хотя Штукенберг и не был ссылкой, четыре года, проведенные в Сибири, воспринимались им самим как изгнание. Отсюда и восприятие сибирской природы через призму изгнанника, что «составляет особую прелесть этих пьес»<sup>127</sup>.

В самом деле, суровый, даже мрачный колорит его стихов соответствовал настроениям многих людей 40-х годов, когда не только Сибирь, но и вся Россия воспринималась, как тюрьма. Наблюдая тяжелое и жалкое состояние, в котором находились угнетенные сибирские народности, поэт обращался к далекому прошлому, ко временам величия монголов, к образу Чингис-хана. В торжественных, романтически приподнятых тонах он говорил о славных «надгробьях вымерших племен»:

Поньне там в урочный день  
Монголов жертвенник дымится,  
И хана царственная гень  
На тихой тризне веселится!<sup>128</sup>

Героическому прошлому он противопоставлял современное положение пастушеского народа, утратившего свой воинственный дух:

Ты позабыл твои набеги  
В тени ночной на стан врага,  
Ты утонул в ничтожной неге,  
И честь тебе не дорога;  
  
И мышцы крепкие ослабли,  
Труслива стала голова,  
Рука забыла взмахи сабли  
И с лука спала тетива;  
Ты не отходишь от порога  
Убогой юрты, — ум твой спит;  
И дум воинственных тревога  
В груди твоей не закипит!<sup>129</sup>

<sup>125</sup> М. К. Азадовский. Бурятия в русской лирике, стр. 17.

<sup>126</sup> Н. М. Ядринцев. Указ. соч., стр. 415.

<sup>127</sup> М. К. Азадовский. Указ. соч., стр. 18.

<sup>128</sup> «Омбон Чингис-хана». В сб. «Сибирские мелодии». СПб., 1846, стр. 14.

<sup>129</sup> «Монголу», там же, стр. 15—16.

Подобное сравнение прошлого и настоящего, как мы уже видели, характерно для многих поэтов-романтиков, в частности для А. Таскина. И здесь нельзя не вспомнить замечание М. К. Азадовского по поводу стихов последнего: «Не нужно видеть в этом подлинных и искренних раздумий автора о судьбах монгольского племени. И в этом случае мы имеем дело с поэтическим штампом. Обычные краски и аксессуары для Сибири: мрачная суровость, бывшее величие и т. п.»<sup>130</sup>.

Замечание в целом верно. Однако оно требует и некоторого уточнения. Действительно, контраст прошлого и настоящего стал литературным штампом у романтиков. И, несомненно, ни один из поэтов Сибири не желал бы, чтобы «потомок жалкий Чингиз-хана» всерьез захотел сравняться в воинственности со своими предками. И все же нельзя забывать, что само обращение романтиков к далеким временам было зачастую вызвано недовольством современностью. И если тот же Таскин часто лишь следовал романтической моде, то Штукенберг, писавший в годы расцвета критического реализма, ощутивший себя в Сибири изгнанником, вложил в традиционную форму свои раздумья об участии сибирских народов. Позднее, расставшись с Сибирью, поэт нередко грустил по ней и с самым теплым чувством вспоминал «Монголию»:

Ты часто, часто сنيшься мне,  
Страна Монголии далекой,  
Нередко также вздох глубокий  
Тебе дарю я в тишине!  
Весь шум и блеск большого света  
Его красавиц пестрый рой,  
Отдам для одного привета  
Твоей красавицы степной!<sup>131</sup>

Несомненно, большая часть стихов Штукенберга представляла собой анахронизм уже при своем появлении. Во многих из них звучала традиционная жалоба на одиночество, выраженная трафаретными, банальными фразами. Здесь, конечно, говорилось, что «взор прощальный ее пленительных очей» будет светить ему «как факел сердца погребальный» («Воспоминание»). Та, которую поэт обожал, именовалась «черноокой красой», у нее «шелковая коса», «томны очи», и «с лилейных персей спала шаль» («Безнадежность») и т. д. и т. п.

---

<sup>130</sup> М. К. Азадовский. Указ. соч., стр. 17.

<sup>131</sup> «Воспоминание», в сб. «Сибирские мелодии», стр. 90.

Но наряду с запоздалыми перепевами романтизма, у Штукенберга встречаются иногда удачные сравнения, точно отобранные детали, сквозь оболочку заимствованных фраз и образов пробивается искреннее чувство. Это относится в основном к его стихам о Сибири — к лучшим из них. Так, в «Воспоминаниях о Селенгинске» он дает конкретную зарисовку сибирского пейзажа:

Стремнины мутной помню волны...  
Печальна дикая река!  
Лишь там и сям мелькают челны  
С унылой песнью рыбака,  
И вдоль реки утесов тени,  
Да островов печальный ряд,  
Иль по берегам приюты лени —  
Улусы дымные бурят<sup>132</sup>.

В стихах о Сибири Штукенбергу нередко удавалось преодолеть ту вялость слога, которая была как бы оборотной стороной медали его громкозвучности. И тогда даже в традиционно романтических образах ощущалось своеобразие поэтического видения автора. Это характерно, например, для стихотворения «Хамар-Дабан», в котором, следуя народной легенде, поэт уподобляет великому богатырю высочайшую из прибайкальских гор:

И вот он здесь остановился,  
Кругом окинул грозный взор,  
Задумавшись облокотился  
Он на верхи соседних гор.  
И щит огромный, вороненный  
Сложил к ногам — Байкал тот щит!  
Мечом ударил закаленным —  
Меж скал там Ангара блеснит!  
Колчан спустил он стрел пернатых,  
Вонзаясь рассыпались оне, —  
И там тайга лесов косматых  
Простерлась, дремля в тишине<sup>133</sup>.

В отдельных случаях у Штукенберга звучат юмористические мотивы, например в «Приветствии Кяхте», этой «песчаной столице», с чайными цибиками, «пирующими лицами» кяхтинцев, с ничтожной речонкой, о которой сказано: «горстью детская ручонка едва ль воды в ней почерпнет». Обращаясь к Кяхте, поэт пишет:

---

<sup>132</sup> «Воспоминания о Селенгинске», там же, стр. 22—23.

<sup>133</sup> «Хамар-Дабан», там же, стр. 160—161.

По-прежнему нарядна ты,  
По-прежнему дружна с весельем,  
Не любишь в жизни пустоты  
И праздность не зовешь бездельем<sup>134</sup>.

Но это стихотворение — одно из немногих, отличающихся бодрым тоном. Чаше Сибирь рождает у поэта чувство горячи, душевной боли:

Конечно, песнь моя угрюма,  
Без утешения она;  
В ней грустная таится дума,  
Негодования полна;  
Однако ж, будьте справедливы,  
Скажите, что здесь вдохновит,  
Какая муза залетит  
В ваш край печальный и тоскливый?<sup>135</sup>

Слово «негодование» употреблено здесь закономерно. В некоторых стихотворениях поэт давал читателю понять, что современное общество, — а не только Сибирь! — не может не вызывать чувства возмущения. В своем обращении «Поэту» он откровенно говорил о взаимном непонимании художника и мира:

Поэт! Покинь твою святую лиру,  
Сложи с главы избранника венеч:  
Не нужен ты бесчувственному миру,  
Не принял он твоих даров, певец!  
И над тобой духовного сиянья  
Не видит златом ослепленный взор,  
И на твое высокое призванье  
Бросает мир презрительный укор...<sup>136</sup>

Творчество Штукенберга — еще одно свидетельство того, что в литературе Сибири романтизм оказался более устойчивым и «живучим», нежели в общерусской литературе. Хотя сам Штукенберг не был уроженцем Сибири, он оказался под сильным влиянием сибирских впечатлений, которые определили характер и направленность его стихов. Более того, Штукенберг, по-видимому, был знаком с творчеством сибирских романтиков — это подтверждается тем, что он повторил многие мотивы, образы и даже поэтические приемы, характерные для них. И, надо думать, именно их творчество утвердило Штукенберга в мысли, что Сибирь может быть отражена в литературе лишь средствами романтической поэзии.

<sup>134</sup> «Приветствие Кяхте», там же, стр. 157.

<sup>135</sup> «Сибирская грусть», там же, стр. 39.

<sup>136</sup> «Поэту», там же, стр. 26.

Нерчинский краевед и литератор Михаил Андреевич Зензинов (1805—1873 гг.) не был уроженцем Сибири, он родился в Вологодской губернии, но с 17 лет жил в Нерчинске, где и умер.

Это был разносторонне образованный человек, обладавший поистине энциклопедическими познаниями в таких областях, как литература, фольклор, ботаника, медицина<sup>137</sup>. Больше всего его интересовала ботаника. Всю жизнь изучая фауну Забайкалья, Зензинов составил богатые коллекции и осуществил многие агрономические опыты. Его статьи о природе Даурии, напечатанные в центральной и сибирской прессе, представляли немалый научный интерес; они сохраняют свое значение и для нашего времени.

Зензинов владел богатой, хорошо подобранной библиотекой. Основу ее составляли книги, приобретенные у декабристов, с которыми он находился в дружеских отношениях. Между прочим, он хлопотал о разрешении приобрести библиотеку умершего декабриста М. С. Лунина, но получил отказ<sup>138</sup>. Одним из первых он стал собирать декабристские реликвии<sup>139</sup>.

О занятиях Зензинова по сбору и изучению фольклора сибирских народностей свидетельствует следующий отрывок из его письма к редактору «Москвитянина»:

«У меня собираются древние тунгусские баллады на их природном языке, с переводом на русский. Здесь есть древние летами тунгусы, менестрели, барды азийские, которые поют песни на своем природном языке, о богатырях Азии, живших в глубокой древности, задолго до прихода русских в край Даурии: сказывают сказки с припевом на языке тунгусском — драгоценности, готовые погибнуть с жизнью творцов. Я составляю вместе и лексикон тунгусского языка... Еще я собираю свадебные песни и наговоры дружек по деревням... собираю сведения о названиях мест по Нерчинскому округу на монгольском и тунгусском языках с переводом на русский...

---

<sup>137</sup> Е. Д. Петряев. Исследователи и литераторы старого Забайкалья. Чита, 1954, стр. 152—156.

<sup>138</sup> См. письмо М. А. Зензинова от 20 декабря 1845 г. (Читинский музей) и статью В. С. Манассеина «Библиотека декабриста М. С. Лунина». «Библиотечковедение и библиография», 1930, вып. I—II, стр. 101—111.

<sup>139</sup> Это начинание продолжил его сын, М. М. Зензинов, издавший впоследствии сборник «Декабристы, 86 портретов».

много драгоценных сведений о разных замечательных чертах Даурии...»<sup>140</sup>

Собирацию местного фольклора помогало то обстоятельство, что Зензинов свободно владел бурятским, эвенкийским, монгольским и маньчжурским языками. Однако из его записей была опубликована только одна былина<sup>141</sup>; остальные, как предполагает М. К. Азадовский, погибли<sup>142</sup>.

Отдал дань Зензинов и художественной беллетристике, обращаясь к излюбленной своей теме — Сибири («Ононский пастух, или шесть сцен из жизни Чингис-хана», 1842, и др.). Обычно он печатался в «Москвитянине». Произведения его были выдержаны в духе отживающей романтической традиции, страдали высокопарностью слога и неправдоподобием сюжетных коллизий<sup>143</sup>.

Более сдержанным тоном, достоверностью описаний отличаются его литературно-краеведческие очерки: «Один день в горах Хингана», «О бурятах», «Долина Санжикова яра» — историческое повествование о возникновении Нерчинска — и др. Эти произведения были сочувственно оценены П. А. Словоцковым, Н. А. Полевым, А. А. Краевским, однако печатались они, как правило, с большими сокращениями.

Наибольшую ценность из наследия Зензинова представляют заметки и письма о природе, истории и культуре Забайкалья, свидетельствующие об огромной эрудиции и глубокой любви автора к краю. Благодаря этим работам, появлявшимся не только на страницах «Москвитянина», но и в «Русском вестнике», «Голосе», «Земледельческой газете» Е. А. Энгельгардта, в «Трудах вольно-экономического общества», русский читатель узнавал о далекой и неведомой ему Даурии. В частности, «Письма из Нерчинска» опровергали ходячее мнение о культурной отсталости Сибири. Автор рассказывал, что в Нерчинске в 1820 г. основана библиотека, куда поступают целые груды журналов, что существуют обычаи собираться друг у друга для чтения, и пр.<sup>144</sup> По словам Зензинова, круг «лучшего общества» города насчитывал в 40-х годах 60 человек.

---

<sup>140</sup> М. Зензинов. Письмо к редактору из Нерчинска. «Москвитянин», 1842, ч. 3, стр. 385—386.

<sup>141</sup> «Этнографическое обозрение», 1897, IV.

<sup>142</sup> М. К. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири, стр. 244.

<sup>143</sup> Е. Д. Петряев. Исследователи и литераторы старого Забайкалья, стр. 154.

<sup>144</sup> М. Зензинов. Письма из Нерчинска. «Иллюстрация», 1848, № 18, стр. 277.

Особый интерес к просвещению, отмечал он, проявляло молодое купечество: «Общество молодых гостинодворцев выписывает постоянно книги, журналы и газеты из Петербурга»<sup>145</sup>.

Характеризуя круг образованных людей Нерчинска, Зензинов подчеркивает нравственные достоинства многих из них. Он пишет: «Близкое знание друг друга, знакомства чисто дружественные, родство, приязнь, благорасположенность соединяют здесь всех как бы в одно общее семейство»<sup>146</sup>. По его словам, «пересудов, пересмешек, столь горько свойственных маленьким провинциальным городкам, здесь нет и тени»<sup>147</sup>. Ему представляется, что нерчинцы не руководствуются в своих поступках тщеславием: каждый занимается своим делом. И если лето проходит в веселье (вечера, маскарады, даже любительский театр), то зима — в трудах и, несмотря на свою продолжительность, она кажется незаметной.

«Так счастливы мы здесь, в Нерчинске, в этом отдаленном крае, — заключает он, — так добра, тиха, душе не тяжка, привольна сфера, в которой многие здесь возникают, расцветают, действуют и угасают»<sup>148</sup>.

Конечно, в этом прославлении нерчинского общества есть доля идеализации, продиктованной местным патриотизмом. В своем желании рассеять неверные представления столичной публики о «глухой провинции» Зензинов отчасти впадает в противоположную крайность: он стремится доказать, что провинция не отстает от столицы, а кое в чем ее и превосходит. «Нерчинские молодые дамы и девицы, особенно танцующие,— пишет он,— одеты со вкусом, который, поверьте, не уступит вашему, и милы.., приезжайте, сами убедитесь...»<sup>149</sup>. Более того, Зензинов считает, что в Нерчинске отношение к женщине более уважительно, чем в больших городах: «Общества слишком развитые, видя в женщинах женщин только, нередко вовсе забывают, что они наши матери, супруги, дочери, сестры.., что ими все живет, что они во всем отражаются... В Нерчинске этого не забыли»<sup>150</sup>.

Таким образом, письма Зензинова — вдохновенный гимн Нерчинску. Но из этого все-таки не следует, что автор вообще утрачивает объективность суждений. У него, в конце концов, были известные основания для восторгов: нерчинское

<sup>145</sup> Там же, № 32, стр. 120.

<sup>146</sup> Там же, № 18, стр. 277.

<sup>147</sup> Там же, стр. 278.

<sup>148</sup> Там же.

<sup>149</sup> Там же, стр. 277.

<sup>150</sup> Там же, стр. 278.

общество действительно отличалось высокой культурностью и, будучи относительно изолированным от остальной России, устанавливало собственные порядки, непохожие на жизнь других городов. Это подтверждают и другие краеведы, например В. П. Паршин<sup>151</sup>. О справедливости суждений Зензинова говорит и тот факт, что он, при всей привязанности к Нерчинску, признает известное отставание этого города от Нерчинского Завода, где «все на петербургскую ногу, а наш скромный, тихий Нерчинск походит бытом своих жителей на скромную деревушку, где с издавна привыкли жить по-домашнему, хозяйством...»<sup>152</sup>

Однако жизнь Нерчинска не представляется Зензинову неизменной,—напротив, он замечает в ней немалые перемены, происшедшие за последние 20 лет. В «Письмах» дается интересная сравнительная характеристика города в недавнем прошлом и теперь. Раньше «все помещались в крошечных домиках, неудобно, тесно, жили скупо и удивительно бестребовательно, курили простой табак в собраниях, пили пунши из рому и кизлярки, играли в панфил и в горку, танцевали под звук одной скрипки алагрек, менуэты и восьмерку... Все это решительно переменялось: ввелся табак Жукова, курят сигары, пьют мадеру, шампанское, играют в бостон и преферанс, танцуют французскую кадрили, вальс, мазурку... Старое общество, разумеется, устарело; оно не читает, ничем не интересуется, доживая по-своему; но молодое поколение, могучее возрастом, энергией, восприимчивостью, жаждет образования умственного и разрывает пути старины холодной и неподвижной»<sup>153</sup>.

Рассказывая о своей поездке в Нерчинский Завод, Зензинов описывает его в полном соответствии с действительностью — как город кричащих контрастов, где рядом с немногими добротными домами лепятся по склонам гор «домишки-хижины, вросшие в землю, мазанки, где ютится беднейший класс жителей». На улицах царит непролазная грязь, и «в одну только сухую пору можно перебираться здесь по мостикам, кое-где набросанным, и по шипам высохшей грязи»<sup>154</sup>.

В «Письме четвертом» содержатся очень верные наблюдения автора над жизнью «кочующих» — монголов и бурят. Зензинов отмечает, что они четко делятся на богатых, сред-

<sup>151</sup> См. В. П. Паршин. Поездка в Забайкальский край. М., 1844.

<sup>152</sup> М. Зензинов. Письма из Нерчинска. «Иллюстрация», 1848, № 32, стр. 119.

<sup>153</sup> Там же.

<sup>154</sup> Там же, № 31, стр. 110.

него достатка и бедных, причем уровень жизни последних крайне низок: «...ничтожные дырявые юрты из дряхлых войлоков, на которых неумолимое время страшно напечатлело свои следы, юрты, заплатаемые берестой, шкурками зверей и животных, погибших от болезней, лоскутами старых шуб, давно негодных к употреблению, — весь этот убор жилья ясно обнаруживает чрезвычайно бедное положение звероловов, не имеющих никаких других средств к существованию...»<sup>155</sup>

Но каковы бы ни были недостатки в жизни этого народа, автор находит у него известные преимущества перед цивилизованным обществом: «На взгляд прихотливого европейца бедна жизнь кочующего, но богата внутри их степей, могуча и роскошна незнанием разорительной нашей роскоши, чужда губельных страстей и пороков новой цивилизации, незнакома с треволениями и суетностью, тиха и прекрасна, как прекрасна местность страны Даурской, как безмятежны ее степи, эти пампасы Азии, где царствует мир и вечное спокойствие, где добрая природа дарит своему верному любимцу цветущее здоровье и долгую жизнь»<sup>156</sup>.

Думается, что в этом утверждении Зензинов отдает дань романтической традиции, хотя есть здесь и доля справедливости.

В «Письмах из Нерчинска» автор проявляет себя не только как бытописатель и этнограф, но и как «ботанист», подробно характеризующий растительный мир Даурии, особенности почвы и климата. Там, где он рассказывает о лунной ночи в горах или о некоторых особенностях быта «кочующих» (например, об их страсти к курению, когда даже «деревянная ганза крошится в стружки и перемешивается с табаком, если она много им пропиталась при курении»), в авторе проявляется чуткий художник, умеющий подмечать особенное и неповторимое в природе и людях.

О разносторонней одаренности Зензинова свидетельствует тот факт, что он пробовал свои силы не только в романтической прозе, но написал десятки пьес из местной жизни для любительских спектаклей. К сожалению, эти пьесы не сохранились<sup>157</sup>.

Немаловажной страницей творческой жизни Зензинова стала журналистская деятельность.

Выше мы говорили о забайкальских рукописных изданиях 30-х годов — журнале «Кяхтинский литературный цветник»

<sup>155</sup> Там же, № 32, стр. 120.

<sup>156</sup> Там же.

<sup>157</sup> Е. Д. Петряев. Указ. соч., стр. 155.

и газете «Кяхтинская стрекоза», выпускавшихся А. И. Орловым и В. П. Паршиным. Зензинов был в дружеских отношениях с Орловым, и не исключено, что сотрудничал в его газете. Об этом косвенно свидетельствует особо доверительный тон, с которым Орлов, переведенный в Верхнеудинск, обращался в своих письмах к Зензинову. В 1839—1840 гг. Орлов выпускал в Верхнеудинске рукописный журнал «Метляк», являвшийся как бы продолжением «Кяхтинской стрекозы». В связи с этим он писал Зензинову: «Умный и добрый мой Мишель! Целую и обнимаю тебя за прекрасное письмо твое и прелестную статью «Озера». Умоляю тебя: пиши ко мне и присылай свои милые пьески в Иркутск. Завтра чуть свет я выезжаю из Удинска. Я переведен медиком в Иркутскую больницу. Там я располагаюсь жить и быть так: утро посвящаю все больнице, а вечер и ночь литературе. Затею новый журнал вроде «Метляка» и займусь сбором всех статей в печать. Можешь представить — как будут кстати все твои умные и дельные литературные вещи, которые ты пришлешь мне. Благодарю тебя на этот благодарный труд»<sup>158</sup>.

Вскоре М. А. Зензинов решил выпускать «Нерчинский журнал». Следуя примеру Орлова, он стремился освещать на его страницах не только местную жизнь, но и вопросы широкого общественного и литературного значения, как-то: судьбы Сибири, народную поэзию, тунгусские легенды и т. п.<sup>159</sup> Позднее, в начале 50-х годов, журнал Зензинова был переименован в «Реставрационный листок» в связи с тем, что главной целью его стала борьба за восстановление прежнего положения Нерчинска как культурного центра Забайкалья. Это было актуальным, так как предстояло административное преобразование края, в котором предпочтение отдавалось Чите.

Судьба творческого наследия Зензинова печальна: через пять лет после его смерти невежественные городские власти распорядились вывезти остатки огромного гербария и коллекции насекомых, а также рукописи Зензинова и сжечь их вместе с делами старого нерчинского архива. Случайно уцелели на чердаке зензиновского дома некоторые черновики, часть дневников и писем. Они были собраны И. В. Багашевым и хранятся ныне в Кяхтинском и Читинском музеях. Около тысячи листов бумаг Зензинова находится в отделе рукописей библиотеки им. Ленина в Москве<sup>160</sup>.

<sup>158</sup> «Письма М. А. Зензинову, 1840—1850 гг.» (Читинский музей).

<sup>159</sup> Е. Д. Петряев. Исследователи и литераторы старого Забайкалья, стр. 165.

<sup>160</sup> Там же, стр. 156.

В июле 1840 г. на страницах «Литературной газеты» было опубликовано письмо из Нерчинска, подписанное никому не известным именем: Александр Галтай. А в следующем году, уже в «Москвитянине», появилось второе письмо, где автор раскрыл свой псевдоним. Это был Александр Мордвинов.

Обращаясь к издателю журнала, Мордвинов предлагал свои услуги в качестве постоянного автора, могущего писать о «разных достопримечательностях Заяблонья». Издатель «Москвитянина» М. Погодин охотно откликнулся на это предложение и не ошибся в Мордвинове: в его лице журнал обрел знающего и одаренного корреспондента.

Александр Александрович Мордвинов (1813—1869 гг.) принадлежал к числу тех, кому Нерчинск был обязан своей интенсивной духовной жизнью. Он находился под сильным влиянием декабристов, переписывался с ними и, обладая прекрасной библиотекой, снабжал их журналами и книгами. У него установился тесный контакт с В. К. Кюхельбекером, отбывавшим ссылку в Акше. В одном из писем к нему Мордвинов подчеркивал, как важно для него, Мордвинова, общение с человеком понимающим и близким по духу: «...быть вечно холодным, встречать всегда людей-животных, существующих только физически, без энергии, без малейшей благородной мысли, с чувствами вечно корыстными,—право, это нестерпимо, а в Вас я подозреваю человека, которому охотно с уверенностью на сочувствие передаю мою идею, мою надежду, даже печаль и радость...»<sup>161</sup> В заключение Мордвинов говорит, что спешит заменить возвращаемые книги другими, готов поделиться с Кюхельбекером своим правом на чтение их, «но взамен этого прошу только Вашего знакомства и писем...»<sup>162</sup>

Будучи преподавателем истории и географии Нерчинского уездного училища, Мордвинов проявлял огромный интерес к краеведению, совершал летом экскурсии и поездки по Забайкалью, изучал минеральные источники, этнографию тунгусов и бурят, памятники культуры. Его заметки о путешествиях по Забайкальскому и Туруханскому краям, написанные по свежим впечатлениям, печатались в «Отечественных записках», «Русском вестнике», «Москвитянине», «Современнике» и других журналах. Они служили источником сведений о природе, экономике и культурной жизни Восточной Сибири.

<sup>161</sup> Государственный исторический музей, отдел письменных источников, ф. 249, Щукин, 190, лл. 74, 75.

<sup>162</sup> Там же.

Ученик П. А. Словцова<sup>163</sup>, широко образованный человек, Мордвинов пользовался большим авторитетом среди интеллигенции и в Нерчинске и в Иркутске. К концу жизни он занимал пост вице-губернатора Забайкальской области. По некоторым сведениям, он покончил жизнь самоубийством из-за неприятностей по службе, связанных с «послаблениями» ссылкой<sup>164</sup>.

Краеведческие труды Мордвинова были высоко оценены не только местной, но и столичной печатью. Публикуя «Письмо из Нерчинска к издателю» в «Москвитянине», редактор М. Погодин давал к нему следующее примечание:

«Помещаю это частное письмо как любопытное, утешительное явление для всякого русского друга добра и просвещения. Вот как нам пишет по-русски учитель уездного училища — где же? В Нерчинске. Давно ли трудно было найти такого учителя в Москве и в Петербурге? Я уверен, что всякий благомыслящий читатель не припишет этого помещения какому-нибудь суетному тщеславию»<sup>165</sup>.

Мордвинов, как и другие члены нерчинского кружка, избегал освещения политических проблем: расправа царского правительства над декабристами вынуждала многих людей того времени скрывать свои оппозиционные настроения. Однако сам факт их дружбы с политическими «ссылными» говорил за себя. И не случайно, конечно, Мордвинов в своих «Путевых записках» наряду с Кяхтой и Нерчинском упоминал Чиндант и Акшу, где также, по его словам, «образованная жизнь несколько приютилась». Это был очевидный намек на декабристов. Вспомним, что в Акше жил В. К. Кюхельбекер, у которого Мордвинов побывал в 1841 г.

Как и многие представители разночинной интеллигенции 40-х годов, Мордвинов с симпатией относился к лучшей части купечества и возлагал на это сословие большие надежды. Рассказывая в своем письме от 23 мая 1840 г. о торжествах в Нерчинске по поводу открытия нового гостиного двора, Мордвинов называл главными героями этого события купцов А. А. Корякина и А. И. Черепанова, причем о первом было сказано, что это человек, «своим умом, гостеприимством и радушием делающий честь своей родине»; Черепанов же — «человек с одним из тех замечательных характеров, кото-

---

<sup>163</sup> По свидетельству Г. Н. Потанина (см. «Сибирь», № 5, 1876 г.).

<sup>164</sup> См. Е. Д. Петряев. Исследователи и литераторы старого Забайкалья, стр. 150.

<sup>165</sup> «Москвитянин», 1841, ч. 2, № 3—4, стр. 275.

рыми мы, русские, гордимся и заставляем неволью уважать себя»<sup>166</sup>.

Описание празднества — обильного обеда, палубы из домовой пушки, китайского фейерверка и т. д. — сопровождалось размышлением автора о том значении, какое имеет не только для России, но и для всей мировой торговли деятельность купцов Заяблонья: это, по словам автора, «есть основной фундамент благосостояния».

Мордвинов, конечно, далек от мысли, что экономическое развитие — предел того, о чем могут мечтать патриоты своего края. Объезжая селения на южной границе Нерчинского округа, он убеждается, что «жители границы своим благосостоянием превосходят остальных жителей округа», но «чувствуется недостаток в умственном образовании: на целой границе, где считается до 12 000 жителей, нет ни одного даже приходского училища!». И автор выражает надежду, что «будет время, когда и сюда заглянет приветный луч просвещения»<sup>167</sup>.

Стремясь просвещать умы соотечественников, Мордвинов думает при этом не только о сибиряках, но и о столичных жителях, пребывающих в полном неведении относительно того, чем и как живет Россия, простирающаяся на тысячи километров к востоку от Урала. Свои выступления в печати Мордвинов рассматривает именно с этой точки зрения: сообщая русской читающей публике сведения о Сибири, он стремится заинтересовать ее прекрасным краем, «где так много нового, нераскрытого, где горы полны металлов и камней дорогих, где леса обширны, реки привольны, где пиршествовал грозный Чингис-хан, где шли завоеватели Албазина»<sup>168</sup>.

Себя автор не считает компетентным в геологии, естественной истории, археологии и видит задачу лишь в том, чтобы писать «о разных достопримечательностях Заяблонья». Однако из-за отсутствия специалистов Мордвинов налагает на себя обязанность давать возможно более глубокие сведения из различных областей науки. Отправляясь в 1839 г. в крепость Горбицу — «самый крайний уголок Нерчинского округа», он решает «ничего не оставлять без внимания». Впрочем, иначе он и не мог бы поступать: столько необычного, бросающегося в глаза и еще не описанного наукой встречалось ему на каждом шагу! Он поневоле чувствовал себя пер-

<sup>166</sup> А. Галтай. Письмо из Нерчинска от 23 мая 1840 г. «Литературная газета», № 40, 27 июля 1840 г., стб. 1354.

<sup>167</sup> А. Мордвинов. Горбица. (Из путевых записок по Нерчинскому округу). «Отечественные записки», 1841, т. XIV, раздел VII, стр. 10.

<sup>168</sup> А. Мордвинов. Письмо из Нерчинска к издателю. «Москвитянин», 1841, ч. 2, № 3—4, стр. 276.

вооткрывателем, попавшим в необыкновенный, удивительный мир.

В этом очерке Мордвинов не только описал природу Нерчинского округа, но и дал некоторое представление о культурной жизни Кяхты — «столичного торгового города Сибири»: «Кяхта, к своему богатству, умна, образованна, много читает, много выписывает газет, журналов, любит вместе с прейскурантами и политику, слушает внимательно парламентские прения англичан, подает голос в пользу или против депутатов Франции, делает приговоры знаменитым людям, литераторам и пр., и пр.»<sup>169</sup>.

Но «Горбика» — это как бы первоначальный набросок, проба сил перед созданием фундаментального «Очерка Заяблонья» (1842 г.).

Уже самое начало очерка, где автор широкими мазками рисует грандиозную картину Сибири, настраивает читателя на восприятие важного предмета разговора, представляющего интерес для всякого образованного человека. Сибирь в описании автора — это огромная страна с самыми разнообразными климатическими условиями, с исключительными природными богатствами, с весьма развитым сельским хозяйством и населением, среди которого «много, очень много образованных, по крайней мере, здраво, основательно мыслящих людей, природных сибиряков»<sup>170</sup>. Последняя мысль утверждается полемически, с известной долей местного патриотизма, ее Мордвинов подчеркивает затем еще раз: «Сибиряки (русские) — народ смышленный, остроумный, понятливый, гостеприимный, смелый, твердый. По крайней мере, это — главные черты...»<sup>171</sup>.

«Очерк Заяблонья» носит научный характер — экономико-географический и этнографический. Мордвинов здесь меньше всего заботится о том, чтобы произвести на читателя впечатление чисто литературными красотами: по его мнению, Сибирь, если ее показать как она есть, сама скажет за себя.

Характеризуя Нерчинский округ (расположенный за Яблоновым хребтом — отсюда и название), он перечисляет зверей, которые водятся здесь, говорит об охоте и звероловстве, о металлах и минералах Нерчинских гор, о породах деревьев и кустарников, о водной системе округа, о рыбах, которые водятся в реках, об археологических памятниках, минеральных источниках и пр.

<sup>169</sup> «Горбика», там же, стр. 9.

<sup>170</sup> «Очерк Заяблонья». «Москвитянин», 1842, ч. VI, № 12, стр. 467.

<sup>171</sup> Там же, стр. 469.

Основное внимание автор уделяет характеристике населения — русского и бурятского. Здесь патристический пафос Мордвинова достигает апогея: нарушая реальные пропорции, автор рисует какую-то сказочную Аркадию, где все богаты, счастливы и премного довольны своей судьбой. Конечно, это объясняется не только влюбленностью в свой край, но и отсутствием настоящих критериев оценки: в условиях отдаленной провинции приходилось довольствоваться малым и почитать за счастье и фортепиано в доме, и «гармонику с вальсом Штрауса». Не исключено, что Мординов отдавал здесь дань официальной идеологии: в эпоху николаевского деспотизма многие печатные органы, в том числе «Москвитянин», непомерно восхваляли положение в России, и скромный сибирский краевед вряд ли мог идти против течения. Он проявлял даже большую осторожность в своих суждениях, чем, скажем, Зензинов или Паршин. И все же местное краеведение ему многим обязано: в своих работах он сообщал ценные сведения, мимо которых проходили другие исследователи.

Большое познавательное значение имела повесть Мордвинова «Одай»<sup>172</sup>. В ней автор довольно объективно изображал служителей культа и процесс богослужения у бурят. Описывая большой религиозный праздник, хорал, связанный с освящением новой кумирни, автор, с одной стороны, отдавал должное его пышности и великолепию, а с другой — отмечал и неискренность моления, и неравенство, которое существовало между ламами и самими прихожанами, и то, что храм этот похитил «у некоторых из них, быть может, последнюю кроху».

Но главное в повести то, что здесь раскрываются противоречия, существующие в среде бурят, — противоречия социальные в своей основе. Правда, на первый взгляд, конфликт в этой повести выдержан в духе романтических традиций и вполне укладывается в готовую, неоднократно опробованную схему: бедняк Одай любит дочь богатого бурята, которая отвечает ему взаимностью, однако отец ненавидит Одаю и тем более не согласится на их брак, что Одай беден. Подобного рода конфликт уже встречался в литературе Сибири, особенно поразительно сходство между повестью Мордвинова и произведением Н. Бобылева «Чингисов столб». И все же, если Мординов не оригинален в выборе сюжета, ему нельзя отказать в своеобразии освящения этого конфликта, в реалистическом осмыслении его.

---

<sup>172</sup> Отрывок из повести «Одай» под названием «Сцены из жизни бурят. — Хорал» опубликован в «Отечественных записках», 1843, т. XXX. № 9—10, стр. 75—83.

В отличие от повести Бобылева, где девушку не выдают за любящего ее бурята только потому, что за нее заплатил калым другой, здесь подчеркивается различие в социальном и имущественном положении молодых людей: за девушку просят слишком дорогой выкуп, чтобы Одай мог претендовать на ее руку. У Мордвинова, как и у Бобылева, герой выступает на состязаниях в верховой езде и стрельбе из лука, но на этот раз соперником его оказывается отец девушки. Писатель опять стремится подчеркнуть социальную сторону ситуации: богач Сандак давно славился своим табуном и не сомневался в победе, как вдруг он побежден и не кем-нибудь, а беднейшим из бурят! Негодованию Сандака не было предела.

Вражда этих людей такова, что дочь Сандака знает: «суровый отец убьет ее и Одая, если узнает о любви их»; в свою очередь, Одай угрожает своему счастливому сопернику: «...берегись, злодей... я вырву душу из твоего смрадного тела, пепел юрты твоей размечу по степи и под костями твоего табуна,—который до одной лошади пусть пожретс я смертоносною язвою, — зарю твои собственные кости...»<sup>173</sup>

Своеобразие повести Мордвинова заключается и в том, что, судя по отрывку, сюжетная оболочка легко разрывается обильным этнографическим материалом, который превращает это произведение в научно-художественное. Здесь так много подробностей из быта бурят, такое обилие бурятских слов, такой обширный комментарий<sup>174</sup>, что порой сюжет кажется лишь поводом для серьезного ознакомления читателя с национальными особенностями бурятского народа. В этом отношении Мордвинов делает значительный шаг вперед по сравнению с романтиками.

К чести Мордвинова следует сказать, что и сам сюжет повести вызывает к себе доверие, так как все, происходящее в ней, психологически обоснованно. Легко представляешь себе Одая, который не слышит восторженных криков толпы, не смотрит на награду, не прогуливает задыхающегося от усталости коня, а только ищет глазами в толпе женщин ту, ради которой он и одержал победу в состязаниях. И как преобразается он, когда любимая девушка проходит мимо, бросив на него выразительный взгляд!

Правда, речи влюбленного Одая звучат, пожалуй, слишком выпренно:

<sup>173</sup> «Сцены из жизни бурят. — Хорал», стр. 84.

<sup>174</sup> В примечаниях объясняются и такие слова, которые стали позднее общеизвестными: малахай — шапка, обыкновенно меховая, редко из материи; тайга — трущоба, непроходимый темный лес в горах и т.п.

«Но в тебе, скажи, встречаю ли я ту Долгор, что, бывало, любила меня более, нежели ласточка любит своих детенышей, что, бывало, ласкала меня, как ни одна буря не ласкала гривы моего коня, что, бывало, целовала меня жарче поцелуев стрелы моей с быстроногой козой? Это ты, точно ты!»

Не лишена элементов романтического стиля и сама авторская речь, особенно там, где писатель обращается к своей героине: «Куда же ты, милая ламайка? Куда твой путь в эту бурную погоду, в эту ночь, которая и мужчину устрасила бы своей грозной темнотой? Не на любовное ли свидание? Берегись его, как сна под лиственницей в минуты ударов грома...»<sup>175</sup>

К сожалению, опубликован лишь отрывок из повести. Трудно предполагать, как разворачиваются дальнейшие события. Но и тем, что появилось в печати, Мордвинов сказал свое слово. Не случайно В. Г. Белинский отнес этот отрывок к числу «более или менее замечательных статей», появившихся на страницах «Отечественных записок»<sup>176</sup>.

\* \* \*

Культурную жизнь Восточной Сибири конца 30 — начала 40-х годов нельзя представить себе без учета того вклада, который внес в нее Василий Петрович Паршин (1806—1853 гг.) — краевед, этнограф, писатель. Свою относительно короткую жизнь он отдал делу просвещения и изучения родного края. Энергичный, деятельный, любознательный, он объездил все Забайкалье, описав это путешествие в книге «Поездка в Забайкальский край» (М., 1844). Являясь в течение пяти лет преподавателем русского языка и словесности в Нерчинском уездном училище, он сделал немало для развития местной культуры. Изучая городской архив, он обнаружил ряд ценных документов по истории Нерчинска, а также материалы об освоении Амура и героической обороне г. Албазина. Это побудило его написать вторую часть книги, посвященную историческому прошлому Сибири, временам Хабарова и других русских землепроходцев. При этом он использовал не только записки историков Миллера и Фишера, но и народные предания, сохранившиеся среди старожилов Нерчинска. Много времени он отдал сбору преданий, легенд, сказок. К сожалению, большую часть этих материалов ему обработать не удалось, так как с переводом в Иркутск (в 1843 г.) он вынужден был все свое время отдавать обязанностям советника в губернском

<sup>175</sup> «Сцены из жизни бурят. — Хорал», стр. 83—84.

<sup>176</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. VIII. М., 1955, стр. 99.

суде. Эти годы, по-видимому, следует рассматривать как время спада его литературной и краеведческой деятельности: он жаловался Зензинову, что вынужден забросить литературу. Но все же ему удалось в 1849 г. написать на материале поездки в Москву книгу «Описание пути от Иркутска до Москвы» (М., 1851). Хотя назначение этой книги было чисто деловое, практическое, тем не менее и здесь Паршин проявил себя как художник и как краевед, страстно влюбленный в Сибирь. Это произведение, оставшееся почему-то незамеченным исследователями, достойно завершает творческий путь Паршина.

В начале 50-х годов Паршин оставил Сибирь, получив место штатного смотрителя Первого Московского уездного училища. Однако вскоре по приезду в Москву он умер.

Паршин пробовал свои силы в поэзии. Он написал под влиянием пушкинского «Анчара» стихотворение «К цветку», которое было отправлено Н. С. Щукиным в Петербург и опубликовано в несколько измененном виде под названием «Цветок. Бурятская песня»:

На Даурских степях  
Есть чудесный цветок,  
Он не красен венком,  
Не душист лепестком,  
Бледный вялый листок —  
Смотрит дикой травой,  
Но цветок — дорогой!  
И верблюд, и коза,  
Прочь бегут от него;  
Ни пчела, ни оса  
Не пьют меду его.  
Не казист, не высок,  
Он всегда одинок,  
Но чудесен цветок —  
Ядовит его сок...<sup>177</sup>

Несмотря на подражательность, это стихотворение свидетельствует о том, что Паршин не был лишен поэтического дара. (В январе 1840 г. на страницах того же журнала появилось другое его стихотворение «Моя звездочка».) Но голос художника обрел подлинную крепость, когда Паршин обратился к жанру путевых заметок и написал свое лучшее произведение «Поездка в Забайкальский край».

Хотя название этой книги, да и сам ход повествования связаны с единственной поездкой автора по Забайкалью, фактически здесь обобщены его впечатления от пятилетнего пребы-

<sup>177</sup> В. Паршин. Цветок (Бурятская песня). «Сын отечества», СПб., 1839, т. XI, стр. 116—117. Перепечатано в «Русской литературе» Н. Греча. Об истории опубликования этого стихотворения см. Е. Д. Петряев. Впереди — огни. Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1968, стр. 161—162.

вания в этом крае, о чем говорит и сам автор в своем «Предупреждении». Поэтому не следует рассматривать это произведение лишь как дневник путешествия: многие страницы в нем воспринимаются как плоды долгих раздумий автора — человека, несомненно, умного, наблюдательного, глубоко озабоченного судьбами родного для него края. И вполне заслуженно В. Г. Белинский назвал эту книгу в числе изданий 1844 года «особенно замечательных важностию содержания»<sup>178</sup>.

Паршин — патриот Сибири: он с восторгом и благоговением говорит о Байкале, восхищается величественной природой Забайкалья, любит красоту Верхнеудинска и Читы, восхваляет хлебосольство жителей Троицко-Савска и Кяхты. Вообще, куда бы он ни поехал, всюду взор его находит предметы, достойные похвалы, — будь то быстрая езда почтарей, или простота и добродушие нерчинцев, живущих одной дружной семьей, или чудодейственные минеральные источники, исцеляющие больных: вода здесь течет, по его словам, «тихими, светлыми слезами природы, соболезнающей о страданиях человечества...»

Но в то же время Паршину присущ трезвый, объективный, а порой и критический взгляд на действительность. Именно как подлинный патриот края он проявляет беспокойство по поводу многих неустройств и осуждает некоторые отрицательные общественные явления. Поборник образования, он сожалеет, что Верхнеудинское уездное училище помещается в ветхом здании, тесном и мрачном: «Мне представилось, что нехорошо просвещению сидеть в потемках»<sup>179</sup>. Его удручает бедность многих жилищ Нерчинска, полуразвалившиеся кровли домов, окна, затянутые пузырем, сальной бумагой, берестой со вставленными в нее стеклышками, крайняя неопрятность улиц. Но особенно его возмущает бесхозяйственность, повсеместно царящая в Сибири. Он называет Сибирь «русской Бразилией», где природные богатства пропадают втуне: «Палы в каждое лето истребляют вековые леса... Небрежение и леность — вандалы Сибири. Можно предсказать, что через сто лет Сибирь, покрытая непроходимыми лесами, будет нуждаться в лесе...»<sup>180</sup>

Хотя и с большой осторожностью, автор касается очень острой темы, волновавшей передовую сибирскую общественность, — декабристской ссылки. В связи с пребыванием в Нер-

<sup>178</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 486—487.

<sup>179</sup> В. П. Паршин. Поездка в Забайкальский край. М., 1844, стр. 39.

<sup>180</sup> Там же, стр. 33.

чинске он пишет: «Странно, почему, говоря о Нерчинске, я всегда думаю о ссылке?.. Вот что значит привычка соединять понятия с некоторыми именами...»<sup>181</sup> В другом месте он несколько конкретизирует это высказывание. Противопоставляя прелестной природе Забайкалья «назидательный» и скучный Нерчинск, он говорит: «Я называю его назидательным потому, что одно имя его пугает преступление и как будто выражает собою весь ужас ссылки. И здесь, даже в Сибири, где так привыкли слышать страшные напевы преступников, идущих в работу, имя Нерчинска окружено какою-то ужасною сферой...»<sup>182</sup>.

Читателям тех лет нетрудно было догадаться, о каких страдальцах Нерчинских рудников шла речь.

Трагическая участь декабристов, которую сибиряки могли наблюдать собственными глазами, заставляла всех сочувствующих им особенно остро ощущать гнет заточения. И это проявилось у Паршина в такой детали: первым «замечательным» селением от Байкала оказался Кабанский острог, но Паршин не захотел тут ночевать, «собственно, потому, чтоб не оставить воспоминания, что... ночевал в остроге...»<sup>183</sup>. Поневоле вспоминается гениальный современник сибирского писателя Генрих Гейне, который, путешествуя по Германии, не захотел ночевать в гостинице, каменные своды которой напоминали ему темницу...

Известную свободу от сковывающих человека правил и законов Паршин находит в патриархальном образе жизни монголов. Он готов утверждать, что эти люди не знают ревности и что «улусные красавицы их» пользуются полной свободой. «Надобно сказать и то,— добавляет он,— что в степях их нет тех зорких глаз, которые у нас следят каждое движение других и призут с наслаждением чужое доброе имя. Это принадлежность городов, а не безграничных степей, где все дышит самодовольством и свободой и цветет счастьем под открытым небом»<sup>184</sup>.

Но писатель понимает, что даже кочевникам невозможно быть полностью независимыми от влияния российской действительности. Он отмечает раболепие многих монголов перед начальниками, их скрытность и тщеславие. Особенно осуждает он господство лам, пользующихся исключительной суеверностью монголов для установления неограниченной власти над

<sup>181</sup> Там же, стр. 102.

<sup>182</sup> Там же, стр. 133.

<sup>183</sup> Там же, стр. 31.

<sup>184</sup> Там же, стр. 56—57.

ними. Ламы, которым полагается вести жизнь умеренную, «живут праздными трутнями... Общая черта их характера — лицемерие, гордость и низость»<sup>185</sup>.

Автор иронизирует по поводу шарлатанских методов лечения у монголов, когда больного пытаются поставить на ноги с помощью молебна, ворожбы, битья в бубен, звона колокольчика, ударов трещетки, рева в трубы и раковины: «Ежели после одного приема такого рода лекарства больной не выздоровеет, то повторяют действие несколько раз и доколотятся, наконец, до того, что он или умрет или оздоровеет...»<sup>186</sup>

Впрочем, несмотря на осуждение суеверий и невежества, автор считает религию необходимой как средство утешения. Он отдает здесь дань собственным предрассудкам.

Книга Паршина имела во многом практическое назначение. В ней содержались советы делового характера, адресованные либо местным властям, либо купечеству: поставить маяки на р. Селенге, торговать чаем не только в России, но и в Европе и т. д. Однако отдельные разделы в книге были написаны довольно эмоционально и преследовали определенные художественные цели. Таково, например, описание бури на Байкале — бури, во время которой автор чуть не погиб. Не без мастерства описан брачный обряд у монголов, их национальный праздник весны и цветов — обон. Хороши в книге и картины природы, причем автор пользуется чисто сибирскими сравнениями: забайкальскую флору он уподобляет богатой молодой монголке, униженной серебром и кораллами; живописная сопка иногда выбегает из группы гор и «стоит, как испуганная лань, подняв высоко свою узорчатую голову...»

Не всегда сравнения, используемые Паршиным, удачны. Вряд ли что-нибудь может сказать читателю воображению, например, такое: «Иногда промчится веселый всадник — монгол, темный, как вечер, и добрый, как день. Летучий иноходец его, чуть касаясь земли, стремится, как выстрел»<sup>187</sup>. Но в целом слог Паршина отличается простотой, отсутствием красоты и претензий на эффект. Хотя романтизм в Сибири еще далеко не изжил себя, писатель уже испытывал влияние развивающегося в русской литературе критического реализма, что сказывалось и на стиле произведения, и на авторской позиции. Определенную роль сыграла также богатая в Сибири краеведческая традиция. Паршину было у кого учиться.

---

<sup>185</sup> Там же, стр. 48—49.

<sup>186</sup> Там же, стр. 47.

<sup>187</sup> Там же, стр. 41.

В книге часто звучит личная интонация. Автор как бы доверительно беседует с читателем. В финале первой половины книги он подогревает наш интерес, пообещав во второй части увековечить замечательные дела завоевателей Сибири — дела, которые не должны оставаться в неизвестности. Следуя фактам, изложенным у Миллера и Фишера, он рассказывает о прошлом увлекательно, живо, с горячей заинтересованностью в судьбе русских землепроходцев.

Паршин не приукрашивает своих героев: говоря об удалстве и неистощимой энергии казаков, он охотно признает, что многих из них привлекла на Амур перспектива легкого обогащения. Он пишет о том, что казаки не терпели над собой никакой власти, не хотели трудиться, предпочитая труду битвы и походы. Резко осуждает он якутских воевод за их своекорыстие; за то, что они могли лишать поддержки и обрекать на гибель русских людей, если те своевременно не делились с ними добычей. Два года воеводы не посылали помощи в крепость Албазин, не понимая всей важности ее и «считая казачью вольницу глупым народом, который боится мнимой опасности».

В то же время Паршин восхищается героизмом казаков и их предводителей, в особенности Ерофея Хабарова, воспевает их победы над врагами, превосходившими числом, но не умением сражаться. «Пример храбрости, достойный истории», — говорит автор по поводу победы 500 человек казаков и звероловов над десятитысячной армией китайцев у Камарского острога. Но все эти сражения и победы меркнут рядом с обороной Албазина 1686—1687 гг. Почти год сражаются албазинцы, сокрушая многочисленных врагов. Не хватает съестных припасов, начинается цинга, многие умирают. Наступает зима, и враги не выдерживают — сменяют осаду на блокаду, а с наступлением весны отступают совсем. К этому времени в Албазине остается всего 66 человек!..

Немаловажным этапом в творческой эволюции Паршина стала его книга «Описание пути от Иркутска до Москвы». Правда, и этот труд не претендовал на художественность. Паршин создал путеводитель-справочник, в котором перечислялись все станции на Московском тракте, кратко описывались города и селения, указывались расстояния между ними и оценивался путь — его удобство или трудность, шел ли он степью или лесом, песчаный был грунт или твердый. Автор не забывал сказать, сколько домов в каждом селении, какая в нем церковь — деревянная или каменная, каково здание почтовой станции. Поэтому, вполне закономерно, повествование не могло быть эмоциональным: автор писал сдержанно, дело-

вито, порой суховато. И, конечно, без конца повторялся: число верст — число домов, дорога в гору — дорога под гору, среди лесов — среди лугов и т. д. и т. п.

И все же эта книга написана художником, краеведом и потому представляет определенный литературный интерес.

Прежде всего, несмотря на повторения, она читается довольно легко: мысленно опять как бы едешь вместе с автором, впечатления все время меняются, и дорога не успевает наскучить. Тем более, что все, открывающееся глазам, сопровождается короткими и толковыми комментариями знающего человека.

Далее. Если в первом труде говорится лишь о Забайкалье, то здесь автор обозревает, по существу, всю Сибирь. Правда, он не имеет возможности глубоко вникать в подробности жизни тех мест, которые он проезжает. И все же осведомленность его велика. При этом совершенно очевидно, что он не только пользуется личными наблюдениями, но и расспрашивает местных жителей, представителей власти, ямщиков, а также просматривает, по-видимому, кое-какие научные труды. Ему удается передать особенности той или иной местности — своеобразие природы и климата, экономики и быта, нередко он обращает внимание на второстепенные детали, поскольку и в них проявляется местный колорит. В Иркутске он отмечает незначительное число каменных домов (жители города считают, что каменные дома сохраняют в себе сырость и потому вредны для здоровья). Он пишет, что женщины и девушки Иркутской губернии носят накладки очень красиво и кокетливо, подвязывая их на голове вязочками, между тем как жительницы Красноярска просто накладывают ими и не отличаются вкусом в выборе тканей. В Томске и Ачинске он удивляется предлинным линейкам, довольно неуклюжим, которые являются основным видом транспорта; в Канске он сетует на обилие собак. Вода в Барабинской степи, отмечает он, озерная и в некоторых местах до того зацвела, что ее трудно употреблять в пищу. Зато барабинцы умеют готовить превосходный квас. И пр. и пр.

Автору удается в какой-то степени передать атмосферу жизни середины XIX в. Мы узнаем, что ко времени написания книги в Красноярске уже отшумела золотая лихорадка и центр золотопромышленности переместился в Енисейск — теперь Красноярск «спит, как утомленная барыня после бала». А до 1845 г. город изумлял всю Сибирь своей роскошью: шампанское и деньги лились рекой. «Впрочем, для стола богачей и ныне привозят в Красноярск живых стерлядей».

Паршин пишет о том, что золотая лихорадка неизбежно вызывает рост цен на жизненные припасы, на дома и квартиры. Это он наблюдает не только в Красноярске, но и в Нижнеудинске. Ему известно, в каком трудном положении оказываются рабочие, выходящие с золотых приисков и попадающие в западно-кабак: здесь они пропивают «весь полугодовой и тяжкий труд свой, так что некоторые... возвращаются назад на прииски, не имея средства следовать на места своих жительство»<sup>188</sup>.

Критическая тенденция, пробивающаяся в книге то тут, то там, усиливается во второй половине ее, где речь идет о Европейской России. Автор невольно сравнивает две «половины» страны, и объективно это сравнение оказывается не в пользу «Европы». Конечно, и в Сибири автор находит немало недостатков, но, перевалив за Урал, он дает полную волю своей иронии. Может быть, в восприятии европейских городов России, особенно Москвы, есть доля провинциальной ограниченности, но главное все же заключается в том, что автор посмотрел на них «свежими очами». Паршин, например, высмеивает стремление жителей города Владимира сравняться с Петербургом и подражать столице во вкусах и модах: «Повсюду первенствуют модные магазинщицы—француженки по преимуществу и немки, изменившие и картофелю и бутерброду и забывшие, как старый сон, свой нежный «Mein lieber Augustin». Воздушные их произведения, нередко возникшие под волшебною иглою русской мастерицы, какой-нибудь безвестной и скромной Маланьи Федотовны, величаются парижскими и венскими!..»<sup>189</sup> В Москве Паршина поражает пристрастие к обильной еде. «Продажа и купля — непрерывно идет, по всем рядам и лавкам, на всех площадях и улицах. От этого беспрестанного «купи и продай!» в характере жителей врезалась меркантильность и какое-то неукротимое желание и стремление к приобретенню»<sup>190</sup>. Писатель обращает внимание на целый ряд других отрицательных сторон жизни Москвы, замечая — вполне в духе времени, — что «это непочатое поле для комедий и водевилей».

В таком же критическом плане он оценивает и другие города России. В Перми он посещает могилу местного врача Граля, который самоотверженно и неутомимо лечил больных: «Без различия лиц и звания он с одинаковой готовностью спе-

<sup>188</sup> Н. Паршин. Описание пути от Иркутска до Москвы. М., 1851, стр. 39.

<sup>189</sup> Там же, стр. 209.

<sup>190</sup> Там же, стр. 227.

шил и в палаты богача и в убогую хижину... Я предполагал увидеть памятник Гралю на городской площади, и ошибся!»<sup>191</sup> В Казани писателя поразила грязь в боковых и низких улицах. «Бедные люди и ремесленники занимают т. н. подвальные этажи, где нечистота, духота и сырость!»<sup>192</sup>

Все это, разумеется, не исключало восхищения автора тем, что было замечательного в России и чего он не видел в своей родной Сибири. Он вдохновенно описывал ярмарку в Нижнем Новгороде, где «торговля кипит, как в бурю Байкал». С восторгом въезжал он в город, являвшийся предметом его многолетних мечтаний, — Москву. Страницы, посвященные этому, весьма напоминают главу из «Евгения Онегина», где рассказывается о прибытии в Москву Татьяны, — думается, что здесь не обошлось без влияния Пушкина. Но особенное воодушевление вызывает в нем строящаяся железная дорога из Москвы в Петербург. «Это чудесно!» — восклицает он и этой фразой завершает свой труд.

Хотя книга Паршина написана в спокойных тонах, время от времени в ней прорывается печальная интонация. Это чувствуется уже во введении, где автор говорит о неизбежной утрате с годами юношеских иллюзий, о необходимости отказаться от гордых мечтаний и смириться с тем, что жизнь — это в общем-то, добывание хлеба в поте лица своего. Меланхолическая нотка звучит и там, где Паршин рассказывает о посещении в Ачинске могилы своего брата, умершего в расцвете сил:

«Сорванный цветок на могиле его я храню как святыню. Мне казалось, что в его фиолетовой, ярко блестящей чашечке есть частица жизни и моего брата!.. а светлые капли росы на лепесточках — это слезы при нечаянном свидании!.. Я не смел вопрошать смерть о ее тайнствах. Тихий шелест берез как будто напоминал мне своим шопотом, чтобы я не нарушал покоя почившего, раздавшийся звон к заутрени торжественно возвестил мне, где должны мы искать в скорбях своих утешение!»<sup>193</sup>

Снова религия представляется автору опорой в быстротекущей жизни. Но это все же преходящее, минутное настроение: Паршин всеми силами души привязан к земному и, несмотря ни на какие разочарования, готов трудиться на благо общества, — подобно доктору Гралю, в котором он видит пример подвижничества и самоотверженной любви к людям.

<sup>191</sup> Там же, стр. 144.

<sup>192</sup> Там же, стр. 176.

<sup>193</sup> Там же, стр. 52.

Дмитрий Павлович Давыдов (1811—1888 гг.) заявил о себе как поэт в середине XIX в. В 1857—1859 гг. он опубликовал в петербургской газете «Золотое руно» целый ряд произведений в прозе и стихах, в том числе «Думы беглеца на Байкале», ставшие позднее песней. В 1858 г. в Казани вышло в свет его лучшее произведение «Ширэ гуылгуху, или волшебная скамеечка». Имя Давыдова стало известным за пределами Сибири.

К поэзии он обратился, по-видимому, уже в ранней юности. Так, в поэме «Волшебная скамеечка» он говорит о себе:

Я юношей в семнадцать лет  
В Троицкосавске поселился:  
Учил детей и сам учился,  
Как математик и поэт<sup>194</sup>.

Эти слова относятся к концу 20-х годов. Уже тогда достаточно четко определился круг интересов Давыдова — он увлекался точными науками и поэтическим творчеством, принимал участие в рукописных изданиях Кяхты. Всё это оказалось для него отнюдь не преходящим занятием, теряющим интерес с годами. Став в конце 30-х годов зрителем якутских училищ, он продолжал писать стихи:

Восторг горел в душе поэта,  
Когда любовью согретый,  
Я превосходный мадригал  
Прекрасной девушке писал!<sup>195</sup>

К началу 40-х годов это уже был вполне зрелый человек, имевший за плечами немалый опыт педагогической работы, разносторонне образованный (в 1831 г. он должен был сдавать экзамен на степень кандидата физико-математических наук при Московском университете, но не смог отправиться туда из-за недостатка средств). Давыдов проявлял большой интерес к краеведению, хорошо знал природу Сибири и особенности быта местных народов; около 1845 г. он участвовал в деятельности Северо-Восточной сибирской экспедиции, прибывшей в Якутскую область<sup>196</sup>. Словом, ему было что сказать как поэту, и он, несомненно, написал уже многое из того, что было опубликовано позднее.

<sup>194</sup> Д. Давыдов. Волшебная скамеечка. См. «Стихотворения». Иркутск, 1937, стр. 72. Все дальнейшие ссылки на это издание.

<sup>195</sup> Д. Давыдов. Поэтические картины. Иркутск, 1871, стр. 15.

<sup>196</sup> См. Ф. Кудрявцев. Краеведческая деятельность Д. П. Давыдова. «Бурятозведение», Верхнеудинск, 1929, № 1—2.

Но после яркой вспышки, каковым был выход поэта в сточлиную печать, наступает период почти безвестного существования. В 1860 г. он подал в отставку с поста смотрителя училищ Верхнеудинского округа, а вскоре ослеп. Свои новые стихи он должен был диктовать дочери. Энергичный и целеустремленный человек, умевший сохранять силу духа в самых трудных условиях, Давыдов тем не менее с годами начал испытывать творческий спад и уже почти не делал попыток публиковаться. Объяснялось это также давлением враждебных ему людей и обстоятельств, невежеством и отсталостью окружающей среды.

Как поэт он многому учился у романтиков — прежде всего любви и интересу к быту, нравам, фольклору сибирских народностей. Этнографический колорит, щедрое использование легенд и фольклорных мотивов, оснащение поэтического языка местными словами и выражениями — все это роднило поэта с романтизмом. Но вместе с тем его нельзя зачислять в ряды романтиков. Давыдов — реалист даже тогда, когда обращается (как, например, в «Волшебной скамеечке») к фантастическому сюжету. В своем творчестве он всегда идет от действительности, от быта, от психологии героя к поэтическому раздумью. Его не привлекают ни романтические преувеличения, ни искусственные контрасты, ни патетический тон. Он пишет просто, легко, свободно, следуя пушкинской манере, иногда с юмором, позволяющим ему то несколько смягчить безотрадную картину жизни, нарисованную им, то подвергнуть насмешке несимпатичных ему людей.

В то же время надо оговориться: Давыдов был предшественником критического реализма, но не стал его представителем. Для этого ему не хватало широты социального кругозора, умения докопаться до первопричин тех отрицательных явлений общественной жизни, которые он улавливал и довольно правдиво отражал в своих стихах. Давыдов не обладал крупным талантом. Поэтому он не занял заметного места в литературе Сибири, несмотря на то, что упорно совершенствовал свое поэтическое мастерство, изучал сибирскую действительность, активно подвизался на поприще педагога, краеведа, ученого. Впрочем, как знать, если бы ему не пришлось безысходно страдать от одиночества и непонимания окружающей среды, если бы судьба не обрушивала на его голову слишком много несчастий, может быть, ему удалось бы добиться и большего? Тем более, что его рукописи дважды были уничтожены в результате стихийных бедствий.

Можно лишь удивляться той силе духа и жизнелюбия ху-

дожника, которые позволили ему в самых трудных обстоятельствах писать жизнерадостные стихи. Такова и его поэма «Волшебная скамеечка».

Несмотря на сказочный сюжет, поэма в основе своей реалистична. Давыдов рассказывает в ней о своей жизни в Троицкосавске — безрадостной жизни бедняка-учителя. И внешне легкомысленная интонация рассказа лишь контрастно усиливает впечатление от далеко не веселого содержания произведения.

Молодой учитель математики ютится в убогой хижине. Когда в праздничный день он выходит погулять, ему приходится отправляться босиком: «В экономических видах, к тому же красовалось лето, — нехстати обувь на ногах»<sup>197</sup>. В его отсутствие кто-то крадет его единственную ценность — сапоги. С горьким юмором поэт говорит об этом несчастье — ведь ему приходится постоянно бедствовать, терпеть унижение от родителей своих учеников, чтобы заработать себе на жизнь, чтобы приобрести пару сапог:

И сколько выстрадала грудь,  
Чтоб ноги с честью обушь;  
Как было горько, неприятно  
Ходить в дома и обучать  
Мальчишек мудрости печатной,  
А девочек вальсировать.  
С каким презреньем, как надменно  
Отцы взирали на меня.  
С какою миною смиренной  
Стоял пред маменьками я...<sup>198</sup>

Поэт вполне отдает себе отчет в том, что такова не только его личная судьба, но и участь многих подобных ему молодых людей, не имеющих иных средств к жизни, кроме своего скромного труда. Вот почему он неоднократно перемежает рассказ авторскими сентенциями о бедственном положении сибирского учительства: «...завсегда у педагога желудок на диете строгой», «...бедна постель у педагога. Мечтой солому как ни грей, — лежать невесело на ней» и т. п.

Правда, обстоятельства в конце концов складываются в пользу героя поэмы: ему не только удается вернуть себе сапоги, но даже стать обладателем клада и найти очаровательную невесту. Но для этого потребовалось вмешательство волшебной скамеечки. Мысль автора ясна: только чудо может

<sup>197</sup> «Волшебная скамеечка», стр. 73.

<sup>198</sup> Там же, стр. 74—75.

превратить бедняка в состоятельного человека, и потому неожиданно счастливый оборот событий<sup>1</sup> вызывает у читателя обратную реакцию. Чувствуется призрачность, нереальность, неосуществимость этого счастья. Так и кажется, что герой поэмы все это нафантазировал, лежа на своей бедной постели. И мы не знаем, стала ли «резвушка милая Людмила» женой героя: она появилась и исчезла, как «дивный образ» при луне.

В финале поэмы автор переносит нас из области размышлений о благополучии героя в сферу его творческой деятельности: волшебная скамеечка

...напоминает мне  
О нашей доброй стороне,  
О колдунах, об их затеях,  
О ведьмах, о летучих змеях  
И помогает сочинять  
Поэму про казачью рать;  
Стоит у двери кабинета,  
Где я сижу по вечерам,  
Глушцов гоняет от поэта,  
Стучит приветливо друзьям,  
Не допускает мысли грешной  
До почитателя харит  
И от завистников успешно  
Приют веселый сторожит<sup>199</sup>.

Таким образом, не в богатстве, не в преходящих радостях, а в творчестве, в общении с друзьями герой обретает мир с самим собой и удовлетворение своей жизнью.

Будучи произведением автобиографическим, поэма в то же время приобретает обобщенный характер. Только близорукий читатель не мог бы разглядеть в этом произведении под покровом юмористического повествования возмущения автора несправедливостью существующего порядка вещей.

Несмотря на фантастический сюжет, поэма лишена мистцизма: в ней чувствуется здоровое, трезвое, глубоко земное отношение автора к миру. Поэт юмористически осмысляет поверье, существующее у бурят, что с помощью «ширэ гуйлгуху» (пущенной в бег скамеечки) можно обнаружить украденные вещи. Актуальность его замысла усиливается тем, что в то время широко распространяется увлечение спиритизмом. В примечаниях автор пишет: «Когда Америка и Европа толковали о ходячих столах, мы подсмеивались над этой старую новостью. Еще в ребячестве мы ворожили ковригою хлеба или ситом...

<sup>199</sup> Там же, стр. 90—91.

Бегающая ламская скамеечка относится к явлению того же рода»<sup>200</sup>. Хотя автор и не опровергает напрямую спиритизма, он весьма далек от суеверий. Исследователь творчества Давыдова Ф. А. Кудрявцев справедливо обращает внимание на то, что в поэме с фантастическим содержанием поэт высмеивает суеверные слухи<sup>201</sup>. Достаточно вспомнить эпизод, где говорится о появлении «призрака» у одинокой могилы в лесу:

Не раз гулял я в глубине  
Той чащи дикой и тенистой;  
Однако ж не случилось мне  
Встречаться с силою нечистой.  
Однажды, впрочем, как-то сам  
Приметил я скелета там  
В очках, во фраке и с тетрадкой.  
Не спрусил я, не убежал;  
А наблюдал за ним украдкой,  
И скоро чудо разгадал:  
Бедняк, припомнив сказки детства,  
Зашел сюда искать наследства!..<sup>202</sup>

Фантастический сюжет служит автору поводом для развития этнографической темы: герой поэмы обращается за помощью к своему давнишнему другу бурятскому ламе Гомбою Дабанову. Выразителен портрет этого человека — спокойного, таинственного, доброго. Гомбой варит чай, не обращая внимания на взволнованного гостя. И только угостив юношу своим «напитком знаменитым», начинает разговор о том, как им отыскать вора. В поэме описан и сам процесс заклинания скамеечки — долго, час за часом бормочет Гомбой над скамеечкой, «правильно покрытой резьбою из тибетских слов и начертаньями богов»:

Кружилась сильно голова,  
Дыханье сперлось, и едва  
От неприятных ощущений  
Я не покинул колдовства<sup>203</sup>.

Это колдовство, «поведение» скамеечки, реакция поэта на волшебство изображены с такой достоверностью и с такими реалистическими подробностями, что веришь в правдивость

<sup>200</sup> Там же, стр. 91.

<sup>201</sup> Ф. Кудрявцев. Забытый сибирский поэт Д. П. Давыдов. «Сибирский литературно-краеведческий сборник», вып. 1. Иркутск, 1928. стр. 87.

<sup>202</sup> «Волшебная скамеечка», стр. 86—87.

<sup>203</sup> Там же, стр. 80.

всего этого, сказку воспринимаешь, как быль. Тем более, что автор сопровождает свою поэму развернутым этнографическим комментарием, который как бы подтверждает, что все, о чем говорится здесь, списано с натуры:

В поэме содержится ряд наблюдений автора над жизнью провинциального сибирского городка, причем критический взгляд поэта очевиден. Иронический подтекст содержится, например, в эпизоде, где рассказывается о том, как волшебная скамеечка приводит поэта, ищущего себе невесту, к дому смотрителя казенных школ:

Начальник славный у поэта,  
Хоть жил с супругой не в ладу;  
Но падчерица Лизавета  
Была у старца на беду.  
Девице за тридцать пробило,  
Глаза по ложке, с зелена  
И мушку завсегда носила  
На шпиге носика она.  
Конечно, здраво рассуждая,  
Не увлечет краса такая;  
И сам бы дряхлый Вельзевул,  
На ней жениться не рискнул,  
Но пред начальством глуп и гений:  
Оно не терпит возражений...<sup>204</sup>

Картинкой из жизни купеческого сословия является описание квартиры, в которой поселился неожиданно разбогатевший педагог:

На зависть людям у меня  
Была отличная квартира,  
Постель с драпри из кашемира,  
Диваны, кресла, зеркала,  
Картинно-шитые подушки,  
Камин с экраном из стекла,  
На этажерках безделушки,  
Ковер персидский на полу,  
Салфетки с кружевным узором,  
Лянсин с фарфоровым прибором  
И пнезда ласточек к столу<sup>205</sup>.

Давыдов — мастер сибирского пейзажа. Он по-пушкински краток и точен в описаниях:

Природа негою дышала:  
Безоблачные небеса,  
Поля, лужайки и леса,

---

<sup>204</sup> Там же, стр. 90.

<sup>205</sup> Там же, стр. 88.

Все глаз невольно восхищало.  
Прохладный веял ветерок;  
Порхал беспечный мотылек;  
Цветы душистые пестрели;  
А по дорожкам, где песок,  
Перелетали цинцидели<sup>206</sup>.

Думается, что и юмор поэта—непритязательный, нена-  
тужный, слегка иронический — тоже во многом навеян Пуш-  
киным. О ламе Гомбое сказано:

Тут, зная, как опрятен я,  
Он передом своей рубашки  
Очистил тщательно края  
Китайской деревянной чашки  
И предложил в ней чаю мне<sup>207</sup>.

По поводу кражи сапог поэт раздражается тирадой, полной  
негодования, но вызывающей комический эффект:

— О тать презренный, тать проклятый, —  
В отчаянии я восклицал.—  
Зачем, напероник супостата,  
Ты сапоги мои украл?  
Когда ж того судьба желала,  
Убил бы ты меня сначала;  
И, разлучаясь с душой,—  
Быть может, несколько упрямой,  
Я думал бы: сгнию босой;  
Но мертвые не имут срама...<sup>208</sup>

И, наконец, в поэзии Пушкина следует, по-видимому, ис-  
кать истоки той игры пылкого воображения, которая присуща  
поэме и лирическим стихам Давыдова. Поэт пишет о том,  
как волнуется его герой, преподающий в богатых домах, когда  
появляются перед ним маменьки его воспитанников:

Когда они зайдут, бывало,  
В педагогическое зало  
Из комнаты любви и сна.  
Открыта грудь, открыта шея;  
Не знаешь, что чего милее,—  
Везде изнеженность видна.  
Другой бы млеял и таял сладко;  
А я, бедняк, смотрел украдкой  
И сознавал в душе своей,  
Что в нас не допускают чувства;  
Жрецов науки и искусства,  
Нас не считают за людей<sup>209</sup>.

---

<sup>206</sup> Там же, стр. 74.

<sup>207</sup> Там же, стр. 78.

<sup>208</sup> Там же, стр. 74.

<sup>209</sup> Там же, стр. 75.

В поэме «Волшебная скамеечка» отчетливо проявились многие наиболее характерные черты Давыдова-поэта и краеведа. Ф. А. Кудрявцев верно замечал, что в краеведении Давыдов требовал точности, а в поэзии любил «туман выдумки»<sup>210</sup>. Мы бы добавили от себя, что в поэзии он любил «туман выдумки» в сочетании с точностью. В этом можно убедиться на примере многих его стихов, посвященных Сибири,—а таких большинство.

Живя продолжительное время в Бурятии и Якутии, Давыдов собирал песни, легенды и сказки сибирских народов и сам творил под их непосредственным влиянием. Естественно, что он переносил легендарные и сказочные мотивы в свои стихи. Якутская легенда лежит в основе его стихотворения «Жиганская Аграфена» (об этом сам автор говорит в предисловии к стихотворению). Героиня, изображенная здесь, стала шаманкой и властвовала над духами, но она полюбила нучу — русского и решила избавиться от шаманства. Это не удалось ей: явились разгневанные духи и замучили ее до смерти. Отпечаток легендарности лежит и на стихотворении «Амулет»: старая шаманка спасает тонущего в реке русского и дарит ему амулет, который делает его невидимым и всемогущим.

«Туман выдумки» присутствует в «Думе II о покорении Сибири». Хану Кучуму сообщают о том, что «в соседстве с черными лесами стал появляться белый лес»,— Давыдов повторяет здесь то, о чем уже писал раньше Ершов в поэме «Сузге». Использует поэт и другие легенды: хану снится город в небе, золотом украшенный, и слышится звон колоколов; в другом зловещем сне хан видит драку двух зверей — огромного серого волка и проворной черной собаки,— в этом поединке побеждает последняя. Как мы уже знаем, эта легенда тоже была использована Ершовым в «Сузге», но если там она была лишь упомянута, то у Давыдова это подробно, с большим драматизмом разработанный эпизод. Провидят страшное будущее и шаманы, призванные Кучумом. Они объясняют ему мрачный смысл его сновидений:

Искер исчезнет; город новый  
Построит враг суровый.  
Изменит все в Сибири он —  
И веру нашу, и закон<sup>211</sup>.

Все это — элементы народной фантастики, почерпнутые Давыдовым из фольклора. Не склонность романтика ко всему

<sup>210</sup> Ф. А. Кудрявцев. Сибирский поэт Д. П. Давыдов. Там же, стр. 19.

<sup>211</sup> «Дума II о покорении Сибири», стр. 56.

исключительному и порой «потустороннему», а любовь поэта к народному творчеству, к выражению реального через сказочное, к метафорическому языку сказителей и побуждает Давыдова так охотно использовать легендарные мотивы.

Но, повторяем, как и народные певцы, поэт прочно стоит на земле и все чудесное осмысляет реалистически. Вот обладатель амулета встречается с красавицей, и кончается на этом власть «волшебного узла»: бессилён амулет «пред взором девы говорливой, не любящей меня».

Изображая явления сверхъестественные, Давыдов пользуется красками и образами окружающей действительности. Не всегда это у него получается, иногда он обращается к арсеналу устаревших романтических средств,— но чаще его изобразительная сила весьма велика.

Таково, например, описание боя между собакой и волком:

Вот шаг один между зверями,—  
Остановились оба враз,  
Сверкнули красными глазами,  
Щетина выше поднялась,  
Взревели дико, — привскочили,  
Снялись, и туча черной пыли  
Шатром над ними развилась.  
В песке сыпучем лежа бьются;  
Не видно, как они грызутся,  
Но слышен то протяжный вой,  
То звонкий визг, то лай глухой...<sup>212</sup>

Создавая стихи о жизни сибирских народностей, Давыдов показывает эту жизнь во всем ее драматизме. Невольно вспоминаются очерки Бестужева-Марлинского, когда читаешь одно из лучших стихотворений Давыдова «Тунгус». Это — рассказ о горькой участи охотника-тунгуса, жизнь которого всецело зависит от удачи. Вот уже долгое время он питается лишь древесной корой, как вдруг ему удается метким выстрелом уложить сохатого.

Пирует он: рожни дымятся.  
В котле седая пена бьет;  
Проворно скулы шевелятся,  
И уже глаз, и шире рот.  
Доволен был тунгус усталый,  
Давно так сытно не едал;  
И, облизав на пальцах сало,  
Набил ганзу и дым глотал<sup>213</sup>.

---

<sup>212</sup> Там же, стр. 47.

<sup>213</sup> «Тунгус», стр. 95.

Однако и за это короткое счастье — быть сытым — тунгус дорого платит: заснув в шкуре сохатого, он просыпается накрепко спеленутый замерзшей шкурой.

Ни рук, ни ног, все крепко сжато,  
Густая шерсть со всех сторон,  
И под гробницею лохматой  
Зубами лишь щелкает он...  
Вот минул день и ночь минула,  
Вновь осветились небеса  
И снегом глубоко задуло  
Приют последний тунгуса<sup>214</sup>.

Трагедия бедности — мотив, часто повторяющийся у Давыдова. В стихотворении «Моя юрта» он описывает свое бедное жилище: окно закрыто льдиной, в горшке кипит вода с сосновой корой, на постели лежат две подушки травяные. Но поэт не унывает: с ним его любимая. Правда, надежда у них только одна — на небеса.

Не потому ли постоянным, роковым другом поэта является пистолет, которому он посвящает один из своих сонетов?..

Лирические стихи («Не ходи на край залива», «К колечку» и др.) — не лучшие у Давыдова: им не хватает той конкретности и четкости образного мышления, которая отличает его «сибирские стихи». В самом деле, как просто, свободно и зримо пишет поэт о сибирской природе:

Все было тихо: солнце село,  
Чуть слышен плеск волны;  
А ночь июньская светлела  
Без звезд и без луны.  
Веслом двухлопастным лениво  
Я бороздил поток.  
Скользил по Лене горделивой  
Берестяной челнок.  
Далеко берег был за мною  
Другого не видать;  
Но над безбрежною рекою  
Так весело мечтать<sup>215</sup>.

Но вот увядает сибирский мотив, и в лирическом обращении «\*\*...ой» («Не ходи на край залива...») слог становится манерным и безликим:

Над пустынной Селенгою  
Есть веселый грот:

---

<sup>214</sup> Там же, стр. 96.

<sup>215</sup> «Омулет», стр. 98.

Там, хранимое судьбою,  
Счастье живет.  
О, туда, мой друг прелестный,  
Ангел—поспешай.  
Там все мило и чудесно,  
Там желанный рай.  
Там в тиши разоблачится  
Жизнь перед тобой,  
А в кристалле отразится  
Дивный образ твой<sup>216</sup>.

Единственное, пожалуй, из лирических стихотворений, написанное на уровне лучших стихов Давыдова, — «Сибирский поэт». Это — исповедь автора, рассказ о своей жизни, суровой, трудной, бедной радостью, обильной тяжкими испытаниями. Вместе с тем от этого стихотворения веет энергией и бодростью, столь характерными для Давыдова:

Моя душа от горя не черствела:  
Поэзия сроднилась со мной.  
В тайге, в снегу я на бересте смело,  
С окрепшею от холода рукой,  
Писал стихи талинкой обгорелой  
И заливал их теплою слезой:  
От радости тогда струились слезы,  
Что в мире есть талины и березы<sup>217</sup>.

Поэт говорит о том, что он исколесил чуть ли не всю Сибирь: побывал на Восточном океане, всходил на Хамар-Дабан, не раз переплывал Ангарские пороги, бродил по устью Енисея, «весело плескался» меж Ленскими столбами. И «занят был природою одной». Природа дарила ему радость, которой так не доставало ему среди людей:

Сочувствия людского я не знал:  
Для бедняков оно—пустое слово;  
Нам подают приятели фиал,  
Наполненный водою нездоровой,  
А сами пьют дымящийся кристалл—  
И тут еще надменно и сурово  
Глядят в глаза, да думают подчас  
Не много ли уж сделано для нас<sup>218</sup>.

В этом откровении чувствуется зрелость поэта, твердость взгляда на жизнь и на самого себя. Он отдает себе отчет в том, что в отличие от собственных предков «рожден не для

---

<sup>216</sup> «\*\*...ой», стр. 103—109.

<sup>217</sup> «Сибирский поэт», стр. 69

<sup>218</sup> Там же, стр. 70.

тревог и брани — мне кровь страшна на дедовских мечах. Спокойствие — предел моих желаний». Но миролюбивый и добрый, он вовсе не спокоен: тревога, по-видимому, стала его уделом. Он весь — в поиске. Его влечет к себе эпоха Ермака и Кучума, он хочет, чтоб песни якута звучали в сердце славянина, он именует себя сибирским бардом. И те же мысли, только окрашенные горечью многих разочарований, он выражает в «Поэтических картинах» (1871 г.) — последнем своем опубликованном произведении.

Заслуги Давыдова в поэтическом изображении Сибири довольно значительны — во всяком случае, они не менее велики, чем его достижения в области краеведения. Испытав на себе влияние Пушкина и декабристов, сформировавшись в среде интеллигенции Троицкосавска — Кяхты 30-х годов, Давыдов не случайно «выплеснулся» в стихотворении «Думы беглеца на Байкале» («Славное море, привольный Байкал...»): всю жизнь он был противником неравенства, нищеты, невежества, всегда сочувствовал простым людям и их страданиям, поэту с такой эмоциональной силой он осудил царскую каторгу и выразил страстный порыв человека к свободе в стихотворении, которое по сегодняшний день является любимой песней русского народа.





## ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Сибирь первой половины XIX в. прошла, как мы видели, тот же путь общественного развития, что и Россия в целом. Ленинская периодизация русского освободительного движения в полной мере относится и к Сибири: рассматриваемый период — первый, дворянский, этап борьбы против феодально-крепостнического строя.

В условиях Сибири эта борьба приобретает некоторые специфические черты. Огромное влияние на местную общественную жизнь оказывают ссылки. Они стимулируют ее развитие, в то время как Центральная Россия нередко лишается именно этих наиболее оппозиционных элементов. В результате мы наблюдаем несколько неожиданное явление: разгром декабристского восстания приводит к духовному кризису русской литературы второй половины 20-х годов, тогда как в Сибири под влиянием декабристской ссылки наблюдается оживление культурных, краеведческих и литературных интересов.

Воздействие декабристов на сибирскую общественность продолжается, по сути дела, на протяжении всей первой половины XIX в. Оно дополняется влиянием со стороны революционных поляков и петрашевцев. Это приводит к росту оппозиционных настроений, способствует гражданскому самосозна-

нию сибиряков, активизирует развитие местной науки, печати и литературы.

Сибирь является той частью России, где социальные контрасты феодализма выступают особенно ярко. Действия сибирских сатрапов превосходили своей жестокостью и уродством самые страшные проявления аракчеевщины в Центральной России. Это, естественно, тормозило духовное развитие края. Но одновременно это вызывало протест сколько-нибудь честных людей, пробуждало острое недовольство в среде крестьянства, приводило к стихийным выступлениям представителей местных народностей. Более того, на некоторых этапах часть купечества, духовенства и чиновников объединялась с представителями демократических слоев в общей борьбе против царской администрации. Сибирское купечество в лице своих лучших представителей, по крайней мере до 40-х годов, выступало как прогрессивная сила и влияло положительным образом на развитие местной культуры. В этом отразилось общее для России противоречие между дворянством и буржуазией, хотя в условиях Сибири оно преломилось по-своему, достаточно своеобразно.

Бесконтрольность сибирских властей, приводившая ко многим злоупотреблениям, иногда имела и благие последствия для края: тобольский наместник А. В. Алябьев, енисейский губернатор А. П. Степанов и некоторые другие способствовали развитию местной общественной жизни и литературы, проявляли гуманность по отношению к ссыльным. Характерно, что Степанов, оставивший столь заметный след во вверенной ему Енисейской губернии, не смог уже активно проявить себя на посту администратора, когда выехал за пределы Сибири.

Все это дает основание утверждать, что Сибирь, несмотря на ее провинциальную отсталость, отнюдь не была духовной пустыней, как это пытались изобразить многие исследователи, в том числе областники. Напротив, край, знакомый с самыми чудовищными проявлениями царизма, в то же время был местом довольно интенсивного развития культуры и литературной жизни.

Литература Сибири первой половины XIX в., как мы убедились, развивалась в русле общерусского литературного процесса. Правда, сибирские города, разделенные огромными расстояниями, не были лишены определенной самобытности, и литературная жизнь здесь несла на себе отпечаток некоторых местных особенностей,— это мы постарались показать на примерах Тобольска, Красноярска, Иркутска, Нерчинска. Од-

нако наличие «культурных гнезд» не является главным фактором. Уже на страницах «Иртыша, превращающегося в Ипокрена» или рукописных сборников начала XIX в. проявлялись литературные тенденции, характерные для русской литературы в целом,— кризис классицизма, демократические мотивы сентиментализма, сатирические традиции народной поэзии. В Сибири, как и всюду, развивался романтизм, занявший центральное место в литературной жизни края рассматриваемого периода. Правда, романтизм возник здесь позднее, чем в Центральной России, и оказался в условиях Сибири более устойчивым: наибольшего подъема он достиг в 30-е годы, продолжая развиваться и в следующем десятилетии. В то время как в русской литературе 40-х годов расцветала «натуральная школа», в Сибири лишь складывались предпосылки для ее зарождения. В этом проявилась одна из особенностей местной литературной жизни в данный период.

Романтизм развивался в Сибири несколько иначе, чем в Европейской России. Здесь не образовывалось противоположных группировок, поэты-сибиряки не полемизировали друг с другом в печати. Они усваивали то, что было им близко и у Жуковского и у Пушкина, и порой борьба происходила в сознании самого художника, в его творческой практике. Это особенно характерно для наиболее крупных поэтов-романтиков Сибири — Федора Бальдауфа и Петра Ершова. Но каковы бы ни были их противоречия, в основе их творческого метода лежало недовольство действительностью, объяснявшееся во многом влиянием декабристов. Именно декабристы, отразившие в стихах периода сибирской ссылки собственные страдания и размышления о судьбах народа и отечества, воплощали в своем творчестве вольнолюбивые стремления лучших людей времени. Они пробуждали интерес к образу жизни и фольклору местных народностей, влияли на развитие очерковой прозы, научно-краеведческой поэзии и гражданской публицистики в Сибири.

Многие произведения сибирских поэтов и писателей-романтиков носили подражательный характер. И, тем не менее, романтизм в Сибири имел свои оригинальные черты. Он внес нечто новое в русскую литературу. В самом деле, сибирская экзотика представляла для местных писателей не внешнее явление, приобретающее в глазах жителей столиц романтические очертания, но была чем-то вполне конкретным и реальным. Если герой романтических поэм порывал с цивилизацией и устремлялся куда-нибудь в «туманную даль», на юг или восток, то для поэтов-сибиряков не было «земли обетованной»,

куда мог бы уйти их герой: он оставался здесь, в Сибири, и разве что на время уходил к жителям степей или тайги. Это имело немалые последствия для характера изображения сибирской действительности местными литераторами. Жизнь сибирских народностей, рассматриваемая вблизи, не рисовалась поэтам уж столь привлекательной. Вот почему здесь меньше было романтических преувеличений, больше трезвых, этнографически достоверных описаний.

Элементы реализма в изображении представителей малых народов, глубокое сочувствие и симпатия к ним, использование фольклорных мотивов и образов — одно из важнейших достоинств романтической поэзии и прозы в Сибири.

Сибирским романтикам было несвойственно бегство в средневековье, воспевание эгоистической личности. Напротив, в поэме Бальдауфа «Авван и Гайро» мы находим осуждение такого героя. Это объясняется опять-таки благотворным влиянием ссыльных декабристов. Влияние это способствовало и дальнейшему развитию сатирических мотивов в литературе Сибири. Примером тому — творчество М. Александрова, проделавшего эволюцию от восторженного отношения к сибирской буржуазии до беспощадного отрицания ее.

Немалое значение для литераторов Сибири имела и поэзия Пушкина. Именно Пушкин вдохновлял перо Ершова и Калашникова, был поэтическим учителем Давыдова. Творчество Пушкина стало одним из важнейших факторов развития не только литературы Сибири, но и сибирской общечеловечности в целом.

«Формулой через романтизм к реализму и определяется основное — самое важное и значительное — в содержании и динамике... литературного процесса первой половины XIX века»<sup>1</sup>. Эта формула вполне относится и к Сибири.

Мы имели возможность убедиться, как в творчестве романтиков (Калашникова, Щукина, Бобылева и др.) проявлялись элементы критического изображения сибирской действительности. Писатели осуждали произвол местных властей, жестокое обращение с «инородцами», выступали против религиозного дурмана и невежества. Некоторые из них затрагивали тему ссылки и выражали свое сочувствие «несчастливым». Хотя этим литераторам была свойственна известная провинциальная ограниченность, им все же удалось показать, как некоторые социальные противоречия, характерные для данной эпохи,

---

<sup>1</sup> «История русской литературы в трех томах», т. 2. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 15.

проявлялись в условиях Сибири. Не случайно ведущей темой романтической прозы 30-х годов были страдания представителей купечества и служилой интеллигенции. Писатели-сибиряки изображали, по существу, «маленького человека», становящегося жертвой несправедливой действительности.

Конечно, Сибирь данного периода не выдвинула ни одного писателя, который, подобно Пушкину, Лермонтову или Гоголю, смог бы в своем творчестве полно и глубоко отразить огромные общественные перемены, происходившие в России на протяжении полувека. Литературная жизнь Сибири этих лет, несомненно, отставала от передовой русской литературы, уже тогда приобретающей мировую известность.

И все же литераторы-сибиряки внесли определенную лепту в историю отечественной культуры. Ершов, Калашников, Бальдауф, Александров, Давыдов и другие, а рядом с ними их учителя-декабристы сделали все, что было в их силах, для развития общественного мнения в отдаленном и суровом крае, для отражения средствами литературы своеобразной сибирской действительности. И этот труд их, несомненно, заслуживает уважения и внимания.

Сейчас назрела острая необходимость изучения литературы не только Сибири, но и Урала, русского Севера и т. д. Причем, среди других областей России Сибири должно быть отведено особое место, так как здесь специфика выражена гораздо ярче, чем где-либо. Уже одно то, что литература Сибири XIX в. долгое время существовала в рукописной форме, обусловило в ней откровенность, невозможную в цензурной литературе (хотя вместе с тем это и ограничило ее тематику, придав ей локальный характер). Далее. Писатели Сибири «осваивали» свой край, во многом не изученный, изобилующий «белыми пятнами», — отсюда ярко выраженная краеведческая традиция, которая, однако, не сводится к этнографии: писатели борются с предубеждением русского читателя против Сибири и выступают как страстные пропагандисты ее, как своеобразные просветители. Это в первую очередь следует сказать о П. А. Словцове, заслуги которого перед Сибирью, ее культурой и историей трудно переоценить. Творчество Словцова, краеведа и историка, рассмотрено нами предельно кратко, хотя оно, несомненно, заслуживает специального исследования, в том числе и с точки зрения литературоведческой.

Краеведение оказало большое влияние на литературу Сибири и вошло в нее как неотъемлемая часть ее. Оно менялось вместе с развитием литературы, освобождаясь от романтиче-

ского пафоса и все более проникаясь критическими элементами. Более того, именно краеведение в условиях Сибири способствовало утверждению реализма.

Нередко, как мы видели, литераторы-любители преследовали чисто практические цели: вели летопись города или купеческого рода, оставляли записки, воспоминания, и только позднее эти произведения становились фактами литературы. В них очень откровенно рассказывалось о злоупотреблениях местных сатрапов, о многих бедствиях, выпадавших на долю угнетенного и бесправного сибирского населения.

Все эти особенности литературы Сибири, как и другие, не изученные нами, были обусловлены своеобразием общественного развития края. Поэтому здесь очень важно было проследить творчество не только заметных талантов, но и «скромных дарований». Дальнейшее изучение их коллективного вклада позволит представить себе нашу отечественную литературу во всей ее полноте и сложности.



## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ \*

- Август, Октавиан 114  
Авдеев 179  
Авдеева-Полевая Е. А. (К. Авдеева)  
175, 179—181, 317, 318, 325  
Авесов — см. Г. Н. Потанин  
Азадовская Л. В. 271  
Азадовский М. К. 12, 14, 22—25, 27—  
30, 33, 48, 64, 76, 78, 81, 85, 86,  
88, 93, 132, 141, 161, 162, 165, 167,  
184, 186, 187, 189, 191, 192, 194,  
195, 202, 205—207, 216, 242, 248,  
255, 257, 271, 277, 279—282, 287,  
304, 328, 330, 336, 340, 341, 343—  
345, 348, 351, 355—357, 361  
Александр I 53—55, 57, 60, 73, 80,  
247, 324  
Александр, цесаревич 49, 131, 300, 326  
Александров М. А. 32, 33, 83—86, 90,  
94, 138, 316, 326, 341—349, 351—  
354, 396, 397  
Алексеев Ф. 93, 192  
Альтшуллер М. Г. 39, 40, 46  
Алябьев А. А. 276, 277, 293  
Алябьев А. В. 37, 38, 53, 394  
Амвросов И. 99  
Андреевич В. К. 27, 64  
Аникин В. 283, 287  
Анненков И. А. 300  
Апрельков 63  
Аракчеев А. А. 80  
Архилох 127  
Арцимович В. А. 300, 309  
Асенкова В. Н. 320  
Багашев И. В. 158, 256, 365  
Багратион П. И. 73  
Баженов 63  
Базанов В. Г. 128  
Бальдауф А. И. 142, 143, 149, 151,  
152, 159  
Бальдауф Ф. И. 33, 34, 94, 138—159,  
161—165, 167—172, 183, 395—397  
Баранов А. А. 317  
Баратынский Е. А. 127, 355  
Баснин В. Н. 83  
Баснин П. П. 68  
Баснин П. Т. 68, 69  
Батеньков Г. С. 81, 96  
Батый 103  
Батюшков К. Н. 32, 92, 99  
Бауэр 38  
Бахтин И. И. 37, 40—42, 53  
Белинский В. Г. 15, 92, 121, 174, 188,  
193, 202—204, 209, 237, 238, 241,  
242, 267, 280, 314, 316, 317, 327,  
328, 330, 332, 339, 355, 372, 374  
Белоголовый Н. А. 138  
Белокопытов А. 150

\* Составитель А. И. Постнова.

- Бельшев С. 38, 55  
 Белявский Ф. 175—177, 192  
 Беляев А. П. 137  
 Бенедиктов В. Г. 305, 327, 339  
 Бенкендорф А. X. 124, 133  
 Беринг И. 67  
 Бестужев А. А. (Марлинский) 33,  
 117—119, 121—123, 125, 132, 143,  
 148, 173, 192, 193, 206, 212, 257,  
 316, 323, 342—345, 389  
 Бестужев М. А. 137, 184  
 Бестужев Н. А. 81, 137  
 Бестужевы 184  
 Бирон 216  
 Бичевин И. 67  
 Бичурин Н. Я. (отец Иакинф) 192  
 Бобринцев-Пушкин П. С. 132  
 Бобылев И. 256  
 Бобылев Н. И. 13, 33, 97, 138, 185,  
 186, 255—261, 263, 265—270, 318,  
 370, 371, 396  
 Богданова А. А. 33, 93, 108, 109, 141,  
 144, 163, 203, 204, 206, 214, 221,  
 223, 224, 271, 322, 323  
 Болдырев-Казарин Д. А. 6, 22, 25, 26  
 Бопре А. И. 150, 151  
 Боткин В. 138  
 Боткин С. 138  
 Буйницкий 74  
 Булгарин Ф. В. 143, 203, 204, 216  
 Бурмин В. — см. Утков В. Г.  
 Буташевич-Петрашевский М. В. 279,  
 314  
 Бухштаб Б. Я. 124  
  
**Вагин В. И.** 71, 139, 140, 184, 185  
 Вадим\*\*\* — см. Пассек  
 Варлаков И. И. 113, 115  
 Ватин В. А. (Быстриянский) 64  
 Вашингтон, Георг 85  
 В. Б. 320  
 Венгеров С. А. 237, 255, 270, 317  
 Вeneвитинов Д. В. 330  
 Веттер И. 277  
 Вигель Ф. Ф. 190  
 Виноградский Н. И. 184, 185  
 Витгенштейн 73  
 Владимир, князь 292  
 Войпаровский 93, 116, 117, 119, 239,  
 345  
 Волицкий К. 296, 300, 301  
 Волконская М. Н. 128, 135, 138, 184  
 Волховский Ф. В. (Иван Брут) 139  
 Вольтер, Франсуа-Мари 47  
 Вольф Ф. Б. 183  
  
 Воскресенский И. 37  
 Вяземский П. А. 328  
  
 Галтай А. — см. Мордвинов А. А.  
 Ганнибал А. И. 142  
 Гарун-аль-Рашид 293  
 Г...въ, К...ъ 194  
 Геденштром М. М. 175, 192  
 Гейне, Генрих 375  
 Герцен А. И. 29, 174, 193, 314  
 Глебов А. И. 67  
 Глинка Ф. Н. 81, 143, 148, 336  
 Глухарев И. 174  
 Гмелин, Георг 27, 67  
 Гоголь Н. В. 4, 29, 173, 187, 267, 316,  
 322, 397  
 Голицыны 42  
 Головачев П. М. 19—21, 27, 316  
 Голодников К. 336  
 Голубцов И. И. 256  
 Гомер 44, 56, 57, 83  
 Гончаров И. А. 7, 18  
 Гораций, Флакк 114  
 Горновский 69, 70  
 Горнфельд А. 7  
 Горский 191  
 Горчаков В. Н. 191  
 Горчаков П. Д. 300  
 Горький А. М. 3—7, 92  
 Граль 379, 380  
 Греч Н. И. 203, 204  
 Гриб 70  
 Грибоедов А. С. 127  
 Григорьев А. А. 341  
 Грозный, Иван 64, 324  
 Грот Я. К. 283, 286, 289  
 Гуревич А. 104, 110, 203, 245, 281  
 Гусятников 66  
 Гюго, Виктор 202  
  
 Давыдов В. Л. 132  
 Давыдов Д. П. 32, 138, 326, 354, 381—  
 383, 385—391, 396, 397  
 Дельвиг А. А. 127, 280, 299, 330  
 Демокрит 228  
 Державин Г. Р. 46, 54, 56, 73, 74, 78,  
 127, 320, 336  
 Деспот-Зенович А. И. 309  
 Дмитриев И. И. 45, 74, 100, 206  
 Дмитриев-Мамонов А. 39, 43, 44  
 Добролюбов Н. А. 15  
 Долгорукова Н. 135  
 Донской Я. 65  
 Дохтуров М. А. 151  
 Дружинин А. В. 96, 178, 179

- Дудоровский 63, 83—85  
 Дюкре-Дюмениль, Франсуа-Гильом 254
- Дюпати 170  
 Евгений-Максимов В. Е. 189  
 Евсеев 38  
 Екатерина II 36, 40, 46, 49, 50, 52, 67, 220  
 Ельцов 343  
 Ермак 50, 74, 90, 93, 110, 117, 131, 174, 182, 276, 279, 294, 296, 319—321, 335, 337, 392  
 Ершов П. П. 10, 14, 22, 33, 34, 94, 125, 139, 186, 270—294, 296—313, 318, 388, 395—397  
 Ершова Н. В. 272
- Жемчужников В. М. (см. также Прутков К.) 125, 309  
 Жеребцов Б. И. 8, 9, 23, 24, 29, 38, 41; 84, 116, 117, 141, 316  
 Жолобов И. 66  
 Жуков З. 50  
 Жуковский В. А. 32, 54, 74, 92, 98, 99, 108, 143, 160, 277, 280, 299, 326—328, 330—332, 395
- Заангарский сибиряк — см. Виноградский Н. И.  
 Завалишин Д. И. 138, 183  
 Загоскин М. Н. 203, 300  
 Замахаев С. 271  
 Зембицкий Я. Г. 142  
 Зензинов М. А. 82, 325, 360—365, 370, 372  
 Зигур А. В. 202, 205  
 Злобин А. 159  
 Знаменский М. С. 138, 309  
 Зотов 203  
 Зубков 208
- Иванов 38  
 Иванов А. 142  
 Ивашев В. П. 129  
 Ивашкин 208, 211, 229, 230  
 Игумнов А. В. 34, 68, 98  
 И. Д. 74  
 Илличевский А. Д. 104  
 Иноземцев П. 93  
 Иосиф II 239  
 Ирвинг, Вашингтон 189, 201
- Калашников В. 55  
 Калашников И. Т. 9, 13, 33, 64, 69, 70, 73—77, 174, 185, 186, 192, 201—238, 242, 246, 247, 318, 321—324, 354, 396, 397
- Канаев Н. П. 84, 117, 123, 343, 344, 346, 347  
 К (андинская) Н. Х. 156  
 Кандинский Н. Х. 150, 151; 153  
 Кандицкий Х. Х. 150, 151  
 Кантемир А. Д. 71, 353  
 Карамзин 65  
 Карамзин Н. М. 47, 51, 54, 62, 63, 88, 143, 212, 215  
 Каратыгин П. А. 142, 320  
 Карлгоф В. И. 82, 95  
 К-в И. И. 114  
 Кениг, Генрих 14, 15, 189  
 Кириллов И. П. 183  
 Кислянович 71  
 Ковалевский Е. П. 93, 154  
 Козлов И. И. 104, 330  
 Козлов И. Я. 65  
 Козмин Н. К. 188  
 Кокшаров Н. И. 140  
 Кольцов А. В. 105, 286, 327  
 Конюхов 67  
 Копылов И. В. 142  
 Корнель, Пьер 47  
 Корнилов И. П. 165  
 Корнильев В. 37, 53, 276  
 Коровкин И. 303  
 Короленко В. Г. 12, 18  
 Корюков 65  
 Корякин А. А. 367  
 Коцебу, Август 63  
 Кочрен 27  
 Краевский А. А. 361  
 Кротов В. А. 37  
 Крылов И. А. 47, 63, 127, 143, 201, 206—208, 216, 277, 289, 329, 353  
 Крылов П. Н. 66, 67  
 Кудрявцев Ф. А. 381, 385, 388  
 Кудряшов 93  
 Кузмин А. К. 98—104  
 Кулибин А. И. 150—152, 154  
 Кунгуров Г. Ф. 22, 27, 33, 34, 38, 39, 48, 71, 185  
 Купер, Фенимор 189, 201, 214  
 Кутузов М. И. 73  
 Кучум 276, 294, 295, 297, 298, 311—313, 321, 335, 388, 392  
 Кушевский И. А. 10, 13, 16, 17, 19, 20  
 Кюхельбекер В. К. 81, 125—128, 130, 143, 201, 208, 216, 300, 366, 367  
 Кюхельбекер М. К. 81, 208
- Лажечников И. И. 203  
 Лаксман, Эрик 27

- Ламб 317  
Лансон Г. 7  
Лапин Н. А. 315  
Лафинов И. 37, 40  
Леманов 353  
Ленин В. И. 365, 393  
Лермонтов М. Ю. 32, 173, 316, 328, 330, 397  
Лессинг, Готгольд-Эфраим 47  
Лециано 317  
Лещева С. А. 305  
Литвинцев И. 66  
Ломоносов М. В. 4, 47, 63, 170, 320, 339  
Лорер Н. И. 138  
Лосев А. И. 74—76  
Лоскутов 64  
Лунин М. С. 132—136, 184, 360
- Майков А. Н. 341  
Максимов С. В. 10  
Максимович М. 185, 193, 194  
Малютин Б. А. 342  
Малярвский П. Г. 141, 167, 168  
Маметов А. 38  
Мамин М. 38, 40  
Манассеин В. С. 360  
Манчары 345—347, 354  
Марков В. 59  
Марлинский А. — см. Бестужев А. А.  
Мартос А. И. 87, 97, 98, 192  
Мартынов А. Е. 270  
Мартынов И. П. 51  
Масальский К. П. 203  
Мельгунов Н. А. 14, 189  
Менделеев Д. И. 300  
Менделеев И. П. 276, 277  
Меньшикова 174  
Местр, Ксавье де 319  
Миллер 324  
Миллер, Герард Фридрих 67, 90, 239, 372, 377  
Милькеев Е. Л. 13, 32, 94, 316, 326—341  
Минин Н. Г. 34  
Мирзоев В. Г. 178  
Михайлов М. И. 140  
Мицкевич, Адам 157  
Модзалевский Л. Б. 202, 206  
Мордвинов А. А. 325, 360, 366—372  
Москвин И. 344, 354  
Муравьев А. М. 138  
Муравьев Н. М. 93  
Муравьева А. Г. 135
- Набережный И. 37
- Навуходоносор 132  
Нагибин И. 277  
Наполеон I 72—74, 349, 350  
Нарышкин В. В. 210, 217  
Насимович Н. Ф. (Н. Чужак) 22, 25, 139, 141  
Наумов Н. И. 9, 10, 19—21  
Некрасов Н. А. 10, 12, 116, 274, 341  
Немцов 65, 210  
Ненашевский 75  
Никитенко А. В. 278  
Никитин А. А. 143  
Никитин И. С. 7  
Николай I 83, 132  
Новиков Н. И. 36
- Огарев Н. П. 174, 314  
Одиноков В. Г. 2  
Одоевский А. И. 125, 128—131, 133  
Ольдекоп 289, 290  
Омулевский И. — см. Федоров-Омулевский И. И.  
Орлов — см. Копылов И. В.  
Орлов А. И. 183—185, 365  
Орлов В. Н. 189, 193, 194  
Орлов Д. 288  
Осснан 43  
Островский А. Н. 18  
Отец Иакинф — см. Бичурин Н. Я.  
Очкин А. Н. 158
- Павлов Н. Ф. 331  
Павлова К. 327, 328, 332, 340, 341  
Панаев И. И. 332  
Паршин В. П. 32, 183, 237, 325, 360, 363, 365, 370, 372—377, 379, 380  
Пассек В. 181, 182  
Пашковский М. И. 183  
П. Е. — см. Ершов П. П.  
Пежемский П. И. 37, 65, 66, 68  
Пестель И. Б. 63, 64, 72, 77, 316  
Пестов И. 102, 175  
Петр I 36  
Петрашевский М. В. — см. Буташевич-Петрашевский М. В.  
Петров И. М. 15, 94, 98, 106—113, 115, 139, 192, 210  
Петряев Е. Д. 27, 34, 140, 141, 143, 144, 147, 150, 151, 157, 159, 169, 172, 183, 185, 256, 325, 360, 361, 364, 365, 367  
Пиксанов Н. К. 4—6, 9  
Пиленков Н. С. 276  
Пиндар 56, 57  
Писемский А. Ф. 18

- Плавильщиков П. А. 74  
 Платов 73  
 Плетнев П. А. 278, 309, 327—331  
 Плеханов 309  
 Плутарх 199, 329  
 Плюшар А. 310  
 Погодин М. Н. 366, 367  
 Полевой А. Е. 63, 189, 190, 317  
 Полевой К. А. 87, 179, 180, 190  
 Полевой Н. А. 15, 33, 63, 86, 87, 152, 175, 179, 185—202, 204, 206, 208, 209, 214, 239, 240, 243, 244, 317, 318, 321, 361  
 Полежаев А. И. 330  
 Поликсенев И. М. 185  
 Полоцкий С. 56  
 Попов Н. И. 14, 97  
 Постнов Ю. С. 16  
 Потанин Г. Н. 16—19, 21, 22, 25, 27, 90, 272—275, 299, 342, 367  
 Протопопов 57  
 Прудковский В. 37, 40  
 Прутков К. 125, 309  
 Пугачев Е. 198, 239  
 Путинцев А. М. 10, 11, 281  
 Пушкин А. С. 32, 34, 38, 41, 83, 91—94, 100, 104, 108, 109, 112, 126—128, 135, 138—140, 142, 143, 147, 148, 158, 162, 163, 171, 173, 197, 201, 202, 205—208, 216, 261, 277, 280, 281, 299, 305, 307, 308, 310, 328—330, 333, 353, 380, 387, 392, 396, 397  
 Пущин И. И. 135, 136, 300  
 Пущина А. И. 135  
 Пыпин А. Н. 81  
 Рагузинский С. В. 67  
 Радищев А. Н. 36, 38, 47, 48, 54  
 Раевский В. Ф. 131  
 Ранч С. Е. 194  
 Ракин Л. 66  
 Расин, Жан 47  
 Рассказов С. 100, 101  
 Рейналь 51  
 Речкин 277  
 Решетников Ф. М. 17  
 Родюков И. 104  
 Рудаков 347, 348  
 Руссо, Жан-Жак 51  
 Рылеев К. Ф. 12, 86, 93, 104, 115—117, 124, 127, 128, 143, 148, 279  
 Савватеев 63  
 Савиннов 185, 186  
 Салтыков-Шедрин М. Е. 29  
 Самойлов В. В. 142  
 Санглен де 208  
 Свиньин П. П. 174  
 Селифонтов 317  
 Семевский М. И. 184  
 Семивский Н. 76—79  
 Семилуженский — см. Ядринцев Н. М.  
 Сенковский О. И. 280, 327, 340  
 Сибиряк — см. Ядринцев Н. М.  
 Сибиряков В. 65  
 Сибиряков М. В. 65  
 Сибиряков Н. В. 65  
 Сиверс, Иоганн 27  
 Сивков К. В. 42  
 Сизых И. Е. 150  
 Симонов Е. И. 271  
 Скотт, Вальтер 154, 212—214, 221, 353  
 Скрыпин Н. В. 150  
 Слепцов В. А. 10  
 Словоц П. А. 15, 21, 22, 27, 35, 39, 48—53, 74—76, 87—91, 96, 175, 177, 178, 191, 206, 209, 216, 219, 276, 277, 322, 324, 361, 367, 397  
 Смирдин А. Ф. 280  
 Смирнов Н. 37, 40, 42, 43, 47  
 Смирнов-Сокольский Н. П. 38  
 Сокольников М. П. 6—8, 10, 11  
 Спасский Г. И. 75  
 Сперанский М. М. 33, 51, 72, 81, 89, 317, 324  
 Станкевич Н. В. 174  
 Станюкович К. М. 10  
 Старцев 63  
 Степанов А. П. 82, 83, 95—98, 104, 175, 178, 269, 394  
 Степанов Н. А. 83  
 Суворов А. В. 96, 178, 289—292  
 Де ла Суда И. 211  
 Сулоцкий А. 315  
 Сумароков А. П. 43, 47, 63  
 Сумароков П. П. 15, 18, 37, 38, 40, 43—47, 53, 235  
 Сумарокова Н. П. 38  
 Суриков В. 315, 316  
 Суриков В. И. 20, 21  
 Суханов 169  
 Таскин А. Н. 34, 94, 139, 140, 150, 153, 156, 157, 159, 165, 171, 172, 357  
 Тимковский К. И. 278, 279, 300, 301, 304  
 Тимофеев А. 203  
 Толстой Л. Н. 18  
 Треборн В. А. 278

- Трескин Н. И. 63—65, 68, 70—72, 74, 77, 79—81, 84, 210, 242, 246, 316, 317, 323
- Трунин И. 37, 39, 40, 47, 48, 53
- Трусова З. Н. 48
- Тургенев И. С. 18, 19
- Тютчев А. 132
- Тютчев Ф. И. 328, 341
- Уварова С. С. 133
- Уваровский А. 84
- Утков В. Г. 34, 271, 272, 274, 276, 279, 281, 282, 290, 292, 293, 310, 328, 330, 334, 339, 341
- Ушаков В. 192, 195
- Ф. Б. — см. Бальдауф Ф. И.
- Федоров-Омулевский И. В. 9, 10, 16, 17, 19, 21, 138
- Фет А. А. 341
- Фишер И. Э. 67, 90, 372, 377
- Фонвизин Д. И. 300
- Фриш К. Ф. 157
- Фриш Н. Ф. 150, 151
- Фриш Ф. 157
- Хабаров Е. П. 238, 372, 377
- Ханстен 27
- Херасков М. М. 47, 63
- Хомяков А. С. 192, 327, 328, 332
- Хмельницкий Б. 345
- Худяков И. А. 138, 300
- Цветаев Г. 271
- Чебаевский Е. Г. 149, 150, 154
- Черепанов А. И. 367
- Черепанов С. И. 34, 184
- Черкасов И. 277
- Черных А. П. 158
- Черных П. Я. 203, 223, 287
- Чернышевский Н. Г. 4, 15, 72, 140, 193
- Чехов А. П. 12
- Чижов Н. А. 123—125, 300, 309
- Чингис-хан 91, 356, 357, 361, 368
- Чужак Н. — см. Насимович Н. Ф.
- Шалауров Н. 211
- Шашков С. С. 20, 27, 28, 39
- Шебанов 355
- Шекспир, Вильям 47, 353
- Шеллейховский К. А. 142
- Шелехов А. В. 83
- Шелехов Г. И. 279, 317
- Шешковский 49
- Шидловский А. В. 34, 184
- Шнишков В. Я. 11
- Штейнгель В. И. 138, 210
- Штраус, Иоганн 370
- Штукенберг А. И. 326, 355—359
- Шубин 247
- Шюти 355
- Шапов А. П. 21, 27, 28, 55—57, 59, 60, 62, 63, 70, 342
- Щегорин З. 65
- Щегорин М. 65
- Щербачев В. 346
- Шукин Н. С. 20, 33, 63, 65, 83, 88, 175, 176, 185, 186, 192, 237—255, 318, 354, 366, 373, 396
- Шукин С. С. 65, 76, 88, 177, 237
- Эмберт 45
- Энгельгардт Е. А. 136, 361
- Энгельс, Фридрих 91
- Юнг 42, 43
- Я. Г. 93, 263
- Ядринцев Н. М. 16—18, 20, 21, 24, 27, 37, 39, 43, 52, 53, 85, 138, 140, 341—343, 349, 355, 356
- Языков Н. М. 328
- Якоби 65, 317
- Яныгин 239
- Ярославцев А. К. 271, 278, 279, 281, 292, 309

*Юрий Сергеевич Постнов*

## РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА СИБИРИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

● Ответственный редактор *Виктор Георгиевич Одинокоев*  
 Редактор Т. М. Назарянц  
 Художественный редактор В. И. Шумаков  
 Художник Н. А. Савельева  
 Технический редактор А. М. Вялых  
 Корректоры В. Г. Прохорова, В. И. Рахман

● Сдано в набор 14 июля 1969 г. Подписано в печать 28 сентября 1970 г. МН 00691  
 Бумага 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>, 25,25 печ. л., 24,4, уч.-изд. л. Тираж 1600.

● Издательство «Наука», Сибирское отделение. Новосибирск, Советская, 18. Заказ 10857.  
 Типография изд.-ва «Омская правда». Омск, 56, пр. Маркса, 39. Цена 1 р. 54 коп.